ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

хрестоматия

8-10

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ 8—10 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Составитель
В. А. СКОРОДЕНКО

ИЗДАНИЕ 8-е

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1980

ББК 83.34 я72
С44

Рекомендовано
Министерством просвещения РСФСР
в качестве учебного пособия

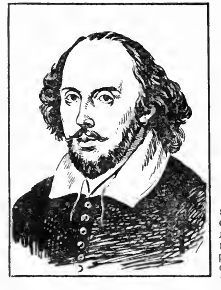
В хрестоматию по зарубежной литературе для VIII—X классов средней школы включены тексты произведений, изучение которых предусмотрено учебной программой по литературе для средней школы, а также некоторые образцы лирической поэзии, рекомендованные для внеклассного чтения.

Текстам произведений, помещенных в хрестоматии, предпосланы справки о жизни и творчестве их авторов с приложением краткого рекомендательного списка литературы по теме.

Хрестоматия построена по хронологическому принципу.

Даты приводятся по Краткой Литературной энциклопедии, т. 1—8.

$\text{З}\ \frac{60601-152}{103(03)-80}$ инф. письмо 4306020300



ШЕКСПИР

Вильям Шекспир (William Shakespeare, 1564—1616), великий английский драматург и поэт эпохи Возрождения, родился в городке Стрэтфорд-на-Эвоне, где сейчас находится Мемориальный Шекспировский театр. Когда отец будущего поэта, зажиточный по тем временам торговец, разорился, пятнадцатилетний Вильям вынужден был самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Около 1585 г. молодой человек отправился в Лондон, где, сменив, как об этом гласит предание, несколько профессий, решил стать актером. В 1599 г. он сделался одним из пайщиков только что основанного знаменитого театра «Глобус».

Как драматург Шекспир начал выступать с конца 80-х годов XVI века. Исследователи считают, что сначала он обрабатывал и «подновлял» уже существовавшие пьесы и лишь затем перешел к созданию своих собственных произведений. Впрочем, многие драмы Шекспира — и среди них такие известные, как «Король Лир»,— являются глубоко оригинальными переделками более древних пьес либо созданы на сюжеты, использовавшиеся в дошекспировской драматургии.

Наследие Шекспира составляют сонеты (всего 154), несколько небольших поэм и тридцать семь пьес. Наиболее известны из них комедии «Укрощение строптивой» (1593), «Много шума из ничего» (1598), «Как вам это понравится» (1599), «Двенадцатая ночь» (1600), исторические хроники «Ричард III» (1593) и «Генрих IV» (1597), трагедии «Ромео и Джульетта» (1595), «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605), «Макбет» (1605),

«Антоний и Клеопатра» (1607), «Буря» (1612). Величайшей трагедией Шекспира является «Гамлет» (1601), или «Трагическая история о Гамлете, принце датском».

Эта трагедия воплотила горький исторический парадокс, согласно которому эпоха Возрождения, этот «величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством...», по определению Ф. Энгельса (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., 2 изд., т. 20, с. 346), раскрепостивший личность и освободивший ее от гнета средневековых предрассудков, явилась началом перехода к новому общественному укладу — капиталистическому, с е г о предрассудками, с его экономическим и духовным гнетом. «Так на рубеже двух миров,— писал советский исследователь творчества Шекспира М. Морозов,— дряхлеющего мира феодализма и нового, рождающегося мира капиталистических отношений — возникает перед нами скорбный образ датского принца. Эта скорбь не случайна. Ее переживал и сам Шекспир, в произведениях которого не раз звучат скорбные мотивы, переживали и многие из его современников. Распадение феодальных связей породило величайший расцвет освобожденной мысли и живого искусства. Но на смену феодальному миру шел мир капиталистический, несший новое рабство для народа, новые оковы для мысли. Гуманисты той эпохи могли только мечтать о счастье человечества, они могли толковать жизнь, но создать это счастье, изменить жизнь они были бессильны. Они создавали утопии. Но они не знали и не могли в ту эпоху знать реальных путей к осуществлению своих благородных мечтаний. И разлад между мечтой и действительностью порождал в них «гамлетовскую» скорбь. Трагедия Гамлета по существу своему является трагедией гуманизма той эпохи, расцветшего на холодной утренней заре капиталистической эры».

В пьесах Шекспира действуют живые люди; в его драмах раскрыты все характернейшие проявления человеческой природы — честность и предательство, благородство и низость, бескорыстие и зависть, любовь и ненависть, самоотверженность и коварство, ум и страсть — в их диалектическом единстве, т. е. в том виде, как они существуют в жизни.

Великий гений Шекспира сообщил бессмертие всему, что им создано. Его пьесы не сходят с театральных подмостков на протяжении нескольких столетий, каждое новое поколение считает его своим современником: огромный поэтический дар Шекспира, бескомпромиссность в постановке и решении им острейших проблем и напряженнейших нравственных конфликтов не могут устареть. «Душа нашего века, чудо нашей сцены, он принадлежит не одному веку, но всем временам»,— писал о Шекспире его младший современник, английский драматург Бен Джонсон.

Трагедия «Гамлет» дается в классическом переводе русского советского поэта *Бориса Пастернака*. Историко-литературные справки и примечания принадлежат *М. Морозову*.

Произведения Шекспира можно прочитать в издании:

Ш е к с п и р, Уильям. Полное собрание сочинений в 8 т. М., Искусство, 1957—1960.

О жизни и творчестве Шекспира см.:

А н и к с т А. Творчество Шекспира. М., Гослитиздат, 1963.

А н и к с т А. Вильям Шекспир. М., Молодая гвардия, 1964.

К о з и н ц е в Г. Наш современник Вильям Шекспир, изд. 2. М.—Л., Искусство, 1964.

М о р о з о в М. Статьи о Шекспире. М., Художественная литература, 1964.

ГАМЛЕТ

ИСТОРИЯ СЮЖЕТА

Легенду о Гамлете впервые записал в конце XII века датский летописец Саксон Грамматик. В древние времена язычества — так рассказывает Саксон Грамматик — правитель Ютландии был убит во время пира своим братом Фенгом, который затем женился на его вдове. Сын убитого, молодой Гамлет, решил отомстить за убийство отца. Чтобы выиграть время и казаться безопасным в глазах коварного Фенга, Гамлет притворился безумным: валялся в грязи, размахивал руками, как крыльями, кричал петухом. Все его поступки говорили о «совершенном умственном оцепенении», но в его речах таилась «бездонная хитрость», и никому не удавалось понять скрытый смысл его слов. Друг Фенга (будущего шекспировского Клавдия), «человек более самоуверенный, чем разумный» (будущий шекспировский Полоний), взялся проверить, точно ли Гамлет безумен. Чтобы подслушать разговор Гамлета с его матерью, этот придворный спрятался под лежавшей в углу соломой. Но Гамлет был осторожен. Войдя к матери, он сначала обыскал комнату и нашел спрятавшегося соглядатая. Он его убил, разрезал труп на куски, сварил их и бросил на съедение свиньям. Затем он вернулся к матери, долго «язвил ее сердце» горькими упреками и оставил ее плачущей и скорбящей. Фенг отправил Гамлета в Англию в сопровождении двух придворных (будущие шекспировские Розенкранц и Гильденстерн), тайно вручив им письмо к английскому королю с просьбой умертвить Гамлета. Как и в трагедии Шекспира, Гамлет подменил письмо и английский король вместо него послал на казнь двух сопровождавших Гамлета придворных. Английский король ласково принял Гамлета, много беседовал с ним и дивился его мудрости. Гамлет женился на дочери английского короля. Затем он вернулся в Ютландию, где во время пира напоил Фенга и придворных пьяными и зажег дворец. Придворные погибли в огне. Фенгу Гамлет отрубил голову. Так восторжествовал Гамлет над своими врагами.

В 1576 г. французский писатель Бельфоре пересказал эту древнюю легенду в своих «Трагических повестях». В 80-х годах XVI века на лондонской сцене была поставлена пьеса о Гамлете, написанная, вероятно, драматургом Томасом Кидом. Пьеса эта потеряна. В ней был выведен призрак отца Гамлета (это все, что мы знаем об этой пьесе). Таковы были источники, пользуясь которыми Шекспир в 1601 г. создал своего «Гамлета».

ВРЕМЯ И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Легенда о Гамлете, как мы видели, принадлежит глубокой древности: если действительно произошли события, описанные Саксоном Грамматиком, они, вероятно, относятся к IX веку. Но в шекспировском «Гамлете» мы находим множество деталей, относящихся к значительно более позднему времени. Например, в трагедии упоминается пушечная пальба, а порох был изобретен лишь в XIV веке. Местом действия трагедии является находящийся в датском городке Эльсиноре (на берегу пролива, отделяющего Данию от Скандинавского полуострова) укрепленный замок, который был здесь построен лишь в

XVI веке. Шекспир указывает, что Гамлет учился в Виттенберге (в Германии), а между тем университет в этом городе был основан также лишь в XVI веке (в 1502 г.). Большинство бытовых и прочих деталей «Гамлета» принадлежит Англии эпохи Шекспира. Но главное — живой действительности эпохи Шекспира принадлежат описанные в трагедии люди, их мысли, чувства, отношения между ними. Под маской старины и чужеземных имен Шекспир показывал зрителям картину современного ему общества.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Клавдий, король датский.
Гамлет, сын прежнего и племянник нынешнего короля.
Полоний, главный королевский советник.
Горацио, друг Гамлета.
Лаэрт, сын Полония.
Корнелий, Вольтиманд — придворные.
Розенкранц, Гильденстерн — бывшие университетские товарищи Гамлета.
Озрик.
Дворянин.
Священник.
Марцелл, Бернардо — офицеры.
Франциско, солдат.
Рейнальдо, приближенный Полония.
Актеры.
Два могильщика.
Призрак отца Гамлета.
Фортинбрас, принц норвежский.
Капитан.
Английские послы.
Гертруда, королева датская, мать Гамлета.
Офелия, дочь Полония.
Лорды, леди, офицеры, солдаты, матросы, вестовые и свитские.

Место действия — Эльсинор.

АКТ I

СЦЕНА 1

Эльсинор. Площадка перед замком[1]. Полночь. Франциско на своем посту. Часы бьют двенадцать. К нему подходит Бернардо.

Бернардо

Кто здесь?

Франциско

Нет, сам ты кто, сначала отвечай.

Бернардо

Да здравствует король!

[1] Специально устроенная эспланада, открытое и ровное пространство вокруг замка. Атакующая неприятельская пехота, пересекая это пространство, подвергала себя особой опасности.

Франциско

Бернардо?

Бернардо

Он.

Франциско

Вы позаботились прийти в свой час.

Бернардо

Двенадцать бьет; поди поспи, Франциско.

Франциско

Спасибо, что сменили: я озяб,
И на́ сердце тоска.

Бернардо

Как в карауле?

Франциско

Все, как мышь, притихло.

Бернардо

Ну, доброй ночи.
А встретятся Гораций и Марцелл,
Подсменные мои,— поторопите.

Франциско

Послушать, не они ли.— Кто идет?

Входят Горацио и Марцелл.

Горацио

Друзья страны.

Марцелл

И слуги короля.

Франциско

Прощайте.

Марцелл

До свиданья, старина.
Кто вас сменил?

Франциско

Бернардо на посту.
Прощайте.

(Уходит.)

Марцелл

Эй! Бернардо!

Бернардо

Вот так так!
Гораций здесь!

Горацио

Да, в некотором роде.

Бернардо

Гораций, здравствуй; здравствуй, друг Марцелл.

Марцелл

Ну как, являлась нынче эта странность?

Бернардо

Пока не видел.

Марцелл

Горацио считает это все
Игрой воображенья и не верит
В наш призрак, дважды виденный подряд.
Вот я и предложил ему побыть
На страже с нами нынешнею ночью
И, если дух покажется опять,
Проверить это и заговорить с ним.

Горацио

Да, так он вам и явится!

Бернардо

Присядем,
И разрешите штурмовать ваш слух,
Столь укрепленный против нас, рассказом
О виданном.

Горацио

Извольте, я сажусь.
Послушаем, что скажет нам Бернардо.

Бернардо

Минувшей ночью,
Когда звезда, что западней Полярной,
Перенесла лучи в ту часть небес,
Где и сейчас сияет, я с Марцеллом,
Лишь било час...

Входит Призрак.

Марцелл

Молчи! Замри! Гляди, вон он опять.

Бернардо

Осанкой — вылитый король покойный.

Марцелл

Ты сведущ — обратись к нему, Гораций.

Бернардо

Ну что, напоминает короля?

Горацио

Да как еще! Я в страхе и смятенье!

Бернардо

Он ждет вопроса[1].

Марцелл

Спрашивай, Гораций.

Горацио

Кто ты, без права в этот час ночной
Принявший вид, каким блистал бывало
Похороненный Дании монарх?
Я небом заклинаю, отвечай мне!

Марцелл

Он оскорбился.

Бернардо

И уходит прочь.

Горацио

Стой! Отвечай! Ответь! Я заклинаю!

Призрак уходит.

Марцелл

Ушел и говорить не пожелал.

---

[1] Согласно древнему поверью, призраки не могли заговорить первыми.

Бернардо

Ну что, Гораций? Полно трепетать.
Одна ли тут игра воображенья?
Как ваше мненье?

Горацио

Богом поклянусь:
Я б не признал, когда б не очевидность!

Марцелл

А с королем как схож!

Горацио

Как ты с собой.
И в тех же латах, как в бою с норвежцем,
И так же хмур, как в незабвенный день,
Когда при ссоре с выборными Польши
Он из саней их вывалил на лед.
Невероятно!

Марцелл

В такой же час таким же важным шагом
Прошел вчера он дважды мимо нас.

Горацио

Подробностей разгадки я не знаю,
Но, в общем, вероятно, это знак
Грозящих государству потрясений.

Марцелл

Постойте. Сядем. Кто мне объяснит,
К чему такая строгость караулов,
Стесняющая граждан по ночам?
Чем вызвана отливка медных пушек,
И ввоз оружья из-за рубежа,
И корабельных плотников вербовка,
Усердных в будни и в воскресный день?
Что кроется за этою горячкой,
Потребовавшей ночь в подмогу дню?
Кто объяснит мне это?

Горацио

Постараюсь.
По крайней мере, слух таков. Король,
Чей образ только что предстал пред нами,

Как вам известно, вызван был на бой
Властителем норвежцев Фортинбрасом.
В бою осилил храбрый Гамлет наш,
Таким и слывший в просвещенном мире.
Противник пал. Имелся договор,
Скрепленный с соблюденьем правил чести,
Что вместе с жизнью должен Фортинбрас
Оставить победителю и земли,
В обмен на что и с нашей стороны
Пошли в залог обширные владенья,
И ими завладел бы Фортинбрас,
Возьми он верх. По тем же основаньям
Его земля по названной статье
Вся Гамлету досталась. Дальше вот что.
Его наследник, младший Фортинбрас,
В избытке прирожденного задора
Набрал по всей Норвегии отряд
За хлеб готовых в бой головорезов.
Приготовлений видимая цель,
Как это подтверждают донесенья,—
Насильственно, с оружием в руках,
Отбить отцом утраченные земли.
Вот тут-то, полагаю, и лежит
Важнейшая причина наших сборов,
Источник беспокойства и предлог
К сумятице и сутолоке в крае.

Бернардо

Я думаю, что так оно и есть.
Не зря обходит в латах караулы
Зловещий призрак, схожий с королем,
Который был и есть тех войн виновник.

Горацио

Он как сучок в глазу души моей!
В года́ расцвета Рима, в дни побед,
Пред тем как властный Юлий пал [1], могилы
Стояли без жильцов, а мертвецы
На улицах невнятицу мололи.
В огне комет кровавилась роса,
На солнце пятна появлялись; месяц,
На чьем влияньи зиждет власть Нептун [2],
Был болен тьмой, как в светопреставленье.

---

[1] *Юлий Цезарь* (100—44 годы до н.э.) был убит заговорщиками во главе с Брутом и Кассием (см. трагедию Шекспира «Юлий Цезарь»).
[2] *Нептун* — бог моря в древнеримской мифологии. Горацио говорит о влиянии луны на приливы и отливы моря.

Такую же толпу дурных примет,
Как бы бегущих впереди событья,
Подобно наспех высланным гонцам,
Земля и небо вместе посылают
В широты наши нашим землякам.

Призрак возвращается.

Но тише! Вот он вновь! Остановлю
Любой ценой! Ни с места, наважденье!
О, если только речь тебе дана,
Откройся мне!
Быть может, надо милость сотворить
Тебе за упокой и нам во благо,
Откройся мне!
Быть может, ты проник в судьбу страны
И отвратить ее еще не поздно,
Откройся!
Быть может, ты при жизни закопал
Сокровище, неправдой нажитое,—
Вас, духов, манят клады, говорят,—
Откройся! Стой! Откройся мне!

Поет петух.

Марцелл,
Держи его!

Марцелл

Ударить алебардой?

Горацио

Бей, если увернется.

Бернардо

Вот он!

Горацио

Вот!

Призрак уходит.

Марцелл

Ушел!
Мы раздражаем царственную тень
Открытым проявлением насилья.
Ведь призрак, словно пар, неуязвим,
И с ним бороться глупо и бесцельно.

Бернардо

Он отозвался б, но запел петух.

Горацио

И тут он вздрогнул, точно провинился
И отвечать боится. Я слыхал,
Петух, трубач зари, своею глоткой
Пронзительною будит ото сна
Дневного бога. При его сигнале,
Где б ни блуждал скиталец-дух: в огне,
На воздухе, на суше или в море,—
Он вмиг спешит домой. И только что
Мы этому имели подтвержденье.

Марцелл

Он стал тускнеть при пенье петуха.
Поверье есть, что каждый год, зимою,
Пред праздником Христова рождества
Ночь напролет поет дневная птица.
Тогда, по слухам, духи не шалят,
Все тихо ночью, не вредят планеты
И пропадают чары ведьм и фей,
Так благодатно и священно время.

Горацио

Слыхал и я, и тоже частью верю.
Но вот и утро в розовом плаще
Росу пригорков топчет на востоке.
Пора снимать дозор. И мой совет:
Поставим принца Гамлета в известность
О виденном. Ручаюсь жизнью, дух,
Немой при нас, прервет пред ним молчанье.
Ну как, друзья, по-вашему? Сказать,
Как долг любви и преданность внушают?

Марцелл

По-моему, сказать. Да и к тому ж
Я знаю, где найти его сегодня.

Уходят.

СЦЕНА 2

Там же. Зал для приемов в замке.
Трубы. Входят король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, Вольтманд, Корнелий, придворные и свита.

Король

Хоть смертью брата Гамлета родного
Полна душа и всем нам надлежит

Печалиться, а королевству в скорби
Избороздить морщинами чело,
Но ум иастолько справился с природой,
Что иадо будет сдержаннее впредь
Скорбеть о нем, себя ие забывая.
С тем и решили мы в супруги взять
Сестру и ныие королеву иашу,
Наследиицу воеиных рубежей[1],
Со смешаниыми чувствами печали
И радости, с улыбкой и в слезах.
При этом шаге мы ие погиушались
Содействием советииков, во всем
Нам давших одобренье. Всем спасибо.
Второе. Королевич Фортинбрас,
Не чтя нас ии во что и полагая,
Что после смерти братииной у иас
Развал в страие и всё в разъединеиье,
Возмиил такое о своей звезде,
Что иадоел иам, требуя возврата
Потеряниых отцовых областей,
Которые достал себе по праву
Наш славиый брат. Вот вкратце что о нем.
Теперь о иас и сущности собраиья.
Тут иами извещается в письме
Король норвежцев, дядя Фортинбраса.
По дряхлости едва ли ои слыхал
О замыслах племянника. Мы просим
Пресечь их в корие, так как войско сплошь
Из подданиых его и их содержат
На счет казиы. Письмо мы отдаем
Вам, добрый Вольтимаид, и вам, Корнелий.
Свезите старцу-королю поклои.
Мы вам ие расширяем полномочий.
Держитесь в совещаиьях с иим границ,
Дозволеииых статьями. Поезжайте.
Готовность докажите быстротой.

Кориелий и Вольтиманд

Здесь, как и всюду, мы ее докажем.

Король

Не смеем сомиеваться. Добрый путь!

Вольтнманд н Корнелнй уходят.

---

[1] Клавдий хнтро оправдывает захват престола, как бы мнмоходом называя свою жену Гертруду наследницей н не упомнная о Гамлете.

Итак, Лаэрт, что нового услышим? [1]
Шла речь о просьбе. В чем она, Лаэрт?
С чем дельным вы б ни обратились к трону,
Всегда добьетесь цели. Мы ни в чем
Вам не откажем и пойдем навстречу.
Не больше ладит с сердцем голова,
Для пользы рта не больше служат руки,
Чем датский трон — для вашего отца.
Что вам угодно?

Лаэрт

Дайте разрешенье
Во Францию вернуться, государь.
Я сам оттуда прибыл для участья
В коронованье вашем, но, винюсь,
Меня опять по исполненье долга
Влекут туда и мысли и мечты.
С поклоном хлопочу о дозволенье.

Король

Отец пустил? Что говорит Полоний?

Полоний

Он вымотал мне душу, государь,
И, сдавшись после долгих убеждений,
Я нехотя его благословил.
Благоволите разрешить поездку.

Король

Ищите счастья; в добрый час, Лаэрт.
Как вздумаете, проводите время.
Ну, как наш Гамлет, близкий сердцу сын?

Гамлет
(в сторону)

И даже слишком близкий, к сожаленью.

Король

Опять покрыто тучами лицо?

Гамлет

О нет, напротив: солнечно некстати [2].

---

[1] «Итак, Лаэрт, что нового услышим?»— Клавдий все еще как бы не замечает Гамлета.

[2] «Солнечно некстати».— Тут, как предполагают некоторые комментаторы, скрыт намек на старинную английскую поговорку: «Из благословенного уголка да на теплое солнышко», что соответствует русской поговорке: «Ни кола, ни двора». Гамлет резко отвечает Клавдию, намекая на то, что тот обошел его в правах наследства на престол.

Королева

Ах, Гамлет, полно хмуриться, как ночь!
Взгляии иа короля подружелюбией.
До коих пор, потупивши глаза,
Следы отца разыскивать во прахе?
Так создан мир: что живо, то умрет
И вслед за жизнью в вечность отойдет.

Гамлет

Так создан мир.

Королева

Что ж кажется тогда
Столь редкостной тебе твоя беда?

Гамлет

Не кажется, сударыия, а есть.
Мие «кажется» иеведомы. Ни мрачность
Плаща на мне, ии платья чериота,
Ни хриплая прерывистость дыханья,
Ни слезы в три ручья, ии худоба,
Ни прочие свидетельства страдаиья
Не в силах выразить моей души.
Вот способы казаться, ибо это
Лишь действия, и их легко сыграть,
Моя же скорбь чуждается прикрас
И их не выставляет напоказ.

Король

Приятно видеть и похвальио, Гамлет,
Как отдаешь ты горький долг отцу.
Но твой отец и сам отца утратил,
И так же тот. На иекоторый срок
Обязаниость осиротевших близких
Блюсти печаль. Но утверждаться в ией
С закореиелым рвеиьем — иечестиво.
Мужчииы иедостойиа эта скорбь
И обличает иедостаток веры,
Слепое сердце, пустоту души
И грубый ум без должиого развитья.
Что иеизбежио и в таком ходу,
Как самые обычиые явлеиья,
Благоразумио ль этому, ворча,
Сопротивляться? Это грех пред иебом,
Грех пред умершим, грех пред естеством,
Пред разумом, который примирился
С судьбой отцов и встретил первый труп

И проводил последний восклицаньем:
«Так быть должно!» Пожалуйста, стряхни
Свою печаль и нас считай отныне
Своим отцом. Пусть знает мир, что ты —
Ближайший к трону и к тебе питают
Любовь не меньшей пылкости, какой
Нежнейший из отцов привязан к сыну.
Что до надежд вернуться в Виттенберг [1]
И продолжать ученье, эти планы
Нам положительно не по душе,
И я прошу, раздумай и останься [2]
Пред нами, здесь, под лаской наших глаз,
Как первый в роде, сын наш и сановник.

Королева

Не заставляй меня просить напрасно.
Останься здесь, не езди в Виттенберг!

Гамлет

Сударыня, всецело повинуюсь.

Король

Вот кроткий, подобающий ответ!
Наш дом — твой дом. Сударыня, пойдемте.
Своей сговорчивостью Гамлет внес
Улыбку в сердце, в знак которой ныне
О счете наших здравиц за столом
Пусть облакам докладывает пушка
И гул небес в ответ земным громам
Со звоном чаш смешается. Идемте.

Все, кроме Гамлета, уходят.

Гамлет

О, если б ты, моя тугая плоть,
Могла растаять, сгинуть, испариться!
О, если бы предвечный не занес
В грехи самоубийство! Боже! Боже!
Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих стремленьях!
О мерзость! Как невыполотый сад,
Дай волю травам — зарастет бурьяном,
С такой же безраздельностью весь мир
Заполонили грубые начала.
Как это все могло произойти?
Два месяца, как умер... Двух не будет.

---

[1] *Виттенберг* — старинный университетский город в Германии.
[2] «Раздумай и останься...» — Клавдий не хочет отпускать от себя Гамлета, чтобы наблюдать за ним.

Такой король! Как светлый Аполлон[1]
В сравнении с сатиром[2]. Так ревниво
Любивший мать, что ветрам не давал
Дышать в лицо ей. О земля и небо!
Что поминать! Она к нему влеклась,
Как будто голод рос от утоленья.
И что ж, чрез месяц... Лучше не вникать!
О женщины, вам имя — вероломство!
Нет месяца! И целы башмаки,
В которых гроб отца сопровождала
В слезах, как Ниобея[3]. И она...
О боже, зверь, лишенный разуменья,
Томился б дольше! — замужем! за кем!
За дядею, который схож с покойным,
Как я с Гераклом[4]. В месяц с небольшим!
Еще от соли лицемерных слез
У ней на веках краснота не спала!
Нет, не видать от этого добра!
Разбейся, сердце, молча затаимся.

Входят Горацио, Марцелл и Бернардо.

Горацио

Почтенье, принц!

Гамлет

Рад вас здоровым видеть,
Гораций! Верить ли своим глазам?

Горацио

Он самый, принц, ваш верный раб до гроба.

Гамлет

Какой же раб! Мы попросту друзья.
Что принесло вас к нам из Виттенберга? —
Марцелл — не так ли?

Марцелл

Он, милейший принц...

---

[1] *Аполлон*, или *Феб*,— в древнегреческой мифологии бог солнца, покровитель науки и искусства.

[2] *Сатир* — в древнегреческой мифологии козлоногий горный или лесной дух.

[3] *Ниобея* — в античной мифологии образ безутешной матери, плачущей над своими погибшими детьми.

[4] *Геракл (Геркулес)* — герой античной мифологии, прославившийся физической силой и подвигами.

Гамлет

Я очень рад вас видеть.

(Бернардо.)

Добрый вечер.

(Горацио.)

Что ж вас из Виттенберга принесло?

Горацио

Милейший принц, расположенье к лени.

Гамлет

Ваш враг не отозвался б так о вас,
И вы мне слуха лучше не терзайте
Поклепами на самого себя.
Я знаю вас: ничуть вы не ленивец.
Зачем приехали вы в Эльсинор?
Тут вас научат пьянству.

Горацио

Я приехал
На похороны вашего отца.

Гамлет

Мой друг, не смейтесь надо мной. Хотите
«На свадьбу вашей матери» — сказать?

Горацио

Да, правда, это следовало быстро.

Гамлет

Расчетливость, Гораций! С похорон
На брачный стол пошел пирог поминный.
Врага охотней встретил бы в раю,
Чем снова в жизни этот день изведать!
Отец — о, вот он словно предо мной!

Горацио

Где, принц?

Гамлет

В очах души моей, Гораций.

Горацио

Я видел раз его: краса-король.

Гамлет

Он человек был в полном смысле слова.
Уж мне такого больше не видать!

Горацио

Представьте, принц, он был тут нынче ночью.

Гамлет

Был? Кто?

Горацио

Король, отец ваш.

Гамлет

Мой отец?

Горацио

Спокойнее: сдержите удивленье
И выслушайте. Я вам расскажу —
Меня поддержат эти очевидцы —
Неслыханное что-то.

Гамлет

Поскорей!

Горацио

Подряд две ночи с этими людьми,
Бернардо и Марцеллом, на дежурстве
Средь мертвой беспредельности ночной
Творится вот что. Некто неизвестный,
В вооруженье с ног до головы
И сущий ваш отец, проходит мимо
Державным шагом. Трижды он скользит
Перед глазами их на расстоянье
Протянутой руки, они ж стоят,
Застыв от страха и лишившись речи,
Как громом пораженные, о чем
Рассказывают мне под страшной тайной.
Я стал на стражу с ними в третью ночь,
Где, подтверждая это все дословно,
В такой же час проходит та же тень.
Мне памятен отец ваш. Оба схожи,
Как эти руки.

Гамлет

Где он проходил?

Марцелл

По той площадке, где стоит охрана.

Гамлет

Вы с ним не говорили?

Горацио

Говорил,
Но без успеха. Впрочем, на мгновеиье
По повороту плеч и головы
Я заключил, что он не прочь ответить,
Но в это время закричал петух,
И он при этом звуке отшатнулся
И скрылся с глаз.

Гамлет

Я слов не нахожу!

Горацио

Ручаюсь жизнью, принц, что это правда,
И мы за долг сочли вас известить.

Гамлет

Да, да, все так. Сейчас я успокоюсь.
Кто иочью в карауле?

Марцелл и Бериардо

Мы, милорд.

Гамлет

Ои был вооружен?

Марцелл и Бериардо

В оружье.

Гамлет

В полном?

Марцелл и Бернардо

Во всем.

Гамлет

И вы ие видели лица?

Горацио

Нет, как же,— шлем был с поднятым забралом.

Гамлет

И что ж, он хмурил брови?

Горацио

Нет, смотрел
Скорей с тоской, чем с гневом.

Гамлет

Он был бледен
Иль красен от волненья?

Горацио

Бел как снег.

Гамлет

И не сводил с вас глаз?

Горацио

Ни на минуту.

Гамлет

Жаль, не видал я!

Горацио

Вас бы дрожь взяла.

Гамлет

Все может быть. И что ж, он долго пробыл?

Горацио

Я мог легко бы дó ста досчитать.

Марцелл и Бернардо

Нет, дольше, дольше.

Горацио

Нет, при мне не дольше.

Гамлет

С седою бородою?

Горацио

Не совсем.
С едва посеребренной, как при жизни.

Гамлет

Я стану с вами на ночь. Может статься,
Он вновь придет.

Горацио

Придет иаверияка.

Гамлет

И если примет виовь отцовский образ,
Я с иим заговорю, хотя бы ад,
Восстав, зажал мие рот. А к вам есть просьба.
Как вы скрывали случай до сих пор,
Так точио и вперед его таите,
И, что бы ни случилось в эту иочь,
Доискивайтесь смысла, но молчите.
За дружбу отплачу. Храии вас бог!
А около двеиадцати я выйду
И иавещу вас.

Все

Ваши слуги, приии.

Гамлет

Не слуги, а теперь друзья. Прощайте.

Все, кроме Гамлета, уходят.

Отцовский призрак в латах! Быть беде!
Обмаи какой-то. Только бы стемиело!
Терпи, душа! — Засыпь хоть всей землею
Деяиья темиые, их тайный след
Поздией иль раиьше выступит иа свет.

Уходит.

СЦЕНА 3

Там же. Комиата в доме Полоиия.
Входят Лаэрт и Офелия.

Лаэрт

Мешки иа корабле. Прощай, сестра.
Пообещай ие упускать оказий
И при попутном ветре ие леиись
И вести шли.

Офелия

Не сомиевайся в этом.

Лаэрт

А Гамлета ухаживаиья — вздор.
Считай их блажью, шалостями крови,
Фиалкою, расцветшей в холода,

Недолго радующей, обреченной,
Благоуханьем мига, и того
Не более.

Офелия

Не более?

Лаэрт

Не боле.
Рост жизни не в одном развитье мышц.
По мере роста тела, в нем, как в храме,
Растет служенье духа и ума.
Пусть любит он сейчас без задних мыслей,
Ничем еще не запятнавши чувств.
Подумай, кто он, и проникнись страхом.
По званью он себе не господин.
Он сам в плену у своего рожденья.
Не вправе он, как всякий человек,
Стремиться к счастью. От его поступков
Зависит благоденствие страны.
Он ничего не выбирает в жизни,
А слушается выбора других
И соблюдает пользу государства.
Поэтому пойми, каким огнем
Играешь ты, терпя его признанья,
И сколько примешь горя и стыда,
Когда ему поддашься и уступишь.
Страшись, сестра; Офелия, страшись,
Остерегайся, как чумы, влеченья,
На выстрел от взаимности беги.
Уже и то нескромно, если месяц
На девушку засмотрится в окно.
Оклеветать нетрудно добродетель.
Червь бьет всего прожорливей ростки,
Когда на них еще не вскрылись почки,
И ранним утром жизни, по росе,
Особенно прилипчивы болезни.
Пока наш нрав не искушен и юн,
Застенчивость — наш лучший опекун.

Офелия

Я смысл ученья твоего поставлю
Хранителем души. Но, милый брат,
Не поступай со мной, как лживый пастырь,
Который хвалит нам тернистый путь
На небеса, а сам, вразрез советам,
Повесничает на стезях греха
И не краснеет.

Лаэрт

За меня не бойся.
Но что ж я медлю? Вот и наш отец.

Входит Полоний.

Вдвойне благословиться — дважды благо.
Опять проститься новый случай нам.

Полоний

Всё тут, Лаэрт? В путь, в путь! Стыдился б,
право!
Уж ветер выгнул плечи парусов,
А сам ты где? Стань под благословенье
И заруби-ка вот что на носу:
Заветным мыслям не давай огласки,
Несообразным — ходу не давай.
Будь прост с людьми, но не запанибрата.
Проверенных и лучших из друзей
Приковывай стальными обручами,
Но до мозолей рук не натирай
Пожатьями со встречными. Старайся
Беречься драк, а сцепишься — берись
За дело так, чтоб береглись другие.
Всех слушай, но беседуй редко с кем.
Терпи их суд и прячь свои сужденья.
Рядись, во что позволит кошелек,
Но не франти — богато, но без вычур.
По платью познается человек,
Во Франции ж на этот счет средь знати
Особенно хороший глаз. Смотри
Не занимай и не ссужай. Ссужая,
Лишаемся мы денег и друзей,
А займы притупляют бережливость.
Всего превыше: верен будь себе.
Тогда, как утро следует за ночью,
Последует за этим верность всем.
Прощай, запомни все и собирайся.

Лаэрт

Почтительно откланяться осмелюсь.

Полоний

Давно уж время. Слуги заждались.

Лаэрт

Прощай, Офелия, и твердо помни,
О чем шла речь.

Офелия

Замкну в душе, а ключ
Возьми с собой.

Лаэрт

Счастливо оставаться!
(Уходит.)

Полоний

О чем шла речь, Офелия, у вас?

Офелия

Предмет — принц Гамлет, если вам угодно.

Полоний

Ах, вот как? Это кстати. Я слыхал,
Он очень зачастил к тебе как будто?
А также избалован, говорят,
Твоим вниманьем? Если это правда —
А так передавали мне как раз,
Чтоб остеречь меня,— сказать я должен,
Ведешь себя ты далеко не так,
Как спросится с твоей дочерней чести.
Что между вами? Только не хитри.

Офелия

Со мной не раз он в нежности пускался
В залог сердечной дружбы.

Полоний

Каково!
В залог сердечной дружбы! Что ты смыслишь
В таких вещах! А как ты отнеслась
К его, как ты их назвала, залогам?

Офелия

Не знаю я, что думать мне о них.

Полоний

Так вот, я научу: во-первых, думай,
Что ты — дитя, принявши их всерьез,
И требуй впредь залогов подороже.
А то, сведя все это в каламбур,
Под свой залог останешься ты в дурах.

Офелия

Отец, он предлагал свою любовь
С учтивостью.

Полоний

С учтивостью! Подумай!

Офелия

И в подтвержденье слов своих всегда
Мне клялся чуть ли не святыми всеми.

Полоний

Силки для птиц! Пока играла кровь,
И я на клятвы не скупился, помню.
Нет, эти вспышки не дают тепла,
Слепят на миг и гаснут в обещанье.
Не принимай их, дочка, за огонь.
Будь поскупей на будущее время.
Пускай твоей беседой дорожат.
Не торопись навстречу, только кликнут.
А Гамлету верь только в том одном,
Что молод он и меньше в поведенье
Стеснен, чем ты; точней — совсем не верь.
А клятвам и подавно. Клятвы — лгуньи.
Не то они, чем кажутся извне.
Они, как опытные надувалы,
Нарочно дышат кротостью святош,
Чтоб обойти тем легче. Повторяю,
Я не хочу, чтоб на тебя вперед
Бросали тень хотя бы на минуту
Беседы с принцем Гамлетом. Ступай.
Смотри не забывай!

Офелия

Я повинуюсь.

Уходит.

СЦЕНА 4

Там же. Площадка перед замком.
Входят Гамлет, Горацио и Марцелл.

Гамлет

Пощипывает уши. Страшный холод!

Горацио

Лицо мне ветер режет, как в мороз.

Гамлет

Который час?

Горацио

Без малого двенадцать.

Марцелл

Нет. С лишним. Било.

Горацио

Било? Не слыхал.
Тогда, пожалуй, наступает время,
В которое всегда являлась тень.

Трубы, пушечные выстрелы за сценой.

Что это значит, принц?

Гамлет

Король не спит и пляшет до упаду [1],
И пьет и бражничает до утра.
И чуть осушит новый кубок с рейнским,
Об этом сообщает гром литавр,
Как о победе.

Горацио

Это что ж — обычай?

Гамлет

К несчастью, да — обычай, и такой,
Который лучше было б уничтожить,
Чем сохранять. Такие кутежи,
Расславленные на восток и запад,
Покрыли нас стыдом в чужих краях.
Там наша кличка — пьяницы и свиньи,
И это отнимает не шутя
Какую-то существенную мелочь
У наших дел, достоинств и заслуг.
Бывает и с отдельным человеком,
Что, например, родимое пятно,
В котором он невинен, ибо, верно,

---

[1] «Пляшет до упаду...» — В подлиннике приведено название этого танца, которое красноречиво говорит за себя: «Прыгай!» Когда женщины удалялись с пира, мужчины начинали танцевать, т. е. попросту скакать кто как умел.

Родителей себе не выбирал,
Иль странный склад души, перед которым
Сдается разум, или недочет
В манерах, оскорбляющий привычки,—
Бывает, словом, что пустой изъян,
В роду ли, свой ли, губит человека
Во мненье всех, будь доблести его,
Как милость божья, чисты и несметны.
А все от этой глупой капли зла,
И сразу все добро идет насмарку.
Досадно ведь.

Горацио

Смотрите, принц, вот он!

Входит Призрак.

Гамлет

Святители небесные, спасите!
Благой ли дух ты или ангел зла,
Дыханье рая, ада ль дуновенье,
К вреду иль пользе помыслы твои,
Я озадачен так твоим явленьем,
Что требую ответа. Отзовись
На эти имена: отец мой, Гамлет,
Король, властитель датский, отвечай!
Не дай пропасть в неведенье. Скажи мне,
Зачем на преданных земле костях
Разорван саван? Отчего гробница,
Где мы в покое видели твой прах,
Разжала с силой челюсти из камня,
Чтоб выбросить тебя? Чем объяснить,
Что, бездыханный труп, в вооруженье,
Ты движешься, обезобразив ночь,
В лучах луны, и нам, простейшим смертным,
Так страшно потрясаешь существо
Загадками, которым нет разгадки?
Скажи, зачем? К чему? Что делать нам?

Призрак манит Гамлета.

Горацио

Он подал знак, чтоб вы с ним удалились,
Как будто хочет что-то сообщить
Вам одному.

Марцелл

Смотрите, как упорно
Он вас зовет подальше, в глубину.
Но не ходите.

Горацио

Ни за что на свете!

Гамлет

А здесь он не ответит. Я пойду.

Горацио

Не надо, принц!

Гамлет

Ну вот! Чего бояться?
Я жизнь свою в булавку не ценю.
А чем он для души моей опасен,
Когда она бессмертна, как и он?
Он снова манит. Подойду поближе.

Горацио

А если он заманит вас к воде
Или на выступ страшного утеса,
Нависшего над морем, и на нем
Во что-нибудь такое превратится,
Что вас лишит рассудка и столкнет
В безумие? Подумайте об этом.
На той скале и без иных причин
Шалеет всякий, кто увидит море
Под крутизной во столько саженей,
Ревущее внизу.

Гамлет

Он снова манит.
Ступай! Иду!

Марцелл

Не пустим!

Гамлет

Руки прочь!

Горацио

Опомнитесь! Не надо.

Гамлет

Это — голос
Моей судьбы, и он мне, словно льву,
Натягивает мышцы тетивою.

Призрак манит.

Все манит он. Дорогу, господа!

(Вырывается от них.)

Я в духов превращу вас, только троньте!
Прочь, сказано! — Иди. Я за тобой.

Призрак и Гамлет уходят.

Горацио

Теперь он весь во власти исступленья.

Марцелл

Пойдем за ним. Так оставлять нельзя.

Горацио

Скорей за ними вслед! К чему все это?

Марцелл

Какая-то в державе датской гниль.

Горацио

Бог не оставит Дании.

Марцелл

Идемте.

Уходят.

СЦЕНА 5

Там же. Более отдаленная часть площадки.
Входят Призрак и Гамлет.

Гамлет

Куда ведешь? Я дальше не пойду.

Призрак

Следи за мной.

Гамлет

Слежу.

Призрак

Настал тот час,
Когда я должен пламени геенны
Предать себя на муку.

Гамлет

Бедный дух!

Призрак

Не сожалей, но вверься всей душою
И выслушай.

Гамлет

Внимать тебе — мой долг.

Призрак

И отомстить, когда ты все услышишь.

Гамлет

Что?

Призрак

Я дух родного твоего отца,
На некий срок скитаться осужденный
Ночной порой, а днем гореть в огне,
Пока мои земные окаянства
Не выгорят дотла. Мне не дано
Касаться тайн моей тюрьмы. А то бы
От слов легчайших повести моей
Зашлась душа твоя и кровь застыла,
Глаза, как звезды, вышли из орбит
И кудри отделились друг от друга,
Поднявши дыбом каждый волосок,
Как иглы на взбешенном дикобразе.
Но вечность — звук не для земных ушей.
О, слушай, слушай, слушай! Если только
Ты впрямь любил когда-нибудь отца...

Гамлет

О боже мой!

Призрак

Отмсти за подлое его убийство.

Гамлет

Убийство?

Призрак

Да, убийство из убийств,
Как ни бесчеловечны все убийства.

Гамлет

Рассказывай, чтоб я на крыльях мог
Со скоростью мечты и страстной мысли
Пуститься к мести.

Призрак

Вижу, ты готов.
И кто б ты был? Болотной сонной ряской
В стоячих водах Леты[1], если б тут
Не всколыхнулся. Значит, слушай, Гамлет.
Объявлено, что спящего в саду
Меня змея ужалила. Датчане
Бесстыдной ложью введены в обман.
Ты должен знать, мой мальчик благородный,
Змея — убийца твоего отца —
В его короне.

Гамлет

О, мои прозренья!
Мой дядя?

Призрак

Да.
Кровосмеситель и прелюбодей,
Врожденным даром хитрости и лести
(Будь прокляты дары, когда от них
Такой соблазн!) увлекший королеву
К постыдному сожительству с собой.
Какое здесь паденье было, Гамлет!
От возвышающей моей любви,
Все годы шедшей об руку с обетом,
Ей данным при венчанье,— к существу,
Чьи качества природные ничтожны
Перед моими!
Но так же, как не дрогнет добродетель,
Каких бы чар ни напускал разврат,
Так похоть даже в ангельских объятьях
Пресытится блаженством и начнет
Жрать падаль...
Но тише! Ветром утренним пахнуло.
Потороплюсь. Когда я спал в саду
В свое послеобеденное время,

[1] *Лета* — в древнегреческой мифологии река подземного царства (Аида), в котором обитают души умерших; река забвения.

В мой уголок прокрался дядя твой
С проклятым соком белены во фляге
И мне в ушную полость влил настой,
Чье действие в таком раздоре с кровью,
Что мигом обегает, словно ртуть,
Все внутренние переходы тела,
Створаживая кровь, как молоко,
С которым каплю уксуса смешали.
Так было и с моей. Сплошной лишай
Покрыл мгновенно пакостной и гнойной
Коростой, как у Лазаря [1], кругом
Всю кожу мне.
Так был рукою брата я во сне
Лишен короны, жизни, королевы;
Так был подрезан в цвете грешных дней,
Не причащен и миром не помазан;
Так послан второпях на Страшный суд
Со всеми преступленьями на шее.
О ужас, ужас, ужас! Если ты —
Мой сын, не оставайся равнодушным.
Не дай постели датских королей
Служить кровосмешенью и распутству!
Однако, как бы ни сложилась месть,
Не оскверняй души и умышленьем
Не посягай на мать. На то ей бог
И совести глубокие уколы.
Теперь прощай. Пора. Смотри, светляк,
Встречая утро, убавляет пламя.
Прощай, прощай и помни обо мне.

(Уходит.)

Гамлет

О небо! О земля! Кого в придачу?
Быть может, ад? Стой, сердце! Сердце, стой!
Не подгибайтесь подо мною, ноги!
Держитесь прямо! Помнить о тебе?
Да, бедный дух, пока есть память в шаре
Разбитом этом. Помнить о тебе?
Я с памятной доски сотру все знаки
Чувствительности, все слова из книг,
Все образы, всех былей отпечатки,
Что с детства наблюденье занесло,
И лишь твоим единственным веленьем
Весь том, всю книгу мозга испишу,

---

[1] «Как у Лазаря...» — Лазарями — именем, заимствованным из евангельской легенды, в эпоху Шекспира называли больных проказой.

Без низкой смеси. Да, как перед богом!
О женщина-злодейка! О подлец!
О низость, низость с низкою улыбкой!
Где грифель мой? Я это запишу,
Что можно улыбаться, улыбаться
И быть мерзавцем. Если не везде,
То, достоверно, в Дании.

(Пишет.)

Готово, дядя. А теперь девиз мой:
«Прощай, прощай и помни обо мне».
Я в том клянусь.

Горацио и Марцелл
(за сценой)
Принц! Принц!

Марцелл
(за сценой)
Принц Гамлет!

Горацио
(за сценой)
Небо
Да сохранит его!

Гамлет
Да будет так.

Горацио
(за сценой)
Ого-го-го, ого-го-го, милорд!

Гамлет
Ого-го-го, сюда, мои родные!

Входят Горацио и Марцелл.

Марцелл
Ну как, милорд?

Горацио
Что нового, милорд?

Гамлет
Непостижимо!

Горацио

Что?

Гамлет

Проговоритесь.

Горацио

Нет, никогда, милорд.

Марцелл

Нет, никогда.

Гамлет

Ну хорошо. Итак, кто б мог подумать...
Но это между нами?

Горацио и Марцелл

Видит бог.

Гамлет

Нет в Дании такого негодяя,
Который дряныо не был бы притом[1].

Горацио

Нет надобности в духах из могилы
Для истин вроде этой.

Гамлет

Спору нет.
Итак, без околичностей, давайте
Пожмем друг другу руки и пойдем.
Вы — по своим делам или желаньям,—
У всех свои желанья и дела,—
Я — по своим: точней — бедняк отпетый,
Пойду молиться.

Горацио

Это только вихрь
Бессвязных слов, милорд.

Гамлет

Он вам обиден?
Простите.

[1] «Нет в Данин такого негодяя, который дряныо не был бы прн том».— Гамлет хотел сказать: «Как Клавднй», но вдруг вспомннл, какую важную он выдает тайну, оборвал речь и закончнл ее ннчего не значащей фразой.

Горацио

В этом преступленья нет.

Гамлет

Нет, преступленье налицо, Гораций,
Клянусь Патриком![1] Должен вам сказать,
Что это дух, вполне достойный веры.
Желание узнать о нем полней
Вы пересильте. А теперь, собратья,
Товарищи по школе и мечу,—
Большая просьба.

Горацио

С радостью исполним.

Гамлет

О происшедшем, чур, не говорить.

Горацио и Марцелл

Не скажем, принц.

Гамлет

Клянитесь в этом.

Горацио

Честью
Клянусь, не скажем!

Марцелл

Честию клянусь!

Гамлет

Вот меч — клянитесь[2].

Марцелл

Мы уж дали клятву.

Гамлет

Нет, поклянитесь на моем мече.

Призрак

(из-под сцены)

Клянитесь!

---

[1] «Клянусь Патриком!» — Согласно официальной версии, отец Гамлета умер от укуса змеи. По церковной легенде, святой Патрик изгнал змей из Ирландии. Вспомнив о Патрике, Гамлет клянется уничтожить змею — Клавдия.
[2] Клятва на мече, восходящая к древнейшим временам, считалась особенно священной.

Гамлет

Ага, старик, и ты того же мненья?
Вы слышите, что вам он говорит?
Извольте ж клясться.

Горацио

В чем же нам поклясться?

Гамлет

Клянитесь никогда не говорить
О виденном. Ладонь на меч!

Призрак

(из-под сцены)

Клянитесь!

Гамлет

Hic et ubique?[1] Перейдем сюда,
И вновь на рукоятку ваши руки.
Клянитесь никогда не говорить
О слышанном. Ладонь на меч!

Призрак

(из-под сцены)

Клянитесь!

Гамлет

Ты, старый крот? Как скор ты под землей!
Уж подкопался? Переменим место.

Горацио

О день и ночь! Вот это чудеса!

Гамлет

Как к чудесам, вы к ним и отнеситесь.
Гораций, много в мире есть того,
Что вашей философии не снилось.
Но к делу. Вновь клянитесь, если вам
Спасенье мило, как бы непонятно
Я дальше ни повел себя, кого
Ни пожелал изображать собою,
Вы никогда при виде этих штук

---

[1] «Hic et ubique» — «Здесь и повсюду» *(лат.)*. Согласно поверью, духи могли одновременно появляться во многих местах.

Вот эдак рук не скрестите, вот эдак
Не покачнете головой, вот так
Не станете цедить с мудреным видом:
«Кто-кто, а мы...», «Могли б, да не хотим»,
«Приди охота...», «Мы бы рассказали»,
Того не делать и не намекать,
Что обо мне разведали вы что-то,—
Вот в чем клянитесь, и да будет бог
На помощь вам.

Призрак
(из-под сцены)

Клянитесь!

Гамлет

Успокойся,
Мятежный дух! А дальше, господа,
Себя с любовью вам препоручаю.
Все, чем возможно дружбу доказать,
Бедняк, как Гамлет, обещает сделать
Поздней, бог даст. Пойдемте вместе все.
И пальцы на губах — напоминаю.
Порвалась дней связующая нить.
Как мне обрывки их соединить!
Пойдемте вместе.

Уходят.

АКТ II

СЦЕНА 1

Эльсинор. Комната в доме Полония.
Входят Полоний и Рейнальдо.

Полоний

Вот деньги и письмо к нему, Рейнальдо.

Рейнальдо

Вручу, милорд.

Полоний

Да было б хорошо
До вашего свидания, голубчик,
Разнюхать там, как он себя ведет.

Рейнальдо

Я это сам хотел, милорд.

Полоний

Похвально.
Весьма похвально. Видите, дружок,
Сперва спросите про датчан в Париже,
Со средствами ль, кто родом, где стоят
И в дружбе с кем, и если б вдруг открылось,
Что сына знают, от обиняков
Переходите прямо в наступленье,
Не подавая вида. Например,
Скажите тоном дальнего знакомства:
«Я знал его друзей, встречал отца,
Знаком отчасти и с самим». Понятно?

Рейнальдо

Вполне, милорд.

Полоний

«Отчасти и с самим.
Хотя,— спешите вставить,— очень мало.
Но если это тот же шалопай,
То так и так». И врите, как на мертвых,
Про что угодно, кроме сумасбродств,
Вредящих чести. Это бог избави.
Про все же разновидности проказ,
Сопутствующих росту и свободе,—
Пожалуйста!

Рейнальдо

К примеру про игру?

Полоний

Пожалуйста. Про пьянство, драки, ругань
И дебоширство, даже и про то.

Рейнальдо

Милорд, не повредило б это чести!

Полоний

Зачем? Все дело — соус, как подать.
Не обвиняйте в чем-нибудь чрезмерном,
Что было б грубой крайностью. Зачем?
Наоборот, вы так представьте дело,
Чтоб промахи его приобрели

Налет огня, оттенок своеволья
И вид ребяческого озорства,
Простительные всем.

Р е й н а л ь д о

Но я осмелюсь...

П о л о н и й

Спросить, к чему все это?

Р е й н а л ь д о

Да, милорд.
К чему все это?

П о л о н и й

Вот мои расчеты.
Такие речи бьют наверняка.
Когда вы вскользь запачкаете сына,
Как за работой мажут рукава,
Ваш собеседник тотчас согласится
И, если тоже замечал за ним
Подобные проделки, непременно
Прервет вас, скажем, на такой манер:
«Сэр», скажет он, иль «друг мой», или «сударь»,
Смотря по званью, и откуда сам,
И как воспитан.

Р е й н а л ь д о

Совершенно верно.

П о л о н и й

И вот тогда, тогда-то вот, тогда...
Что это я хотел сказать? Клянусь святым причастием, я что-то хотел сказать. На чем я остановился?

Р е й н а л ь д о

На «он прервет вас, скажем...»

П о л о н и й

Да, прервет.
Ага, прервет, прервет... «Да,— скажет он,—
Я знаю молодого человека.
Он был вчера или позавчера
С таким-то и таким-то там и там-то.
Играли в мяч, он был порядком пьян
И кончил дракой». Или: «Я свидетель,
Как ходит он в один зазорный дом
И предается буйству», и так дале.
На удочку насаживайте ложь

И подцепляйте правду на приманку.
Так все мы, люди дальнего ума,
Издалека, обходом, стороною
С кривых путей выходим на прямой.
Рекомендую с сыном тот же способ.
Ну, поняли? Понятно?

Рейнальдо

Да, милорд.

Полоний

Желаю здравствовать...

Рейнальдо

Милорд мой добрый!

Полоний

Пускай не замечает, что следят.

Рейнальдо

О нет, милорд.

Полоний

И музыки уроки
Пускай берет.

Рейнальдо

Понятно.

Полоний

Добрый путь!

Рейнальдо уходит. Входит Офелия.

Офелия! Что скажешь?

Офелия

Боже правый!
Я вся дрожу от страха!

Полоний

Отчего?
Господь с тобой!

Офелия

Я шила. Входит Гамлет,
Без шляпы, безрукавка пополам,
Чулки до пяток, в пятнах, без подвязок,
Трясется так, что слышно, как стучит

Коленка о коленку, так растерян,
Как будто был в аду и прибежал
Порассказать об ужасах геенны.

Полоний

От страсти обезумел? [1]

Офелия

Не скажу,
Но опасаюсь

Полоний

Что же говорит он?

Офелия

Он сжал мне кисть и отступил на шаг,
Руки не разжимая, а другую
Поднес к глазам и стал из-под нее
Рассматривать меня, как рисовальщик.
Он долго изучал меня в упор,
Тряхнул рукою, трижды поклонился
И так вздохнул из глубины души,
Как будто бы он испустил пред смертью
Последний вздох. А несколько спустя
Разжал ладонь, освободил мне руку
И прочь пошел, смотря через плечо.
Он шел, не глядя пред собой, и вышел,
Назад оглядываясь, через дверь,
Глаза все время на меня уставив.

Полоний

Пойдем со мной, отыщем короля.
Здесь явный взрыв любовного безумья,
В неистовствах которого подчас
Доходят до отчаянных решений.
Но таковы все страсти под луной,
Играющие нами. Очень жалко!
Ты не была с ним эти дни резка?

---

[1] «От страсти обезумел?» — Гамлет, как бы предчувствуя, что Офелия станет невольным орудием в руках его врагов, пришел навсегда проститься с ней. Ради долга он жертвует своим личным счастьем. Полоний же, как и сама Офелия, думает, что Гамлет просто влюблен. В ту эпоху чувства проявлялись бурно. В комедии Шекспира «Как вам это понравится» (акт III, сцена 2) Розалинда перечисляет «признаки» влюбленного: «Ввалившиеся щеки... неподстриженная бородка... чулки без подвязок, шляпа без ленты, расстегнутые рукава, незашнурованные башмаки — все выражает безразличие к себе и отчаяние».

Офелия

Нет, кажется, но, помня наставленье.
Не принимала больше ни его,
Ни писем от него.

Полоний

Вот он и спятил!
Жаль, что судил о нем я сгоряча[1].
Я полагал, что Гамлет легкомыслен.
По-видимому, я перемудрил.
Но, видит бог, излишняя забота —
Такое же проклятье стариков,
Как беззаботность — горе молодежи.
Идем и все расскажем королю.
В иных делах стыдливость и молчанье
Вреднее откровенного признанья.
Идем.

СЦЕНА 2[2]

Там же. Комната в замке.
Входят король, королева, Розенкранц, Гильденстерн[3] и свита.

Король

Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн!
Помимо жажды видеть вас пред нами,
Заставила вас вызвать и нужда.
До вас уже дошла, наверно, новость,
Как изменился Гамлет. Не могу
Сказать иначе — так неузнаваем
Он внутренне и внешне. Не пойму,
Какая сила сверх отцовой смерти
Произвела такой переворот
В его душе. Я вас прошу обоих,
Как сверстников его, со школьных лет
Узнавших коротко его характер,

---

[1] «Жаль, что судил о нем я сгоряча».— Полоний, конечно, тайно ликует при мысли, что дочь его может стать женой принца, а впоследствии — королевой.

[2] Сцена 2.— На этом заканчивается деление на акты и сцены в издании 1623 года. В более ранних изданиях «Гамлета» (1603, 1604 — 1605, 1609, 1611) вообще нет актов и сцен. В театре времен Шекспира не было ни антрактов, ни даже коротких остановок, поскольку декораций почти не существовало. Действие шло беспрерывным потоком. «Гамлет» впервые был полностью разделен на акты и сцены лишь в 1676 году, т. е. через шестьдесят лет после смерти Шекспира.

[3] *Розенкранц, Гильденстерн.*— Как указал Гёте, Шекспир не случайно вывел здесь не одного, а двух совершенно похожих друг на друга людей: этим Шекспир дает понять зрителю, что у королевского трона приютилось множество таких людей, как Розенкранц и Гильденстерн.

Пожертвовать досугом и провесть
Его у нас. Рассейте скуку принца
Увеселеньями — и стороной,
Как только будет случай, допытайтесь,
Какая тайна мучает его
И нет ли от нее у нас лекарства.

Королева

Он часто вспоминал вас, господа.
Я больше никого не знаю в мире,
Кому б он был так предан. Если вам
Не жалко будет выказать любезность
И ваше время можно посвятить
Надежде нашей и ее поддержке,
Приезд ваш будет нами награжден
По-королевски.

Розенкранц

У величеств ваших
Вполне довольно августейших прав,
Чтоб волю изъявлять не в виде просьбы,
А в повеленье.

Гильденстерн

И, однако, мы,
Горя повиновеньем, повергаем
Свою готовность к царственным стопам
И ждем распоряжений.

Король

Спасибо, Розенкранц и Гильденстерн.

Королева

Спасибо, Гильденстерн и Розенкранц.
Пожалуйста, пройдите тотчас к сыну.
Он так переменился! Господа,
Пусть кто-нибудь их к Гамлету проводит.

Гильденстерн

Дай бог, чтоб наше общество полней
Пошло ему на пользу!

Королева

Бог на помощь.

Розенкранц, Гильденстерн и некоторые из свиты уходят.
Входит Полоний.

Полоний

Послы благополучно, государь,
Вернулись из Норвегии.

Король

Ты был всегда отцом благих вестей.

Полоний

Был, государь, не так ли? И останусь.
Я долг привык блюсти пред королем,
Как соблюдаю душу перед богом.
И знаете, что я вам доложу?
Что либо этот мозг уж не годится
В охотничьи ищейки, либо я
Узнал причину Гамлетовых бредней.

Король

О, не тяни! Не терпится узнать.

Полоний

Сперва аудиенцию посольству,
А мой секрет — на сладкое к нему.

Король

Так сделай милость, выйди к ним навстречу.

Полоний уходит.

Он говорит, Гертруда, что нашел,
На чем ваш сын несчастный помешался.

Королева

Причина, к сожалению, одна:
Смерть короля и спешность нашей свадьбы.

Король

Увидим сами.

Возвращается Полоний с Вольтимандом и Корнелием.

Здравствуйте, друзья!

Что, Вольтиманд, наш брат — король норвежский?

Вольтиманд

Благодарит и вам желает благ.
Набор охотников приостановлен.
Он до сих пор казался королю
Военной подготовкой против Польши,
Но прикрывал, как понял он, удар
По вашему величеству. Увидев,
Что век его и слабость и болезнь
Обмануты племянником, он вызвал

Его приказом. Фортинбрас пришел,
От дяди получил головомойку
И дал, раскаясь, клятву никогда
На вас, милорд, не подымать оружья.
На радостях растроганный старик
Дает ему три тысячи годичных
И право двинуть набранных солдат
В поход на Польшу. В приложенье — просьба,

(подает бумагу)

Чтоб вы благоволили дать войскам
Свободный пропуск чрез свои владенья
Под верное ручательство, статьи
Которого изложены особо.

Король

Весьма довольны положеньем дел.
Вчитаемся подробней на досуге
И, обсудив, придумаем ответ.
Благодарим за рвенье. Отдохните.
А вечером пожалуйте на пир.
До скорой встречи!

Вольтиманд и Корнелий уходят.

Полоний

С этим развязались.
Вдаваться, государи, в спор о том,
Что есть король и слуги и что время
Есть время, день есть день и ночь есть ночь,—
Есть трата времени и дня и ночи.
Итак, раз краткость есть душа ума,
А многословье — тело и прикрасы,
То буду сжат. Ваш сын сошел с ума.
С ума, сказал я, ибо сумасшедший
И есть лицо, сошедшее с ума.
Но по боку.

Королева

Дельней, да безыскусней.

Полоний

Здесь нет искусства, госпожа моя.
Что он помешан — факт. И факт, что жалко.
И жаль, что факт. Дурацкий оборот.
Но все равно. Я буду безыскусен.
Допустим, он помешан. Надлежит
Найти причину этого эффекта,

Илн дефекта, нбо сам эффект
Благодаря прнчине дефективен.
А то, что надо, в том н есть нужда.
Что ж вытекает?
Я дочь нмею, ибо дочь — моя.
Вот что дала мне дочь нз послушанья.
Судите и внимайте, я прочту.

(Читает.)

«Небесной, ндолу души моей, ненаглядной Офелии». Это плохое выраженье, избнтое выраженье: «ненаглядной» — избитое выраженье. Но слушайте дальше. Вот. *(Читает.)* «На ее дивную белую грудь этн...» — и тому подобное.

Королева

Ей это Гамлет пишет?

Полоний

Миг терпенья.
Я по порядку, госпожа моя.

(Читает.)

«Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что правда где-то,
Но верь любви моей.

О дорогая Офелия, не в ладах я со стихосложеньем. Вздыхать в рифму — не моя слабость. Но что я крепко люблю тебя, о моя хорошая, верь мне. Прощай. Твой навекн, драгоценнейшая, пока цела эта машнна. Гамлет».

Вот что мне дочь дала из послушанья,
А также рассказала на словах,
Когда по временн и где по месту
Любезничал он с ней.

Король

Как прнняла
Она его любовь?

Полонний

Какого мненья
Вы обо мне?

Король

Вы чести образец
И преданности.

Полоний

Рад бы оказаться.
Какого ж мненья были б вы, когда,
Застигнув эту страсть в ее зачатке —
А я ее, признаться, разглядел
Скорей, чем дочь,— какого мненья были б
Вы, государыня, вы, государь,
Когда б я терпеливее бумаги
Сквозь пальцы стал смотреть на эту страсть
И сделал сердцу знак молчать? Какого
Вы были б мненья? Нет, я напрямик
Немедленно сказал своей девице:
«Лорд Гамлет — принц, тебе он не чета.
Тому не быть», и сделал ей внушенье
Замкнуться крепче от него на ключ,
Гнать посланных и возвращать подарки.
Она меня послушалась, и что ж:
Отвергнутый, чтоб выразиться вкратце,
Он впал в тоску, утратил аппетит,
Утратил сон, затем утратил силы,
А там из легкого расстройства впал
В тяжелое, в котором и бушует,
На горе всем.

Король

Вы тех же мыслей?

Королева

Да.
Правдоподобно.

Полоний

Назовите случай,
Когда б я утверждал, что это так,
А было б по-иному.

Король

Не припомню.

Полоний

(показывая на свою голову и плечи)

Я это дам от этого отсечь,
Что прав и ныне. С нитью путеводной
Я под землей до правды доберусь.

Король

Как это нам проверить?

Полоний

Очень просто.
Он бродит тут часами напролет
По галерее.

Королева

Совершенно верно.

Полоний

Я дочь к нему направлю в этот час,
А мы вдвоем за занавеску станем.
Увидите их встречу. Если он
Не любит дочь и не любовью болен,
Я больше не советник, а держу
Заезжий двор.

Король

Ну что ж, понаблюдаем.

Королева

А вот бедняжка с книжкою и сам.

Полоний

Уйдите оба, оба уходите.
Я подойду к нему. Прошу простить.

Король, королева и свита уходят.
Входит **Гамлет**, читая.

Как поживает господин мой Гамлет?

Гамлет

Хорошо, слава богу.

Полоний

Вы меня знаете, милорд?

Гамлет

Отлично. Вы рыбный торговец.

Полоний

Нет, что вы, милорд!

Гамлет

Тогда не мешало б вам быть таким же честным [1].

---

[1] Это — притворное безумие, то прикрытие, из-за которого Гамлет пускает стрелы острых намеков. Тут есть и социальная сатира: Гамлет противопоставляет честность бедняка бесчестности придворного («...не мешало б вам быть таким же честным»).

Полоний

Честным, милорд?

Гамлет

Да, сэр. Быть честным — по нашим временам значит быть единственным из десяти тысяч.

Полоний

Это совершенная истина, милорд.

Гамлет

Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль...[1] Есть у вас дочь?

Полоний

Есть, милорд.

Гамлет

Не пускайте ее на солнце[2]. Не зевайте, приятель.

Полоний

(в сторону)

Ну, что вы скажете? Нет-нет, да и свернет на дочку. А вперед не узнал. Рыбный, говорит, торговец! Далеко зашел, далеко! В сущности говоря, в молодости и я, ох, как натерпелся от любви! Почти что в этом роде. Попробую опять.— Что читаете, милорд?

Гамлет

Слова, слова, слова...

Полоний

А в чем там дело, милорд?

Гамлет

Между кем и кем?

Полоний

Я хочу сказать: что написано в книге, милорд?

---

[1] «Если даже такое божество, как солнце, плодит червей...»— если даже самое прекрасное на свете порождает гадость, входя в общение с гадким. Так и Офелия, намекает Гамлет, может заразиться злом от окружающей ее порочной среды.

[2] «Не пускайте ее на солнце».— Возможно, это значит: не пускайте Офелию к королевскому двору. Сравнение монарха с солнцем было широко принято.

Гамлет

Клевета. Каналья сатирик утверждает, что у стариков седые бороды, лица в морщинах, из глаз густо сочится смола и сливовый клей и что у них совершенно отсутствует ум и очень слабые ляжки. Всему этому, сэр, я охотно верю, но публиковать это считаю бесстыдством, ибо сами вы, милостивый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели, подобно раку, будете пятиться задом.

Полоний

(в сторону)

Если это и безумие, то в своем роде последовательное.— Не уйти ли нам подальше с открытого воздуха, милорд?

Гамлет

Куда, в могилу?

Полоний

В самом деле, дальше нельзя. *(В сторону.)* Как проницательны подчас его ответы! Находчивость, которая часто осеняет полоумных и которой люди в здравом уме иногда лишены. Однако пойду поскорей придумаю, как бы ему встретиться с дочкой.— Досточтимый принц, прошу разрешения удалиться.

Гамлет

Не мог бы вам дать ничего, сэр, с чем расстался бы охотней. Кроме моей жизни, кроме моей жизни, кроме моей жизни.

Полоний

Желаю здравствовать, принц.

Гамлет

О, эти несносные старые дурни!

Входят Розенкранц и Гильденстерн.

Полоний

Вам принца Гамлета? Вот он как раз.

Розенкранц

(Полонию)

Спасибо, сэр.

Полоний уходит.

Гильденстерн

Почтенный принц!

Розенкранц

Бесценный принц!

Гамлет

Ба, милые друзья! Ты, Гильденстерн,
Ты, Розенкранц? Ну, как дела, ребята?

Розенкранц

Как у любого из сынов земли.

Гильденстерн

По счастью, наше счастье не чрезмерно:
Мы не верхи на колпаке Фортуны[1].

Гамлет

Но также не низы ее подошв?

Розенкранц

Ни то, ни это, принц.

Гамлет

Ну что же, превосходно. Однако что нового?

Розенкранц

Ничего, принц, кроме того, что в мире завелась совесть.

Гамлет

Значит, скоро конец света. Впрочем, у вас ложные сведения. Однако давайте поподробнее. Чем прогневили вы, дорогие мои, эту свою Фортуну, что она шлет вас сюда, в тюрьму?

Гильденстерн

В тюрьму, принц?

Гамлет

Да, конечно. Дания — тюрьма.

Розенкранц

Тогда весь мир — тюрьма.

Гамлет

И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания — наихудшее.

Розенкранц

Мы не согласны, принц.

---

[1] Т. е. не баловни судьбы.

Гамлет

Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма.

Розенкранц

Значит, тюрьмой делает ее ваше честолюбие. Вашим требованиям тесно в ней.

Гамлет

О боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности. Если бы только не мои дурные сны!

Гильденстерн

А сны и приходят из честолюбия. Честолюбец живет несуществующим. Он питается тем, что возомнит о себе и себе припишет. Он тень своих снов, отражение своих выдумок.

Гамлет

Сон — сам по себе только тень.

Розенкранц

В том-то и дело. Таким образом, вы видите, как невесомо и бесплотно честолюбие. Оно даже и не тень вещи, а всего лишь тень тени.

Гамлет

Итак, нищие реальны, а монархи и раздутые герои — тени нищих. Однако чем умствовать, не пойти ли лучше ко двору? Ей-богу, я едва соображаю.

Розенкранц и Гильденстерн

Мы будем неотступно следовать за вами с нашими услугами.

Гамлет

Нет, к чему же! Мои слуги стали слишком хорошо следить за мной в последнее время. Но, положа руку на сердце, зачем вы в Эльсиноре?

Розенкранц

В гостях у вас, принц, больше ни за чем.

Гамлет

При моей бедности мала и моя благодарность. Но я благодарю вас. И, однако, даже этой благодарности слишком много для вас. За вами не посылали? Это ваше собственное побуждение? Ваш приезд доброволен? А? Пожалуйста, по совести. А? А? Ну как?

Гильденстерн

Что нам сказать, милорд?

Гамлет

Ах, да что угодно, только не к делу! За вами послали. В ваших глазах есть род признанья, которое ваша сдержанность бессильна затушевать. Я знаю, добрый король и королева послали за вами.

Розенкранц

С какой целью, принц?

Гамлет

Это уж вам лучше знать. Но только заклинаю вас былой дружбой, любовью, единомыслием и другими, еще более убедительными доводами: без изворотов со мной. Посылали за вами или нет?

Розенкранц

(Гильденстерну)

Что вы скажете?

Гамлет

(в сторону)

Ну вот, не в бровь, а в глаз! *(Громко.)* Если любите меня, не отпирайтесь.

Гильденстерн

Милорд, за нами посылали.

Гамлет

Хотите, скажу вам — зачем? Таким образом, моя догадка предупредит вашу откровенность и ваша верность тайне короля и королевы не полинняет ни перышком. Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мирозданья, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд, просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! Поступками как близок к ангелам! Почти равен богу — разу-

меньем! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?[1] Мужчины не занимают меня и женщины тоже, как ни оспаривают это ваши улыбки.

Розенкранц

Принц, ничего подобного не было у нас в мыслях!

Гамлет

Что же вы усмехнулись, когда я сказал, что мужчины не занимают меня?

Розенкранц

Я подумал, какой постный прием окажете вы в таком случае актерам. Мы их обогнали по дороге. Они направляются сюда предложить вам свои услуги.

Гамлет

Играющему королей — низкий поклон. Я буду данником его величества. Странствующий рыцарь найдет дело для своего меча и щита. Вздохи любовника не пропадут даром. Меланхолик обретет желанный покой. Над шутом будут надрывать животики все те, кто только ждет его острот, как щекотки. Пускай героиня выкладывает всю душу, не считаясь со стихосложением. Что это за актеры?

Розенкранц

Те самые, которые вам так нравились,— столичные трагики.

Гамлет

Что их толкнуло в разъезды? Постоянное пристанище было выгоднее в отношении денег и славы.

Розенкранц

Я думаю, их к этому принудили последние нововведения[2].

Гамлет

Ценят ли их, как в прежнее время, когда я был в городе? Такие же ли у них сборы?

---

[1] *Квинтэссенция* — пятая эссенция, или субстанция, т. е., согласно воззрениям того времени, окончательная сущность, которая остается после удаления четырех субстанций — земли, воды, огня и воздуха. По мысли Гамлета, окончательной сущностью человека является прах могильный.

[2] «Последние нововведения».— Темное место, которое осталось нерасшифрованным, Возможно, здесь скрыт намек на то, что той труппе, к которой принадлежал Шекспир, было на время запрещено давать спектакли в Лондоне и актерам пришлось отправиться в турне по провинции. Такие запрещения были частым явлением.

Розенкранц

Нет, в том-то и дело, что иет.
Но в городе объявился целый выводок детворы[1], едва из гиезда, которые берут самые верхиие иоты и срывают нечеловеческие аплоднсмеиты. Сейчас оин в моде и подвергают такнм иападкам старые театры, что даже военные людн ие решаются ходнть туда нз страха быть высмеяиимын в печатн.

Гамлет

Как, этн дети такие страшиые? Кто нх содержнт? Как им платят? Что, это нх прнзваине, пока у них ие погрубеют голоса? А позже, когда оии самн станут актерамн обыкиовеииых театров, если у иих не будет другого выбора, не пожалеют лн они, что старшие восстанавлнвалн нх против собствеиной будущности?

Розеикранц

Сказать правду, миого было шуму с обеих сторон, н иарод ие считает грехом стравливать их друг с другом. Одио время за пьесу ничего ие давали, если в ией не разделывалнсь с литературиым противииком.

Гамлет

Неужели?

Гильдеистерн

О, крови прн этом испорчено иемало!

Гамлет

И мальчишки одолевают?

Розеикраиц

Да, принц. И Геркулеса с его иошей[2].

Гамлет

Впрочем, это ие удивительио. Напрнмер, сейчас дядя мой — датский король, и те самые, которые едва разговарнвали с инм при жизин моего отца, дают по двадцать, сорок, пятьдесят н по

---

[1] «Целый выводок детворы...» — Коикурентами взрослых актеров были в эпоху Шекспира труппы, состоявшие из мальчиков-подростков, славившихся умением петь и танцевать.

[2] «И Геркулеса с его ношей» — т. е. труппу театра «Глобус», к которой принадлежал Шекспир. На вывеске театра «Глобус» был изображен Геркулес, держащий иа плечах земиой шар.

сто дукатов за его мелкие изображения. Черт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться!

Трубы за стеной.

Гильденстерн

Вот и актеры.

Гамлет

С приездом в Эльсинор вас, господа! Ваши руки, товарищи. В понятия радушия входят такт и светские условности. Обменяемся их знаками, чтобы после моей встречи с актерами вы не подумали, что с ними я более любезен. Еще раз, с приездом! Но мой дядя-отец и тетка-матушка ошибаются.

Гильденстерн

В каком отношении, милорд?

Гамлет

Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли.

Входит Полоний.

Полоний

Здравствуйте, господа.

Гамлет

Слушайте, Гильденстерн, и вы тоже, Розенкранц. На каждое ухо по слушателю. Старый младенец, которого вы видите, еще не вышел из пеленок.

Розенкранц

Может быть, он попал в них вторично? Сказано ведь: старый — что малый.

Гамлет

Предсказываю, что и он с сообщением об актерах. Вот увидите.— Совершенная правда, сэр. В понедельник утром, как вы сказали.

Полоний

Милорд, у меня есть новости для вас.

Гамлет

Милорд, у меня есть новости для вас. Когда Росций[1] был в Риме актером.

[1] Знаменитый римский актер I века до н. э.

Полоний

Актеры приехали, милорд.

Гамлет

Неужто! Ах-ах-ах!

Полоний

Ей-богу, милорд!

Гамлет

Прикатили на ослах...

Полоний

Лучшие в мире актеры на любой вкус, для исполнения трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагикомико- и историко-пасторальных и для сцен в промежуточном и непредвиденном роде. Важность Сенеки, легкость Плавта [1] для них не диво. В чтении наизусть и экспромтом это люди единственные.

Гамлет

О Евфай, судья Израиля, какое у тебя было сокровище! [2]

Полоний

Какое же это сокровище было у него, милорд?

Гамлет

А как же:

«Единственную дочь растил
И в ней души не чаял».

Полоний

(в сторону)

Все норовит о дочке!

Гамлет

А? Не так, что ли, старый Евфай?

---

[1] «Важность Сенеки, легкость Плавта...» — *Сенека* — римский автор трагедий (умер в 65 году н. э.); *Плавт* — римский автор комедий (умер в 184 году до н. э.). Сенеке и Плавту часто подражала английская драма XVI века.

[2] Согласно библейскому преданию, Евфай принес в жертву свою единственную дочь. Так и Полоний (намекает Гамлет) жертвует Офелией, используя ее в борьбе против Гамлета.

Полоний

Если Евфай — это я, то совершенно верно: у меня есть дочь, в которой я души не чаю.

Гамлет

Нет, ничуть это не верно.

Полоний

Что же верно тогда, милорд?

Гамлет

А вот что:

«Рок довершил,
Что бог судил».

И затем вы знаете:

«Но все равно
Так быть должно».

Продолжение, виноват,— в первой строфе духовного стиха, потому что, как видите, мы будем сейчас развлекаться.

Входят четверо или пятеро актеров.

Здравствуйте, господа! Милости просим. Рад вам всем. Здравствуйте, мои хорошие.— Ба, старый друг! Скажите, какой бородой завесился с тех пор, как мы не видались! Приехал, прикрывшись ею, подсмеиваться надо мною в Дании? — Вас ли я вижу, барышня моя?[1] Царица небесная, вы на целый венецианский каблук залетели в небо с нашей последней встречи! Будем надеяться, что голос ваш не фальшивит, как золото, изъятое из обращения.— Милости просим, господа! Давайте, как французские сокольничьи, набросимся на первое, что нам попадется. Пожалуйста, какой-нибудь монолог. Дайте нам образчик вашего искусства. Ну! Какой-нибудь страстный монолог.

Первый актер

Какой монолог, добрейший принц?

Гамлет

Помнится, раз ты читал мне один отрывок; вещь никогда не ставили или не больше разу — пьеса не понравилась. Для большой публики это было, что называется, не в коня корм. Однако, как воспринял я и другие, еще лучшие судьи, это была великолепная пьеса[2], хорошо разбитая на сцены и написанная с простотой и умением. Помнится, возражали, что стихам недостает

[1] «Вас ли я вижу, барышня моя?» — Гамлет шутливо обращается к мальчику, исполнителю женских ролей. В английском театре эпохи Шекспира женские роли исполнялись мальчиками-подростками и юношами.

[2] По-видимому, речь идет о «Дидоне, царице Карфагенской», трагедии крупнейшего предшественника Шекспира, Кристофера Марло (1564—1593).

пряности, а язык не обнаруживает в авторе приподнятости, но находили работу добросовестной, с чертами здоровья и основательности, приятными без прикрас. Один монолог я в ней особенно любил: это где Эней рассказывает о себе Дидоне[1], и в особенности то место, где он говорит об убийстве Приама[2]. Если он еще у вас в памяти, начните вот с какой строчки. Погодите, погодите:

«Свирепый Пирр[3], тот, что, как зверь Гирканский...»[4] Нет, не так. Но начинается с Пирра:

«Свирепый Пирр, чьи черные доспехи
И мрак души напоминали ночь,
Когда лежал он, прячась в конском чреве[5],
Теперь закрасил черный цвет одежд
Малиновым — и стал еще ужасней.
Теперь он с головы до ног в крови
Мужей и жен, и сыновей, и дочек,
Запекшейся в жару горящих стен,
Которые убийце освещают
Дорогу к цели. В кровяной коре,
Дыша огнем и злобой, Пирр безбожный,
Карбункулами выкатив глаза,
Приама ищет...»

Продолжайте сами.

Полоний

Ей-богу, хорошо, милорд! С хорошей дикцией и чувством меры.

Первый актер

«...Пирр его находит.
Насилу приподнявши меч, Приам
От слабости его роняет наземь.
Ему навстречу подбегает Пирр,
Сплеча замахиваясь на Приама;
Но этого уже и свист клинка

[1] «Эней рассказывает о себе Дидоне...» — После взятия Трои греками (описание Троянской войны дано в «Илиаде» Гомера) один из троянских героев, Эней, долго странствовал. Во время своих странствий Эней был выброшен бурей на карфагенский берег. В монологе, который читает первый актер, Эней рассказывает царице Карфагена Дидоне о гибели Трои.

[2] *Приам* — царь Трои.

[3] *Пирр* — сын греческого героя Ахилла. Пирр мстил троянцам за смерть отца. Эта тема мести за отца напоминает Гамлету его собственную судьбу (вероятно, поэтому Гамлет и вспомнил об этом монологе).

[4] «Как зверь Гирканский...» — т. е. тигр. Гирканией в Англии эпохи Шекспира называли страны, расположенные на восток от Каспийского моря.

[5] Греки притворились, что снимают осаду Трои и возвращаются на родину. У стен Трои они оставили огромного деревянного коня, якобы в дар богам. Троянцы вкатили коня в город. Ночью из коня вышли засевшие внутри него вооруженные греки и открыли ворота города войску.

Сметает с ног. И тут, как бы от боли,
Стена дворца горящего, клонясь,
Обваливается и оглушает
На миг убийцу. Пирров меч в руке
Над головою так и остается,
Как бы вонзившись в воздух на лету.
С минуту, как убийца на картине,
Стоит, забывшись, без движенья Пирр,
Руки не опуская.
Но, как бывает часто перед бурей,
Беззвучны выси, облака стоят,
Нет ветра, и земля, как смерть, притихла,—
Откуда ни возьмись, внезапный гром
Раскалывает местность... Так, очнувшись,
Тем яростней возжаждал крови Пирр,
И вряд ли молот в кузнице циклопов [1]
За ковкой лат для Марса [2] плющил сталь
Безжалостней, чем Пирров меч кровавый
Пал на Приама.
Стыдись, Фортуна! Дайте ей отставку,
О боги, отымите колесо,
Разбейте обод, выломайте спицы
И ось его скатите с облаков
В кромешный ад!»

Полоний

Слишком длинно.

Гамлет

Это пошлют в цирюльню вместе с вашей бородой.— Продолжай, прошу тебя. Для него существуют только балеты и сальные анекдоты, а от прочего он засыпает. Продолжай. Перейди к Гекубе [3].

Первый актер

«Ужасен вид поруганной царицы...»

Гамлет

Поруганной царицы?

Полоний

Хорошо! «Поруганной царицы» — хорошо!

---

[1] *Циклопы* — одноглазые великаны античной мифологии; славились своим кузнечным искусством.
[2] *Марс* — бог войны в древнеримской мифологии.
[3] *Гекуба* — жена Приама, царя Трои.

Первый актер

«Гася слезами пламя, босиком
Она металась в головной повязке
Взамен венца и обмотавши стан,
От старости иссохший, одеялом.
Увидев это, каждый человек
Изверился бы в правоте Фортуны
И проклял бы владычество судьбы.
А если б с неба боги подсмотрели,
Как потешался над царицей Пирр,
Кромсая перед нею тело мужа,
Спокойствие покинуло бы их.
Глаза бы их наполнились слезами
Из жалости к несчастной».

Полоний

Смотрите, он изменился в лице и весь в слезах! Пожалуйста, довольно.

Гамлет

Хорошо. Остальное доскажешь после.— Почтеннейший, посмотрите, чтоб об актерах хорошо позаботились. Вы слышите, пообходительнее с ними, потому что они — краткий обзор нашего времени. Лучше иметь скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни.

Полоний

Принц, я обойдусь с ними по заслугам.

Гамлет

Нет — лучше, чтоб вас черт побрал, любезнейший! Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки? Обойдитесь с ними в меру вашего великодушия. Чем меньше у них заслуг, тем больше будет их у вашей доброты. Проводите их.

Полоний

Пойдемте, господа.

Гамлет

Идите за ним, друзья. Завтра у нас представленье.

Полоний и все актеры, кроме первого, уходят.

Скажи, старый друг, можете вы сыграть «Убийство Гонзаго»? [1]

---

[1] «Убийство Гонзаго».— В 1538 году герцог Урбанский (в Италии) был убит Луиджи Гонзаго, который влил герцогу яд в ухо.

Первый актер

Да, милорд.

Гамлет

Поставь это завтра вечером. Скажи, можно ли, в случае надобности, заучить кусок строк в двенадцать — шестнадцать, который бы я написал,— можно?

Первый актер

Да, милорд.

Гамлет

Превосходно! Ступай за тем господином, да смотри не передразнивай его.

Первый актер уходит.

Простимся до вечера, друзья мои. Еще раз: вы — желанные гости в Эльсиноре.

Розенкранц

Добрейший принц!

Гамлет

Храни вас бог!

Розенкранц и Гильденстерн уходят.

Какой же я холоп и негодяй!
Не страшно ль, что актер проезжий этот
В фантазии, для сочиненных чувств,
Так подчинил мечте свое сознанье,
Что сходит кровь со щек его, глаза
Туманят слезы, замирает голос
И облик каждой складкой говорит,
Чем он живет! А для чего в итоге?
Из-за Гекубы!
Что он Гекубе! Что ему Гекуба?
А он рыдает. Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня? Он сцену б утопил
В потоке слез, и оглушил бы речью,
И свел бы виноватого с ума,
Потряс бы правого, смутил невежду
И изумил бы зрение и слух.

А я,
Тупой и жалкий выродок, слоняюсь
В сонливой лени и ни о себе
Не заикнусь, ни пальцем не ударю
Для короля, чью жизнь и власть смели
Так подло. Что ж, я трус? Кому угодно
Сказать мне дерзость? Дать мне тумака?
Развязно ущипнуть за подбородок?
Взять за нос? Обозвать меня лжецом
Заведомо безвинно? Кто охотник?
Смелее! В получение распишусь.
Не желчь в моей печенке голубиной,
Позор не злит меня, а то б давно
Я выкинул стервятникам на сало
Труп изверга. Блудливый шарлатан!
Кровавый, лживый, злой, сластолюбивый!
О, мщенье!
Ну и осел я, нечего сказать!
Я сын отца убитого. Мне небо
Сказало: встань и отомсти. А я,
Я изощряюсь в жалких восклицаньях
И сквернословьем душу отвожу,
Как судомойка!
Тьфу, черт! Проснись, мой мозг! Я где-то слышал,
Что люди с темным прошлым, находясь
На представленье, сходном по завязке,
Ошеломлялись живостью игры
И сами сознавались в злодеянье.[1]
Убийство выдает себя без слов,
Хоть и молчит. Я поручу актерам
Сыграть пред дядей вещь по образцу
Отцовой смерти. Послежу за дядей —
Возьмет ли за живое. Если да,
Я знаю, как мне быть. Но, может статься,
Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять
Любимый образ. Может быть, лукавый
Расчел, как я устал и удручен,
И пользуется этим мне на гибель.
Нужны улики поверней моих.
Я это представленье и задумал,
Чтоб совесть короля на нем суметь
Намеками, как на крючок, поддеть.

Уходит.

---

[1] «И сами сознавались в злодеянье».— Такие случаи действительно имели место в театре времени Шекспира.

АКТ III

СЦЕНА 1

Эльсинор. Комната в замке.
Входят король, королева, Полоний, Офелия, Розенкранц и Гильденстерн.

Король

Так, значит, вы не можете добиться,
Зачем он напускает эту блажь?
Чем взвинчен он, что, не боясь последствий,
В душевном буйстве тратит свой покой?

Розенкранц

Он сам признал, что не в своей тарелке,
Но почему, не хочет говорить.

Гильденстерн

Выпытыванью он не поддается.
Едва заходит о здоровье речь,
Он ускользает с хитростью безумца.

Королева

А как он принял вас?

Розенкранц

Как человек
Воспитанный.

Гильденстерн

Но с долей принужденья.

Розенкранц

Скупился на вопросы, но в ответ
Был разговорчив.

Королева

Вы его не звали
Развлечься?

Розенкранц

Все сошлось само собой.
Дорогою мы встретили актеров.
Узнав об этом, он был очень рад.
Во всяком случае, актеры — в замке

И получили, кажется, приказ
Играть сегодня.

Полоний

Истинная правда.
Он просит августейшую чету
Пожаловать к спектаклю.

Король

С наслажденьем!
Мне радостно узнать, что у него
Такая склонность. Молодые люди,
И дальше поощряйте эту страсть.
Пусть не хандрит.

Розенкранц

Приложим все усилья.

Розенкранц и Гильденстерн уходят.

Король

Моя Гертруда, удались и ты.
За Гамлетом негласно подослали.
Он здесь столкнется как бы невзначай
С Офелией. Шпионы поневоле,
Мы спрячемся вблизи с ее отцом
И разузнаем, в чем несчастье принца:
Любовь ли это точно или нет.

Королева

Сейчас я удалюсь. А вам желаю,
Офелия, чтоб ваша красота
Была единственной болезнью принца,
А ваша добродетель навела
Его на путь, к его и вашей чести.

Офелия

О, дал бы бог!

Королева уходит.

Полоний

Офелия, сюда.
Прогуливайся. Государь, извольте
Всемилостиво скрыться. Дочь, возьми
Для вида книгу [1]. Под предлогом чтенья

---

[1] «Дочь, возьми для вида книгу».— Можно предположить, что Полоний дает Офелии молитвенник.

Гуляй в уединенье.— Все мы так:
Святым лицом и внешним благочестьем
При случае и черта самого
Обсахарим.

Король

(в сторону)

О, это слишком верно!
Он этим, как ремнем, меня огрел.
Ведь щеки шлюхи, если снять румяна,
Не так ужасны, как мои дела
Под слоем слов красивых. О, как тяжко!

Полоний

Он близко. Отойдемте, государь.

Король и Полоний уходят.
Входит Гамлет.

Гамлет

Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль,

И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. Но довольно!
Офелия! О радость! Помяни
Мои грехи в своих молитвах, нимфа.

Офелия

Принц, были ль вы здоровы это время?

Гамлет

Благодарю: вполне, вполне, вполне.

Офелия

Принц, у меня от вас есть подношенья.
Я вам давно хотела их вернуть.
Возьмите их.

Гамлет

Да полно, вы ошиблись.
Я в жизни ничего вам не дарил [1].

Офелия

Дарили, принц, вы знаете прекрасно.
С придачей слов, которых нежный смысл
Удваивал значение подарков.
Назад возьмите ставший лишним дар.
Порядочные девушки не ценят,
Когда им дарят, а потом изме́нят.
Пожалуйста.

Гамлет

Ах, так вы порядочная девушка?

Офелия

Милорд!

Гамлет

И вы хороши собой?

Офелия

Что разумеет ваша милость?

---

[1] «Я в жизни ничего вам не дарил».— Возможно, что уже здесь Гамлет заметил подслушивающего Полония.

Гамлет

То, что, если вы порядочная и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотой.

Офелия

Разве для красоты не лучшая спутница порядочность?

Гамлет

О, конечно! И скорей красота стащит порядочность в омут, нежели порядочность исправит красоту. Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано. Я вас любил когда-то.

Офелия

Действительно, принц, мне верилось.

Гамлет

А не надо было верить. Сколько ни прививай нам добродетели, грешного духа из нас не выкурить. Я не любил вас.

Офелия

Тем больней я обманулась!

Гамлет

Ступай в монастырь. К чему плодить грешников? Сам я — сносной нравственности. Но и у меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, самолюбив. И в моем распоряжении больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтоб их исполнить. Какого дьявола люди вроде меня толкутся меж небом и землею? Все мы кругом обманщики. Не верь никому из нас. Ступай добром в монастырь. Где твой отец? [1]

Офелия

Дома, милорд.

Гамлет

Надо запирать за ним покрепче, чтобы он разыгрывал дурака только с домашними. Прощай.

Офелия

Святые силы, помогите ему!

Гамлет

Если пойдешь замуж, вот проклятье тебе в приданое. Будь непорочна, как лед, и чиста, как снег,— не уйти тебе от напраслины. Затворись в обители, говорю тебе. Иди с миром. А если

[1] «Где твой отец?» — Гамлет надеется, что Офелия скажет правду. Но Офелия не смеет ослушаться отца.

тебе непременно надо мужа, выходи за глупого: слишком уж хорошо знают умные, каких чудищ вы из них делаете. Ступай в монахини, говорю тебе! И не откладывай. Прощай.

Офелия

Силы небесные, исцелите его!

Гамлет

Наслышался я и про вашу живопись. Бог дал вам одно лицо, а вам надо завести другое. Иная и хвостом, и ножкой, и языком, и всякую божью тварь обзовет по-своему, но во что ни пустится, все это одна святая невинность. Нет, шалишь. Довольно. На этом я спятил. Никаких свадеб. Кто уже в браке, пусть остаются в супружестве. Все, кроме одного. Остальные пусть воздержатся. Ступай в монахини! *(Уходит.)*

Офелия

Какого обаянья ум погиб!
Соединенье знанья, красноречья
И доблести, наш праздник, цвет надежд,
Законодатель вкусов и приличий,
Их зеркало... всё вдребезги. Всё, всё...
А я? Кто я, беднейшая из женщин,
С недавним медом клятв его в душе,
Теперь, когда могучий этот разум,
Как колокол надбитый, дребезжит,
А юношеский облик бесподобный
Изборожден безумьем? Боже мой!
Куда все скрылось? Что передо мной?

Король и Полоний возвращаются.

Король

Любовь? Он поглощен совсем не ею.
К тому ж — хоть связи нет в его словах,
В них нет безумья. Он не то лелеет
По темным уголкам своей души,
Высиживая что-то поопасней.
Чтоб вовремя беду предотвратить,
Пришел я к следующему решенью!
Он в Англию немедля отплывет
Для сбора недовыплаченной дани.
Быть может, море, новые края
И люди выбьют у него из сердца
То, что сидит там и над чем он сам
Ломает голову до отупенья.
Как думаете вы?

Полоний

Что ж — это мысль.
Пускай поплавает. Но я, как прежде,
Уверен, что предмет его тоски —
Любовь без разделенья.— Ну, дочурка?
Не повторяй, что Гамлет говорил:
Слыхали сами.— Что же, ваша воля.
Я думаю, когда пройдет спектакль,
Устроим встречу принца с королевой.
Пусть с ним поговорит наедине.
Хотите, я подслушаю беседу?
А если не узнаем ничего,
Сошлите в Англию иль заточите,
Куда рассудите.

Король

Быть по сему.
Влиятельных безумцев шлют в тюрьму.

Уходит.

СЦЕНА 2

Там же. Зал в замке.
Входят Гамлет и несколько актеров.

Гамлет

Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал: легко и без запинки. Если же вы собираетесь ее горланить, как большинство из вас, лучше было бы отдать ее городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздух этак вот руками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность. Как не возмущаться, когда здоровенный детина в саженном парике рвет перед вами страсть в куски и клочья, к восторгу стоячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль переиродить Ирода[1]. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого.

Первый актер

Будьте покойны, ваша светлость.

---

[1] «Переиродить Ирода».— Царь *Ирод* был излюбленным персонажем средневековых религиозных драм (мистерий). Он отличался неистовой свирепостью и произносил «громовые» речи. Гамлет говорит об этом персонаже как о воплощении ходульной декламации.

Гамлет

Однако и без лишней скованности, но во всем слушайтесь внутреннего голоса. Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям, с тою только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет: держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости и каждому веку истории — его неприкрашенный облик. Если тут перестараться или недоусердствовать, несведущие будут смеяться, но знаток опечалится, а суд последнего, с вашего позволения, должен для вас перевешивать целый театр, полный первых. Мне попадались актеры, и среди них прославленные, и даже до небес, которые, не во гнев им будь сказано, голосом и манерами не были похожи ни на крещеных, ни на нехристей, ни на кого бы то ни было на свете. Они так двигались и завывали, что брало удивление, какой из поденщиков природы смастерил человека так неумело,— такими чудовищными выходили люди в их изображении.

Первый актер

Надеюсь, у себя, принц, мы эти крайности несколько устранили.

Гамлет

Устраните совершенно. А играющим дураков запретите говорить больше, чем для них написано. Некоторые доходят до того, что хохочут сами для увеселения худшей части публики в какой-нибудь момент, существенный для хода пьесы. Это недопустимо и показывает, какое дешевое самолюбие у таких шутников. Подите приготовьтесь.

Актеры уходят.
Входят Полоний, Розенкранц и Гильденстерн.

Ну как, милорд, желает ли король посмотреть эту пьесу?

Полоний

И королева тоже, и как можно скорее.

Гамлет

Велите актерам поторопиться.

Полоний уходит.

Вы б не пошли вдвоем поторопить их?

Розенкранц и Гильденстерн

Немедленно, милорд.

Розенкранц и Гильденстерн уходят.

Гамлет

Горацио!

Входит Горацио.

Горацио

Здесь, принц, к услугам вашим.

Гамлет

Горацио, ты изо всех людей,
Каких я знаю, самый настоящий.

Горацио

О, что вы, принц!

Гамлет

Не думай, я не льщу.
Зачем мне льстить, когда твое богатство,
И стол, и кров — один веселый нрав?
Нужде не льстят. Подлизам предоставим
Умильничать в передних богачей.
Пусть гнут колени там, где раболепье
Приносит прибыль. Слушай-ка. С тех пор
Как для меня законом стало сердце
И в людях разбирается, оно
Отметило тебя. Ты знал страданья,
Не подавая виду, что страдал.
Ты сносишь все и равно благодарен
Судьбе за гнев и милости. Блажен,
В ком кровь и ум такого же состава,
Он не рожок под пальцами судьбы,
Чтоб петь, что та захочет. Кто не в рабстве
У собственных страстей? Найди его,
Я в сердце заключу его с тобою,
В святилище души. Но погоди.
Сейчас мы королю сыграем пьесу.
Я говорил тебе про смерть отца.
Там будет случай, схожий с этой смертью.
Когда начнется этот эпизод,
Будь добр, смотри на дядю не мигая.
Он либо выдаст чем-нибудь себя
При виде сцены, либо этот призрак
Был демон зла, а в мыслях у меня
Такой же чад, как в кузнице Вулкана[1].

---

[1] «Как в кузнице Вулкана».— В древнеримской мифологии Вулкан был богом кузнечного дела. Воображению Гамлета рисуется мрачная, полная копоти кузница Вулкана.

Итак, будь добр, гляди во все глаза.
Вопьюсь и я, а после сопоставим
Итоги наблюдений.

Горацио

По рукам.
А если вор уйдет неуличенным,
Я штраф плачу за скрытье воровства.

Гамлет

Они идут. Я вновь больным прикинусь.
Займем места.

Датский марш. Трубы.
Входят король, королева, Полоний, Офелия, Розенкранц, Гильденстерн и другие чины свиты со стражей, несущей факелы.

Король

Как здравствует принц крови нашей, Гамлет?

Гамлет

Верите ли — превосходно. По-хамелеонски[1]. Питаюсь воздухом, начиненным обещаниями. Так не откармливают и каплунов.

Король

Это ответ без связи, Гамлет. Он ко мне не относится.

Гамлет

А ко мне и подавно. *(Полонию.)* Милорд, вы играли на сцене в бытность свою в университете, не правда ли?

Полоний

Играл, милорд, и считался хорошим актером.

Гамлет

Кого же вы играли?

Полоний

Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии[2]. Брут убил меня.

---

[1] «По-хамелеонски».— Согласно поверью той эпохи, хамелеон питается воздухом.
[2] *Капитолий* — один из семи холмов, на которых стоял древний Рим. На Капитолии находился знаменитый храм Юпитера.

Гамлет

С его стороны было брутально убивать такого капитального теленка.— Готовы актеры?

Розенкранц

Да, милорд. Они ждут вашего приказания.

Королева

Поди сюда, милый Гамлет, сядь рядом.

Гамлет

Нет, матушка, тут магнит попритягательней.

Полоний

(вполголоса королю)

Ого, слыхали?

Гамлет

Леди, можно к вам на колени? *(Растягивается у ног Офелии.)*

Офелия

Нет, милорд.

Гамлет

То есть, виноват: можно голову к вам на колени?

Офелия

Да, милорд.

Гамлет

А вы уж решили — какое-нибудь неприличие?

Офелия

Ничего я не решила, милорд.

Гамлет

А ведь это чудная мысль — лежать у ног девушки!

Офелия

Что такое, милорд?

Гамлет

Ничего.

Офелия

Принц, вы сегодня в ударе.

Гамлет

Кто, я?

Офелия

Да, милорд.

Гамлет

Господи, ради вас я и колесом пройдусь! Впрочем, что и остается, как не веселиться? Взгляните, какой радостный вид у моей матери, а всего два часа, как умер мой отец.

Офелия

Нет, принц, полных дважды два месяца.

Гамлет

Как! Так много? Ну, тогда к дьяволу траур! Буду ходить в соболях. Силы небесные! Умер назад два месяца и все еще не забыт? Тогда есть надежда, что память о великом человеке переживет его на полгода. Но только пусть жертвует на построение храмов, а то никто не вспомнит о нем, как о деревянной лошадке, у которой на могиле надпись:

«Где ноги, где копыта.
Заброшена, забыта».

Играют гобои. Начинается пантомима. Входят участвующие в пантомиме король и королева. Они проявляют нежность друг к другу. Королева обнимает короля, а он ее. Она становится на колени перед ним с изъявлениями преданности. Он поднимает ее и кладет ей на плечо голову. Потом ложится в цветнике на дерн. Видя, что он уснул, она уходит. Тогда входит отравитель, снимает с него корону, целует ее, вливает в ухо короля яд и уходит. Возвращается королева, видит, что король мертв, и жестами выражает отчаяние. Снова входит отравитель с двумя или тремя похоронными служителями, давая понять, что разделяет ее горе. Труп уносят. Отравитель подарками добивается блакосклонности королевы. Вначале она с негодованием отвергает его любовь, но под конец смягчается. Уходят.

Офелия

Что это означает, принц?

Гамлет

«Змея подколодная», а означает темное дело.

Офелия

Наверное, пантомима выражает содержание предстоящей пьесы?

Входит Пролог.

Гамлет

Сейчас мы всё узнаем от этого малого. Актеры не умеют хранить тайн и всё выбалтывают.

Офелия

Он объяснит значение показанной вещи?

Гамлет

Да, и любой вещи, которую вы ему покажете. Не стыдитесь только показывать, а он без стыда будет объяснять, что это значит.

Офелия

Вы злюка, вы злюка! Я буду смотреть пьесу.

Пролог

Пред нашим представленьем
Мы просим со смиреньем
Нас выслушать с терпеньем.

Гамлет

Что это, пролог или надпись на колечке?

Офелия

Действительно, коротковато, милорд.

Гамлет

Как женская любовь.

Входят два актера, изображающие короля и королеву.

Король на сцене

В тридцатый раз в упряжке четверней
Объехал Феб моря и мир земной,
И тридцать дюжин лун вокруг земли
Двенадцать раз по тридцать раз прошли,
С тех пор как нам сближает все тесней
Любовь — сердца, а руки — Гименей [1].

Королева на сцене

Еще раз столько солнце и луна
Могли б пройти, пока любовь сильна.
Но горе мне — годам наперекор,
Болезнен вид ваш с некоторых пор.
Однако опасаться вам, дружок,
Нет надобности ни на волосок.

---

[1] *Гименей* — у древних греков бог брака.

Страшится или любит женский пол —
В нем все без меры, всюду пересол.
Моей любви изведали вы вкус,
Люблю я слепо, слепо и страшусь.
Где чувство в силе, страшно пустяка;
Где много любят, малость велика.

Король на сцене

Душа моя, прощанья близок час.
К концу подходит сил моих запас,
А ты и дальше в славе и любви
Существованья радостью живи.
Другой супруг, как знать...

Королева на сцене

Не суесловь.
Предательством была бы та любовь.
Убей меня за новым мужем гром!
Кровь первого да будет на втором!

Гамлет

(в сторону)

Полынь, полынь! [1]

Королева на сцене

Не по любви вступают в новый брак.
Расчет и жадность — вот его рычаг.

Король на сцене

Мне верится, вы искренни во всем,
Но не всегда стоим мы на своем.
Решимость наша — памяти раба:
Сильна до службы, в выслуге слаба.
Что держится, как недозрелый плод,
Отвалится, лишь только в сок войдет.
Чтоб жить, должны мы клятвы забывать,
Которые торопимся давать.
У каждой страсти собственная цель.
Но ей конец, когда проходит хмель.
Печаль и радость в дикости причуд
Сметают сами, что произведут.
Печали жалок радости предмет,
А радости до горя дела нет.

---

[1] «Полынь, полынь!» — Гамлет хочет сказать, что слова, которые произносят актеры, горьки, как полынь, для Клавдия.

Итак, когда всё временно и тлен,
То как любви уйти от перемен?
Кто вертит кем, еще вопрос большой:
Судьба любовью иль любовь судьбой?
Ты в силе — и друзей хоть отбавляй,
Ты в горе — и приятели прощай.
Но кончу тем, откуда начал речь:
Не может жизнь по нашей воле течь.
Мы, может статься, лучшего хотим,
Но ход событий не предвосхитим.
Так и боязнь второго сватовства
Жива у вас до первого вдовства.

Королева на сцене

Померкни свет, погибни урожай!
И день и ночь покою я не знай!
Отчаянье заволокни мой взор!
Будь жизнью мне отшельницы затвор!
Недобрый вихрь развей в небытии
Мои надежды и мечты мои!
Малейший шаг ввергай меня в беду,
Когда, вдова, я замуж вновь пойду!

Гамлет

А ну как обманет?

Король на сцене

Зарок — не шутка. Но оставь меня.
Я утомился сутолокой дня
И отдохну немного.

(Засыпает.)

Королева на сцене

Выспись всласть,
И да минует в жизни нас напасть.

(Уходит.)

Гамлет

Сударыня, как вам нравится пьеса?

Королева

По-моему, леди слишком много обещает.

Гамлет

О, но она сдержит слово!

Король

Вы знаете содержание? В нем нет ничего предосудительного?

Гамлет

Нет, нет. Все это в шутку, отравление в шутку. Ровно ничего предосудительного.

Король

Как название пьесы?

Гамлет

«Мышеловка». Но в каком смысле? В фигуральном. Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене[1]. Имя герцога — Гонзаго. Его жена — Баптиста. Вы сейчас увидите. Это препакостнейшая проделка. Но нам-то что до того? Вашего величества и нас, с нашей чистой совестью, это не касается. Пусть кляча лягается, если у нее зашиблены задние ноги. Наши кости в порядке.

Входит Луциан.

Это некто Луциан, племянник короля.

Офелия

Вы хорошо заменяете хор, милорд[2].

Гамлет

Начинай, убийца! Ну, чума ты этакая! Брось свои безбожные рожи и начинай. Ну! «Взывает к мести каркающий ворон»[3].

Луциан

Рука тверда, дух черен, крепок яд,
Удобен миг, ничей не видит взгляд.
Теки, теки, верши свою расправу,
Гекате[4] посвященная отрава!
Спеши весь вред, который в травах есть,
Над этой жизнью в действие привесть!
(Вливает яд в ухо спящего.)

---

[1] «Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене».— Убийство герцога Урбанского произошло в Италии, а не в Вене. «В Вене» здесь звучит, как если бы мы сказали «на луне».

[2] «Вы хорошо заменяете хор, милорд».— Роль «хора», читавшего пролог или пояснявшего то, что происходило на сцене, исполнялась в театре времен Шекспира одним лицом, одетым в черный плащ.

[3] «Взывает к мести каркающий ворон».— Это цитата из пьесы неизвестного автора «Истинная трагедия о Ричарде III», в которой в мрачных красках изображен преступный король на троне (Гамлет намекает на Клавдия).

[4] *Геката* — одно из мрачных божеств древнегреческой мифологии. Ее изображали с тремя головами: лошадиной, песьей и львиной. В средневековых поверьях Геката была царицей ведьм.

Гамлет

Он отравляет его в саду, чтобы завладеть престолом. Имя герцога — Гонзаго. История существует отдельно, образцово изложенная по-итальянски. Сейчас вы увидите, как убийца достигает любви жены Гонзаго.

Офелия

Король встает!

Гамлет

Испугался хлопушки?

Королева

Что с его величеством?

Полоний

Прекратите пьесу!

Король

Посветите мне. Прочь отсюда!

Все

Огня, огня, огня!

Уходят все, кроме Гамлета и Горацио.

Гамлет

Пусть раненый олень ревет,
А уцелевший скачет.
Где — спят, а где — ночной обход:
Кому что рок назначит.

Ну-с, сэр, если бы другие виды на будущее провалились у меня к туркам, разве это, да целый лес перьев, да пара провансальских роз на башмаках[1] не доставили бы мне места в актерской труппе?

Горацио

С половинным окладом.

Гамлет

Нет, с полным.
Ты знаешь, дорогой Дамон[2],

[1] «...целый лес перьев, да пара провансальских роз на башмаках...» — Пышные перья на голове и большие банты в виде роз на башмаках были частой принадлежностью костюма трагических актеров. *Прованс* — область во Франции.

[2] *Дамон* — герой античной легенды о двух друзьях; в нарицательном смысле — верный друг.

Юпитера орел
Слетел с престола, и на трон
Воссел простой осе...тр.

Горацио

Вы могли бы и в рифму.

Гамлет

О Горацио! Тысячу фуитов за каждое слово призрака! Ты заметил?

Горацио

Еще бы, принц!

Гамлет

Когда начали играть сцену отравления.

Горацио

Я с иего глаз ие спускал.

Гамлет

Ах, ах! А ну, а ну музыку! Ну-ка, флейтисты!
Раз королю неинтересна пьеса,
Нет для иего в ней, значит, интереса.
А ну, а ну музыку!

Возвращаются Розенкранц н Гнльденстерн.

Гильденстерн

Добрейший принц! Можио попросить вас на два слова?

Гамлет

Хоть иа целую историю, сэр.

Гильдеистерн

Король, сэр...

Гамлет

Да, сэр, что с ним?

Гильденстерн

Удалился к себе и чувствует себя очень скверио.

Гамлет

От вина, сэр?

Гильденстерн

Нет, сэр, скорее от желчи.

Гамлет

Остроумней было бы сказать это его врачу. Если я пропишу ему свое слабительное, опасаюсь, как бы желчь не разлилась у него еще сильнее.

Гильденстерн

Добрейший принц, введите свою речь в какие-нибудь границы и не уклоняйтесь так упорно от того, что мне поручено.

Гамлет

Пожалуйста. Я весь смиренье и слух.

Гильденстерн

Королева, ваша матушка, в крайнем удрученьи послала меня к вам.

Гамлет

Милости просим.

Гильденстерн

Нет, добрейший принц, сейчас эти любезности ни к чему. Если вам угодно дать мне надлежащий ответ, я исполню приказание вашей матери. Если нет, я попрошу принять мои извинения и удалюсь.

Гамлет

Не могу, сэр.

Гильденстерн

Чего, милорд?

Гамлет

Дать вам надлежащий ответ. У меня мозги не в порядке. Но какой бы ответ я вам ни дал, располагайте им, как найдете нужным. Вернее, это относится к моей матери. Итак, ни слова больше. К делу. Моя мать, говорите вы...

Розенкранц

В таком случае вот что. Ваше поведение, говорит она, повергло ее в изумленье и ошеломило.

Гамлет

О, удивительный сын, так удивляющий свою мать! А не прилипло ли к этому удивленью чего-нибудь повещественней? Любопытно.

Розенкранц

Она желает поговорить с вами у себя в комнате, прежде чем вы ляжете спать.

Гамлет

Рады стараться, будь она нам хоть десять раз матерью. Чем еще можем служить вам?

Розенкранц

Принц, вы когда-то любили меня.

Гамлет

(показывая на свои руки)

Как н сейчас, клянусь этнми воровскимн орудиями.

Розенкранц

Добрейший принц! В чем причина вашего нездоровья? Вы сами отрезаете путь к спасению, пряча свое горе от друга.

Гамлет

Я нуждаюсь в служебном повышенин.

Розенкранц

Как это возможно, когда сам король назначнл вас наследником датского престола?

Гамлет

Да, сэр, но «покамест травка подрастет, лошадка с голоду умрет...» — старовата поговорка.

Возвращаются музыканты с флейтамн.

А, флейты! Дайте мне одну на пробу. Отойдите в сторону. Что это вы всё вьетесь вокруг, точно хотите загнать меня в какие-то сети?

Гильденстерн

О принц, если мое участие так навязчнво, значит, так безоговорочна моя любовь.

Гамлет

Я что-то не понял. Ну, да все равно. Вот флейта. Сыграйте на ней что-ннбудь.

Гнльденстерн

Принц, я не умею.

Гамлет

Пожалуйста.

Гильденстерн

Уверяю вас, я не умею.

Гамлет

Но я прошу вас.

Гильденстерн

Но я не знаю, как за это взяться.

Гамлет

Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдувайте ртом воздух, и из нее польется нежнейшая музыка. Видите, вот клапаны.

Гильденстерн

Но я не знаю, как ими пользоваться. У меня ничего не выйдет. Я не учился.

Гамлет

Смотрите же, с какою грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знание моих клапанов. Вы уверены, что выжмите из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее чудный тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя.

Возвращается Полоний.

Благослови вас бог, сэр!

Полоний

Милорд, королева желает поговорить с вами, и немедленно.

Гамлет

Видите вы вон то облако в форме верблюда?

Полоний

Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять — верблюд.

Гамлет

По-моему, оно смахивает на хорька.

Полоний

Правильно: спинка хорьковая.

Гамлет

Или как у кита.

Полоний

Совершенно как у кита.

Гамлет

Ну, так я приду сейчас к матушке. *(В сторону.)* Они сговорились меня с ума свести! — Я сейчас приду.

Полоний

Я так и доложу.

Гамлет

Шутка сказать: «сейчас».— Оставьте меня, приятели.

Уходят все, кроме Гамлета.

Теперь пора ночного колдовства.
Скрипят гроба, и дышит ад заразой.
Сейчас я мог бы пить живую кровь
И на дела способен, от которых
Я утром отшатнусь. Нас мать звала.
Без зверства, сердце! Что бы ни случилось,
Души Нерона в грудь мне не вселяй [1].
Я ей скажу без жалости всю правду
Словами, ранящими, как кинжал.
Но это мать родная — и рукам
Я воли даже в ярости не дам.

Уходит.

СЦЕНА 3

Комната в замке.
Входят король, Розенкранц и Гильденстерн.

Король

Я не люблю его и потакать
Безумью не намерен. Приготовьтесь,
Сейчас я подпишу вам свой приказ
И в Англию отправлю принца с вами.
Наш сан не терпит, чтоб из-за угла
Всегда подстерегала нас случайность
В лице безумца.

---

[1] «Души Нерона в грудь мне не вселяй».— *Нерон,* римский император I века н. э., прославившийся своими жестокостями, был матереубийцей.

Гильденстерн

Соберемся в путь.
Священно в корне это попеченье
О тысячах, которые живут
Лишь вашего величества заботой.

Розенкранц

Долг каждого — беречься от беды
Всей силой, предоставленной рассудку.
Какая ж осмотрительность нужна
Тому, от чьей сохранности зависит
Жизнь множества! Кончина короля —
Не просто смерть. Она уносит в бездну
Всех близстоящих. Это — колесо,
Торчащее у края горной кручи,
К которому приделан целый лес
Зубцов и перемычек. Эти зубья
Всех раньше, если рухнет колесо,
На части разлетятся. Вздох владыки
Во всех в ответ рождает стон великий.

Король

Пожалуйста, скорей сберитесь в путь.
Пора забить в колодки этот ужас,
Гуляющий на воле.

Розенкранц и Гильденстерн

Поспешим.

Розеикранц и Гнльденстери уходят.
Входит Полоний.

Полоний

Он к матери пошел в опочивальню.
Послушаю пойду-ка за ковром.
Она его, наверно, отчитает.
Но ваша правда: мать тут не судья.
Она лицеприятна. Не мешает,
Чтоб был при этом кто-нибудь другой
И наблюдал. Прощайте, государь мой.
С разведки этой я еще пред сном
К вам загляну.

Король

Благодарю вас, друг мой.

Полоний уходит.

Удушлив смрад злодейства моего.
На мне печать древнейшего проклятья:
Убийство брата. Жаждою горю,
Всем сердцем рвусь, но не могу молиться.
Помилованья нет такой вине.
Как человек с колеблющейся целью,
Не знаю, что начать, и ничего
Не делаю. Когда бы кровью брата
Был весь покрыт я, разве и тогда
Омыть не в силах небо эти руки?
Что делала бы благость без злодейств?
Зачем бы нужно было милосердье?
Мы молимся, чтоб бог нам не дал пасть
Или нас спас из глубины паденья.
Отчаиваться рано. Выше взор!
Я пал, чтоб встать. Какими же словами
Молиться тут? «Прости убийство мне»?
Нет, так нельзя. Я не вернул добычи.
При мне все то, зачем я убивал:
Моя корона, край и королева.
За что прощать того, кто тверд в грехе?
У нас нередко дело заминает
Преступник горстью золота в руке,
И самые плоды его злодейства
Есть откуп от законности. Не то
Там, наверху. Там в подлинности голой
Лежат деянья наши, без прикрас.
И мы должны на очной ставке с прошлым
Держать ответ. Так что же? Как мне быть?
Покаяться? Раскаянье всесильно.
Но что, когда и каяться нельзя!
Мучение! О грудь, чернее смерти!
О лужа, где, барахтаясь, душа
Все глубже вязнет. Ангелы, на помощь!
Скорей, колени, гнитесь! Сердца сталь,
Стань, как хрящи новорожденных, мягкой!
Все поправимо.

(Отходит в глубину и становится на колени.)

Входит Гамлет.

Гамлет

Он молится. Какой удобный миг!
Удар мечом — и он взовьется к небу.
И вот возмездье. Так ли? Разберем.
Он моего отца лишает жизни,

А в наказанье я убийцу шлю
В небесный рай.
Да это ведь награда, а не мщенье.
Отец погиб с раздутым животом,
Весь вспучившись, как май, от грешных соков.
Бог весть, какой еще за это спрос,
Но по всему, наверное, немалый.
Так месть ли это, если негодяй
Испустит дух, когда он чист от скверны
И весь готов к далекому пути?
Нет.
Назад, мой меч, до боле страшной встречи!
Когда он будет в гневе или пьян,
В объятьях сна или нечистой неги,
За картами, с проклятьем на устах
Иль в помыслах о новом зле, с размаху
Руби его, чтоб он свалился в ад
Ногами вверх, весь черный от пороков.
Но мать меня звала.— Еще поцарствуй.
Отсрочка это лишь, а не лекарство.

(Уходит.)

Король

(поднимаясь)

Слова парят, а чувства книзу гнут,
А слов без чувств вверху не признают.

Уходит.

СЦЕНА 4

Комната королевы.
Входят королева и Полоний.

Полоний

Он к вам идет. Предупредите сына:
Пусть обуздает выходки свои.
Скажите, вы спасли его от кары.
А я укроюсь за стенным ковром.
Пожалуйста, покруче.

Гамлет

(за сценой)

Мать! Миледи!

Королева

Не бойтесь. Положитесь на меня.
Он, кажется, идет. Вам надо скрыться.

Полоний становится за стенным ковром.
Входит Гамлет.

Гамлет

Ну, матушка, чем вам могу служить?

Королева

Зачем отца ты оскорбляешь, Гамлет?

Гамлет

Зачем отца вы оскорбили, мать?

Королева

Ты говоришь со мною, как невежа.

Гамлет

Вы спрашиваете, как лицемер.

Королева

Что это значит, Гамлет?

Гамлет

Что вам надо?

Королева

Ты помнишь, кто я?

Гамлет

Помню, вот вам крест.
Вы королева в браке с братом мужа
И, к моему прискорбью, мать моя.

Королева

Так пусть с тобой поговорят другие.

Гамлет

Ни с места! Сядьте. Я вас не пущу.
Я зеркало поставлю перед вами,
Где вы себя увидите насквозь.

Королева

Что ты задумал? Он меня заколет!
Не подходи! Спасите!

Полоний

(за ковром)

Стража! Эй!

Гамлет

(обнажая шпагу)

Ах, так? Тут крысы? На пари — готово.

(Протыкает ковер.)

Полоний

(за ковром)

Убит!

(Падает и умирает.)

Королева

Что ты наделал!

Гамлет

Разве там
Стоял король?

Королева

Как ты жесток! Какое злодеянье!

Гамлет

Не больше, чем убийство короля
И обрученье с братом мужа, леди.

Королева

Убийство короля? [1]

Гамлет

Да, леди, да.

(Откидывает ковер и обнаруживает Полония.)

Прощай, вертлявый, глупый хлопотун!
Тебя я спутал с кем-то поважнее.
Ты видишь, суетливость не к добру.—
А вы садитесь. Рук ломать не надо.
Я сердце вам сломаю, если все ж
Оно из бьющегося матерьяла
И пагубные навыки не сплошь
Его от жизни в бронзу заковали.

---

[1] Гертруда не знала об убийстве своего мужа.

Королева

Что я такого сделала, что ты
Так груб со мной?

Гамлет

Вы сделали такое,
Что попирает нравственность и стыд,
Шельмует правду, выступает сыпью
На лбу невинности и чистоты
И превращает брачные обеты
В торг игроков. Вы совершили то,
Что обездушивает соглашенья
И делает пустым набором слов
Обряды церкви. Небеса краснеют
И своды мира, хмурясь, смотрят вниз,
Как в Судный день, чуть вспомнят ваш поступок.

Королева

Нельзя ль узнать, в чем дела существо,
К которому так громко предисловье?

Гамлет

Вот два изображенья: вот и вот.
На этих двух портретах — лица братьев.
Смотрите, сколько прелести в одном:
Лоб, как у Зевса, кудри Аполлона,
Взгляд Марса, гордый, наводящий страх,
Величие Меркурия [1], с посланьем
Слетающего наземь с облаков.
Собранье качеств, в каждом из которых
Печать какого-либо божества,
Дающих званье человека. Это
Ваш первый муж. А это ваш второй.
Он — словно колос, пораженный порчей,
В соседстве с чистым. Где у вас глаза?
Как вы спустились с этих горных пастбищ
К таким кормам? На что у вас глаза?
Ни слова про любовь. В лета, как ваши,
Живут не бурями, а головой.
А где та голова, что совершила б
Такую мену? Вы не мертвый труп,
А то б вы не могли передвигаться,
Но ваши чувства спят. Ведь тут никто б
Не мог так просчитаться. Не бывает,
Чтоб и в бреду не оставался смысл

[1] *Меркурий* — в древнеримской мифологии вестник богов.

Таких различий. Так какой же дьявол
Средь бела дня вас в жмурки обыграл?
Слепорожденный с даром осязанья;
Безрукий, слабо видящий; глухой,
Но чувствующий запах, не ошиблись
Так явно бы!
Стыдливость, где ты? Искуситель-бес!
Когда так властны страсти над вдовою,
Как требовать от девушек стыда?
Какой пример вы страшный подаете
Невестам нашим!

Королева

Гамлет, перестань!
Ты повернул глаза зрачками в душу,
А там повсюду пятна черноты,
И мне их нечем смыть!

Гамлет

Валяться в сале
Продавленной кровати, утопать
В испарине порока, любоваться
Своим паденьем...

Королева

Гамлет, пощади!
Твои слова — как острия кинжалов
И режут слух.

Гамлет

...с убийцей и скотом,
Не стоящим одной двухсотой доли
Того, что тот. С петрушкой в королях.
С карманником на царстве. Он завидел
Венец на полке, взял исподтишка
И вынес под полою.

Королева

Гамлет, сжалься!

Гамлет

Со святочной игрушкою...

Входит Призрак.

Гамлет

Под ваши крылья, ангелы небес! —
Что вашей статной царственности надо?

Королева

О горе, с ним припадок!

Гамлет

Ленивца ль сына вы пришли журить,
Что дни идут, а он под злую руку
Приказов ваших страшных не свершил?
Не правда ли?

Призрак

Цель моего прихода — вдунуть жизнь
В твою почти остывшую готовность.
Но посмотри, что с матерью твоей.
Она не в силах справиться с ударом.
Кто волей слаб, страдает больше всех.
Скажи ей что-нибудь.

Гамлет

Что с вами, леди?

Королева

Нет, что с тобой? Ты смотришь в пустоту [1],
Толкуешь громко с воздухом бесплотным,
И дикостью горят твои глаза.
Как сонные солдаты по сигналу,
Взлетают вверх концы твоих волос
И строятся навытяжку. О сын мой,
Огонь болезни надо остужать
Невозмутимостью. Чем полон взор твой?

Гамлет

Да им же, им! Смотрите, как он бел!
Смерть страшная его и эта бледность
Могли б растрогать камень.— Отвернись.
Твои глаза мне душу раздирают.
Она рыхлеет, твердость чувств сдает,
И я готов лить слезы вместо крови.

Королева

С кем говоришь ты?

Гамлет

Как, вам не видать?

---

[1] «Ты смотришь в пустоту...» — Согласно поверью, призраки были видимы только тем, кому они являлись.

Королева

Нет. Ничего. Лишь то, что пред глазами.

Гамлет

И ие слыхать?

Королева

Лншь иашн голоса.

Гамлет

Да вот же ои! Туда, туда взглянnте:
Отец мой, совершенно как живой!
Вы видите, скользнт и в дверь уходит.

Королева

Все это плод твой больиой душн.
По части духов бред и исступленье
Весьма искусны.

Гамлет

Исступленье, бред!
Мой пульс, как ваш, отсчнтывает такт
И так же бодр. Нет нарушенnй смысла
В монх словах. Переспроснте вновь —
Я повторю нх, а больной ие мог бы.
Во нмя бога, бросьте ваш бальзам!
Не тешьтесь мыслью, будто все несчастье
Не в вашем поведеиье, а во мне.
Такая мазь затянет рану коркой,
А скрытый гной вам выест все внутри.
Вам надо нсповедаться. Покайтесь
В содеянном н берегнтесь впредь.
Траву худую вырывают с корнем.
Прошу простить меня за правоту,
Как в иаше время проснт добродетель
Прощенья у порока за добро,
Которое она ему прнноснт.

Королева

Ах, Гамлет, сердце рвется пополам!

Гамлет

Вот и расстаиьтесь с худшей половиной,
Чтоб лучшею потом тем чнще жнть.
Спокойиой иочн. Не ходнте к дяде.

Взамен отсутствующего стыда
Усвойте выдуманную стыдлнвость.
Она привьется. В маске доброты
Вы скоро самн прнстраститесь к благу.
Повторность изменяет лик вещей.
В протнвность злым привычкам добрый иавык
Смнряет нлн гоннт прочь чертей.
Впоследствнн, когда вы захотнте,
Чтоб вас благословнлн, попрошу
Тогда и я у вас благословенья,
А что касается до старнка,

(показывает на Полония)

О бедняке об этом сожалею.
Но, видио, так суднли иебеса,
Чтоб он был мной, а я был им иаказаи
И стал карающей рукой небес.
Я тело уберу и сам отвечу
За эту кровь. Еще раз — добрый сои.
Из жалостн я должен быть суровым.
Несчастья иачалнсь, готовьтесь к иовым.
Еще два слова.

Королева

Что ж теперь мне делать?

Гамлет

Еще вы спрашиваете? Тогда
И продолжайте делать, что хотите.
Ложнтесь ночью с королем в постель
И в благодариость за его лобзаиья,
Которымн ои будет вас душнть,
В прнливе откровениости созиайтесь,
Что Гамлет вовсе ие сошел с ума,
А прнтворяется с какой-то целью.

Королева

Ты знаешь сам, что я скорей умру,
Чем соглашусь предать тебя.

Гамлет

Меня
Шлют в Аиглню. Слыхалн?

Королева

Да, к несчастью.
Я н забыла. Это решено.

Гамлет

Скрепляют грамоты. Два школьных друга
Уже давно запродали мой труп
И, торжествуя, потирают руки.
Ну что ж, еще посмотрим, чья возьмет.
Забавно будет, если сам подрывник
Взлетит на воздух. Я под их подкоп —
Чтоб с места не сойти мне! — вроюсь ниже
И их взорву. Ну и переполох,
Когда подвох наткнется на подвох! —
Вот мне кого убрать теперь подальше.
Стащу-ка в сени эти потроха.
Итак, спокойной ночи. А советник,
Действительно, и присмирел и строг,
А в жизни был болтливее сорок.—
Ну, милый мой, пора о вас подумать.—
Спокойной ночи, матушка.

Расходятся врозь, Гамлет — волоча Полония.

АКТ IV

СЦЕНА 1

Эльсинор. Комната в замке.
Входят король, королева, Розенкранц и Гильденстерн.

Король

В глубоких этих вздохах что-то есть.
Нельзя ли выразить их попонятней?
Где сын ваш?

Королева

Оставьте нас на несколько минут.

Розенкранц и Гильденстерн уходят.

О, что сейчас случилось!

Король

Что, Гертруда?
Как Гамлет?

Королева

Рвет и мечет, как прибой,
Когда он с ветром спорит, кто сильнее.

В бреду услышал шорох за ковром
И с криком: «Крысы!», выхватив рапиру,
Убил одним ударом старика,
Стоявшего в засаде.

Король

Быть не может!
Так было б с нами, очутись мы там.
Что он на воле — вечная опасность
Для вас, для нас, для каждого, для всех.
А кто теперь в ответе за убийство?
Увы, я сам, что я не отделил
Больного молодого человека
От остальных. Всему виной любовь.
Она лишила нас благоразумья.
Мы скрыли, как постыдную болезнь,
Семейное несчастье и загнали
Заразу внутрь. Куда девался он?

Королева

Пошел куда-то с телом бедной жертвы.
Сквозь бред в нем блещут искорки добра,
Как золота крупицы в грубом камне.
Он плачет о случившемся навзрыд.

Король

Пойдем, Гертруда. Не успеет солнце
Коснуться гор, он сядет на корабль.
А это злодеянье придется
Заглаживать самим нам.— Гильденстерн!

Возвращаются Розенкранц и Гильденстерн.

Кого-нибудь возьмите на подмогу!
В горячке принц Полония убил
И вынес труп из спальни королевы.
Не раздражая принца, надо взять
Тихонько тело и отнесть в часовню.

Розенкранц и Гильденстерн уходят.

Пойдем, Гертруда, соберем друзей.
Расскажем им про новые тревоги.
Шипенье ядовитой клеветы,
Несущее сквозь поперечник мира,
Как пушечный снаряд, свое ядро,
С их помощью, быть может, нас минует.
Пойдем. Не оставляй меня, жена.
Душа в тревоге и устрашена.

Уходят.

СЦЕНА 2

Там же. Другая комиата в замке.
Входит Гамлет.

Гамлет

Сдан в целости на место.

Розеикранц н Гильдеистерн

(за сценой)

Гамлет, Гамлет!

Гамлет

Откуда шум? Кто Гамлета зовет?
А, вот оии.

Входят Розеикраиц и Гильденстерн.

Розеикранц

Милорд, что сделалн вы с мертвым телом?

Гамлет

Смешал с землей, которой труп сродии.

Розенкранц

Скажите, где он, мы снесем в часовню.

Гамлет

Об этом бросьте даже помышлять.

Розеикраиц

О чем?

Гамлет

Что я буду действовать в ваших интересах, а ие в своих собствеиных. Да н что еще это за расспросы со стороны какой-то губки? [1] Что отвечать иа иих сыиу короля?

Розеикраиц

Вы меня сравииваете с губкою, принц?

Гамлет

Да, вас. С губкою, живущей соками царских милостей. Но иа поверку это его лучшие слугн. Король закладывает их за ще-

---

[1] Гамлет сравиивает придворных с губками. В сатирическом сочииении эпохи Шекспира читаем: «Когда короли воспользуются придворными, как губками, впитавшими все соки из бедного люда, им доставляет удовольствие выжимать содержимое этих губок в королевские сосуды».

ку, как обезьяна. Сует в рот первыми, а проглатывает последними. Понадобится то, чего вы насосались,— он взял выдавил вас, и снова вы сухи для новой службы.

Розенкранц

Я вас не понимаю, принц.

Гамлет

Это меня радует. В уме нечутком не место шуткам.

Розенкранц

Милорд, вы должны сказать нам, где тело, и пойти с нами к королю.

Гамлет

Тело во владении короля, но король не во владении телом. Да и какую роль играет тут король?

Гильденстерн

Король, милорд?

Гамлет

Не более чем ноль. Ведите меня к нему. Гуси, гуси, домой, волк за горой!

Уходят.

СЦЕНА 3

Там же. Другая комната в замке.
Входит король со свитой.

Король

За ним пошли. Труп велено найти.
Вот как опасен он, пока на воле!
Сурово с ним расправиться нельзя:
К нему привязано простонародье,
Где судят всё на глаз, а не умом.
Там видят только кару, а не смотрят,
За что она. Для гладкости отъезд
Изобразим служебным назначеньем,
Давно решенным. Сильную болезнь
Врачуют сильно действующим средством.

Входит Розенкранц.

Ну, как у вас там? Отыскали труп?

Розенкранц

Где тело, невозможно доискаться.

Король

А сам он где?

Розенкранц

За дверью, государь.
Впредь до распоряженья — под надзором

Король

Ну что ж, введите принца.

Розенкранц

Гильденстерн!
Введите принца.

Входят Гамлет и Гильденстерн.

Король

Гамлет, где Полоний?

Гамлет

На ужине.

Король

На ужине? На каком?

Гамлет

На таком, где ужинает не он, а едят его самого. Сейчас за него уселся синклит[1] червей со всей земли. Червь, что ни говори, единственный столп всякого истинного порядка. Мы откармливаем всякую живность себе в пищу и откармливаем себя в пищу червям. Возьмете ли толстяка-короля или худобу-горемыку — это только два блюда к столу, два кушанья, а суть одна.

Король

Увы! Увы!

Гамлет

Можно вытащить рыбу на червяка, пообедавшего королем, и пообедать рыбой, которая проглотила этого червяка.

Король

Что ты хочешь этим сказать?

Гамлет

Ничего, кроме того, что король может совершать круговые объезды по кишкам нищего.

Король

Где Полоний?

---

[1] *Синклит* — в Древней Греции собрание высших сановников; собрание, сборище.

Гамлет

На иебе. Пошлите посмотреть. Если посланиый не вернется, поищите сами. Во всяком случае, если ои не сыщется раиьше месяца, вы иосом почуете его у входа иа галерею.

Король

(чинам свиты)

Подите поищите его там.

Гамлет

Он вас ждет не дождется.

Свитские уходят.

Король

Кровавая проделка эта, Гамлет,
Заставит иас для целости твоей
Без промедлеиья сбыть тебя отсюда.
Изволь спешить. Корабль у берегов,
Подул попутный ветер, и команда
Готова морем в Аиглию отплыть.

Гамлет

Как, в Англию?

Король

Да, в Аиглию.

Гамлет

Прекрасио.

Король

Так ты б сказал, зиай иаши мысли ты.

Гамлет

Я вижу херувима, зиающего их.— Ну что ж, в Аиглию так в Аиглию! — Прощайте, дорогая матушка.

Король

Дорогой отец, хочешь ты сказать, Гамлет?

Гамлет

Нет — мать. Отец и мать — муж и жена, а муж и жеиа — это плоть едииа. Зиачит, все равно: прощайте, матушка.— Итак, в Аиглию, вот оио что. *(Уходит.)*

Король

Идите по пятам за ним. Немедля
Безумца замаиите иа корабль.
Чтоб духу ие было его сегодня!
Прощайте. Все изложеио в письме,
Что требуется делом. Торопитесь!

Розенкранц н Гильденстерн уходят.

И если, Аиглия, мою любовь
Ты цеиишь так, как я заставить в силе,—
А твой рубец от датского меча
Еще горит и ты благоговейно
Нам платишь дань,— ие думай обойти
Прямую букву моего приказа,
Которым тайио Гамлета тебе
Я в руки отдаю на убиеиье.
Исполии это, Аиглия! При ием
Я буду таять, как в жару горячки.
Избавь меия от этого огия.
Пока ои жив, нет жизии для меия.

Уходнт.

СЦЕНА 4

Равнина в Даннн.
Входят Фортннбрас, капнтан н войско в походном двнжении.

Фортиибрас

Шлю вас с поклоиом к королю датчаи.
Скажите, капитаи, что по трактату
Страну пересекает Фортиибрас.
Где сборный пуикт, вы зиаете. Прибавьте,
Что, если бы явилась в нас иужда,
Мы тут как тут по первому желаиью.
Прощайте.

Капитаи

Добрый путь.

Фортиибрас

Отряд, вперед!

Фортннбрас с войском уходнт.
Входят Гамлет, Розенкраиц, Гильденстерн н другне.

Гамлет

Чье это войско?

Капитан

Армия норвежцев.

Гамлет

Куда поход?

Капитан

На Польшу.

Гамлет

Кто глава?

Капитан

Принц Фортинбрас, племянник королевский.

Гамлет

Вы движетесь к границе или внутрь?

Капитан

Сказать по правде, мы идем отторгнуть
Местечко, не заметное ничем.
Лишь званье, что земля. Пяти дукатов
Я б не дал за участок, да и тех
Не выручить Норвегии и Польше,
Отдай они в аренду этот клад.

Гамлет

Какой полякам смысл в его защите?

Капитан

Туда уж стянут сильный гарнизон.

Гамлет

Двух тысяч душ, десятков тысяч денег
Не жалко за какой-то сена клок!
Так в годы внешнего благополучья
Довольство наше постигает смерть
От внутреннего скрытого недуга.—
Покорнейше благодарю вас, сэр.

Капитан

Храни вас бог.

(Уходит.)

Розенкранц

Милорд, пойдемте тоже.

Гамлет

Ступайте. Я вас тотчас догоню.

Все уходят, кроме Гамлета.

Все мне уликой служит, все торопит
Ускорить месть. Что значит человек,
Когда его заветные желанья —
Еда да сон? Животное — и все.
Наверно, тот, кто создал нас с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
Что тут виной? Забывчивость скота
Или привычка разбирать поступки
До мелочей? Такой разбор всегда
На четверть — мысль, а на три прочих — трусость.
Но что за смысл без умолку твердить,
Что это надо сделать, если к делу
Есть воля, сила, право и предлог?
Нелепость эту только оттеняет
Все, что ни встречу. Например, ряды
Такого ополченья под командой
Решительного принца, гордеца
До кончиков ногтей. В мечтах о славе
Он рвется к сече, смерти и судьбе
И жизнью рад пожертвовать, а дело
Не стоит выеденного яйца.
Но тот-то и велик, кто без причины
Не ступит шага; если ж в деле честь,
Подымет спор из-за пучка соломы.
Отец убит, и мать осквернена,
И сердце пышет злобой: вот и время
Зевать по сторонам и со стыдом
Смотреть на двадцать тысяч обреченных,
Готовых лечь в могилу, как в постель,
За обладанье спорною полоской,
Столь малой, что на ней не разместить
Дерущихся и не зарыть убитых.
О мысль моя, отныне будь в крови,
Живи грозой иль вовсе не живи!

Уходит.

СЦЕНА 5

Комната в замке.
Входят королева и Горацио.

Королева

Я не приму ее.

Горацио

Она шумнт.
И в самом деле, вндно, помешалась.
Ее так жалко!

Королева

Что такое с ней?

Горацио

Все тужнт об отце, подозревает
Во всем обман, сжимает кулакн.
Бьет в грудь себя, н плачет, н бормочет
Бессмыслицу. В ее речах сумбур.
Но кто услышнт, для того находка.
Из этнх фраз, ужнмок н кнвков
Выужнвает каждый, что захочет,
И думает: нет дыма без огня —
И здесь следы какой-то страшной тайны.

Королева

Я лучше свнжусь с ней. В умах врагов
Легко роднть ей будет подозренье.
Пускай войдет.

Горацио уходит.

Больной душе и совестн усталой
Во всем беды мерещится начало.
Так именно утайками вина
Разоблачать себя осуждена.

Возвращается Горацио с Офелней.

Офелня

Где Данин краса н королева?

Королева

Что вам, Офелия?

Офелня
(поет)

А по чем я отличу
Вашего дружка?
Плащ паломннка на нем [1],
Странннка клюка.

[1] Образ паломника в поэзии той эпохи — символ влюбленного. Офелия думает то о Гамлете, который, как ей кажется, погиб на чужбине, то о Полонии.

Королева

Голубушка, что значит эта песня?

Офелия

Да ну вас! Вот я дальше вам спою.

(Поет.)

Помер, леди, помер он,
Помер, только слёг,
В головах зеленый дрок,
Камушек у ног.

Королева

Послушайте, Офелия...

Офелия

Да ну вас..

Входит король.

Королева

Вот горе-то! Взгляните на нее.

Офелия

Белый саван, белых роз
Деревце в цвету,
И лицо поднять от слез
Мне невмоготу.

Король

Как вам живется, милочка моя?

Офелия

Хорошо, награди вас бог. Говорят, сова была раньше дочкой пекаря [1]. Вот и знай после этого, что нас ожидает. Благослови бог вашу трапезу!

Король

(в сторону)

Воображаемый разговор с отцом.

---

[1] «Сова была раньше дочкой пекаря».— Согласно средневековой легенде, дочка пекаря, отказавшаяся дать Христу хлеба, была превращена в сову.

Офелия

Об этом не иадо распространяться. Но если бы вас спросили, что это значит, скажите:

(поет)

С рассвета в Валентинов день[1]
Я проберусь к дверям
И у окна согласье дам
Быть Валеитииой вам.
Ои встал, оделся, отпер дверь,
И та, что в дверь вошла,
Уже не девушкой ушла
Из этого угла.

Король

Офелия, родиая!

Офелия

Вот, не побожась, сейчас кончу.

Король

Давио это с ией?

Офелия

Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой. Но не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю. Надо известить брата. Спасибо за доброе участие.— Поворачивай, моя карета! Покойиой ночи, леди[2]. Покойиой ночи, дорогие леди. Покойной иочи. Покойиой ночи. *(Уходит.)*

Король

Скорее вслед! Смотреть за иею в оба!

Горацио уходит.

Скорбь об отце свела ее с ума.
Повалят беды, так идут, Гертруда,
Не врозь, а скопом. Первою была
Глухая смерть Полоиия. Второю —
Необходимость Гамлета сослать
Куда-нибудь подальше. Третье горе —
Народ ворчит. Вся муть всплыла со дна,
И все рядят и судят о кончиие

[1] «В Валентинов день...» — В день святого Валентина (14 февраля) первая девушка, встретившаяся юноше, становилась его «валентиной» (нареченной).

[2] «Покойной ночи, леди...» — Возможно, в эту минуту Офелия воображает себя королевой, женой Гамлета.

Полония. Напрасно мы его
Зарыли тайно. Следующий случай —
Офелии душевная болезнь,
А без ума мы — звери или тени.
Но верх всего: из Франции тайком
Лаэрт приехал, держится поодаль,
Живет молвой и верит болтунам,
А те ему все уши прожужжали
Про смерть отца. Виновных не найти,
Так всё на нас и свалят. Эти страхи
Меня, Гертруда, стерегут везде
И подсекают, как осколки ядер.

Шум за сценой.

Королева

Что это там за шум?

Король

Швейцарцы где? [1]
Пусть двери охраняют.

Входит дворянин.

Что случилось?

Дворянин

Спасайтесь, государь! Морской прилив,
Размыв плотины, заливает берег
Не шибче, чем с толпой бунтовщиков
Лаэрт разоружает вашу стражу.
Чернь за него. И, будто бы до них
Не знали жизни, не было порядка
И старины, оплота общих чувств,
Они кричат: «Короновать Лаэрта!
Да здравствует Лаэрт!» — и в честь его
Бросают шапки вверх и бьют в ладоши.

Королева

Обрадовались, перепутав след!
Назад! Ошиблись, датские собаки!

Шум за сценой.

Король

Дверь взломана.

Входит вооруженный Лаэрт, за ним датчане.

---

[1] Наемные швейцарцы часто бывали в ту эпоху телохранителями монархов.

Лаэрт

Где он, король? — Уйдите, господа

Датчане

Нет, мы войдем.

Лаэрт

Оставьте помещенье.

Датчане

Да ладно! Хорошо.

(Уходят за дверь.)

Лаэрт

Благодарю.
Займите вход.— Итак, король презренный,
Где мой отец?

Королева

Спокойнее, Лаэрт.

Лаэрт

Найдись во мне спокойствия хоть капля,
И я стыдом покрою всех: себя,
Отца и мать. Могу ль я быть спокойным,
Когда я все утратил, что любил?

Король

Лаэрт, что значит этот бунт гигантов?
Молчи, Гертруда, он ведь без вреда.
Власть короля в такой ограде божьей,
Что, сколько враг на нас ни посягай,
Руками не достать.— Итак, признайся,
Чем ты так сильно раздражен, Лаэрт?
Ну, что же, отвечай.— Молчи, Гертруда.

Лаэрт

Где мой отец?

Король

В гробу.

Королева

Но не король
Тому виной.

Король

Пусть спрашивает вволю.

Лаэрт

Как умер он? Но за нос не водить!
Я рву все связи и топчу присягу
И преданность и верность шлю к чертям.
Возмездьем не пугайте. Верьте слову:
Что тот, что этот свет — мне все равно.
Но будь что будет, за отца родного
Я отомщу!

Король

А кто вам запретит?

Лаэрт

Никто, когда моя на это воля.
А средства — обойдусь и тем, что есть,
Не беспокойтесь.

Король

Вы б узнать желали
Всю подноготную про смерть отца?
Как это сделать, если в ослепленье
Сметаете вы, словно кучу карт,
Врага и друга, правых и неправых?

Лаэрт

Нет, лишь врагов.

Король

Вы их хотите знать?

Лаэрт

Да. А друзьям открою я объятья
И кровь свою с готовностью пролью
По капельке.

Король

Теперь вы говорите,
Как добрый сын и верный дворянин.
Что я в утрате вашей не повинен
И сам скорблю, вам станет дня ясней.

Датчане

(за сценой)

Дорогу ей!

Лаэрт

Что там за суматоха?

Возвращается Офелия.

Гнев, иссуши мой мозг! Соль слез моих,
В семь раз сгустясь, мне оба глаза выжги!
Свидетель бог, я полностью воздам
За твой угасший разум, роза мая!
Дитя мое, Офелия, сестра!
Когда отцов уносит смерть, то следом
Безумье добивает дочерей.
Любовь склонна по доброй воле к жертвам
И платит самой дорогой ценой
Дань нежности умершим.

Офелия

(поет)

Без крышки гроб его несли,
Скок-скок со всех ног,
Ручьями слезы в гроб текли.
Прощай, мой голубок!

Лаэрт

Будь ты в уме и добивайся мщенья,
Ты б не могла подействовать сильней.

Офелия

А вы подхватывайте! «Скок в яму, скок со дна, не сломай веретена. Крутись, крутись, прялица, пока не развалится». Это вор-ключник, увезший хозяйскую дочь.

Лаэрт

Эта бессмыслица глубже иного смысла.

Офелия

Вот розмарин [1] — это для памятливости: возьмите, дружок, и помните. А это анютины глазки: это чтоб думать.

Лаэрт

Безумие наводит на мысль. Из бессмыслицы всплывает истина.

Офелия

Вот вам укроп, вот водосбор. Вот рута. Вот несколько стебельков для меня. Ее можно также звать богородицыной травой.

---

[1] «Вот розмарин...» — Каждый цветок и трава имели свое значение: розмарин означал верность, анютины глазки — задумчивость, укроп — лесть, водосбор — измену, рута — раскаяние и печаль, ромашка — ветреность, легкомыслие, фиалка — верную любовь.

В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец.

(Поет.)

Но Робин родной мой — вся радость моя.

Лаэрт

Болезни, муке и кромешной тьме
Она очарованье сообщает.

Офелия

(поет)

Неужто он не придет?
Неужто он не придет?
Нет, помер он
И погребен,
И за тобой черед.
А были снежной белизны
Его седин волнистых льны.
Но помер он,
И вот
За упокой его души
Молиться мы должны.

И за все души христианские, господи, помилуй! — Ну, храни вас бог. *(Уходит.)*

Лаэрт

Ты видишь это, господи?

Король

Лаэрт,
Поверьте в живость моего участья
И дайте оправдаться. Из друзей
Подите выберите самых умных.
Пусть, выслушав, они рассудят нас.
Когда бы против нас нашлись улики,
Прямые или косвенные, мы
Корону, царство, жизнь и все, что наше,
Даем вам в возмещенье. Если ж нет,
Извольте уделить нам миг терпенья,
И мы в союзе с вами как-нибудь
Добьемся правды.

Лаэрт

Я на все согласен.
Загадка смерти, тайна похорон,
Отсутствие герба и шпаг над прахом.

Обход обрядов, нарушенье форм —
Все это вопиет с небес на землю
И ждет разбора.

Король

И его найдет.
А виноватого — на эшафот.
Теперь пойдемте.

Уходят.

СЦЕНА 6

Там же. Другая комната в замке.
Входят Горацио и слуга.

Горацио

Кто хочет говорить со мной?

Слуга

Матросы.
У них к вам письма, говорят.

Горацио

Прошу.—
Ума не приложу, кто и откуда
Мне мог бы, кроме Гамлета, писать.

Входят матросы.

Первый матрос

Бог в помощь, сэр.

Горацио

Дай бог тебе здоровья.

Первый матрос

Была б его воля, а мы не откажемся.— Вот письмо для вас, сэр. Оно от посланника с корабля, шедшего в Англию,— если ваше имя Горацио, как мне сказали.

Горацио

(читает)

«Горацио, по прочтении этого письма облегчи его подателям доступ к королю. У них есть письма к нему. Не были мы и двух дней в море, как за нами погнались морские разбойники. Уступая им в скорости, мы их атаковали с вынужденной отвагой. При абордаже я перескочил к ним на борт. В это время корабли

расцепились, и я очутился у них единственным пленником. Они обошлись со мной подобно благоразумному разбойнику, хотя сами были морские. Однако они ведали, что творили. За это я должен буду сослужить им службу. Доставь королю приложенные письма и поспеши ко мне, как бежал бы от смерти. Я приведу тебя кое-чем в удивление, хотя это будет только часть того, что я мог бы тебе рассказать. Эти добряки доставят тебя к месту моего нахождения. Розенкранц и Гильденстерн продолжают путь в Англию. О них тоже расскажу тебе. Прощай. Твой, в чем ты, надеюсь, не сомневаешься, Гамлет».

Пойдем сдадим оставшиеся письма
И поспешим к тому, кто их послал.

Уходят.

СЦЕНА 7

Там же. Другая комната в замке.
Входят король и Лаэрт.

Король

Теперь ваш долг принять меня в друзья
И в сердце подписать мне оправданье.
Вы видите, тот самый человек,
Который вас лишил отца, пытался
Убить меня.

Лаэрт

Я вижу. Отчего ж
Не нарядили следствия по делу
Такой великой важности, в обход
Понятьям безопасности и права?

Король

Причины две, на ваш, наверно, взгляд
Нестоящих, а для меня весомых.
Лишь им и дышит королева-мать,
А хорошо ли, плохо ль — ваше дело.
С женой я связан жизнью и душой,
Как связана звезда с своей орбитой.
Другое основанье, отчего
Не предал я суду его открыто,—
Привязанность к нему простых людей.
Его ошибки возведут в заслуги.
Народ — как соль чудесного ключа,
Который ветку обращает в камень.
Стихию эту лучше не дразнить,
А то поднявшийся ответный ветер
Вернет мне стрелы острием назад.

Лаэрт

Итак, забыть про смерть отца и ужас,
Нависший над сестрою? А меж тем —
Хоть дела не поправить похвалами —
Свет не видал еще таких сестер.
Нет, месть моя придет!

Король

Не беспокойтесь.
Вы думаете, я так прост и глуп,
Что, собственной опасности не видя,
Дам ей играть своею бородой?
Потом поймете прочее. Отец ваш
Был другом мне, и я не враг себе,
И этого, я думаю, довольно...

Входит вестовой с письмом.

Ну? Что еще там?

Вестовой

Письма, государь.
От Гамлета. Вот вам, вот королеве.

Король

От Гамлета? Кто подал?

Вестовой

Говорят,
Какие-то матросы. Я не видел.
Мне Клавдио их дал, а у него —
Из первых рук.

Король

Лаэрт, хотите слушать?
Я вам прочту.— Ступайте.

Вестовой уходит.

(Читает.)

«Великий и могущественный, узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Завтра я буду просить разрешения предстать перед вашими королевскими очами, чтобы, заручившись вашим благоволением, изложить обстоятельства моего внезапного и странного возвращения. Гамлет».

Что это значит? Все ли возвратились?
Иль это ложь и все идет на лад?

Лаэрт

Верна ли подпись?

Король

Точный почерк принца.
Вот это «голым» и внизу: «Один»
В приписке. Что вы скажете на это?

Лаэрт

Не знаю сам. Но встретиться хочу.
Мне легче на душе от предвкушенья
Того, что я швырну ему в лицо.

Король

Но если так, за чем же дело стало?
Раз так, то все улажено, Лаэрт.
Я буду направлять вас.

Лаэрт

Направляйте.
Но только не старайтесь помирить.

Король

Какой там мир! Напротив! Он вернулся,
И вновь его так просто не ушлешь.
Поэтому я новое придумал.
Я так его заставлю рисковать,
Что он погибнет сам по доброй воле
Его конец не поразит молвы,
И даже мать, не заподозрив козней,
Во всем увидит случай.

Лаэрт

Государь,
Вы можете воспользоваться мною
Для вашей цели.

Король

Все идет к тому.
В отлучку вашу вас не забывали.
При Гамлете, я слышал, как-то раз
Хвалили вас во многих отношеньях,
Но он вам позавидовал в одном,
Хоть это и не кажется мне главным.

Лаэрт

В чем именно?

Король

В последнем пустяке,
Как бант на шляпе. В молодости носят
Небрежно легкий плащ, зато в годах,
Здоровья ради, тело облекают
В соболий мех. Два месяца назад
Здесь был нормандский дворянин. Я видел
Французов и сражался против них.
Им равных нет в езде верхом. Но этот
Был чародей. Он прирастал к седлу
И достигал с конем такой сноровки,
Как будто был до половины слит
С четвероногим. И во сне не снится,
Словами не сказать, что он творил!
Непостижимо!

Лаэрт

Это был нормандец?

Король

Нормандец.

Лаэрт

Так порукой жизнь — Ламонд!

Король

Он самый.

Лаэрт

Как не знать: алмаз известный,
Цвет всей страны.

Король

Он знает вас, сказал,
И с похвалой большою отзывался
О вашем фехтовальном мастерстве,
Особенно о бое на рапирах,
Где вам, как уверял он, равных нет.
Он говорил — их первые задиры
Теряют глаз, расчет и быстроту
При встрече с вами. Этот отзыв поднял
Такую зависть в Гамлете, что он
Лишь спал и видел, как бы вас дождаться
И упросить, чтоб вы побились с ним.
Вот и предлог.

Лаэрт

Предлог? Не понимаю.
Предлог к чему?

Король

Скажите мне, Лаэрт:
Вы чтите не шутя отцову память
Иль, как со скорби писанный портрет,
Вы лик без жизни?

Лаэрт

Странные вопросы!

Король

Кто отрицает в вас любовь к отцу?
Но всякую любовь рождает время,
И время, как показывает жизнь,
С годами ослабляет это пламя.
Хотите знать? Огонь самой любви
Приводит к угасанью от нагара,
И если чувствам ходу не давать,
Они мельчают от переполненья.
Что хочется, то надо исполнять,
Покамест есть желанье: у хотенья
Не меньше дел и перемен на дню,
Чем рук, и планов, и голов на свете.
А после поздно плакать и вздыхать.
Однако к делу. Возвратился Гамлет.
Лаэрт, скажите, чем, помимо слов,
Докажете вы связь с отцом на деле?

Лаэрт

Увижу в церкви — глотку перерву.

Король

Конечно, для убийцы нет святыни
И месть границ не знает. Но тогда,
Мой дорогой, сидите лучше дома.
Про ваш приезд узнает Гамлет сам,
На всех углах вас будут славословить
Вслед за французом. Вас сведут вдвоем,
За вас обоих выставят заклады.
Как человек беспечный и прямой
И чуждый ухищрений, он не станет
Рассматривать рапир, и вы легко,
Чуть изловчась, подмените тупую,
С предохраненьем, голой боевой
И за отца сквитаетесь.

Лаэрт

Отлично!
Кой-чем вдобавок смажу острие.
Я как-то мазь купил такого свойства,
Что, если смазать нож и невзначай
Порезать палец, каждый умирает,
И не спасти от смерти никакой
Травою, припасенной ночью лунной.
Я этим ядом вымажу клинок.
Довольно будет ссадины, и Гамлет
Не выживет.

Король

Обдумаем полней,
Какие могут ждать нас вероятья.
Допустим, план наш белой ниткой шит
И рухнет или выйдет весь наружу.
Как быть тогда? Нам надобно взамен
Иметь другое что-нибудь в запасе.
Постойте, я смекну.— Готово, есть.
Ага, мы ставим ценные заклады...
Так, так.
Когда вы разгоритесь от борьбы —
Для этого я б участил атаки,—
На случай, если б попросил он пить,
Поставлю кубок. Только он пригубит,
Ему конец, хотя б он уцелел
От смертоносной раны.— Что за крики?

Входит королева.

А, королева!

Королева

Несчастье за несчастием, Лаэрт!
Офелия, бедняжка, утонула.

Лаэрт

Как — утонула? Где? Не может быть!

Королева

Над речкой ива свесила седую
Листву в поток. Сюда она пришла
Гирлянды плесть из лютика, крапивы,
Купав и цвета с красным хохолком,
Который пастухи зовут так грубо,
А девушки — ногтями мертвеца.
Ей травами увить хотелось иву,

Взялась за сук, а он и подломись,
И, как была, с копной цветных трофеев
Она в поток обрушилась. Сперва
Ее держало платье, раздуваясь,
И, как русалку, поверху несло.
Она из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды
Или как существо речной породы.
Но долго это длиться не могло,
И вымокшее платье потащило
Ее от песен старины на дно,
В муть смерти.

Лаэрт

Утонула!..

Королева

Утонула.

Лаэрт

Офелия, довольно вкруг тебя
Воды, чтоб доливать ее слезами.
Но как сдержать их? Несмотря на стыд,
Природа льет их. Имн вон выходит
Все бабье в нас. Прощайте, государь.
В душе пожар, а эта дурья слабость
Мне портит все.

(Уходит.)

Король

Гертруда, сколько сил
Потратил я, чтоб гнев его умерить!
Теперь, боюсь, он разгорится вновь.
Пойдем за ним.

Уходят.

АКТ V

СЦЕНА 1

Эльсинор. Кладбище.
Входят два могильщика с лопатами.

Первый могильщик

А правильно ли хоронить ее по-христиански, ежели она самовольно добивалась вечного блаженства?

Второй могнльщнк

Стало быть, правнльно. Ты н копай ей жнвей могилу. Ее показывали следователю и постановнли, чтобы по-хрнстиански.

Первый могнльщнк

Статочиое лн дело? Добро бы она утопнлась в состояннн самозащиты.

Второй могнльщик

Состояиие и постановилн.

Первый могнльщик

Состояиие надо доказать. Без него не закои. Скажем, я теперь утоплюсь с намереннем. Тогда это дело троякое. Одно — я его сделал, другое — прнвел в исполиенне, третье — совершнл. С иамереннем она, зиачнт, н утопнлась.

Второй могнльщик

Ишь ты как, кум гробокопатель...

Первый могильщик

Нет, без смеху. Вот тебе, скажем, вода. Хорошо. Вот, скажем, человек. Хорошо. Вот, скажем, ндет человек к воде и топится. Хочешь не хочешь, а ои идет, вот в чем суть. Другой разговор — вода. Ежелн иайдет на него вода и потопнт, ои своей беде не ответчнк. Стало быть, кто в своей смертн неповннеи, тот своей жизнн не губнл.

Второй могильщнк

Это по какой же статье?

Первый могильщнк

О сысках и следствнях.

Второй могнльщик

Хочешь знать правду? Не будь она дворяикой, ие видать бы ей христнанского погребення.

Первый могнльщнк

Верное твое слово. То-то н обидно. Чнстая публика топись и вешайся сколько душе угодно, а иаш брат прочнй верующий и не помышляй. Ну, да ладно. Пора за лопату. А насчет дворян — иет старнниее, чем садовники, землекопы и могильщики. Их звание — от самого Адама.

Второй могнльщик

Разве он был дворяиии?

Первый могильщик

Он первый носил ручное оружие.

Второй могильщик

Полно молоть, ничего он не носил.

Первый могильщик

Да ты язычник, что ли? Как ты понимаешь Священное писание? В Писании сказано: «Адам копал землю». Что ж, он копал ее голыми руками? Ну вот тебе еще вопрос. Только ты отвечай впопад, а то смотри...

Второй могильщик

Валяй спрашивай.

Первый могильщик

Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника?

Второй могильщик

Строитель виселиц. Виселица переживает всех попавших на нее.

Первый могильщик

Ей-богу, умница! Виселица — это хорошо. Но только смотря для кого. Хорошо для того, чье дело плохо. Ты сказал плохо, будто виселица крепче церкви. Вот виселица для тебя и хороша. Давай сначала, только теперь спрашивай ты.

Второй могильщик

Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника?

Первый могильщик

Вот и говори кто, и отвяжись.

Второй могильщик

А вот и скажу!

Первый могильщик

Ну?

Второй могильщик

Не могу знать кто.

Входят Гамлет и Горацио и останавливаются в отдалении.

Первый могильщик

Не надсаживай себе этим мозгов. Сколько осла ни погоняй, он шибче не пойдет. В следующий раз спросят тебя эту же вещь —

отвечай: могильщик. Его домá простоят до второго пришествия. Ну, да ладно: Сбегай, брат, к Иогену[1] и принеси-ка мне шкалик.

Второй могильщик уходит.

(Копает и поет.)

Не чаял в молодые дни
Я в девушках души
И думал, только тем они
Одним и хороши.

Гамлет

Неужели этот шутник не сознает рода своей работы, что поет за рытьем могилы?

Горацио

Привычка ее упростила.

Гамлет

Это естественно. Рука чувствительна, пока не натрудишь

Первый могильщик

(поет)

Но тихо старость подошла
И за руку взяла,
И все умчалось без следа
Неведомо куда.

(Выбрасывает череп.)

Гамлет

В этом черепе был когда-то язык, его обладатель умел петь. А этот негодяй шмякнул его оземь, точно это челюсть Каина[2], который совершил первое убийство. Возможно, голова, которою теперь распоряжается этот осел, принадлежала какому-нибудь политику, который собирался перехитрить самого господа бога. Не правда ли?

Горацио

Возможно, милорд.

Гамлет

Или какому-нибудь придворному. Он говаривал: «С добрым утром, светлейший государь. Как изволите здравствовать?» Его

[1] «Сбегай, брат, к Иогену...» — Так звали хозяина кабачка, находившегося по соседству с театром «Глобус».
[2] «Челюсть Каина...» — Согласно библейской легенде, первым убийцей на земле был Каин, убивший своего брата Авеля.

звали лорд такой-то н такой-то, и он нахвалнвал лорду такому-то его лошадь в надежде напроситься на подарок. Не правда ли?

Горацио

Правда, принц.

Гамлет

Да, вот именно. А теперь он угодил к Курносой, сам без челюстей, и церковный сторож бьет его по скулам лопатой. Поразительное превращение, если б только можно было подсмотреть его тайну! Стоило лн растить этн кости, чтобы потом играть нмн в бабки? Мои начинают ныть при мысли об этом.

Первый могильщнк

(поет)

Берн лопату н кирку,
И иовый саваи шей,
И рой могилу старнку
На водворенье в ией.

(Выбрасывает другой череп.)

Гамлет

Вот еще один. Вообразим, что это череп законнника. Где теперь его крючки н извороты, его уловкн н умствования, его казуистика?[1] Отчего терпит он удары этого грубияна и не привлекает его к ответственности за оскорбление действием? Гм! В свое время это мог быть крупный скупщик земель, погрязшнй в разных закладных, долговых обязательствах, судебных протоколах и актах о взыскаиии. В том ли взыскаиие по взыскаиию со всех его земельных оборотов, что голова его вся набита землею? Неужелн все его поручительства, простые и двусторонние, обеспечили ему только иадел величиной в одну купчую крепость иа двух листах бумагн? Одни его передаточные записи едва ли улеглись бы иа таком пространстве. А разве сам владелец не вправе разлечься попросторией?

Горацио

Нет, ни иа одну пядь, милорд.

Гамлет

Кажется, ведь пергамент выделывают из бараньей кожи?

Горацио

Да, принц, а также из телячьей.

---

[1] *Казуистика* — крючкотворство, изворотливость в доказательстве ложных или сомнительных положенний; рассмотренне отдельных прнмеров судебных дел (казусов) с точки зрення того, как они должны решаться согласно правовым нормам.

Гамлет

Ну, так бараны и телята — те, кто верит в прочность пергамента. Я поговорю с этим малым.— Чья это могила, как тебя там?

Первый могильщик

Моя, сэр.

(Поет.)

И рой могилу старику
На водворенье в ней.

Гамлет

Верю, что твоя, потому что ты лжешь из могилы.

Первый могильщик

А вы — не из могилы. Стало быть, она не ваша. А я — в ней и, стало быть, не лгу.

Гамлет

Как же не лжешь? Торчишь в могиле и говоришь, что она твоя. Она для мертвых, а не для живых. Вот ты и лжешь, что в могиле.

Первый могильщик

Эта ложь в могиле не останется. Она перейдет от меня к вам.

Гамлет

Для какого мужа праведна ты ее роешь?

Первый могильщик

Ни для какого.

Гамлет

Тогда для какой женщины?

Первый могильщик

Тоже ни для какой.

Гамлет

Для кого же она предназначена?

Первый могильщик

Для особы, которая, сэр, была женщиной, ныне же, царствие ей небесное, преставилась.

Гамлет

До чего основателен, бездельник! С этим народом надо держать ухо востро, а то пропадешь от двусмыслиц. Клянусь богом,

Горацио, за последние три года я заметил: все так осмелели, что простой народ наступает дворянам на ноги.— Давно ли ты могильщиком?

Первый могильщик

Изо всех дней в году — с того самого, как покойный король наш Гамлет одолел Фортинбраса.

Гамлет

А когда это было?

Первый могильщик

Аль не знаете? Это всякий дурак знает. Это было как раз в тот день, когда родился молодой Гамлет, тот самый, что сошел теперь с ума и послан в Англию.

Гамлет

Вот те на! Зачем же его послали в Англию?

Первый могильщик

Как это — зачем? За умом и послали. Пускай поправит мозги. А не поправит, так там и это не беда.

Гамлет

То есть как это?

Первый могильщик

А так, что там никто не заметит. Там все такие сумасшедшие.

Гамлет

Каким образом он помешался?

Первый могильщик

Говорят, весьма странным.

Гамлет

Каким же именно?

Первый могильщик

А таким, что взял и потерял рассудок.

Гамлет

Да, но на какой почве?

Первый могильщик

Да все на той же, на нашей, датской. Я здесь тридцать лет на кладбище, с малолетства.

Гамлет

Много ли пролежит человек в земле, пока не сгниет?

Первый могильщик

Да как вам сказать... Если он не протухиет заживо — сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон,— то лет восемь-девять продержится. Кожевник, этот все девять с верностью.

Гамлет

Отчего же этот дольше других?

Первый могильщик

А видите, сударь, шкура-то у него так выдублена промыслом, что долго устоит против воды. А вода, будь вам ведомо,— самый первый враг вашему брату покойиику, как помрете. Вот, иапрнмер, еще череп. Этот череп пролежал в земле двадцать три года.

Гамлет

Чей он?

Первый могильщик

Одного шалопая окаянного, лучше ие говорнть. Чей бы, вы думали?

Гамлет

Не знаю.

Первый могильщик

Чтоб ему пусто было, чумовому сорваицу! Бутылку ренского вылил мне раз иа голову, что вы скажете! Этот череп, сэр, это череп Иорика, королевского скомороха.

Гамлет

Этот?

Первый могильщик

Этот самый.

Гамлет

Дай взгляну. *(Берет череп в руки.)* Бедный Иорик! — Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечиого остроумия, неистощимый на выдумки. Ои тысячу раз таскал меня иа спиие. А теперь это само отвращеиие и тошиотой подступает к горлу. Здесь должиы были двигаться губы, которые я целовал не зиаю сколько раз.— Где теперь твои каламбуры, твои смешиые выходки, твои куплеты? Где заразительиое веселье, охватывавшее всех за столом? Ничего в запасе, чтоб позубоскалить над собствеииой беззубостью? Полиое расслабление? Ну-ка, ступай в будуар великосветской жеищииы и скажи ей, какою оиа сделается

когда-нибудь, несмотря на румяна в дюйм толщииою. Попробуй рассмешить ее этим предсказанием.— Скажи мие одиу вещь, Горацио.

Горацио

Что имеино, принц?

Гамлет

Как ты думаешь: Александр Македоиский представлял в земле такое же зрелище?

Горацио

Да, в точности.

Гамлет

И так же воиял? *(Кладет череп наземь.)*

Горацио

Да, в точиости, милорд.

Гамлет

До какого убожества можио опуститься, Горацио! Что мешает вообразить судьбу Александрова праха шаг за шагом, вплоть до последнего, когда он идет на затычку пивной бочки?

Горацио

Это значило бы рассматривать вещи слишком мелко.

Гамлет

Ничуть не бывало. Напротив, это значило бы послушио следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. Примерно так: Александр умер, Александра похороиили, Александр стал прахом, прах — земля, из земли добывают глину. Почему глине, в которую ои обратился, не оказаться в обмазке пивиой бочки?

Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли,
Торчит затычкою в щели.

Но тише! Станем дальше! Вон король.

Входит шествие со священником во главе, за которым следуют тело Офелии, Лаэрт, провожатые, король, королева и их свита.

Вон королева. Двор. Кого хоронят?
Как искажен порядок! Это знак,
Что мы иа проводах самоубийцы.

Но нас увидят. Станем в стороне
И поглядим.

(Отходит с Горацио в сторону.)

Лаэрт

Что вы еще добавите из службы?

Гамлет

Вот благородный юноша Лаэрт.

Лаэрт

Что вы еще намерены добавить?

Священник

В предписанных границах свой устав
Мы уж и так расширили. Кончина
Ее темна, и, не вмешайся власть,
Лежать бы ей в неосвященном месте
До гласа трубного. Взамен молитв
Ее сопровождал бы град каменьев [1],
А ей на гроб возложены венки
И шли за нею с колокольным звоном
До изгороди.

Лаэрт

Значит, это все,
Что в вашей власти?

Священник

Да, мы отслужили.
Мы осквернили бы святой обряд,
Когда б над нею реквием пропели,
Как над другими.

Лаэрт

Опускайте гроб!
Пусть из ее неоскверненной плоти
Взрастут фиалки! — Помни, грубый поп:
Сестра на небе ангелом зареет,
Когда ты в корчах взвоешь.

Гамлет

То есть как:
Офелия?!

---

[1] «Град каменьев...» — Тела самоубийц кидали в яму и забрасывали камнями. Это называлось «ослиным погребением». Церковь запрещала молиться о самоубийцах.

Королева

(разбрасывая цветы)

Нежнейшее — нежнейшей.
Спи с миром! Я тебя мечтала в дом
Ввести женою Гамлета. Мечтала
Покрыть цветами брачную постель,
А не могилу.

Лаэрт

Трижды тридцать казней
Свались втройне на голову того,
От чьих злодейств твой острый ум затмился!..
Не надо. Погодите засыпать.
Еще раз заключу ее в объятья.

(Прыгает в могилу.)

Заваливайте мертвую с живым!
На ровном месте взгромоздите гору,
Которая превысит Пелион
И голубой Олимп[1].

Гамлет

(выступая вперед)

Кто тут, горюя,
Кричит на целый мир, так что над ним
Участливо толпятся в небе звезды,
Как нищий сброд? К его услугам я,
Принц Гамлет Датский.
(Прыгает в могилу.)

Лаэрт

Чтоб тебя, нечистый!

(Борется с ним.)

Гамлет

Учись молиться! Горла не дави.
Я не горяч, но я предупреждаю:
Отчаянное что-то есть во мне.
Ты, право, пожалеешь. Руки с горла!

Король

Разнять их!

---

[1] «Которая превысит Пелион и голубой Олимп».— *Пелион* и *Олимп* — названия гор в Греции. Древние греки считали Олимп самой высокой горой в мире; на вершине Олимпа, по верованиям древних греков, восседали боги.

Королева

Гамлет, Гамлет!

Все

Господа!

Горацио

Спокойней, принц!

Их разнимают, и они выходят из могилы.

Гамлет

Соперничество это
Согласен я оружьем разрешить
И не уймусь, пока мигают веки.

Королева

Соперничество, сын мой?

Гамлет

Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев
И вся любовь их — не чета моей.
Скажи, иа что ты в честь ее способен?

Король

Ои вне себя.

Королева

Не трогайте его.

Гамлет

Я знать хочу, иа что бы ты решился?
Рыдал? Рвал платье? Дрался? Голодал?
Пил уксус? Крокодилов ел? [1] Все это
Могу и я. Ты слезы лить пришел?
В могилу прыгать, мне иа посмеянье?
Живьем зарытым быть? Могу и я.
Ты врал про горы? Миллионы акров
Нам иа курган, чтоб солице верх сожгло
И в бородавку превратилась Осса! [2]
Ты думал глоткой взять? Могу и я.

---

[1] «Пнл уксус? Крокодилов ел?» — Среди знатной молодежи того времени были моднымн «любовные обеты», заключавшнеся в том, например, чтобы пнть уксус (для большей бледности лица) или поклясться съесть одного из тех крокодилов, чучелами которых аптекари украшали свои лавки. Гамлет иронизнрует над высокопарными речами Лаэрта.

[2] *Осса* — гора в Греции.

Королева

Не обращайте на него вниманья.
Когда пройдет припадок, он опять
Придет в себя и станет тих, как голубь.

Гамлет

Лаэрт, откуда эта неприязнь?
Мне кажется, когда-то мы дружили.
А впрочем, что ж, на свете нет чудес.
Как волка ни корми, он смотрит в лес.

(Уходит.)

Король

Побудьте с ним, пожалуйста, Гораций.

Горацио уходит.

(Лаэрту)

Припомните вчерашний разговор
И потерпите. Все идет к развязке.—
Гертруда, пусть за принцем последят —
За эту смерть нам жизнью заплатят.
Терпеть еще недолго. А потом
Тем облегченней с вами мы вздохнем.

Уходят.

СЦЕНА 2

Там же. Зал в замке.
Входят Гамлет и Горацио.

Гамлет

Как будто всё. Два слова о другом.
Но хорошо ли помнишь ты событья?

Горацио

Еще бы, принц.

Гамлет

Мне не давала спать
Какая-то борьба внутри. На койке
Мне было, как на нарах в кандалах.
Я быстро встал. Да здравствует поспешность!
Как часто нас спасала слепота,
Где дальновидность только подводила!

Есть, стало быть, на свете божество,
Устраивающее наши судьбы
По-своему.

Горацио

На наше счастье, есть.

Гамлет

Я вышел из каюты. Плащ накинул,
Пошел искать их, шарю в темноте,
Беру у них пакет и возвращаюсь.
Храбрясь со страху и забывши стыд,
Срываю прикрепленные печати
И, венценосной подлости дивясь,
Читаю сам, Горацио, в приказе,
Какая я опасность и гроза
Для Дании и Англии. Другими
Словами: что меня должны схватить
И тут же, не теряя ни минуты,
Мне голову снести.

Горацио

Не может быть!

Гамлет

Вот предписанье. После прочитаешь.
Сказать ли, как я дальше поступил?

Горацио

Пожалуйста.

Гамлет

Опутанный сетями,
Еще не зная, что я предприму,
Я загорелся. Новый текст составив,
Я начисто его переписал.
Когда-то я считал со всею знатью
Хороший почерк пошлою чертой,
Мечтая, как бы мне его испортить.
А как он выручил меня в беде!
Сказать, что написал я?

Горацио

О, конечно.

Гамлет

Устами короля указ гласил:
Ввиду того, что Англия наш данник
И наша дружба пальмою цветет
И нас сближает мир в венке пшеничном,

А также и ввиду других причин —
Здесь следовало их перечисленье,—
Немедля по прочтеиии сего
Подателей означенной бумаги
Предать иа месте смерти без суда
И покаянья.

Горацио

Где печать вы взяли?

Гамлет

Ах, мне и в этом иебо помогло!
Со мной была отцовская, с которой
Теперешняя датская снята.
Я лист сложил, как тот, скрепил печатью
И положил за подписью назад,
Как тайно подмененного ребенка.
На следующий день был бой морской.
Что было дальше, из письма ты знаешь.

Горацио

Так Гильденстерн и Розенкранц плывут
Себе на гибель?

Гамлет

Сами добивались.
Меня ие мучит совесть. Их конец —
Награда за пронырство. Подчиненный,
Не суйся между старшими в момент,
Когда они друг с другом сводят счеты.

Горацио

Каков король-то!

Гамлет

Вот и посуди,
Как я взбешен. Ему, как видишь, мало,
Что он лишил меня отца, что мать
Покрыл позором, что стоит преградой
Меж мною и народом. Он решил
И жизнь мою отнять! Не тут-то было!
Я сам сотру его с лица земли.
И правда, разве б не было проклятьем
Дать этой язве дальше нас губить?

Горацио

Он скоро о случившемся узнает
Из Англии.

Гамлет

Наверио. А пока
Остаток дией в моем распоряженье,
Хоть человеческая жизнь н вся —
Чуть рот открыл, сказал раз, два — и точка.
Мне совестио, Горацио, что я
С Лаэртом иашумел. В его иесчастьях
Я вижу отражение своих
И помнрюсь с ним. Но зачем наружу
Так громко выставлять свою печаль?
Я этим возмутился.

Горацио

Тнше. Кто там?

Входит Озрик.

Озрик

Со счастливым возвращением в Данию, ваше высочество!

Гамлет

Благодарю покорио, сэр. *(Вполголоса Горацио.)* Знаешь ты эту мошку?

Горацио

(вполголоса Гамлету)

Нет, милорд.

Гамлет

(вполголоса Горацио)

Твое счастье. Зиать его — не заслуга. У него много землн, и вдобавок плодородной. Поставь скотиину царем скотов — его яслн будут рядом с королевскнми. Это сущая галка. Но по тому, куда оиа залетела,— крупнопоместная.

Озрик

Мнлейшнй принц, если бы у вашего высочества иашлось время, я бы вам передал что-то от его велнчества.

Гамлет

Сэр, я это запечатлею глубоко в душе. Но пользуйтесь шляпой по иазначенню. Ее место на голове.

Озрнк

Ваше высочество, благодарю вас. Очень жарко.

Гамлет

Нет, поверьте, очень холодио. Ветер с севера.

Озрик

Действительно, несколько холодновато. Ваша правда.

Гамлет

И все же, я бы сказал, страшная жара и духота для моей комплекции.

Озрик

Принц,— неописуемая! Такая духота, что просто не подберу слова. Однако, принц, по приказу его величества довожу до вашего сведения, что он держит за вас пари на большую сумму.

Гамлет

Тем не менее прошу вас... (*Принуждает Озрика надеть шляпу.*)

Озрик

Нет, оставьте, уверяю вас! Мне так лучше, уверяю вас! Сэр, на днях к здешнему двору прибыл Лаэрт, настоящий джентльмен, полный самых законченных достоинств, обаятельный в обращении и прекрасной наружности. Не шутя, если говорить картинно, это справочник и указатель благородства, ибо в нем заключено все, что полагается знать светскому человеку.

Гамлет

Сэр, он ничего не потерял в вашем определении. Хотя, думаю я, описание его по частям затруднило бы память, заставив ее едва тащиться за его достоинствами, однако скажу с искренностью прославителя: это существо высшей породы и такое редкое, что, по совести, с ним сравнимо только его собственное отражение, а его подражатели — его жалкие тени, не больше.

Озрик

Ваше высочество говорите о нем очень верно.

Гамлет

Куда вы гнете, сэр? Зачем оскверняем мы имя этого джентльмена своими грубыми устами?

Озрик

Сэр?

Горацио

Что у вас в мыслях? Нельзя ли сказать это прямее? Право, постарайтесь, милостивый государь.

Гамлет

К чему приплели вы этого джентльмена?

Озрик

Лаэрта?

Горацно

(вполголоса Гамлету)

Вы замечаете, как он выдохся? Все золотые слова истрачены[1].

Гамлет

Да, Лаэрта, сэр.

Озрнк

Я знаю, от вас не скрыто...

Гамлет

Я хотел бы, чтобы это не было скрыто от вас. Хотя и в таком случае я б ннчего не выиграл. Итак, сэр?

Озрнк

Я знаю, от вас не скрыто совершенство, с каким Лаэрт...

Гамлет

Не смею судить, чтобы не быть вынужденным с нны мерятьcя. Хотя, вообще говоря, себя вполне узнаёшь только нз сравнення с другими.

Озрнк

Речь ндет о совершенстве, с какнм он владеет оружнем. По общему убежденню, ему в этом нет равных.

Гамлет

Какое у него оружне?

Озрик

Рапнра и кннжал.

Гамлет

Оружне двойное. Что же дальше?

Озрнк

Король, сэр, держнт пари с Лаэртом на шесть арабскнх коней, протнв которых тот, как я слышал, прозакладывал шесть французскнх рапнр н кинжалов с нх принадлежностямн, как-то: кушаками, портупеями и так далее; трн пары гужей действительно

[1] «Все золотые слова истрачены».— Озрик говорит на жеманиом, вычурном языке, модном среди придворных кругов эпохи Шекспира.

сказочной красоты и очень подходят к рукоятям; чрезвычайно изящные гужи, с глубокомысленными украшениями.

Гамлет

Что вы называете гужами?

Горацио

(вполголоса, Гамлету)

Я предчувствовал, что дело не обойдется без пояснений.

Озрик

Гужи, сэр,— это ремешки к портупеям.

Гамлет

Выражение было бы более подходящим, если бы вместо шпаг мы носили пушки. До тех пор пусть это будут портупеи. Но не будем отвлекаться. Итак, шесть арабских коней против шести французских шпаг, их принадлежностей и трех пар гужей с глубокомысленными украшениями. За что же все это прозакладовано, как вы сказали?

Озрик

Король, сэр, утверждает, что при обмене ударами Лаэрт в двенадцати схватках возьмет верх над вами не более чем на три удара. На такое соотношение сил, двенадцати к девяти, король и выставил свою ставку. Это можно было бы немедленно проверить, если бы ваше высочество соблаговолили ответить.

Гамлет

А если я отвечу: нет?

Озрик

Я хотел сказать, милорд: если вы ответите согласием.

Гамлет

Сэр, я буду прогуливаться по залу. Если его величеству угодно, сейчас время моего отдыха. Пусть принесут рапиры. Если молодой человек не прочь и король не изменит своего намерения, я постараюсь, если смогу, выиграть его пари. Если же нет, на мою долю достанутся только стыд и неотбитые удары противника.

Озрик

Можно ли именно так передать ваши слова?

Гамлет

Именно так, сэр, с прикрасами, какие вам заблагорассудится прибавить.

Озрик

Поручаю себя в своей преданности вашему высочеству.

Гамлет

Честь имею, честь имею...

Озрик уходит.

Хорошо делает, что поручает. Никто другой за него не поручится...

Горацио

Побежал, нововылупленный, со скорлупой на головке.

Гамлет

Он, верно, и материнской груди не брал иначе, как с расшаркиванием. Таковы все они, нынешние кривляки. Они подхватили общий тон и преобладающую внешность, род бродильного начала, и оно выносит их на поверхность среди невообразимого водоворота вкусов. А легонько подуть на них — пузырей как не бывало.

Входит лорд.

Лорд

Милорд, его величество государь посылал к вам с приветом молодого Озрика, который сообщил, что вы ждете его в зале. Государь послал узнать, остаетесь ли вы при желании биться с Лаэртом или думаете отложить.

Гамлет

Я верен своим решениям. Они приноровлены к желаньям короля. Была бы его воля, а я в долгу не останусь. Сейчас или когда угодно, лишь бы я чувствовал себя так же хорошо, как теперь.

Лорд

Тогда король, королева и остальные сейчас пожалуют вниз.

Гамлет

В добрый час.

Лорд

Королева желала бы, чтобы перед состязанием вы помирились с Лаэртом.

Гамлет

Она учит меня добру.

Лорд уходит.

Горацио

Вы проиграете заклад, милорд.

Гамлет

Не думаю. С тех пор как он уехал во Францию, я постоянно упражнялся. А тут еще льгота в мою пользу. Я выиграю. Но не поверишь, как нехорошо на душе у меня! Впрочем, пустое.

Горацио

Нет, как же, добрейший принц!

Гамлет

Совершенные глупости. И вместе с тем какое-то предчувствие, которое остановило бы женщину.

Горацио

Если у вас душа не на месте, слушайтесь ее. Я пойду к ним навстречу и предупрежу, что вам не по себе.

Гамлет

Ни в коем случае. Надо быть выше суеверий. На все господня воля. Даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно этого не миновать. Самое главное — быть всегда наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, отчего не собраться заблаговременно? Будь что будет!

Входят король, королева, Лаэрт, Озрик, свита, слуги с рапирами и другие.

Король

Стой, Гамлет. Дай соединю вам руки.
(Вкладывает руку Лаэрта в Гамлетову.)

Гамлет

Прошу прощенья, сэр. Я был неправ.
Но вы как дворянин меня простите.
Собравшиеся знают, да и вам
Могли сказать, в каком подчас затменье
Мое сознанье. Все, чем мог задеть
Я ваши чувства, честь и положенье,
Прошу поверить, сделала болезнь.
Ответственен ли Гамлет? Нет, не Гамлет.
Раз Гамлет невменяем и нанес
Лаэрту оскорбленье, оскорбленье
Нанес не Гамлет. Гамлет — ни при чем.
Кто ж этому виной? Его безумье.
А если так, то Гамлет сам истец
И Гамлетов недуг — его обидчик.
Прошу во всеуслышанье, при всех,

Сложить с меия упрек в предумышленье.
Пусть зиают все: я ие желал вам зла.
Ошибкой я пустил стрелу над домом
И ранил брата.

Лаэрт

В глубине души,
Где иенависти, собствеиио, и место,
Прощаю вас. Иное дело честь:
Тут свой закои, и я прощать ие вправе,
Пока подобиых споров знатоки
Не разберут, могу ли я мириться.
Во всяком случае, до той поры
Цеию предложенную вами дружбу
И дружбой отплачу.

Гамлет

Душевио рад
И с легким сердцем принимаю вызов.
Приступим.— Где рапиры?

Лаэрт

Мне одиу.

Гамлет

Для вас я очень выгодиый соперник.
Со миою рядом ваше мастерство
Тем явственией заблещет.

Лаэрт

Вы смеетесь.

Гамлет

Нет, жизиию своей кляиусь, что нет.

Король

Раздайте им рапиры, Озрик.— Гамлет,
Известиы вам условья?

Гамлет

Да, милорд.
Вы ставите на слабость против силы.

Король

Неправда. Преимущества в борьбе
Он выровнял уступкой трех ударов.

Лаэрт

Другую. Эта слишком тяжела.

Гамлет

Мне эта по руке.— Равны ли обе?

Озрик

Да, милый принц.

Они готовятся к бою.

Король

Подай сюда вина.
При первом и втором его ударе
И отраженье третьего — палить
В честь Гамлета со всех бойниц из пушек.
Король его здоровье будет пить.
Сейчас в бокал жемчужину он бросит[1]
Ценнее той, которою в венце
Четыре датских короля гордились.
Подайте кубки мне. Пусть гром литавр
Разносит трубам, трубы — канонирам,
Орудья — небу, небеса — земле
Тост короля за Гамлета.— Начнемте.
Вниманье, судьи! Прошу не зевать.

Гамлет

Готовьтесь.

Лаэрт

Бьюсь.

Бьются.

Гамлет

Удар.

Лаэрт

Отбито.

Гамлет

Судьи!

Озрик

Удар, удар всерьез.

---

[1] «Сейчас в бокал жемчужину он бросит...» — Король вместо жемчужины бросает в вино яд.

Лаэрт

Возобновим.

Король

Стой, выпьем.— За твое здоровье, Гамлет!
Жемчужина твоя. Вот твой бокал.

Трубы и пушечные выстрелы за сценой.

Гамлет

Не время пить.— Начнемте. Защищайтесь.

Бьются.

Опять удар. Не правда ли?

Лаэрт

Удар.

Не отрицаю.

Король

Сын наш побеждает.

Королева

Дай, Гамлет, оботру тебе лицо.
Вот мой платок. Как ты разгорячился!
Я, королева, пью за твой успех.

Гамлет

О матушка...

Король

Не пей вина, Гертруда!

Королева

Я пить хочу. Прошу, позвольте мне.

Король

(в сторону)

В бокале яд! Ей больше нет спасенья!

Гамлет

Нет, матушка, мне рано с вами пить.

Королева

Дай оботру лицо тебе от пота.

Лаэрт

А ну, теперь ударю я.

Король

Едва ль.

Лаэрт

(в сторону)

Хоть это против совести поступок.

Гамлет

На этот раз, Лаэрт, без баловства.
Я попрошу вас нападать, как надо.
Боюсь, вы лишь играли до сих пор.

Лаэрт

Вы думаете? Ладно.

Бьются.

Озрик

Оба мимо.

Лаэрт

Так вот же вам!

Лаэрт ранит Гамлета. Затем в схватке они меняются рапирами и Гамлет ранит Лаэрта.

Король

Разнять их! Так нельзя.

Гамлет

Нет, сызнова!

Королева падает.

Озрик

На помощь королеве!

Горацио

Тот и другой в крови.— Ну как, милорд?

Озрик

Ну как, Лаэрт?

Лаэрт

Увы, кулик попался.
Я ловко сети, Озрик, расставлял [1]

---

[1] «Я ловко сети, Озрик, расставлял...» — Из этого обращения Лаэрта к Озрику ясно, что Озрик был посвящен в тайну отравленного оружия.

И угодил в них за свое коварство.

Гамлет

Что с королевой?

Король

Обморок простой
При виде крови.

Королева

Нет, неправда, Гамлет.—
Питье, питье! — Отравлена! — Питье!
(Умирает.)

Гамлет

Средь нас измена! — Кто ее виновник?
Найти его!

Лаэрт

Искать недалеко.
Ты умерщвлен, и нет тебе спасенья.
Всей жизни у тебя на полчаса.
Улики пред тобой. Рапира эта
Отравлена и с голым острием.
Я гибну сам за подлость и не встану.
Нет королевы. Больше не могу...
Всему король, король всему виновник!

Гамлет

Как, и рапира с ядом? Так ступай,
Отравленная сталь, по назначенью!

(Закалывает короля.)

Все

Предательство.

Король

На выручку, друзья!
Еще спасенье есть. Я только ранен!

Гамлет

Так на же, самозванец-душегуб!
Глотай свою жемчужину в растворе!
За матерью последуй!

Король умирает.

Лаэрт

Поделом:
Напиток был его нзготовлеиья.—
Ну, благородный Гамлет, а теперь
Прощу тебе я кровь свою с отцовой,
Ты ж мие — свою!

(Умирает.)

Гамлет

Простн тебя господь.
Я тоже вслед. Все кончено, Гораций.
Простнмся, королева! Бог с тобой!
А вы, немые зрнтелн фннала,—
О, еслн б только время я нмел!
Но смерть — тупой конвойный н ие любнт,
Чтоб медлили,— я столько бы сказал...
Но пусть и так. Все кончено, Гораций.
Ты жнв. Расскажешь правду обо мие
Непосвященным.

Горацно

Этого не будет.
Я не датчаннн — рнмляннн скорей.
Здесь яд остался.

Гамлет

Еслн ты мужчнна,
Дай кубок мне. Отдай его.— Какнм
Бесславнем покроюсь я в потомстве,
Пока не знает нстнны ннкто!
Нет, еслн ты мне друг, то ты на время
Поступнишься блаженством. Подышн
Еще трудами мнра н поведай
Про жнзнь мою.

Марш вдали и выстрелы за сценой.

Что за пальба вдалн?

Озрик

Послам англнйскнм, проходя с победой
Из Польшн, салютует Фортинбрас.

Гамлет

Горацнй, я кончаюсь. Сила яда
Глушнт меня. Уже меня в живых
Из Англии известья не застаиут.

Предсказываю: выбор ваш падет
На Фортинбраса. За него мой голос.
Скажи ему, как все произошло.
И что к чему. Дальиейшее — молчаиье.

(Умирает.)

Горацио

Разбилось сердце редкостиое.— Спи
Спокойным сиом под аигельское пеиье! —
Кто это с барабаиами сюда?

Марш за сценой.
Входят Фортинбрас и английские послы с барабанным боем, знаменами и свитой.

Фортинбрас

Где место происшествия?

Горацио

Какого?
Печали иебывалой? Это здесь.

Фортинбрас

Кругом лежит и стынет прах убитых.
В чертогах смерти, видно, пир горой,
Что столько жертв кровавых без разбора
Оиа иагромоздила.

Первый посол

Страшный вид!
Английские известья опоздали.
Погиб король, который был бы рад
Услышать, что приказ его исполнеи
И Розеикраица с Гильдеистерном иет.
Кто иам спасибо скажет?

Горацио

Ои — едва ли.
Его б ои и при жизни не сказал.
Король совсем ие требовал их смерти.
Но раз уж вы сошлись здесь иа крови
Дорогами из Аиглии и Польши,
То прикажите положить тела
Пред всеми иа виду, и с возвышеиья
Я всеиародио расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостиых делах,

Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличье и к концу —
О кознях пред развязкой, погубивших
Виновников. Вот что имею я
Поведать вам.

Фортинбрас

Скорей давайте слушать
И созовем для этого совет.
Не в добрый час мне выпадает счастье.
На этот край есть право у меня.
Я предъявлю его.

Горацио

Я и об этом
Имею слово от лица того,
Чей голос есть судьба голосованья.
Но поспешим, пока умы в чаду
Не натворили новых беззаконий.

Фортинбрас

Пусть Гамлета к помосту отнесут,
Как воина, четыре капитана.
Будь он в живых, он стал бы королем
Заслуженно. Переносите тело
С военной музыкой, по всем статьям
Церемоньяла. Уберите трупы [1].
Средь поля битвы мыслимы они,
А здесь не к месту, как следы резни.
Скомандуйте дать залп.

Похоронный марш.
Уходят, унося трупы, после чего раздается пушечный залп.

Конец

---

[1] В театре времен Шекспира не было занавеса. В конце действия актеры уходили со сцены, унося «мертвых».

СОНЕТЫ

66

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк
И как шутя живется богачу,
И доверять, и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,

И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

Перевод *Бориса Пастернака*

130

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

Перевод *С. Я. Маршака*

МОЛЬЕР

Настоящее имя классика французской драматургии Мольера (Molière, 1622—1673) — Жан-Батист Поклен. Он родился в семье буржуа; его отец был обойщиком при дворе французского короля и имел звание королевского камердинера. Окончив привилегированное аристократическое учебное заведение, куда его определил отец, воспользовавшись своим положением при дворе, будущий писатель поспешил связать свою судьбу с искусством. Вместе с группой друзей он организовал в Париже «Блистательный театр», где выступал сам на трагических ролях.

«Блистательный театр» успеха не имел и был вскоре закрыт. С 1646 до 1658 г. Мольер разъезжал по Франции в составе труппы комедиантов. В 1658 г. его труппа по желанию короля была оставлена в Париже. Именно в «парижский» период жизни Мольер создал свои знаменитые комедии (числом более тридцати), в которых подверг осмеянию всевозможные пороки, свойственные как человеку вообще, так и человеку той эпохи, когда жил и творил замечательный комедиограф.

Ханжество, лицемерие, подозрительность, тупость, легкомыслие, чванство, дворянская спесь и жадность буржуа — все это и многое другое стало предметом критики в беспощадной, порой горькой, порой доброй, но всегда глубокой по мысли, человечной по сути и виртуозной по форме комедии Мольера. «Дон Жуан» (1665), «Мизантроп» (1666), «Скупой» (1668), «Тартюф» (1664), «Господин де Пурсоньяк» (1669), «Плутни Скапена» (1671), «Мнимый больной» (1673) и другие его пьесы

до сих пор не сходят со сцены: их остроумие и блеск не тускнеют от времени.

Подобно великому Шекспиру, Мольер был не только драматургом, но и не менее гениальным актером. «Он был актером с головы до ног. Одним шагом, улыбкой, взглядом, кивком головы он сообщал больше, чем величайший говорун в свете мог бы рассказать за целый час»,— писал о нем один из современников.

17 февраля 1673 г. во время представления комедии «Мнимый больной», в которой Мольер выступал в главной роли, драматургу стало плохо. Начавшиеся судороги он сумел выдать за игру, так что спектакль не был прерван на середине. Через несколько часов после окончания представления Мольер скончался.

Семнадцатый век во Франции был веком расцвета классицизма. Мировое значение приобрело творчество великих трагических поэтов: Пьера Корнеля (1606—1684) и Жана Расина (1639—1699). Созданные в строгих правилах классицизма, трагедии Корнеля и Расина изображали острые нравственные конфликты, борьбу долга и страсти, столкновение крупных и сильных характеров. Правила «трех единств» (места, времени и действия) обусловили необычайную концентрированность действия. По мысли классицистов, время должно быть максимально приближено ко времени длительности самого спектакля: перед зрителями проходили не годы, даже не дни, а немногие часы, на протяжении которых развивался и разрешался давно подготовленный трагический конфликт. Во Франции и до нашего времени творения Корнеля и Расина оцениваются как образец драматургического искусства.

И Мольер был сыном эпохи классицизма, но жанр комедии предоставлял ему больше свободы. В ряде фарсовых и бытовых комедий Мольера оживает раблезианская карнавальная стихия, народная смеховая культура, которой последовательные классицисты закрывали доступ на театральные подмостки. Он нарушил принцип «трех единств», с соблюдением которых должна была строиться классическая пьеса: единства места, единства времени (все действие занимает 24 часа) и единства действия (ничего лишнего, помимо единственной сюжетной линии). Видный теоретик классицизма Буало относился к Мольеру с большой симпатией и тем не менее критиковал его за нарушение законов классицистической эстетики, ибо «новшества» Мольера, конечно же, были новым словом в развитии европейской драмы, не просто отходом от классицизма; они открывали дорогу реализму.

Справедливо, однако, отметить, что Буало был здесь излишне пристрастен. Драматургия Мольера, отступая от одних требований классицизма, вполне удовлетворяла другим. Правда, в своих «высоких комедиях» («Мизантроп», «Дон Жуан») автор смешивал «высокий» и «низкий» жанры. Он обращался к языку улицы, что для классицизма было уже и вовсе противопоказано, и отказывался от «единств». Но, с другой стороны, заостряя комедии против пороков, Мольер стремился совершенствовать человеческую природу и исправлять нравы, а это было весьма похвально даже на взгляд Буало. Рассудок, вернее разум и сметка у Мольера всегда правят чувством, а его характеры выступают носителями какой-нибудь одной ведущей страсти или идеи — прием, ставший нормой для классицистов, хотя и не ими открытый.

Характерный пример соединения традиции и новшества являет разработанный Мольером жанр комедии-балета, органически сочетающий драматическое действие с танцами и музыкой. К этому жанру относится и «Мещанин во дворянстве» — одна из самых проницательных пьес Мольера. Показав буржуа, готового купить дворянство за наличные, Мольер на заре капиталистического переустройства мира предугадал всесилие денег, которые в эпоху классического капитализма станут буквально всем. (Впоследствии Бальзак изобразит это в «Гобсеке».) Мольер показал, как один из древнейших человеческих пороков — тщеславие предстает в новых для того времени одеждах, как оно выглядит, когда богатство начинает играть в обществе куда большую роль, чем родовитость и знатность. Именно об этом писал великий французский просветитель Вольтер, высоко ценивший дарование Мольера: «Мещанин во дворянстве» обладает одним из самых счастливых сюжетов, в котором ис-

пользуется смешная сторона человеческих натур. Тщеславие, свойственное человеческому роду, делает то, что принцы захватывают титулы королей, а вельможи желают стать принцами. Это та же самая страсть, что и у нашего мещанина, который хочет стать аристократом. Но только безумие мещанина настолько комично, что может возбудить в театре смех: от полнейшего несоответствия повадок и языка этого типа с манерами и речью, которые он хочет усвоить,— отсюда происходит комический эффект».

Своим возникновением эта бессмертная комедия обязана анекдотическому случаю. Турецкий посол при французском дворе как-то неосмотрительно заметил, что конь у турецкого султана украшен роскошнее, чем корона Людовика XIV. Разгневанный монарх приказал посадить посла под домашний арест, а потом и вовсе выдворить из Франции. Но этого показалось мало, и король пожелал, чтобы Мольер в одной из своих комедий выставил турок в смешном виде. Желание короля было равнозначно приказу, и Мольер написал одну из самых смешных своих пьес, где вдоволь поиздевался как над турецкой, так и над доморощенной, французской, помпезностью. Людовик милостиво одобрил комедию, которая была впервые сыграна в королевском дворце Шамбор 14 октября 1670 г., а широкой публике показана через полтора месяца в театре Пале-Рояль. В роли господина Журдена выступил сам Мольер.

Комедия «Мещанин во дворянстве» дается в переводе *Н. Любимова;* стихи в пьесе перевел *А. Арго.*

Произведения Мольера можно прочитать в изданиях:

Мольер Ж.-Б. Собрание сочинений в 2 т. М., Гослитиздат, 1957.

Мольер Ж.-Б. Полное собрание сочинений в 4 т. М., «Искусство», 1965—1967.

Мольер Ж.-Б. Комедии. М., Художественная литература, 1972.

О жизни и творчестве Мольера см.:

Булгаков М. Мольер. М., Молодая гвардия, 1962.

Гликман И. Д. Мольер. М.— Л., Художественная литература, 1966.

Бояджиев Г. Н. Мольер. М., Искусство, 1967.

МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ

КОМЕДИЯ-БАЛЕТ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА КОМЕДИИ

Господин Журден — мещанин.
Госпожа Журден — его жена.
Люсиль — его дочь.
Клеонт — молодой человек, влюбленный в Люснль.
Доримена — маркиза.
Дорант — граф, влюбленный в Дорнмену.
Николь — служанка в доме г-на Журдена.
Ковьель — слуга Клеонта.
Учитель музыки.
Ученик учителя музыкн.
Учитель танцев.
Учитель фехтования.
Учитель философии.
Музыканты.
Портной.
Подмастерье портного.
Два лакея.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА БАЛЕТА

В ПЕРВОМ ДЕЙСТВИИ

Певица.
Два певца.
Танцовщикн.

ВО ВТОРОМ ДЕЙСТВИИ

Портновские подмастерья *(танцуют)*.

В ТРЕТЬЕМ ДЕЙСТВИИ

Повара *(танцуют)*.

В ЧЕТВЕРТОМ ДЕЙСТВИИ

Турецкая церемония

Муфтий[1].
Турки, свита муфтия *(поют)*.
Дервиши[2] *(поют)*.
Турки *(танцуют)*.

Действие происходит в Париже, в доме г-на Журдена.

---

[1] *Муфтий* — ученый-богослов у мусульман, толкователь Корана, мусульманского Святого писания.
[2] *Дервиш* — нищенствующий монах-мусульманин.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Увертюра исполняется множеством инструментов; посреди сцены за столом ученик учителя музыки сочиняет мелодию для серенады, заказанной г-ном Журденом.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Учитель музыки, учитель танцев, два певца, певица, два скрипача, четыре танцовщика.

Учитель музыки *(певцам и музыкантам)*. Пожалуйте сюда, вот в эту залу; отдохните до его прихода.

Учитель танцев *(танцовщикам)*. И вы тоже, станьте с этой стороны.

Учитель музыки *(ученику)*. Готово?

Ученик. Готово.

Учитель музыки. Посмотрим... Очень недурно.

Учитель танцев. Что-нибудь новенькое?

Учитель музыки. Да, я велел ученику, пока наш чудак проснется, сочинить музыку для серенады.

Учитель танцев. Можно посмотреть?

Учитель музыки. Вы это услышите вместе с диалогом, как только явится хозяин. Он скоро выйдет.

Учитель танцев. Теперь у нас с вами дела выше головы.

Учитель музыки. Еще бы! Мы нашли именно такого человека, какой нам нужен. Господин Журден с его помешательством на дворянстве и на светском обхождении — это для нас просто клад. Если б все на него сделались похожи, то вашим танцам и моей музыке больше и желать было бы нечего.

Учитель танцев. Ну, не совсем. Мне бы хотелось для его же блага, чтоб он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы ему толкуем.

Учитель музыки. Разбирается-то он в них плохо, да зато хорошо платит, а наши искусства ни в чем сейчас так не нуждаются, как именно в этом.

Учитель танцев. Признаюсь, я слегка неравнодушен к славе. Аплодисменты доставляют мне удовольствие, расточать же свое искусство глупцам, выносить свои творения на варварский суд болвана — это, на мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Что ни говорите, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведений и лестными знаками одобрения вознаграждать вас за труд. Да, самая приятная награда — видеть, что творение ваше признано, что вас чествуют за него рукоплесканиями. По-моему, это наилучшее воздаяние за все наши тяготы,— похвала просвещенного человека доставляет наслаждение неизъяснимое.

Учитель музыки. Я с этим согласен, я и сам люблю похвалы. В самом деле, нет ничего более лестного, чем рукоплес-

кания, но ведь на фимиам не проживешь. Одних похвал человеку недостаточно, ему давай чего-нибудь посущественнее; лучший способ поощрения — это вложить вам что-нибудь в руку. Откровенно говоря, познания нашего хозяина не велики, судит он обо всем вкривь и вкось и рукоплещет там, где не следует; однако ж деньги выпрямляют кривизну его суждений, его здравый смысл находится в кошельке, его похвалы отчеканены в виде монет, так что от невежественного этого мещанина нам, как видите, куда больше пользы, чем от того просвещенного вельможи, который нас сюда ввел.

Учитель танцев. В ваших словах есть некоторая доля истины, но только, мне кажется, вы придаете деньгам слишком большое значение; между тем корысть есть нечто до такой степени низменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности.

Учитель музыки. Однако у нашего чудака вы преспокойно берете деньги.

Учитель танцев. Конечно, беру, но деньги для меня не главное. Если б к его богатству да еще хоть немного хорошего вкуса — вот чего бы я желал.

Учитель музыки. Я тоже: ведь мы оба по мере сил этого добиваемся. Но, как бы то ни было, благодаря ему на нас стали обращать внимание в обществе, а что другие будут хвалить, то он оплатит.

Учитель танцев. А вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-н Журден в халате и ночном колпаке, учитель музыки, учитель танцев, ученик учителя музыки, певица, два певца, скрипачи, танцовщики, два лакея.

Г-н Журден. Ну, господа? Как там у вас? Покажете вы мне нынче вашу безделку?

Учитель танцев. Что? Какую безделку?

Г-н Журден. Ну, эту самую... Как это у вас называется? Не то пролог, не то диалог с песнями и пляской.

Учитель танцев. О! О!

Учитель музыки. Как видите, мы готовы.

Г-н Журден. Я немного замешкался, но дело вот в чем: одеваюсь я теперь, как одевается знать, мой портной прислал мне шелковые чулки, до того узкие — право, я уж думал, что мне их так никогда и не натянуть.

Учитель музыки. Мы всецело к вашим услугам.

Г-н Журден. Я прошу вас обоих не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм: я хочу, чтоб вы на меня поглядели.

Учитель танцев. Как вам будет угодно.

Г-н Журден. Вы увидите, что теперь я с ног до головы одет как должно.

Учнтель музыкн. Мы в этом ннсколько ие сомневаемся.

Г-и Журден. Я сделал себе из иидийской ткаии[1] халат.

Учнтель танцев. Отлнчный халат.

Г-н Журдеи. Мой портной уверяет, что вся зиать по утрам иоснт такне халаты.

Учитель музыкн. Он вам удивнтельио идет.

Г-и Журдеи. Лакен! Эй, два монх лакея!

Первый лакей. Что прикажете, сударь?

Г-н Журден. Ннчего не прикажу. Я только хотел проверить, как вы меня слушаетесь. *(Учителю музыки и учителю танцев.)* Как вам нравятся их лнврен?

Учнтель танцев. Великолепные лнвреи.

Г-н Журден *(распахивает халат; под ним у него узкие красного бархата штаны и зеленого бархата камзол).* А вот мой домашний костюмчнк для утреннн упражненнй.

Учнтель музыкн. Бездна вкуса!

Г-н Журден. Лакей!

Первый лакей. Что угодно, сударь?

Г-н Журден. Другой лакей!

Второй лакей. Что угодно, сударь?

Г-и Журден *(снимает халат).* Держите. *(Учителю музыки и учителю танцев.)* Ну что, хорош я в этом наряде?

Учнтель танцев. Очень хорошн. Лучше нельзя.

Г-н Журден. Теперь займемся с вамн.

Учитель музыкн. Прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы прослушалн музыку, которую вот он *(указывает на ученика)* иаписал для заказанной вами серенады. Это мой ученик, у него к такнм вещам нзумнтельные способностн.

Г-и Журдеи. Очень может быть, но все-таки ие следовало поручать это ученнку. Еще неизвестно, годнтесь ли вы самн для такого дела, а не то что ученнк.

Учнтель музыки. Слово «ученнк» не должно вас смущать, сударь. Подобного рода ученнкн смыслят в музыке не меньше велнкнх мастеров. В самом деле, чудеснее мотнва не придумаешь. Вы только послушайте.

Г-и Журден *(лакеям).* Дайте халат — так удобней слушать... Впрочем, постойте, пожалуй, лучше без халата. Нет, подайте халат, так будет лучше.

Певица.

Ирнда! Я томлюсь, меня страдаиье губит,
Меня ваш строгнй взгляд пронзил, как острый меч.
Когда вы мучнте того, кто вас так любнт,
Сколь вы страшны тому, кто гнев ваш смел навлечь!

Г-и Журден. По-моему, это довольно зауиывная песия, от

---

[1] *Индийская ткань* — стариииое наименование ситца, который привозился в XVII веке из Индии и был предметом роскоши.

иее ко сиу клонит. Я бы вас попросил сделать ее чуть-чуть веселее.

Учитель музыкн. Мотив должеи соответствовать словам, сударь.

Г-н Журден. Меня иедавно обучили премилой песеике. Погодите... сейчас-сейчас... Как же это оиа начинается?

Учитель музыкн. Право, не зиаю.

Г-и Журден. Там еще про овечку говорится.

Учитель таицев. Про овечку?

Г-и Журдеи. Да-да. Ах, вот! *(Поет.)*

Жанетту я счнтал
И доброй и прекрасной,
Жанетту я считал овечкою, ио ах!
Она коварна н опасна,
Как львнца в девствеиных лесах!

Правда, славная песенка?

Учнтель музыки. Еще бы не славиая!

Учитель таицев. И вы хорошо ее поете.

Г-и Журден. А ведь я музыке ие учился.

Учитель музыки. Вам бы хорошо, сударь, поучиться ие только танцам, но н музыке. Этн два рода искусства связаны между собой неразрывно.

Учитель таицев. Оии развивают в человеке чувство изящиого.

Г-и Журден. А что, зиатные господа тоже учатся музыке?

Учитель музыки. Коиечно, сударь.

Г-и Журден. Ну, так и я стану учнться. Вот только не зиаю когда: ведь кроме учителя фехтовання я еще наиял учителя философнн,— ои должеи иынче утром начать со мной заииматься.

Учитель музыки. Философия — матерня важиая, ио музыка, сударь, музыка...

Учитель танцев. Музыка н таицы... Музыка н таицы — это все, что нужно человеку.

Учнтель музыки. Нет иичего более полезного для государства, чем музыка.

Учнтель танцев. Нет ннчего более иеобходимого человеку, чем танцы.

Учнтель музыки. Без музыки государство ие может существовать.

Учнтель танцев. Без танцев человек ничего не умел бы делать.

Учнтель музыки. Все распри, все войны иа земле пронсходят едннственно от иезнания музыки.

Учнтель танцев. Все людские иевзгоды, все злоключеиия, конмн полиа нстория, оплошиости государствениых

деятелей, ошибки великих полководцев — все это проистекает единственно от неумения танцевать.

Г-н Журден. Как так?

Учитель танцев. Война возникает из-за несогласия между людьми, не правда ли?

Г-н Журден. Верно.

Учитель музыки. А если бы все учились музыке, разве это не настроило бы людей на мирный лад и не способствовало бы воцарению на земле всеобщего мира?

Г-н Журден. И то правда.

Учитель танцев. Когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства, или же государственный деятель, или же военачальник, про него обыкновенно говорят, что он сделал неверный шаг, не правда ли?

Г-н Журден. Да, так говорят.

Учитель танцев. А чем еще может быть вызван неверный шаг, как не неумением танцевать?

Г-н Журден. Да, с этим я тоже согласен, вы оба правы.

Учитель танцев. Все это мы говорим для того, чтобы вы себе уяснили преимущества и пользу танцев и музыки.

Г-н Журден. Теперь я понимаю.

Учитель музыки. Угодно вам ознакомиться с нашими сочинениями?

Г-н Журден. Угодно.

Учитель музыки. Как я вам уже говорил, это давнишняя моя попытка выразить все страсти, какие только способна передать музыка.

Г-н Журден. Прекрасно.

Учитель музыки *(певцам)*. Пожалуйте сюда. *(Г-ну Журдену.)* Вы должны вообразить, что они одеты пастушками.

Г-н Журден. И что это всегда пастушки? Вечно одно и то же!

Учитель танцев. Когда говорят под музыку, то для большего правдоподобия приходится обращаться к пасторали[1]. Пастухам испокон веку приписывали любовь к пению; с другой стороны, было бы весьма ненатурально, если бы принцы или мещане стали выражать свои чувства в пении.

Г-н Журден. Ладно, ладно. Посмотрим.

Музыкальный диалог

Певица и два певца.

Певица.

Сердца в любовном упоенье
Всегда встречают тысячи помех.
Любовь приносит нам и счастье и томленье.

---

[1] *Пастораль* — музыкальное или литературное произведение, рассказывающее об идиллической любви пастушков и пастушек на лоне природы.

Недаром есть такое мненье,
Что нам милей всего — не зиать любви утех.

Первый певец.

Нет, нам всего милей та радость без коица,
Которая сердца
Любовников сливает.

Блаженству иа земле без страсти ие бывать.

Любовью кто пренебрегает,
Тому и счастья ие знавать.

Второй певец.

О, кто бы не хотел любви изведать власть,
Когда бы ие была обманчивою страсть!
Но, ах, как быть со злой судьбиной?
Здесь вериой иет пастушки ни едииой,
И иедостойиый пол, позоря белый свет,
Свидетельствует нам, что верности уж нет.

Первый певец.

О сердца дрожь!

Певица.

О страсть во взорах!

Второй певец.

Сплошиая ложь!

Первый певец.

Тот миг мие дорог!

Певица.

Оии полиы утех!

Второй певец.

Я презираю всех!

Первый певец.

О, ие сердись, забудь свой гнев безмериый!

Певица.

Мы приведем тебя сейчас
К пастушке любящей и вериой.

Второй певец.

Увы! Достойных нет средь вас!

Певица.

Я иду иа испытаиье —
Вот тебе моя любовь.

Второй певец.

Кто поручится заране,
Что не быть обману вновь?

Певица.

Тот, кто верен, пусть докажет
Свой сердечный нежный пыл.

Второй певец.

Небо пусть того накажет,
Кто постыдно изменил.

Все трое вместе.

Над нами, пламенея,
Любви горит венец.
Слиянье двух сердец —
Что может быть милее?

Г-н Журден. И это все?

Учитель музыки. Все.

Г-н Журден. По-моему, ловко закручено. Кое-где попадаются очень занятные словечки.

Учитель танцев. А теперь моя очередь: я вам предложу небольшой образчик самых изящных телодвижений и самых изящных поз, из каких только может состоять танец.

Г-н Журден. Опять пастухи?

Учитель танцев. Это уж как вам будет угодно. *(Танцовщикам.)* Начинайте.

Балет

Четыре танцовщика по указаниям учителя танцев делают различные движения и исполняют всевозможные па.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Г-н Журден, учитель музыки, учитель танцев.

Г-н Журден. Очень здорово: танцоры откалывают лихо.

Учитель танцев. А когда танец идет под музыку, то впечатление еще сильнее. Мы сочинили для вас балет — вы увидите, сколь это очаровательно.

Г-н Журден. Он понадобится мне сегодня же: особа, в честь которой я все это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед.

Учитель танцев. Все готово.

Учитель музыки. Одного, сударь, недостает: такой особе, как вы, со всем вашим великолепием, с вашей склонностью к изящным искусствам, непременно нужно давать у себя концерты по средам или же по четвергам.

Г-н Журден. А у знатных господ бывают концерты?

Учитель музыки. Разумеется, сударь.

Г-н Журден. Тогда и я начну давать. И хорошо это получится?

Учитель музыки. Не сомневаюсь. Вам потребуется три голоса: сопрано, контральто и бас, а для аккомпанемента альт, лютня и, для басовых партий, клавесин, а для ритурнелей[1] две скрипки.

Г-н Журден. Хорошо бы еще морскую трубу[2]. Я ее очень люблю, она приятна для слуха.

Учитель музыки. Предоставьте все нам.

Г-н Журден. Смотрите, не забудьте прислать певцов, чтоб было кому петь во время обеда.

Учитель музыки. У вас ни в чем недостатка не будет.

Г-н Журден. Главное, чтоб хорош был балет.

Учитель музыки. Останетесь довольны, особенно некоторыми менуэтами.

Г-н Журден. А, менуэт — это мой любимый танец! Поглядите, как я его танцую. Ну-ка, господин учитель!

Учитель танцев. Извольте, сударь, надеть шляпу.

Г-н Журден берет шляпу своего лакея и надевает ее поверх колпака. Учитель танцев берет г-на Журдена за руку и, напевая менуэт, танцует вместе с ним.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла. Пожалуйста, в такт. Ла-ла-ла, ла-ла. Колени не гнуть. Ла-ла-ла. Плечами не дергать. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла. Не растопыривать рук. Ла-ла-ла, ла-ла. Голову выше. Носки держать врозь. Ла-ла-ла. Корпус прямей.

Г-н Журден. Ну как?

Учитель танцев. Лучше нельзя.

Г-н Журден. Кстати, научите меня кланяться маркизе — мне это скоро понадобится.

Учитель танцев. Кланяться маркизе?

Г-н Журден. Да. Ее зовут Доримeной.

Учитель танцев. Позвольте вашу руку.

Г-н Журден. Не нужно. Вы только покажите, а я запомню.

---

[1] *Ритурнель* — повторяющаяся, как припев, краткая музыкальная фраза в аккомпанементе; находится в начале, в конце или между куплетами музыкальной пьесы.

[2] *Морская труба* — музыкальный инструмент с громким и резким звуком.

Учитель танцев. Если вы желаете, чтоб это был поклон весьма почтительный, то прежде отступите назад и поклонитесь один раз, затем подойдите к ней с тремя поклонами и в конце концов склонитесь к ее ногам.

Г-н Журден. А ну, покажите.

Учитель танцев показывает.

Понятно.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-н Журден, учитель музыки, учитель танцев, лакей.

Лакей. Сударь! Учитель фехтования пришел.

Г-н Журден. Скажи, пусть войдет и начинает урок. *(Учителю музыки и учителю танцев.)* А вы поглядите, как это у меня выходит.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-н Журден, учитель фехтования, учитель музыки, учитель танцев и лакей с двумя рапирами.

Учитель фехтования *(берет у лакея две рапиры и одну из них подает г-ну Журдену)*. Прошу вас, сударь: поклон. Корпус прямо. Легкий упор на левое бедро. Не надо так расставлять ноги. Обе ступни на одной линии. Кисть руки на уровне бедра. Конец рапиры прямо против плеча. Не надо так вытягивать руку. Кисть левой руки на высоте глаза. Левое плечо назад. Голову прямо. Взгляд уверенный. Выпад. Корпус неподвижен. Парируйте квартой и отходите с тем же парадом. Раз, два. В позицию. Уверенно начинайте снова. Шаг назад. Когда делаете выпад, нужно, чтобы рапира выносилась вперед, а тело, сколько можно, было защищено от удара. Раз, два. Прошу вас: парируйте терсом и отходите с тем же парадом. Выпад. Корпус неподвижен. Выпад. Становитесь в позицию. Раз, два. Начинайте сызнова. Шаг назад. Защищайтесь, сударь, защищайтесь!

Учитель фехтования с криком: «Защищайтесь!» — несколько раз колет г-на Журдена.

Г-н Журден. Ну как?

Учитель музыки. Вы делаете чудеса.

Учитель фехтования. Как я вам уже говорил, весь секрет фехтования заключается в том, чтобы, во-первых, наносить противнику удары, а во-вторых, чтобы самому таковых не получать, и вы никогда их не получите, если, как я это вам прошлый раз доказал путем наглядного примера, научитесь отводить шпагу противника от своего тела, а для этого нужно только легкое движение кисти руки — к себе или от себя.

Г-н Журден. Стало быть, эдаким манером каждый человек, даже и не из храбрых, может наверняка убить другого, а сам останется цел?

Учитель фехтования. Конечно. Разве я вам это не доказал наглядно?

Г-н Журден. Доказали.

Учитель фехтования. Отсюда ясно, какое высокое положение мы, учителя фехтования, должны занимать в государстве и насколько наука фехтования выше всех прочих бесполезных наук, как, например, танцы, музыка и...

Учитель танцев. Но-но, господин фехтмейстер! Отзывайтесь о танцах почтительно.

Учитель музыки. Будьте любезны, научитесь уважать достоинства музыки.

Учитель фехтования. Да вы просто забавники! Как можно ставить ваши науки на одну доску с моей?

Учитель музыки. Подумаешь, важная птица!

Учитель танцев. Напялил нагрудник, чучело!

Учитель фехтования. Берегитесь, плясунишка, вы у меня запляшете не как-нибудь, а вы, музыкантишка, запоете ангельским голоском.

Учитель танцев. А я, господин драчунишка, научу вас, как нужно драться.

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Да вы спятили! Затевать ссору с человеком, который все терсы и кварты знает как свои пять пальцев и может убить противника путем наглядного примера?

Учитель танцев. Плевать я хотел на его наглядный пример и на все его терсы и кварты!

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Полно, говорят вам!

Учитель фехтования *(учителю танцев)*. Ах, вы вот как, нахальная пигалица!

Г-н Журден. Успокойтесь, любезный фехтмейстер!

Учитель танцев *(учителю фехтования)*. Ах, вы вот как, лошадь ломовая!

Г-н Журден. Успокойтесь, любезный танцмейстер!

Учитель фехтования. Мне только до вас добраться...

Г-н Журден *(учителю фехтования)*. Потише!

Учитель танцев. Мне только до вас дотянуться...

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Будет вам!

Учитель фехтования. Я уж вас отколошмачу!

Г-н Журден *(учителю фехтования)*. Ради бога!

Учитель танцев. Я вас так вздую...

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Умоляю!

Учитель музыки. Нет уж, позвольте, мы его выучим хорошему тону.

Г-н Журден *(учителю музыки)*. Боже мой! Да перестаньте!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Учитель философии, г-н Журден, учитель музыки, учитель танцев, учитель фехтования, лакей.

Г-н Журден. А, господин философ! Вы как раз вовремя подоспели с вашей философией. Помирите как-нибудь этих господ.

Учитель философии. В чем дело? Что случилось, господа?

Г-н Журден. Повздорили из-за того, чье ремесло лучше, переругались и чуть было не подрались.

Учитель философии. Полноте, господа! Как можно доводить себя до такой крайности? Разве вы не читали ученого трактата Сенеки[1] о гневе? Что может быть более низкого и более постыдного, чем эта страсть, которая превращает человека в дикого зверя? Все движения нашего сердца должны быть подчинены разуму, не так ли?

Учитель танцев. Помилуйте, сударь! Я преподаю танцы, мой товарищ занимается музыкой, а он с презрением отозвался о наших занятиях и оскорбил нас обоих!

Учитель философии. Мудрец стоит выше любых оскорблений. Лучший ответ на издевательства — это сдержанность и терпение.

Учитель фехтования. Они имеют наглость сравнивать свое ремесло с моим!

Учитель философии. Это ли повод для волнения? Из-за суетливой славы и из-за положения в обществе люди не должны вступать между собою в соперничество: чем мы резко отличаемся друг от друга, так это мудростью и добродетельностью.

Учитель танцев. Я утверждаю, что танцы — это наука, заслуживающая всяческого преклонения.

Учитель музыки. А я стою на том, что музыку чтили во все века.

Учитель фехтования. А я им доказываю, что наука владеть оружием — это самая прекрасная и самая полезная из всех наук.

Учитель философии. Позвольте, а что же тогда философия? Вы все трое — изрядные нахалы, как я погляжу: смеете говорить в моем присутствии такие дерзости и без зазрения совести называете науками занятия, которые не достойны чести именоваться даже искусствами и которые могут быть приравнены лишь к жалким ремеслам уличных борцов, певцов и плясунов!

Учитель фехтования. Молчать, собачий философ!

Учитель музыки. Молчать, педант тупоголовый!

Учитель танцев. Молчать, ученый сухарь!

---

[1] *Сенека, Люций Анней* (4 год до н. э.— 65 год н. э.) — римский поэт и философ-стоик.

Учитель философии. Ах вы, твари эдакие!.. *(Бросается на них; они осыпают его ударами.)*

Г-н Журдеи. Господин философ!

Учитель философии. Мерзавцы, подлецы, иахалы!

Г-и Журден. Господии философ!

Учитель фехтования. Гадина! Скотина!

Г-и Журден. Господа!

Учитель философии. Наглецы!

Г-и Журдеи. Господии философ!

Учитель таицев. Ослиная голова!

Г-и Журдеи. Господа!

Учитель философии. Негодяи!

Г-н Журден. Господии философ!

Учитель музыки. Убирайся к черту, иахал!

Г-н Журден. Господа!

Учитель философии. Жулики, прощелыги, продувиые бестии, проходимцы!

Г-н Журден. Господии философ! Господа! Господии философ! Господа! Господин философ!

Все учителя уходят, продолжая драться.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-и Журдеи, лакей.

Г-н Журден. Э, да ладно, деритесь сколько хотите. Мое дело сторона, я разнимать вас ие стану, а то еще халат с вами разорвешь. Набитым дураком иадо быть, чтобы с иими связываться: неровеи час, так огреют, что своих ие узиаешь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Учпгель философии, г-и Журдеи, лакей.

Учитель философии *(оправляя воротник)*. Приступим к уроку.

Г-н Журдеи. Ах, господин учитель, как мне досадио, что они вас побили!

Учитель философии. Пустяки. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню иа них сатиру в духе Ювенала[1], и эта сатира их совершенно уиичтожит. Но довольно об этом. Итак, чему же вы хотите учиться?

Г-и Журдеи. Чему только смогу: ведь я смерть как хочу стать ученым, и такое зло меня берет на отца и мать, что меня с малолетства ие обучали всем наукам!

---

[1] *Ювенал, Децим Юний* (60—140 годы н. э.) — римский поэт-сатирик, известный своими суровыми обличеииямн распутиых иравов времен империи.

Учитель философии. Это понятное чувство, *nam sine doctrina vita est quasi mortis imago.* Вам это должно быть ясно, потому что вы уж, верно, знаете латынь.

Г-н Журден. Да, но вы все-таки говорите так, как будто я ее не знаю. Объясните мне, что это значит.

Учитель философии. Это значит: без науки жизнь есть как бы подобие смерти.

Г-н Журден. Латынь говорит дело.

Учитель философии. У вас есть основы, начатки каких-либо познаний?

Г-н Журден. А как же, я умею читать и писать.

Учитель философии. С чего вам угодно будет начать? Хотите, я обучу вас логике?

Г-н Журден. А что это за штука — логика?

Учитель философии. Это наука, которая учит нас трем процессам мышления.

Г-н Журден. Кто же они такие, эти три процесса мышления?

Учитель философии. Первый, второй и третий. Первый заключается в том, чтобы составлять себе правильное представление о вещах при посредстве универсалий [1], второй — в том, чтобы верно о них судить при посредстве категорий, и, наконец, третий — в том, чтобы делать правильное умозаключение при посредстве фигур: *Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton* [2] и так далее.

Г-н Журден. Уж больно слова-то заковыристые. Нет, логика мне не подходит. Лучше что-нибудь позавлекательнее.

Учитель философии. Хотите, займемся этикой?

Г-н Журден. Этикой?

Учитель философии. Да.

Г-н Журден. А про что она, эта самая этика?

Учитель философии. Она трактует о счастье жизни, учит людей умерять свои страсти и...

Г-н Журден. Нет, не надо. Я вспыльчив, как сто чертей, и никакая этика меня не удержит: когда меня разбирает злость, я желаю беситься сколько влезет.

Учитель философии. Может, вас прельщает физика?

Г-н Журден. А физика — это насчет чего?

Учитель философии. Физика изучает законы внешнего мира и свойства тел, толкует о природе стихий, о признаках металлов, минералов, камней, растений, животных и объясняет причины всевозможных атмосферных явлений, как-то: радуги, блуждающих огней, комет, зарниц, грома, молнии, дождя, снега, града, ветров и вихрей.

---

[1] *Универсалии* — философский термин средневековой схоластики, религиозной философии феодального общества, отличавшейся абстрактными, беспредметными рассуждениями.

[2] *Barbara, Celarent, Darii* и др.— латинские слова, являющиеся терминами абстрактной логики.

Г-н Журден. Слишком много трескотни, слишком много всего наворочено.

Учитель философии. Так чем же вы хотите заняться?

Г-н Журден. Займитесь со мной правописанием.

Учитель философии. С удовольствием.

Г-н Журден. Потом научите меня узнавать по календарю, когда бывает луна, а когда нет.

Учитель философии. Хорошо. Если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, то, дабы вполне удовлетворить ваше желание, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв и о различных способах их произнесения. Прежде всего я должен вам сообщить, что буквы делятся на гласные, названные так потому, что они обозначают звуки голоса, и на согласные, названные так потому, что произносятся с помощью гласных и служат лишь для обозначения различных изменений голоса. Существует пять гласных букв, или, иначе, голосовых звуков: А, Е, И, О, У.

Г-н Журден. Это мне все понятно.

Учитель философии. Чтобы произнести звук А, нужно широко раскрыть рот: А.

Г-н Журден. А, А. Так!

Учитель философии. Чтобы произнести звук Е, нужно приблизить нижнюю челюсть к верхней: А, Е.

Г-н Журден. А, Е, А, Е. В самом деле! Вот здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести звук И, нужно еще больше сблизить челюсти, а углы рта оттянуть к ушам: А, Е, И.

Г-н Журден. А, Е, И, И, И, И. Верно! Да здравствует наука!

Учитель философии. Чтобы произнести звук О, нужно раздвинуть челюсти, а углы губ сблизить: О.

Г-н Журден. О, О. Истинная правда! А, Е, И, О, И, О. Удивительное дело! И, О, И, О.

Учитель философии. Отверстие рта принимает форму того самого кружка, посредством коего изображается звук О.

Г-н Журден. О, О, О. Вы правы. О. Как приятно знать, что ты что-то узнал!

Учитель философии. Чтобы произнести звук У, нужно приблизить верхие зубы к нижним, не стискивая их, однако ж, а губы вытянуть и тоже сблизить, но так, чтобы они не были плотно сжаты: У.

Г-н Журден. У, У. Совершенно справедливо! У.

Учитель философии. Ваши губы при этом вытягиваются, как будто вы гримасничаете. Вот почему, если вы пожелаете в насмешку над кем-либо состроить рожу, вам стоит только сказать: У.

Г-н Журден. У, У. Верно! Эх, зачем я не учился прежде! Я бы все это уже знал.

Учитель философии. Завтра мы разберем другие буквы, так называемые согласные.

Г-н Журден. А они такие же занятные, как и эти?

Учитель философии. Разумеется. Когда вы произносите звук Д, например, нужно, чтобы кончик языка уперся в верхнюю часть верхних зубов: ДА.

Г-н Журден. ДА, ДА. Так! Ах, до чего же здорово, до чего же здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести Ф, нужно прижать верхние зубы к нижней губе: ФА.

Г-н Журден. ФА, ФА. И то правда! Эх, батюшка с матушкой, ну как тут не помянуть вас лихом!

Учитель философии. А чтобы произнести звук Р, нужно приставить кончик языка к верхнему нёбу, однако ж под напором воздуха, с силою вырывающегося из груди, язык беспрестанно возвращается на прежнее место, отчего происходит некоторое дрожание: Р-РА.

Г-н Журден. Р-Р-Р-РА, Р-Р-Р-Р-Р-РА! Какой же вы молодчина! А я-то сколько времени потерял даром! Р-Р-Р-РА.

Учитель философии. Все эти любопытные вещи я объясню вам до тонкостей.

Г-н Журден. Будьте настолько любезны! А теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблен в одну великосветскую даму, и мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне написать ей записочку, которую я собираюсь уронить к ее ногам.

Учитель философии. Отлично.

Г-н Журден. Ведь правда, это будет учтиво?

Учитель философии. Конечно. Вы хотите написать ей стихи?

Г-н Журден. Нет-нет! Только не стихи.

Учитель философии. Вы предпочитаете прозу?

Г-н Журден. Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.

Учитель философии. Так нельзя: или то, или другое.

Г-н Журден. Почему?

Учитель философии. По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не иначе, как прозой или стихами.

Г-н Журден. Не иначе, как прозой или стихами?

Учитель философии. Не иначе, сударь. Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза.

Г-н Журден. А когда мы разговариваем, это что же такое будет?

Учитель философии. Проза.

Г-н Журден. Что? Когда я говорю: «Николь! Принеси мне туфли и ночной колпак», это — проза?

Учитель философии. Да, сударь.

Г-н Журден. Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой. Большое вам спасибо, что

сказали. Так вот что я хочу ей написать: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви», но только нельзя ли это же самое сказать полюбезнее, как-нибудь этак покрасивее выразиться?

Учитель философии. Напишите, что пламя ее очей испепелило вам сердце, что вы день и ночь терпите из-за нее столь тяжкие...

Г-н Журден. Нет-нет-нет, это все не нужно. Я хочу написать ей только то, что я вам сказал: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Учитель философии. Следовало бы чуть-чуть подлиннее.

Г-н Журден. Да нет, говорят вам! Я не хочу, чтобы в записке было что-нибудь, кроме этих слов, но только их нужно расставить как следует, как нынче принято. Приведите мне, пожалуйста, несколько примеров, чтобы мне знать, какого порядка лучше придерживаться.

Учитель философии. Порядок может быть, во-первых, тот, который вы установили сами: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви». Или: «От любви смерть мне сулят, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза». Или: «Прекрасные ваши глаза от любви мне сулят, прекрасная маркиза, смерть». Или: «Смерть ваши прекрасные глаза, прекрасная маркиза, от любви мне сулят». Или: «Сулят мне прекрасные глаза ваши, прекрасная маркиза, смерть».

Г-н Журден. Какой же из всех этих способов наилучший?

Учитель философии. Тот, который вы избрали сами: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Г-н Журден. А ведь я ничему не учился и вот все ж таки придумал в один миг. Покорно вас благодарю, приходите, пожалуйста, завтра пораньше.

Учитель философии. Не премину.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г-н Журден, лакей.

Г-н Журден *(лакею)*. Неужели мне еще не принесли костюма?

Лакей. Никак нет, сударь.

Г-н Журден. Окаянный портной заставляет меня дожидаться, когда у меня и без того дела по горло. Как я зол! Чтоб его лихорадка замучила, этого разбойника портного! Чтоб его черт побрал, этого портного! Чума его возьми, этого портного! Попадись он мне сейчас, пакостный портной, собака портной, злодей портной, я б его...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Г-н Журден, портной, подмастерье с костюмом для г-на Журдена, лакей.

Г-н Журден. А, наконец-то! Я уж начал было на тебя сердиться.

Портной. Раньше поспеть не мог, и так уж двадцать подмастерьев засадил за ваш костюм.

Г-н Журден. Ты мне прислал такие узкие чулки, что я насилу их натянул. И уже две петли спустились.

Портной. Они еще как растянутся!

Г-н Журден. Да, только не раньше, чем лопнут все петли. К тому же еще башмаки, которые ты для меня заказал, жмут невыносимо.

Портной. Нисколько, сударь.

Г-н Журден. То есть как — нисколько?

Портной. Нет-нет, они вам не тесны.

Г-н Журден. А я говорю — тесны.

Портной. Это вам так кажется.

Г-н Журден. Оттого и кажется, что мне больно. Иначе бы не казалось!

Портной. Вот, извольте взглянуть: не у каждого придворного бывает такой красивый костюм, и сделан он с отменным вкусом. Тут с моей стороны требовалось особое искусство, чтобы получился строгий костюм, хотя и не черного цвета. Самому лучшему портному не сшить такого костюма, это уж я вам ручаюсь.

Г-н Журден. А это еще что такое? Ты пустил цветочки головками вниз?

Портной. Вы мне не говорили, что хотите вверх.

Г-н Журден. Разве об этом надо говорить особо?

Портной. Непременно. Все господа так носят.

Г-н Журден. Господа носят головками вниз?

Портной. Да, сударь.

Г-н Журден. Гм! А ведь и правда красиво.

Портной. Если угодно, я могу и вверх пустить.

Г-н Журден. Нет-нет.

Портной. Вы только скажите.

Г-н Журден. Говорят тебе, не надо. У тебя хорошо получилось. А сидеть-то он на мне будет ладно, как по-твоему?

Портной. Что за вопрос! Живописец кистью так не выведет, как я подогнал к вашей фигуре. У меня есть один подмастерье: по части штанов это просто гений, а другой по части камзолов — краса и гордость нашего времени.

Г-н Журден. Парик и перья — как, ничего?

Портной. Все в надлежащем порядке.

Г-н Журден (*приглядываясь к портному*). Эге-ге, господин портной, а ведь материя-то на вас от моего камзола, то-

го самого, что вы мне шили в прошлый раз! Я ее сразу узнал.

Портной. Мне, изволите ли видеть, так понравилась материя, что я и себе выкроил на кафтан.

Г-н Журден. Ну и выкраивал бы, только не из моего куска.

Портной. Не угодно ли примерить?

Г-н Журден. Давай.

Портной. Погодите. Это так не делается. Я привел людей, чтоб они вас облачили под музыку: такие костюмы надеваются с особыми церемониями. Эй, войдите!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Г-н Журден, портной, подмастерье, подмастерья танцующие, лакей.

Портной (*подмастерьям*). Наденьте этот костюм на господина Журдена так, как вы всегда одеваете знатных господ.

Первый балетный выход

Четверо танцующих подмастерьев приближаются к г-ну Журдену. Двое снимают с него штаны, двое других — камзол, а затем, все время двигаясь в такт, они надевают на него новый костюм. Г-н Журден прохаживается между ними, а они смотрят, хорошо ли сидит костюм.

Подмастерье. Ваша милость! Пожалуйте сколько-нибудь подмастерьям, чтобы они выпили за ваше здоровье.

Г-н Журден. Как ты меня назвал?

Подмастерье. Ваша милость.

Г-н Журден. «Ваша милость»! Вот что значит одеться по-господски! А будете ходить в мещанском платье — никто вам не скажет «ваша милость». (*Дает деньги.*) На, вот тебе за «вашу милость».

Подмастерье. Премного довольны, ваше сиятельство!

Г-н Журден. «Сиятельство»? Ого! «Сиятельство»! Погоди, дружок... «Сиятельство» чего-нибудь да стоит, это не простое слово — «сиятельство»! На, вот тебе от его сиятельства!

Подмастерье. Ваше сиятельство! Мы все как один выпьем за здоровье вашей светлости.

Г-н Журден. «Вашей светлости»? Ого-го! Погоди, не уходи. Это мне-то — «ваша светлость»! (*В сторону.*) Если дело дойдет до «высочества», честное слово, ему достанется весь кошелек. (*Подмастерью.*) На, вот тебе за «вашу светлость».

Подмастерье. Покорнейше благодарим, ваше сиятельство, за ваши милости.

Г-н Журден (*в сторону*). Вовремя остановился, а то бы я все ему отдал.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Второй балетный выход

Четверо подмастерьев танцуют, радуясь щедрости г-на Журдена.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Журден, два лакея.

Г-н Журден. Идите за мной: я хочу пройтись по городу в новом костюме, да только смотрите не отставайте ни на шаг, чтоб все видели, что вы мои лакеи.

Лакей. Слушаем, сударь.

Г-н Журден. Позовите сюда Николь — мне нужно отдать ей кое-какие распоряжения. Стойте, она сама идет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-н Журден, Николь, два лакея.

Г-н Журден. Николь!

Николь. Что угодно?

Г-н Журден. Послушай...

Николь. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Чего ты смеешься?

Николь. Хи-хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что с тобой, бесстыдница?

Николь. Хи-хи-хи! На кого вы похожи! Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что такое?

Николь. Ах, боже мой! Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Экая нахалка! Ты это надо мной смеешься?

Николь. Ни-ни, сударь, даже не думала. Хи-хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Посмейся-ка еще — уж и влетит тебе от меня!

Николь. Ничего не могу с собой поделать, сударь. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Перестанешь ты или нет?

Николь. Извините, сударь, но вы такой уморительный, что я не могу удержаться от смеха. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Нет, вы подумайте, какая наглость!

Николь. До чего же вы сейчас смешной! Хи-хи!

Г-н Журден. Я тебя...

Николь. Извините, пожалуйста. Хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Послушай: если ты сию секунду не перестанешь — клянусь, я закачу тебе такую оплеуху, какой еще никто на свете не получал.

Николь. Коли так, сударь, можете быть спокойны: не буду больше смеяться.

Г-н Журден. Ну, смотри! Сейчас ты мне уберешь...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Уберешь как следует...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Уберешь, говорю, как следует залу и...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Ты опять?

Николь *(валится от хохота)*. Нет уж, сударь, лучше побейте меня, но только дайте посмеяться вдоволь — так мне будет легче. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Ты меня доведешь!

Николь. Смилуйтесь, сударь, дайте мне посмеяться. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Вот я тебя сейчас...

Николь. Су... ударь... я лоп... лопну, если не похохочу. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Видали вы такую подлянку? Вместо того, чтобы выслушать мои приказания, нагло смеется мне в лицо.

Николь. Что же вам угодно, сударь?

Г-н Журден. Мне угодно, чтобы ты, мошенница, потрудилась навести в доме чистоту: ко мне скоро гости будут.

Николь *(встает)*. Вот мне уже и не до смеху, честное слово! Ваши гости наделают всегда такого беспорядку, что при одной мысли о них на меня нападает тоска.

Г-н Журден. Что ж, мне из-за тебя держать дверь на запоре от всех моих знакомых?

Николь. По крайней мере, от некоторых.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-жа Журден, г-н Журден, Николь, два лакея.

Г-жа Журден. Ах-ах! Это еще что за новости? Что это на тебе, муженек, за наряд? Верно, вздумал посмешить людей, коли вырядился таким шутом? Хочешь, чтобы все на тебя пальцем показывали?

Г-н Журден. Разве одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцем.

Г-жа Журден. Да уж и показывают: твои повадки давно всех смешат.

Г-н Журден. Кого это «всех», позволь тебя спросить?

Г-жа Журден. Всех благоразумных людей, всех, которые поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду

завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник: с самого утра, то и знай, пиликают на скрипках, песни орут,— соседям, и тем покою нет.

Николь. И то правда, сударыня. Мне не под силу будет поддерживать в доме чистоту, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Грязи наносят прямо со всего города. Бедная Франсуаза вконец измучилась: любезные ваши учителя наследят, а она каждый божий день мой после них полы.

Г-н Журден. Ого! Вот так служанка Николь! Простая мужичка, а ведь до чего же языкастая.

Г-жа Журден. Николь права: ума-то у нее побольше, чем у тебя. Хотела бы я знать, на что тебе, в твои годы, понадобился учитель танцев?

Николь. И еще этот верзила фехтовальщик: он так топочет, что весь дом трясется, а в зале, того и гляди, весь паркет повыворотит.

Г-н Журден. Молчать — и ты, служанка, и ты, жена!

Г-жа Журден. Стало быть, ты задумал учиться танцевать? Нашел когда: у самого скоро ноги отнимутся.

Николь. Может статься, вам припала охота кого-нибудь убить?

Г-н Журден. Молчать, говорят вам! Обе вы невежды. Вам невдомек, какие это мне дает пре-ро-га-тивы.

Г-жа Журден. Лучше бы подумал, как дочку пристроить: ведь она уже на выданье.

Г-н Журден. Подумаю я об этом, когда представится подходящая партия. А пока что я хочу думать о том, как бы мне разным хорошим вещам научиться.

Николь. Я еще слыхала, сударыня, что нынче в довершение всего хозяин нанял учителя философии.

Г-н Журден. Совершенно верно. Хочу понабраться ума-разума, чтоб мог я о чем угодно беседовать с порядочными людьми.

Г-жа Журден. Не поступить ли тебе в один прекрасный день в школу, чтоб тебя там розгами драли на старости лет?

Г-н Журден. А что ж тут такого? Пусть меня выдерут хоть сейчас, при всех, лишь бы знать все то, чему учат в школе!

Николь. Да, это бы вам пошло на пользу.

Г-н Журден. Без сомнения.

Г-жа Журден. В хозяйстве тебе все это вот как пригодится!

Г-н Журден. Непременно пригодится. Обе вы несете дичь; мне стыдно, что вы такие необразованные. *(Г-же Журден.)* Вот, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь?

Г-жа Журден. Конечно. Я знаю, что говорю дело и что тебе надо начать жить по-другому.

Г-н Журден. Я не о том толкую. Я спрашиваю: что такое эти слова, которые ты сейчас сказала?

Г-жа Журден. Слова-то мои разумные, а вот поведение твое очень даже неразумное.

Г-н Журден. Говорят тебе, я не о том толкую. Я вот о чем спрашиваю: то, что я тебе говорю, вот то, что я тебе сказал сейчас,— что это такое?

Г-жа Журден. Глупости.

Г-н Журден. Да нет, ты меня не понимаешь. То, что мы оба говорим, вся наша с тобой речь?

Г-жа Журден. Ну?

Г-н Журден. Как это называется?

Г-жа Журден. Все равно, как ни назвать.

Г-н Журден. Невежда! Это — проза!

Г-жа Журден. Проза?

Г-н Журден. Да, проза. Все, что проза, то не стихи, а все, что не стихи, то проза. Видала? Вот что значит ученость! *(К Николь.)* Ну, а ты — тебе известно, как произносится У?

Николь. Как произносится?

Г-н Журден. Да, что ты делаешь, когда говоришь: У?

Николь. Чего?

Г-н Журден. Попробуй сказать: У.

Николь. Ну, У.

Г-н Журден. Что же ты делаешь?

Николь. Говорю: У.

Г-н Журден. Да. Но когда ты говоришь: У, что ты в это время делаешь?

Николь. То и делаю, что вы велели.

Г-н Журден. Вот и поговори-ка с дурами! Ты вытягиваешь губы и приближаешь верхнюю челюсть к нижней: У. Видишь? Я корчу рожу: У.

Николь. Да, нечего сказать, ловко.

Г-жа Журден. И впрямь чудеса!

Г-н Журден. Вы бы еще не то сказали, ежели б увидали О, ДА-ДА и ФА-ФА!

Г-жа Журден. Что это за галиматья?

Николь. На что это все нужно?

Г-н Журден. Эти дуры хоть кого выведут из себя.

Г-жа Журден. Вот что, гони-ка ты своих учителей в шею и со всей их тарабарщиной.

Николь. А главное, эту дылду — учителя фехтования: от него только пыль столбом.

Г-н Журден. Скажи на милость! Дался вам учитель фехтования! Вот я тебе сейчас докажу, что ты ничего в этом не смыслишь. *(Велит подать себе рапиры и одну из них протягивает Николь.)* Вот, смотри, наглядный пример, линия тела. Когда тебя колют квартой, то надо делать так, а когда терсом, то вот так. Тогда тебя никто уж не убьет, а во время драки это самое важное — знать, что ты в безопасности. А ну, попробуй, кольни меня разок!

Николь. Что ж, и кольну! *(Несколько раз колет г-на Журдена.)*

Г-н Журден. Да тише ты! Эй-эй! Осторожней! Черт бы тебя побрал, скверная девчонка!

Николь. Вы же сами велели вас колоть.

Г-н Журден. Да, но ты сперва колешь терсом, вместо того чтобы квартой, и у тебя не хватает терпения подождать, пока я отпарирую.

Г-жа Журден. Ты помешался на всех этих причудах, муженек. И началось это у тебя с тех пор, как ты вздумал водиться с важными господами.

Г-н Журден. В том, что я вожусь с важными господами, виден мой здравый смысл: это не в пример лучше, чем водиться с твоими мещанами.

Г-жа Журден. Да уж, нечего сказать: прок от того, что ты подружился с дворянами, ох как велик! Взять хоть этого распрекрасного графа, от которого ты без ума: до чего же выгодное знакомство!

Г-н Журден. Молчать. Думай сначала, а потом давай волю языку. Знаешь ли ты, жена, что ты не знаешь, о ком говоришь, когда говоришь о нем? Ты себе не представляешь, какое это значительное лицо: он настоящий вельможа, вхож во дворец, с самим королем разговаривает, вот как я с тобой. Разве это не великая для меня честь, что такая высокопоставленная особа постоянно бывает в моем доме, называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге? Никому и в голову не придет, какие услуги мне оказывает граф, а при всех он до того бывает со мною ласков, что мне, право, становится неловко.

Г-жа Журден. Да, он оказывает тебе услуги, он с тобою ласков, но и денежки у тебя занимает.

Г-н Журден. Ну и что ж? Разве это для меня не честь — дать взаймы такому знатному господину? Могу ли я вельможе, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке?

Г-жа Журден. А какие такие одолжения делает этот вельможа тебе?

Г-н Журден. Такие, что, кому сказать, никто не поверит.

Г-жа Журден. Например?

Г-н Журден. Ну уж этого я тебе не скажу. Будь довольна тем, что свой долг он мне уплатит сполна, и очень даже скоро.

Г-жа Журден. Как же, дожидайся!

Г-н Журден. Наверняка. Он сам мне говорил!

Г-жа Журден. Держи карман шире.

Г-н Журден. Он дал мне честное слово дворянина.

Г-жа Журден. Враки!

Г-н Журден. Ух! Ну и упрямая ты, жена! А я тебе говорю, что он свое слово сдержит, и я в этом уверен.

Г-жа Журден. А я уверена, что не сдержит и что все его любезности — одни обман и ничего более.

Г-н Журден. Замолчи! Вот как раз и он.

Г-жа Журден. Этого только недоставало! Верно, опять пришел просить у тебя в долг. Глядеть на него тошно.

Г-н Журден. Молчать, тебе говорят!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Дорант, г-н Журден, г-жа Журден, Николь.

Дорант. Здравствуйте, господин Журден! Как поживаете, любезный друг?

Г-н Журден. Отлично, ваше сиятельство. Милости прошу.

Дорант. А госпожа Журден как поживает?

Г-жа Журден. Госпожа Журден живет помаленьку.

Дорант. Однако, господин Журден, каким вы сегодня франтом!

Г-н Журден. Вот, поглядите.

Дорант. Вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы.

Г-н Журден. Хе-хе!

Г-жа Журден *(в сторону)*. Знает, как в душу влезть.

Дорант. Повернитесь. Верх изящества.

Г-жа Журден *(в сторону)*. Да, сзади такой же дурак, как и спереди.

Дорант. Даю вам слово, господин Журден, у меня было необычайно сильное желание с вами повидаться. Я питаю к вам совершенно особое уважение: не далее как сегодня утром я говорил о вас в королевской опочивальне.

Г-н Журден. Много чести для меня, ваше сиятельство. *(Г-же Журден.)* В королевской опочивальне!

Дорант. Наденьте же шляпу.

Г-н Журден. Я вас слишком уважаю, ваше сиятельство.

Дорант. Боже мой, да наденьте же! Пожалуйста, без церемоний.

Г-н Журден. Ваше сиятельство...

Дорант. Говорят вам, наденьте, господин Журден: ведь вы мой друг.

Г-н Журден. Ваше сиятельство! Я ваш покорный слуга.

Дорант. Если вы не наденете шляпу, тогда и я не надену.

Г-н Журден *(надевая шляпу)*. Лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым.

Дорант. Как вам известно, я ваш должник.

Г-жа Журден *(в сторону)*. Да, нам это слишком хорошо известно.

Дорант. Вы были так великодушны, что неоднократно давали мне в долг и, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность.

Г-н Журден. Шутить изволите, ваше сиятельство.

Дорант. Однако ж я почитаю непременно своею обязанностью платить долги и умею ценить оказываемые мне любезности.

Г-н Журден. Я в этом не сомневаюсь.

Дорант. Я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Ну что, жена? Видишь, какую ты на него взвела напраслину?

Дорант. Я люблю расплачиваться как можно скорее.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. А что я тебе говорил?

Дорант. Итак, посмотрим, сколько же я вам должен.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Вот они, твои нелепые подозрения.

Дорант. Вы хорошо помните, сколько вы мне ссудили?

Г-н Журден. По-моему, да. Я записал для памяти. Вот она, эта самая запись. В первый раз выдано вам двести луидоров.

Дорант. Верно.

Г-н Журден. Еще выдано вам сто двадцать.

Дорант. Так.

Г-н Журден. Еще выдано вам сто сорок.

Дорант. Вы правы.

Г-н Журден. Все вместе составляет четыреста шестьдесят луидоров, или пять тысяч шестьдесят ливров.

Дорант. Подсчет вполне верен. Пять тысяч шестьдесят ливров.

Г-н Журден. Тысячу восемьсот тридцать два ливра — вашему поставщику перьев для шляп.

Дорант. Совершенно точно.

Г-н Журден. Две тысячи семьсот восемьдесят ливров — вашему портному.

Дорант. Правильно.

Г-н Журден. Четыре тысячи триста семьдесят девять ливров двенадцать су восемь денье — вашему лавочнику.

Дорант. Отлично. Двенадцать су восемь денье,— подсчет верен.

Г-н Журден. И еще тысячу семьсот сорок восемь ливров семь су четыре денье — вашему седельнику.

Дорант. Все это соответствует истине. Сколько же всего?

Г-н Журден. Итого пятнадцать тысяч восемьсот ливров.

Дорант. Итог верен. Пятнадцать тысяч восемьсот ливров. Дайте мне еще двести пистолей и прибавьте их к общей сумме: получится ровно восемнадцать тысяч франков, каковые я вам возвращу в самое ближайшее время,

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Ну что, права я была?

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Отстань!

Дорант. Вас не затруднит моя просьба?

Г-н Журден. Помилуйте!

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Ты для него дойная корова.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Молчи!

Дорант. Если вам это неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому.

Г-н Журден. Нет-нет, ваше сиятельство.

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Он не успокоится, пока тебя не разорит.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Говорят тебе, молчи!

Дорант. Скажите прямо, не стесняйтесь.

Г-н Журден. Нисколько, ваше сиятельство.

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Это настоящий проходимец!

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Да замолчи ты!

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Он высосет из тебя все до последнего су.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Да замолчишь ты?

Дорант. Многие с радостью дали бы мне взаймы, но вы мой лучший друг, и я боялся, что обижу вас, если попрошу у кого-нибудь еще.

Г-н Журден. Слишком много чести для меня, ваше сиятельство. Сейчас схожу за деньгами.

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Что? Ты ему еще хочешь дать?

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). А как же быть? Разве я могу отказать такой важной особе, которая еще нынче утром говорила обо мне в королевской опочивальне?

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). А, да ну тебя, дурак набитый!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Дорант, г-жа Журден, Николь.

Дорант. Вы как будто не в духе. Что с вами, госпожа Журден?

Г-жа Журден. Голова у меня кругом идет.

Дорант. А где же ваша уважаемая дочка? Что-то ее не видно.

Г-жа Журден. Моя уважаемая дочка находится именно там, где она сейчас находится.

Дорант. Как она себя чувствует?

Г-жа Журден. Обыкновенно — вот как она себя чувствует.

Дорант. Не угодно ли вам как-нибудь на днях посмотреть вместе с дочкой придворный балет и комедию?

Г-жа Журден. Вот-вот, нам теперь как раз до смеха, как раз до смеха нам теперь!

Дорант. Уж верно, госпожа Журден, в молодости вы славились красотою, приятностью в обхождении и у вас была тьма поклонников.

Г-жа Журден. Хорош сударь, нечего сказать! А что ж теперь, по-вашему: госпожа Журден — совсем развалина и голова у нее трясется?

Дорант. Ах, боже мой, госпожа Журден, простите! Я совсем забыл, что вы еще молоды; это моя всегдашняя рассеянность виновата. Прошу извинить невольную мою дерзость.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Г-н Журден, г-жа Журден, Дорант, Николь.

Г-н Журден (*Доранту*). Вот вам ровно двести луидоров.

Дорант. Поверьте, господин Журден, что я искренне вам предан и мечтаю быть вам чем-нибудь полезным при дворе.

Г-н Журден. Я вам очень обязан.

Дорант. Если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить для нее лучшие места в зале.

Г-жа Журден. Госпожа Журден покорно вас благодарит.

Дорант (*г-ну Журдену, тихо*). Прелестная наша маркиза, как я уже известил вас запиской, сейчас пожалует к вам отобедать и посмотреть балет. В конце концов мне все же удалось уговорить ее побывать на представлении, которое вы для нее устраиваете.

Г-н Журден. Отойдемте на всякий случай подальше.

Дорант. Мы с вами не виделись целую неделю, и до сих пор я ничего вам не мог сказать о брильянте, который я должен был передать от вас маркизе, но все дело в том, что побороть ее щепетильность мне стоило величайшего труда; она согласилась его принять только сегодня.

Г-н Журден. Как он ей понравился?

Дорант. Она от него в восхищении. Я почти уверен, что красота этого брильянта необычайно поднимет вас в ее глазах.

Г-н Журден. Дай-то бог!

Г-жа Журден (*к Николь*). Стоит им сойтись вместе, мой муженек так к нему и прилипнет.

Дорант. Я приложил все старания, чтобы она составила себе верное понятие как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви.

Г-н Журден. Не знаю, как вас и благодарить. До чего мне неловко, что такая важная особа, как вы, утруждает себя ради меня!

Дорант. Что вы! Разве можно друзьям быть такими щепетильными? И разве вы в подобном случае не сделали бы для меня того же самого?

Г-н Журден. Ну конечно! С великой охотой.

Г-жа Журден *(к Николь)*. Когда он здесь, мне просто невмоготу.

Дорант. Я, по крайней мере, когда нужно услужить другу, на все готов решиться. Как скоро вы мне признались, что пылаете страстью к очаровательной маркизе, моей хорошей знакомой, я сам вызвался быть посредником в ваших сердечных делах.

Г-н Журден. Сущая правда. Благодеяния ваши приводят меня в смущение.

Г-жа Журден *(к Николь)*. Когда же он, наконец, уйдет?

Николь. Их водой не разольешь.

Дорант. Вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Женщины больше всего любят, когда на них тратятся, и ваши беспрестанные серенады, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейерверк, который вы устроили для нее на реке, бриллиант, который вы ей подарили, представление, которое вы для нее готовите,— все это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие вы могли бы сказать ей лично.

Г-н Журден. Я не остановлюсь ни перед какими затратами, если только они проложат мне дорогу к ее сердцу. Светская дама имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть, подобную честь я готов купить любой ценой.

Г-жа Журден *(к Николь)*. О чем это они столько времени шепчутся? Подойди-ка тихонько да подслушай.

Дорант. Скоро вы ею вволю налюбуетесь, ваш взор насладится ею вполне.

Г-н Журден. Чтобы нам не помешали, я устроил так, что моя жена отправится обедать к сестре и пробудет у нее до самого вечера.

Дорант. Вы поступили благоразумно, а то ваша супруга могла бы нас стеснить. Я от вашего имени отдал распоряжения повару, а также велел все приготовить для балета. Я сам его сочинил, и если только исполнение будет соответствовать замыслу, то я уверен, что от него...

Г-н Журден *(заметив, что Николь подслушивает, дает ей пощечину)*. Это еще что? Ну и нахалка! *(Доранту.)* Придется нам уйти.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г-жа Журден, Николь.

Николь. Однако, сударыня, любопытство мне кое-чего стоило. А все-таки тут дело нечисто: они что-то держат от вас в секрете.

Г-жа Журден. Мой муженек давно у меня на подозрении,

Николь. Голову даю на отсечение, что он за кем-то приударяет; вот я и стараюсь проведать — за кем. Подумаем, однако ж, о моей дочери. Ты знаешь, что Клеонт влюблен в нее без памяти; мне он тоже пришелся по душе, и я хочу ему посодействовать и, если только удастся, выдать за него Люсиль.

Николь. По правде вам скажу, сударыня, я просто в восторге, что вы так решили: ведь если вам по душе хозяин, то мне по душе слуга, и уж как бы я хотела, чтобы вслед за их свадьбой сыграли и нашу!

Г-жа Журден. Ступай к Клеонту и скажи, что я его зову: мы вместе пойдем к мужу просить руки моей дочери.

Николь. С удовольствием, сударыня. Бегу! Такого приятного поручения я еще никогда не исполняла.

Г-жа Журден уходит.

То-то, наверно, обрадуются!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Клеонт, Ковьель, Николь.

Николь *(Клеонту)*. Ах, как вы вовремя! Я вестница вашего счастья и хочу вам...

Клеонт. Прочь, коварная, не смей обольщать меня лживыми своими речами!

Николь. Так-то вы меня встречаете?

Клеонт. Прочь, говорят тебе, сей же час ступай к неверной своей госпоже и объяви, что ей больше не удастся обмануть простодушного Клеонта.

Николь. Это еще что за вздор? Миленький мой Ковьель! Скажи хоть ты, что все это значит?

Ковьель. «Миленький мой Ковьель»! Негодная девчонка! А ну, прочь с глаз моих, дрянь ты этакая, оставь меня в покое!

Николь. Как? И ты туда же?..

Ковьель. Прочь с глаз моих, говорят тебе, не смей больше со мной заговаривать!

Николь *(в сторону)*. Вот тебе раз! Какая муха укусила их обоих? Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Клеонт, Ковьель.

Клеонт. Как! Поступать таким образом со своим поклонником, да еще с самым верным и самым страстным из поклонников!

Ковьель. Ужас как с нами обоими здесь обошлись!

Клеонт. Я расточаю ей весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Ее одну люблю я в целом свете и помышляю лишь о ней. Она одна предмет всех дум моих и всех желаний,

она моя единственная радость. Я говорю лишь о ней, думаю только о ней, вижу во сне лишь ее, сердце мое бьется только ради нее, я дышу только ею. И вот достойная награда за эту преданность мою! Два дня не виделись мы с нею; они тянулись для меня, как два мучительных столетия, вот наконец — негаданная встреча, душа моя возликовала, румянцем счастья залилось лицо, в восторженном порыве я устремляюсь к ней... и что же? Неверная не смотрит на меня, она проходит мимо, как будто мы совсем, совсем чужие!

Ковьель. Я то же самое готов сказать.

Клеонт. Так что же сравнится, Ковьель, с коварством бессердечной Люсиль?

Ковьель. А что сравнится, сударь, с коварством подлой Николь?

Клеонт. И это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня ее прелесть!

Ковьель. После такого упорного ухаживания, после стольких знаков внимания и услуг, которые я оказал ей на кухне!

Клеонт. Стольких слез, которые я пролил у ее ног!

Ковьель. Стольких ведер воды, которые я перетаскал за нее из колодца!

Клеонт. Как пылко я ее любил — любил до полного самозабвения!

Ковьель. Как жарко было мне, когда я за нее возился с вертелом,— жарко до полного изнеможения!

Клеонт. А теперь она проходит мимо, явно пренебрегая мной!

Ковьель. А теперь она пренагло поворачивается ко мне спиной!

Клеонт. Это коварство заслуживает того, чтобы на нее обрушились кары.

Ковьель. Это вероломство заслуживает того, чтобы на нее посыпались оплеухи.

Клеонт. Смотри ты у меня, не вздумай за нее заступаться!

Ковьель. Я, сударь? Заступаться? Избави бог!

Клеонт. Не смей оправдывать поступок этой изменницы.

Ковьель. Не беспокойтесь.

Клеонт. Не пытайся защищать ее — напрасный труд.

Ковьель. Да у меня и в мыслях этого нет!

Клеонт. Я ей этого не прощу и порву с ней всякие отношения.

Ковьель. Хорошо сделаете.

Клеонт. Ей, по-видимому, вскружил голову этот граф, который бывает у них в доме; я убежден, что она польстилась на его знатность. Однако из чувства чести я не могу допустить, чтобы она первая объявила о своей неверности. Я вижу, что она

стремится к разрыву, и намерен опередить ее: я не хочу уступать ей пальму первенства.

Ковьель. Отлично сказано. Я со своей стороны вполне разделяю ваши чувства.

Клеонт. Так подогрей же мою досаду и поддержи меня в решительной битве с остатками любви к ней, дабы они не подавали голоса в ее защиту. Пожалуйста, говори мне о ней как можно больше дурного. Выставь мне ее в самом черном свете и, чтобы вызвать во мне отвращение, старательно оттени все ее недостатки.

Ковьель. Ее недостатки, сударь? Да ведь это же ломака, смазливая вертихвостка,— нашли, право, в кого влюбиться! Ничего особенного я в ней не вижу, есть сотни девушек гораздо лучше ее. Во-первых, глазки у нее маленькие.

Клеонт. Верно, глаза у нее небольшие, но зато это единственные в мире глаза: столько в них огня, так они блестят, пронизывают, умиляют.

Ковьель. Рот у нее большой.

Клеонт. Да, но он таит в себе особую прелесть: этот ротик невольно волнует, в нем столько пленительного, чарующего, что с ним никакой другой не сравнится.

Ковьель. Ростом она невелика.

Клеонт. Да, но зато изящна и хорошо сложена.

Ковьель. В речах и в движениях умышленно небрежна.

Клеонт. Верно, но это придает ей своеобразное очарование. Держит она себя обворожительно, в ней так много обаяния, что не покориться ей невозможно.

Ковьель. Что касается ума...

Клеонт. Ах, Ковьель, какой у нее тонкий, какой живой ум!

Ковьель. Говорит она...

Клеонт. Говорит она чудесно.

Ковьель. Она всегда серьезна.

Клеонт. А тебе надо, чтоб она была смешливой, чтоб она была хохотуньей? Что же может быть несноснее женщины, которая всегда готова смеяться?

Ковьель. Но ведь она самая капризная женщина в мире.

Клеонт. Да, она с капризами, тут я с тобой согласен, но красавица все может себе позволить, красавице все можно простить.

Ковьель. Ну, значит, вы ее, как видно, никогда не разлюбите.

Клеонт. Не разлюблю? Нет, лучше смерть. Я буду ненавидеть ее с такой же силой, с какой прежде любил.

Ковьель. Как же это вам удастся, если она, по-вашему, верх совершенства?

Клеонт. В том-то именно и скажется потрясающая сила моей мести, в том-то именно и скажется твердость моего духа,

что я возненавижу и покину ее, несмотря на всю ее красоту, несмотря на всю ее привлекательность для меня, несмотря на все ее очарование. Но вот и она.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Люсиль, Клеонт, Ковьель, Николь.

Николь *(к Люсиль)*. Я, по крайней мере, была глубоко возмущена.

Люсиль. Все это, Николь, из-за того, о чем я тебе сейчас напомнила. А, он здесь!

Клеонт *(Ковьелю)*. Я и говорить с ней не желаю.

Ковьель. А я последую вашему примеру.

Люсиль. Что это значит, Клеонт? Что с вами сталось?

Николь. Да что с тобой, Ковьель?

Люсиль. Отчего вы такой грустный?

Николь. Чего это ты надулся?

Люсиль. Вы утратили дар речи, Клеонт?

Николь. У тебя язык отнялся, Ковьель?

Клеонт. Вот злодейка!

Ковьель. Вот Иуда![1]

Люсиль. Я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча.

Клеонт *(Ковьелю)*. Ага! Поняли, что натворили.

Николь. Наверно, тебя задело за живое то, как нынче утром мы с вами себя держали.

Ковьель *(Клеонту)*. Знают кошки, чье мясо съели.

Люсиль. Ведь это единственная причина вашей досады, не правда ли, Клеонт?

Клеонт. Да, коварная, если вам угодно знать, так именно это. Но только я вас предупреждаю, что ваша измена не доставит вам радости: я сам намерен порвать с вами, я лишу вас права считать, что это вы меня оттолкнули. Разумеется, мне будет нелегко побороть мое чувство, меня охватит тоска, некоторое время я буду страдать, но я себя пересилю, и лучше я вырву из груди сердце, чем поддамся слабости и возвращусь к вам.

Ковьель *(к Николь)*. А куда он, туда и я.

Люсиль. Вот уж много шуму из ничего! Я вам сейчас объясню, Клеонт, почему я сегодня утром уклонилась от встречи с вами.

Клеонт *(пытается уйти от Люсиль)*. Ничего не желаю слушать.

Николь *(Ковьелю)*. Я тебе сейчас скажу, почему мы так быстро прошли мимо.

---

[1] *Иуда* — один из двенадцати апостолов, предавший, согласно библейской легенде, Христа за 30 сребреников. Имя Иуды стало нарицательным для обозначения предателей и доносчиков.

Ковьель *(пытается уйти от Николь)*. Знать ничего не желаю.

Люсиль *(идет за Клеонтом)*. Итак, сегодня утром...

Клеонт *(не глядя на Люсиль, направляется к выходу)*. Еще раз — нет.

Николь *(идет за Ковьелем)*. Было бы тебе известно...

Ковьель *(не глядя на Николь, направляется к выходу)*. Притворщица, отстань!

Люсиль. Послушайте!

Клеонт. Конец всему.

Николь. Дай мне сказать.

Ковьель. Я глух.

Люсиль. Клеонт!

Клеонт. Нет-нет!

Николь. Ковьель!

Ковьель. Ни-ни!

Люсиль. Постойте!

Клеонт. Басни!

Николь. Послушай!

Ковьель. Вздор!

Люсиль. Минутку!

Клеонт. Ни за что!

Николь. Чуть-чуть терпенья!

Ковьель. Чепуха.

Люсиль. Два только слова!

Клеонт. Все кончено, нет-нет!

Николь. Одно словечко!

Ковьель. Мы не знакомы.

Люсиль *(останавливается)*. Ну что ж, раз вы не хотите меня выслушать, то оставайтесь при своем мнении и поступайте, как вам заблагорассудится.

Николь *(тоже останавливается)*. Коли так, поступай, как тебе вздумается.

Клеонт *(поворачивается к Люсиль)*. Любопытно, однако ж, знать причину вашего прелестного поведения.

Люсиль *(пытается уйти от Клеонта)*. У меня пропало всякое желание об этом с вами говорить.

Ковьель *(поворачивается к Николь)*. Послушаем, однако ж, в чем тут дело.

Николь *(хочет уйти от Ковьеля)*. У меня пропала всякая охота тебе это объяснять.

Клеонт *(идет за Люсиль)*. Скажите же мне...

Люсиль *(не глядя на Клеонта, направляется к выходу)*. Ничего не стану рассказывать.

Ковьель *(идет за Николь)*. Растолкуй же мне...

Николь *(не глядя на Ковьеля, направляется к выходу)*. Ничего не стану растолковывать.

Клеонт. О, пощадите!

Люсиль. Еще раз — нет!
Ковьель. Будь так любезна!
Николь. Конец всему.
Клеонт. Я вас молю!
Люсиль. Подите прочь!
Ковьель. Прошу тебя!
Николь. Ступай-ка вон!
Клеонт. Люсиль!
Люсиль. Нет-нет!
Ковьель. Николь!
Николь. Ни-ни!
Клеонт. Ради бога!
Люсиль. Не желаю!
Ковьель. Ну скажи!
Николь. Ни за что.
Клеонт. Пролейте свет!
Люсиль. И не подумаю.
Ковьель. Открой ты мне глаза!
Николь. Была охота!

Клеонт. Ну что ж, коль скоро вы не хотите взять на себя труд разуверить меня и объяснить ваше поведение, которого любовный пламень мой не заслужил, то, неблагодарная, вы видите меня в последний раз: я ухожу, и в разлуке с вами я умру от горя и от любви.

Ковьель *(к Николь)*. А я — следом за ним.

Люсиль *(Клеонту, который собирается уходить)*. Клеонт!

Николь *(Ковьелю, который идет за своим господином)*. Ковьель!

Клеонт *(останавливается)*. Что?
Ковьель *(тоже останавливается)*. Ну?
Люсиль. Куда же вы?
Клеонт. Я вам сказал.
Люсиль. Как, вы хотите умереть?
Клеонт. О да, жестокая, вы сами этого хотите.
Ковьель. Мы помирать пошли.
Люсиль. Я? Я хочу вашей смерти?
Клеонт. Да. Вы хотите.
Люсиль. Кто вам сказал?

Клеонт *(подходит к Люсиль)*. Как же не хотите, когда вы не хотите разрешить мои сомнения?

Люсиль. Да я-то тут при чем? Если б вы с самого начала соблаговолили меня выслушать, я бы вам сказала, что повинна в утреннем происшествии, причинившем вам такую обиду, моя старая тетка, с которой мы вместе шли: она твердо убеждена, что, если мужчина, не дай бог, подошел к девушке, тем самым он ее уже обесчестил; вечно читает нам об этом проповеди и старается внушить, что мужчины — это бесы и что от них нужно бежать без оглядки.

Николь *(Ковьелю)*. Вот и весь секрет.

Клеоит. А вы ие обмаиываете меия, Люсиль?

Ковьель *(к Николь)*. А ты меня ие дурачишь?

Люсиль *(Клеонту)*. Все это истниная правда.

Нnколь *(Ковьелю)*. Все так и было.

Ковьель *(Клеонту)*. Ну что ж, поверить нм?

Клеонт. Ах, Люсиль, вам стонт сказать одио только слово — и волнеиия души моей тотчас же утнхают! Как легко убеждают нас те, кого мы любнм!

Ковьель. Ну и ловки же умаслнвать нашего брата эти чертовы куклы.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Г-жа Журден, Люснль, Клеонт, Николь, Ковьель.

Г-жа Журден. Очень рада вас вндеть, Клеоит, вы как раз вовремя. Сейчас прндет мой муж; воспользуйтесь случаем и просите у него руки Люснль.

Клеоит. Ах, сударыия, как отрадно мие слышать этн слова, и как сходятся онн с монми собственнымн желаниями! Что может быть для меня прнятнее этого прнказа, что может быть для меня дороже этого благодеяння?

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Клеонт, г-н Журден, г-жа Журден, Люсиль, Ковьель, Николь.

Клеоит. Господии Журден! Я решнл не прнбегать ии к чьему посредничеству, чтобы обратнться к вам с просьбой, которая касается давнишней моей мечты. Это слншком важная для меня просьба, и я почел за нужное сам изложить вам ее. Итак, скажу вам, ие обииуясь, что честь быть вашим зятем явнлась бы для меня наивысшей мнлостью, н вот эту именно милость я н прошу вас мне оказать.

Г-н Журден. Прежде чем дать вам ответ, сударь, я попрошу вас сказать мне, дворянии вы или нет.

Клеонт. Сударь! Большннство, ие задумываясь, ответило бы на этот вопрос утвердительно. Слова ныиче дешевы. Люди без зазрення совести прнсванвают себе дворяиское звание — подобиый род воровства, по-видимому, вошел в обычай. Но я на этот счет, признаюсь, более щепетилен. Я полагаю, что всякий обмаи бросает теиь на порядочиого человека. Стыднться тех, от кого тебе иебо судило родиться на свет, блистать в обществе вымышленным тнтулом, выдавать себя ие за то, что ты есть на самом деле, — это, иа мой взгляд, признак душевиой иизости. Разумеется, мои предки заинмалн почетиые должности, сам я с честью прослужнл шесть лет в армин, и состояние мое таково, что

я надеюсь занять не последнее место в свете; но, со всем тем, я не намерен присваивать себе дворянское звание, несмотря на то, что многие на моем месте сочли бы себя вправе это сделать, и я вам скажу напрямик: я не дворянин.

Г-н Журден. Кончено, сударь: моя дочь — не для вас.

Клеонт. Как?

Г-н Журден. Вы — не дворянин; дочку мою вы не получите.

Г-жа Журден. Да при чем тут — дворянин, не дворянин? Мы-то с тобой от ребра Людовика Святого, что ли, происходим?

Г-н Журден. Молчи, жена, я вижу, к чему ты клонишь.

Г-жа Журден. Сами-то мы с тобой не из честных мещанских семей?

Г-н Журден. Вот язык-то без костей у тебя, жена!

Г-жа Журден. Разве наши родители не были купцами?

Г-н Журден. Уж эти бабы! Слова сказать не дадут. Коли твой родитель был купцом, так тем хуже для него, а про моего родителя так могут сказать только злые языки. Одним словом, я хочу, чтобы зять у меня был дворянин.

Г-жа Журден. Твоей дочке нужен муж подходящий: лучше ей выйти за человека честного, богатого да статного, чем за дворянина, нищего да нескладного.

Николь. Вот уж верно! В нашей деревне господский сынок такой увалень и такой оболтус, какого я отроду не видывала.

Г-н Журден *(к Николь)*. Замолчи, нахалка! Вечно вмешиваешься в разговор. Добра для дочки у меня припасено довольно, недостает только почета, вот я и хочу, чтоб она была маркизой.

Г-жа Журден. Маркизой?

Г-н Журден. Да, маркизой.

Г-жа Журден. Сохрани господи и помилуй!

Г-н Журден. Это дело решенное.

Г-жа Журден. А я на это никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтоб мой зять стал попрекать мою дочь родителями и чтоб их дети стыдились называть меня бабушкой. Случится ей в один прекрасный день прикатить ко мне в карете, и вот ежели она ненароком кому-нибудь из соседей забудет поклониться, так чего только про нее не наговорят! «Поглядите, скажут, на госпожу маркизу! Видите, как чванится! Это дочка господина Журдена, в детстве она почитала за великое счастье поиграть с нами. Прежде она не была такой спесивой: ведь оба ее деда торговали сукном подле Ворот святого Иннокентия. Нажили детям добра, а теперь, поди, на том свете ох как за это расплачиваются, потому честному человеку никогда так не разбогатеть». Терпеть не могу я этих пересудов. Коротко говоря, я хочу, чтоб мой зять был мне благодарен за дочку и чтоб я могла сказать ему попросту: «Садись-ка, зять, пообедай с нами».

Г-н Журден. Вот тут-то вся твоя мелочная душонка и сказалась: тебе бы весь век прозябать в ничтожестве. Довольно разговоров! Наперекор всем дочь моя будет маркизой, а разозлишь меня еще пуще, так я ее герцогиней сделаю.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Г-жа Журден, Люсиль, Клеонт, Николь, Ковьель.

Г-жа Журден. Не унывайте, Клеонт. *(К Люсиль.)* Пойдем-ка, дочка. Ты прямо так отцу и скажи: если не за Клеонта, так ни за кого, мол, не выйду.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Клеонт, Ковьель.

Ковьель. Много вам помогло ваше благородство!

Клеонт. Что поделаешь! Я на этот счет необычно щепетилен, и переломить себя — это выше моих сил.

Ковьель. А кто вам велел относиться к такому человеку серьезно? Разве вы не видите, что он помешался? Ну что вам стоило снизойти к его слабости?

Клеонт. Твоя правда, но я никак не мог предполагать, что для того, чтобы стать зятем господина Журдена, требуется предъявить дворянские грамоты.

Ковьель *(хохочет)*. Ха-ха-ха!

Клеонт. Чего ты смеешься?

Ковьель. Я надумал сыграть с нашим умником одну штуку, благодаря которой вы добьетесь своего.

Клеонт. Что такое?

Ковьель. Преуморительная штучка!

Клеонт. Да что же именно?

Ковьель. Тут у нас недавно был маскарад, и для моей затеи это как раз то, что нужно: я думаю воспользоваться этим для того, чтобы обвести вокруг пальца нашего простофилю. Придется, конечно, разыграть комедию, но с таким человеком все можно себе позволить, и раздумывать тут особенно нечего: он свою роль сыграет чудесно и, каких бы небылиц ему ни наплели, ко всему отнесется с полным доверием. У меня и актеры и костюмы готовы, дайте мне только полную волю.

Клеонт. Но научи же меня...

Ковьель. Сейчас я вам все растолкую. Уйдемте-ка отсюда: вон он опять.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден, один.

Г-н Журден. Что за черт! То и дело колют мне глаза моим знакомством с вельможами, а для меня ничего не может быть приятнее таких знакомых. От них одни только почет и уважение.

Я бы позволил отрубить себе два пальца на руке, лишь бы мне родиться графом или же маркизом.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден, лакей.

Лакей. Сударь! Там его сиятельство граф под руку с какой-то дамой.

Г-н Журден. Ах, боже мой! Мне нужно еще отдать кое-какие распоряжения. Скажи, что я сейчас.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Доримена, Дорант, лакей.

Лакей. Барин велели сказать, что сейчас выйдут.

Дорант. Очень хорошо.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Доримена, Дорант.

Доримена. Не знаю, Дорант, по-моему, я все же поступила опрометчиво, что позволила вам привезти меня в незнакомый дом.

Дорант. Где же в таком случае, маркиза, моя любовь могла бы вас приветствовать, коль скоро вы во избежание огласки не желаете со мной встречаться ни у себя, ни у меня?

Доримена. Да, но вы не хотите сознаться, что я незаметно для себя привыкаю к ежедневным и слишком сильным доказательствам вашей любви ко мне. Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов я все же сдаюсь на ваши уговоры: своею деликатною настойчивостью вы добиваетесь от меня того, что я готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений, за ними последовали признания, признания повлекли за собой серенады и представления, а там уж пошли подарки. Я всему этому противилась, но вы неисправимы, и всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я уже ни за что не отвечаю: боюсь, что вы все же склоните меня на брак, хотя я всячески этого избегала.

Дорант. Давно пора, маркиза, уверяю вас. Вы — вдова, вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себе господин и люблю вас больше жизни. Отчего бы вам сегодня же не составить мое счастье?

Доримена. Ах, боже мой, Дорант, для того чтобы совместная жизнь была счастливой, от обеих сторон требуется слишком много! Как часто благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворял!

Дорант. Помилуйте, маркиза, вы явно преувеличиваете трудности, а ваш собственный опыт еще ничего не доказывает.

Доримена. Как бы там ни было, я возвращаюсь к тому же. Я ввожу вас в расходы, и это меня беспокоит: во-первых,

они к слишком многому меня обязывают, а во-вторых, простите за откровенность, я уверена, что они не могут вас не обременять, а мне это неприятно.

Дорант. Ах, маркиза, это сущие пустяки, вас это не должно...

Доримена. Я знаю, что говорю. Между прочим, брильянт, который вы заставили меня принять,— такая дорогая вещь...

Дорант. Маркиза, умоляю вас, не переоценивайте вещицы, которую моя любовь считает недостойною вас! Позвольте... Но вот и хозяин дома.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант.

Г-н Журден *(сделав два поклона, оказывается на слишком близком расстоянии от Доримены)*. Чуть-чуть назад, сударыня.

Доримена. Что?

Г-н Журден. Если можно, на один шаг.

Доримена. Что такое?

Г-н Журден. Отступите немного, а то я не могу сделать третий поклон.

Дорант. Господин Журден любит изысканное обхождение.

Г-н Журден. Сударыня! Это величайшая для меня радость, что я оказался таким баловнем судьбы и таким, можно сказать, счастливцем, что имею такое счастье и вы были так добры, что сделали мне милость и пожелали почтить меня почетом благосклонного своего присутствия, и если б только я был достоин удостоиться таких достоинств, каковы ваши... и небо... завидующее моему блаженству... предоставило мне... преимущество заслужить... заслужить...

Дорант. Довольно, господин Журден. Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычайной остроте вашего ума. *(Доримене, тихо.)* Как видите, у этого славного мещанина манеры довольно забавные.

Доримена *(Доранту, тихо)*. Это нетрудно заметить.

Дорант. Позвольте вам представить, маркиза, лучшего моего друга...

Г-н Журден. Это для меня слишком много чести.

Дорант. ...человека вполне светского.

Доримена. Я испытываю к нему глубокое уважение.

Г-н Журден. Я еще ничего не сделал, сударыня, чтобы заслужить такую милость.

Дорант *(г-ну Журдену, тихо)*. Смотрите не проговоритесь о брильянте, который вы ей подарили.

Г-н Журден *(Доранту, тихо)*. Можно только спросить, как он ей понравился?

Дорант *(г-ну Журдену, тихо)*. Что вы! Боже вас сохрани!

Это было бы с вашей стороны неучтиво. Если желаете походить на вполне светского человека, то, наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили. *(Доримене, громко.)* Господин Журден говорит, что он вам несказанно рад.

Доримена. Я очень тронута.

Г-н Журден *(Доранту, тихо)*. Как я вам признателен, что вы замолвили за меня словечко перед маркизой!

Дорант *(г-ну Журдену, тихо)*. Я еле уговорил ее поехать к вам.

Г-н Журден *(Доранту, тихо)*. Не знаю, чем мне вас отблагодарить.

Дорант. Он говорит, маркиза, что вы первая в мире красавица.

Доримена. Мне это очень лестно.

Г-н Журден. Это мне, сударыня, лестно, что вы...

Дорант. А не пора ли обедать?

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант, лакей.

Лакей *(г-ну Журдену)*. Все готово, сударь.

Дорант. В таком случае пойдемте к столу, пусть позовут певцов.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Балет

Шесть поваров, приготовивших парадный обед, танцуют вместе, что и составляет третью интермедию [1], затем они вносят уставленный блюдами стол.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Доримена, Дорант, г-н Журден, трое певцов, лакеи.

Доримена. Дорант! Что я вижу! Да это же роскошный пир!

Г-н Журден. Полноте, сударыня, я бы хотел предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное.

Доримена, г-н Журден, Дорант и трое певцов садятся за стол.

Дорант. Господин Журден совершенно прав, маркиза, я ему весьма признателен за то, что он вам оказывает столь радушный прием. Я с ним согласен, что обед недостаточно для вас великолепен. Я его заказывал сам, но в этой области я не такой

[1] *Интермедия* — небольшая пьеса, исполняемая в перерывах между актами большой пьесы.

тонкий знаток, как некоторые наши друзья, а потому и трапеза получилась не очень изысканная, так что вы найдете здесь прямые нарушения правил поваренного искусства и отклонения от строгого вкуса. Вот если б это взял на себя Дамис, тогда уж ни к чему нельзя было бы придраться: во всем были бы видны изящество и знание дела; он сам расхваливал бы каждое кушанье и в конце концов вынудил бы вас признать его незаурядные способности в науке чревоугодия. Он рассказал бы вам о поджаренных хлебцах со сплошной золотистой корочкой, нежно похрустывающей на зубах, о бархатистом, в меру терпком вине, о бараньей лопатке, нашпигованной петрушкой, о затылке нормандского теленка, вот этаком длинном, белом, нежном, который так и тает во рту, о дивно пахнущих куропатках и, как о венце творенья, о бульоне с блестками жира, за которым следует молоденькая упитанная индейка, обложенная голубями и украшенная белыми луковицами вперемешку с цикорием. А что касается меня, то я принужден сознаться в собственном невежестве и, пользуясь удачным выражением господина Журдена, хотел бы предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное.

Доримена. Я ем с большим аппетитом — вот как я отвечаю на ваш комплимент.

Г-н Журден. Ах, какие прелестные ручки!

Доримена. Руки обыкновенные, господин Журден, но вы, вероятно, имеете в виду брильянт,— вот он действительно очень хорош.

Г-н Журден. Что вы, сударыня, боже меня сохрани, это было бы недостойно светского человека, да к тому же сам брильянт — сущая безделица.

Доримена. Вы слишком требовательны.

Г-н Журден. А вы чересчур снисходительны.

Дорант *(делает знак г-ну Журдену; лакею)*. Налейте вина господину Журдену и вот этим господам, а они будут так любезны, что споют нам застольную песню.

Доримена. Музыка — чудесная приправа к хорошему обеду. Должна заметить, что угощают меня здесь на славу.

Г-н Журден. Сударыня! Не мне...

Дорант. Господин Журден! Послушаем наших певцов: то, что они нам скажут, куда лучше всего того, что можем сказать мы.

Первый и второй певцы *(поют с бокалами в руках)*.

Филида! Сделай знак мне пальчиком своим,—
Вино в твоих руках так искристо сверкает!
Твоя краса меня одушевляет,
И страстию двойной я ныне одержим.
Вино, и ты, и я — отныне быть должны мы
Навек неразделимы.
Вино в твоих устах горит живым огнем,

Твои уста вину окраску сообщают.
    О, как они друг друга дополняют!
Я опьянен вдвойне — тобою и вином.
Вино, и ты, и я — отныне быть должны мы
    Навек неразделимы!

Второй и третий певцы.

Будем, будем пить вино,—
Время слишком быстролетно:
Надо, надо беззаботно
Брать, что в жизни суждено!
Темны реки забвенья волны:
Там нет ни страсти, ни вина,
    А здесь бокалы полны,—
    Так пей, так пей до дна!
Пусть разумники порой
Речи мудрые заводят,
Наша мудрость к нам приходит
Лишь с бутылкой и едой.
Богатство, знание и слава
Не избавляют от забот.
Кто пьян — имеет право
Сказать, что он живет!

Все трое *(вместе)*.

Лей, мальчик, лей, полнее наливай,
Пока не перельется через край!

Доримена. Лучше спеть невозможно. Просто прекрасно!

Г-н Журден. А я вижу перед собой, сударыня, нечто более прекрасное.

Доримена. Что я слышу? Я и не думала, что господин Журден может быть так любезен.

Дорант. Помилуйте, маркиза! За кого же вы принимаете господина Журдена?

Г-н Журден. Я хочу, чтоб она меня принимала за чистую монету.

Доримена. Опять?

Дорант. Вы его еще не знаете.

Г-н Журден. Она меня узнает, как только пожелает.

Доримена. Да он неистощим!

Дорант. Господин Журден за словом в карман не лезет. Но вы даже не замечаете, маркиза, что он доедает все кусочки, до которых вы дотрагиваетесь.

Доримена. Господин Журден приводит меня в восхищение.

Г-н Журден. Вот если б я мог надеяться на похищение вашего сердца, я был бы...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-жа Журден, г-н Журден, Доримена, Дорант, певцы, лакеи.

Г-жа Журден. Ба! Ба! Да здесь приятная компания, и, как видно, меня не ждали! Так вот почему тебе не терпелось, любезный мой супруг, спровадить меня на обед к моей сестре! Сначала представление, а потом и пир горой! Нечего сказать, нашел куда девать денежки: потчуешь в мое отсутствие дам, нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня — со двора долой.

Дорант. Что вы говорите, госпожа Журден? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги и что это он дает в честь дамы обед? Да будет вам известно, что обед устраиваю я, а он только предоставил для этого свой дом,— советую вам прежде подумать хорошенько, а потом уже говорить.

Г-н Журден. Вот то-то, глупая: обед устраивает его сиятельство граф в честь этой знатной дамы. Он оказал мне особую милость тем, что избрал для этого мой дом и пригласил и меня.

Г-жа Журден. Все враки. Я знаю, что́ знаю.

Дорант. Наденьте, госпожа Журден, очки получше.

Г-жа Журден. Мне очки не нужны, сударь, я и так хорошо вижу. Я давно уже чую недоброе; напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачествам моего мужа. И вам, сударыня, такой важной даме, не к лицу и негоже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться.

Доримена. Что все это значит? Послушайте, Дорант, вы издеваетесь надо мной? Заставлять меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной женщины!

Дорант *(бежит за Дорименой)*. Маркиза, погодите! Маркиза, куда же вы?

Г-н Журден. Сударыня!.. Ваше сиятельство! Извинитесь перед ней за меня и уговорите ее вернуться.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-жа Журден, г-н Журден, лакеи.

Г-н Журден. Ах ты, дура этакая, вот что ты натворила! Осрамила меня перед всем светом! Ведь это же надо: выгнать из моего дома знатных особ!

Г-жа Журден. Плевать мне на их знатность.

Г-н Журден. Вот я тебе сейчас, окаянная, разобью голову тарелкой за то, что ты расстроила наш обед!

Лакеи выносят стол.

Г-жа Журден *(уходя)*. Испугалась я тебя, как же! Я свои права защищаю, все женщины будут на моей стороне.

Г-н Журден. Счастье твое, что ты скорей от меня наутек!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-н Журден, один.

Г-н Журден. Вот уж не вовремя явилась! Я как нарочно был в ударе, блистал остроумием. А это еще что такое?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-н Журден, Ковьель, переодетый.

Ковьель. Не знаю, сударь, имею ли я честь быть вам знакомым.

Г-н Журден. Нет, сударь.

Ковьель (*показывает рукой на фут от полу*). А я знал вас еще вот этаким.

Г-н Журден. Меня?

Ковьель. Да. Вы были прелестным ребенком, и все дамы брали вас на руки и целовали.

Г-н Журден. Меня? Целовали?

Ковьель. Да. Я был близким другом вашего покойного батюшки.

Г-н Журден. Моего покойного батюшки?

Ковьель. Я сказал, что это был настоящий дворянин.

Г-н Журден. Как вы сказали?

Ковьель. Я сказал, что это был настоящий дворянин.

Г-н Журден. Кто, мой отец?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Вы его хорошо знали?

Ковьель. Ну еще бы!

Г-н Журден. И вы его знали за дворянина?

Ковьель. Разумеется.

Г-н Журден. Вот после этого и верь людям!

Ковьель. А что?

Г-н Журден. Есть же такие олухи, которые уверяют, что он был купцом!

Ковьель. Купцом? Да это явный поклеп, он никогда не был купцом. Видите ли, он был человек весьма обходительный, весьма услужливый, а так как он отлично разбирался в тканях, то постоянно ходил по лавкам, выбирал, какие ему нравились, приказывал отнести их к себе на дом, а потом раздавал друзьям за деньги.

Г-н Журден. Я очень рад, что с вами познакомился; вы, я думаю, не откажетесь засвидетельствовать, что мой отец был дворянин.

Ковьель. Я готов подтвердить это перед всеми.

Г-н Журден. Вы чрезвычайно меня обяжете. Чем же могу вам служить?

Ковьель. С той поры, когда я водил дружбу с покойным вашим батюшкой — как я вам уже сказал, с этим настоящим дворянином,— я успел объехать весь свет.

Г-н Журден. Весь свет?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Должно полагать, это очень далеко.

Ковьель. Конечно. Всего четыре дня, как я возвратился из долгого путешествия, и так как я принимаю близкое участие во всем, что касается вас, то почел своим долгом прийти сообщить вам в высшей степени приятную для вас новость.

Г-н Журден. Какую?

Ковьель. Известно ли вам, что сын турецкого султана находится здесь?

Г-н Журден. Мне? Нет, не известно.

Ковьель. Как же так? У него блестящая свита, все сбегаются на него посмотреть, его принимают у нас как чрезвычайно важное лицо.

Г-н Журден. Ей-богу, ничего не знаю.

Ковьель. Для вас тут существенно то, что он влюблен в вашу дочь.

Г-н Журден. Сын турецкого султана?

Ковьель. Да. И он метит к вам в зятья.

Г-н Журден. Ко мне в зятья? Сын турецкого султана?

Ковьель. Сын турецкого султана — к вам в зятья. Я посетил его, турецкий язык я знаю в совершенстве, мы с ним разговорились, и, между прочим, он мне сказал: «Аксям крок солер онш алла мустаф гиделум аманахем варахини уссерэ карбулат», то есть: «Не видал ли ты молодой красивой девушки, дочери господина Журдена, парижского дворянина?»

Г-н Журден. Сын турецкого султана так про меня сказал?

Ковьель. Да. Я ответил, что знаю вас хорошо и дочку вашу видел, а он мне на это: «Ах, марабаба сахем!» — то есть: «Ах, как я люблю ее!»

Г-н Журден. «Марабаба сахем» значит: «Ах, как я люблю ее»?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Хорошо, что вы сказали, — сам бы я нипочем не догадался, что «марабаба сахем» значит: «Ах, как я люблю ее!» Какой изумительный язык!

Ковьель. Еще какой изумительный! Вы знаете, что значит «какаракамушен»?

Г-н Журден. «Какаракамушен»? Нет.

Ковьель. Это значит: «Душенька моя».

Г-н Журден. «Какаракамушен» значит: «Душенька моя»?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Чудеса! «Какаракамушен» — «душенька моя»! Кто бы мог подумать! Просто поразительно!

Ковьель. Так вот, исполняя его поручение, я довожу до вашего сведения, что он прибыл сюда просить руки вашей дочери, а чтобы будущий тесть по своему положению был достоин

его, он вознамерился произвести вас в «мамамуши»[1] — это у них такое высокое звание.

Г-н Журден. В «мамамуши»?

Ковьель. Да. «Мамамуши» — по-нашему все равно что паладин[2]. Паладин — это у древних... одним словом, паладин. Это самый почетный сан, какой только есть в мире,— вы станете в один ряд с знатнейшими вельможами.

Г-н Журден. Сын турецкого султана делает мне великую честь. Пожалуйста, проводите меня к нему: я хочу его поблагодарить.

Ковьель. Зачем? Он сам к вам приедет.

Г-н Журден. Он ко мне приедет?

Ковьель. Да, и привезет с собой все, что нужно для церемонии вашего посвящения.

Г-н Журден. Уж больно он скор.

Ковьель. Его любовь не терпит промедления.

Г-н Журден. Меня смущает одно: моя дочь упряма, влюбилась по уши в некоего Клеонта и клянется, что выйдет только за него.

Ковьель. Она передумает, как скоро увидит сына турецкого султана. Кроме того, тут есть одно... совпадение: дело в том, что сын турецкого султана и Клеонт похожи друг на друга как две капли воды. Я видел этого Клеонта, мне его показали... так что чувство, которое она питает к одному, легко может перейти на другого, и тогда... Однако я слышу шаги турка. Вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Клеонт, одетый турком, три пажа несут полы его кафтана, г-н Журден, Ковьель.

Клеонт. Амбусахим оки бораф, Джиурдина, селям алейкюм.

Ковьель *(г-ну Журдену)*. Это значит: «Господин Журден! Да цветет сердце ваше круглый год, будто розовый куст». Это у них все так изысканно выражаются.

Г-н Журден. Я — покорнейший слуга его турецкого высочества.

Ковьель. Каригар камбото устин мораф.

Клеонт. Устин йок катамалеки басум басэ алла моран.

Ковьель. Он говорит: «Да ниспошлет вам небо силу льва и мудрость змеи».

Г-н Журден. Его турецкое высочество оказывает мне слишком большую честь, я же, со своей стороны, желаю ему всяческого благополучия.

Ковьель. Осса бинамен садок бабалли оракаф урам.

---

[1] *Мамамуши* — мнимотурецкое слово, сочиненное Мольером и ставшее нарицательным для обозначения чванных вельмож.

[2] *Паладин* — знатный рыцарь из свиты феодального государя.

Клеонт. Нн бель мес.

Ковьель. Он говорнт, чтобы вы сей же час шли с ннм готовнться к церемоннн, а затем отвели его к дочке на предмет заключення брачного союза.

Г-н Журден. Это он столько выразнл в трех словах?

Ковьель. Да. Таков турецкнй язык: всего несколько слов, а сказано много. Идите же с ним скорей!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Ковьель, одии.

Ковьель. Ха-ха-ха! Потеха, право потеха! Этакнй дурачина! Выучн он свою роль заранее, все равно лучше бы не сыграл. Ха-ха-ха!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Дорант, Ковьель.

Ковьель. Сударь! Помогнте нам, пожалуйста, в одном дельце, которое мы затеялн в этом доме.

Дорант. Ха-ха-ха! Это ты, Ковьель? Тебя просто не узнать. Как это ты так вырядился?

Ковьель. Как виднте. Ха-ха-ха!

Дорант. Чего ты смеешься?

Ковьель. Уж очень забавная, сударь, история, оттого и смеюсь.

Дорант. Что же это такое?

Ковьель. Бьюсь об заклад, сударь, что вы не догадаетесь, какую ловушку прнготовнлн мы для господина Журдена, чтобы он согласнлся на брак своей дочери с монм господнном.

Дорант. Я не догадываюсь, какая именно это ловушка, но зато догадываюсь, что успех ей обеспечен, коль скоро за дело берешься ты.

Ковьель. Вам, конечно, сударь, нзвестно, на какого зверя мы охотимся.

Дорант. Расскажн мне, что вы задумалн.

Ковьель. Потрудитесь отойтн в сторонку, а то вон уже сюда ндут,— надо пропустнть. Вы увндите часть комеднн, а я тем временем доскажу остальное.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Турецкая церемония

Муфтий, дервиши, турки, поющие и таицующие, свита муфтия.

Первый балетный выход

Шестеро турок под музыку торжествеиио идут парами. Оии иесут три ковра и, протаицевав иесколько фигур, подиимают ковры иад головой. Поющие турки проходят под этими коврами, а затем выстраиваются по обе стороны сцены.

Муфтий с дервишами замыкают шествие. Далее турки расстилают ковры и стаиовятся иа колени, муфтий и дервиши стоят посередине. Муфтий разными ужимками и гримасами, но без слов, призывает Магомета, а в это время турки, составляющие его свиту, простираются иищ и поют «Алла», затем воздевают руки к небу и сиова поют «Алла», и так до коица муфтиевой молитвы, после чего все оии подиимаются с полу и поют «Алла экбер», а двое дервишей идут за г-ном Журденом.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Муфтий, дервиши, турки, поющие и таицующие, г-н Журдеи, одетый турком, с бритой головой, без тюрбана и без сабли.

Муфтий *(г-ну Журдену).*

Когда ты знай,
То отвечай.
Когда не знай,
Тогда молчай.
Я муфтий здесь,
А ты кто есть?
Не понимай?
Молчай, молчай!

Двое дервишей уводят г-на Журдена.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Муфтий, дервиши, турки, поющие и танцующие.

Муфтий. Сказать мне, турки, кто он иста. Анабаптиста? Анабаптиста?

Турки. Йок.

Муфтий. Цвинглиста?

Турки. Йок.

Муфтий. Коффиста?

Турки. Йок.

Муфтий. Гусита? Мориста? Фрониста? [1]

Турки. Йок. Йок. Йок.

Муфтий. Йок. Йок. Йок. Язычникана?

Турки. Йок.

Муфтий. Лютерана?

Турки. Йок.

Муфтий. Пуритана?

Турки. Йок.

Муфтий. Брамина? Моффина? Зурина?

Турки. Йок. Йок. Йок.

Муфтий. Йок. Йок. Йок. Магометана? Магометана?

Турки. Эй валла! Эй валла!

Муфтий. Как прозваньо? Как прозваньо?

Турки. Джиурдина. Джиурдина.

---

[1] Перечисляя различные вероисповедания, Мольер добавляет к иим и иесколько вымышлеииых — «мориста», «фроиста», «моффина», «зурииа».

Муфтий (*подпрыгивая*). Джиурдина. Джиурдина.

Турки. Джиурдина. Джиурдина.

Муфтий.
Магомета господина!
Я просить за Джиурдина,
Его сделать паладина,
Дать ему алебардина
И отправить Палестина
На галера бригантина,
И со всеми сарацина
Воевать христианина.
Магомета господина!
Я просить за Джиурдина.

(*Туркам.*) Карош турка Джиурдина?

Турки. Эй валла! Эй валла!

Муфтий (*поет и пляшет*). Ха-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да.

Турки. Ха-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Турки, поющие и танцующие.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Муфтий, дервиши, г-н Журден, турки, поющие и танцующие.

Второй балетный выход

Впереди идет муфтий; на голове у муфтия — невероятной величины парадный тюрбан, к которому в несколько рядов прикреплены зажженные свечи; за ним двое дервишей в остроконечных шапках, на которых тоже красуются зажженные свечи, несут Коран. Двое других дервишей вводят г-на Журдена и ставят его на колени так, чтобы руки касались земли, а спина служила подставкой для Корана; муфтий кладет ему на спину Коран и снова начинает, паясничая, призывать Магомета: сдвигает брови, время от времени ударяет рукой по Корану и быстро-быстро его перелистывает, затем воздевает руки к небу и восклицает: «Гу!» Во время этой второй церемонии турки, составляющие его свиту, то наклоняются, то выпрямляются и тоже восклицают: «Гу-гу-гу!»

Г-н Журден (*после того как у него со спины сняли Коран*). Ух!

Муфтий (*г-ну Журдену*).
Твой не обманос?

Турки. Нет, нет, нет.

Муфтий. Не шарлатанос?

Турки. Нет, нет, нет.

Муфтий (*туркам*).
Дать ему тюрбанос!
Твой не обманос?

Турки.
Нет, нет, нет.
Не шарлатанос?
Нет, нет, нет.
Дать ему тюрбанос!

Третий балетный выход

Танцующие турки под музыку надевают на г-на Журдена тюрбан.

Муфтий *(подавая г-ну Журдену саблю)*.

Твой — дворян. Не вру ни капля,
Вот тебе сабля.

Турки *(обнажая сабли)*.

Твой — дворян. Не вру ни капля,
Вот тебе сабля.

Четвертый балетный выход

Танцующие турки в такт музыке наносят г-ну Журдену удары саблями плашмя.

Муфтий. Палка, палка,
Бей — не жалка.
Турки. Палка, палка,
Бей — не жалка.

Пятый балетный выход

Танцующие турки в такт музыке бьют г-на Журдена палками.

Муфтий. Не бояться,
Не стыдиться,
Если хочешь
Посвятиться!
Турки. Не бояться,
Не стыдиться,
Если хочешь
Посвятиться!

Муфтий в третий раз начинает призывать Магомета. Дервиши почтительно поддерживают его под руки; затем турки, и поющие, и танцующие, начинают прыгать вокруг муфтия и наконец удаляются вместе с ним и уводят с собой г-на Журдена.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-жа Журден, г-н Журден.

Г-жа Журден. Господи помилуй! Это еще что такое? На кого ты похож? Что это ты на себя напялил? Рядиться вздумал? Да говори же наконец, что все это значит? Кто это тебя таким шутом гороховым вырядил?

Г-н Журден. Вот дура! Так разговаривать с мамамуши!

Г-жа Журден. Что такое?

Г-н Журден. Да-да, теперь все должны быть со мной почтительны. Меня только что произвели в мамамуши.

Г-жа Журден. Как это понять — мамамуши?

Г-н Журден. Говорят тебе, мамамуши. Я теперь мамамуши.

Г-жа Журден. Это еще что за зверь?

Г-н Журден. Мамамуши по-нашему — паладин.

Г-жа Журден. Балдин? Балда ты и есть. Вздумал на старости лет в пляс пускаться.

Г-н Журден. Вот темнота! Это такой сан, в который меня сейчас посвятили.

Г-жа Журден. Как так — посвятили?

Г-н Журден. Магомета господина! Я молить за Джиурдина.

Г-жа Журден. Что это значит?

Г-н Журден. Джиурдина — значит Журден.

Г-жа Журден. Ну, Журден, а дальше?

Г-н Журден. Его сделать паладина.

Г-жа Журден. Как?

Г-н Журден. И отправить в Палестина на галера бригантина.

Г-жа Журден. Это зачем же?

Г-н Журден. И со всеми сарацина воевать христианина.

Г-жа Журден. Да что ты несешь?

Г-н Журден. Палка, палка, бей — не жалка.

Г-жа Журден. Что за тарабарщина?

Г-н Журден. Не бояться, не стыдиться, если хочешь посвятиться.

Г-жа Журден. Да что же это такое?

Г-н Журден *(приплясывает и поет)*. У-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да. *(Падает.)*

Г-жа Журден. Боже милосердный! Мой муж совсем с ума сошел!

Г-н Журден *(встает и направляется к выходу)*. Перестань, грубиянка! Относись с уважением к господину мамамуши. *(Уходит.)*

Г-жа Журден *(одна)*. Когда же это он успел рехнуться? Скорей за ним, а то еще убежит из дому! *(Увидев Доримену и Доранта.)* А-а, вас здесь только не хватало! Час от часу не легче.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Дорант, Доримена.

Дорант. Да, маркиза, вас ожидает презабавное зрелище. Могу ручаться, что такого сумасброда, каков наш Журден, вы нигде не найдете. Затем наш долг — принять участие в сердечных делах Клеонта и поддержать его затею с маскарадом. Он премилый человек, ему стоит помочь.

Доримена. Я о нем очень высокого мнения. Он вполне достоин счастья.

Дорант. Помимо всего этого, нам не следует пропускать балет, который, собственно говоря, для нас же и устраивается. Посмотрим, насколько удачен мой замысел.

Доримена. Я заметила здесь грандиозные приготовления. Вот что, Дорант: больше я этого не потерплю. Да-да, я хочу положить конец вашей расточительности: чтобы вы больше на меня не тратились, я решила выйти за вас замуж не откладывая. Это единственное средство: со свадьбой все эти безумства кончатся.

Дорант. Неужели вы и правда намерены принять столь отрадное для меня решение?

Доримена. Это только для того, чтобы вы не разорились, иначе, я убеждена, недалек тот час, когда вы останетесь без гроша.

Дорант. О, как я признателен вам за ваши заботы о моем состоянии! Оно всецело принадлежит вам, так же точно, как и мое сердце; распоряжайтесь ими по своему благоусмотрению.

Доримена. Я сумею распорядиться тем и другим. Но вот и наш чудак. Вид у него обворожительный!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант.

Дорант. Милостивый государь! Мы с маркизой явились поздравить вас с новым званием и разделить вашу радость по поводу предстоящего бракосочетания вашей дочери с сыном турецкого султана.

Г-н Журден *(кланяется им по-турецки)*. Желаю вам, ваше сиятельство, силы змеи и мудрости льва.

Доримена. Я имею счастье одною из первых приветствовать вас по случаю того, что вы взошли на высшую ступень славы.

Г-н Журден. Желаю вам, сударыня, чтоб ваш розовый куст цвел круглый год. Я вам бесконечно благодарен за то, что вы пришли меня чествовать, и весьма рад, что вы снова здесь и что я могу принести вам искренние извинения за дикую выходку моей жены.

Доримена. Пустое! Я охотно прощаю ей этот невольный порыв. Вы ей, разумеется, дороги, и нет ничего удивительного, что, обладая таким сокровищем, она испытывает некоторые опасения.

Г-н Журден. Все права на обладание моим сердцем принадлежат вам.

Дорант. Вы видите, маркиза, что господин Журден не из тех людей, которых ослепляет благополучие: он и в счастье не забывает своих друзей.

Доримена. Это признак души истинно благородной.

Дорант. А где же его турецкое высочество? Мы хотели бы в качестве ваших друзей засвидетельствовать ему свое почтение.

Г-н Журден. Вот он идет. Я уж послал за дочерью, чтоб она отдала ему руку и сердце.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант, Клеонт, одетый турком.

Дорант *(Клеонту)*. Ваше высочество! В качестве друзей вашего почтенного тестя мы явились засвидетельствовать вам глубочайшее наше уважение и всепокорнейше принести уверения в совершенной нашей преданности.

Г-н Журден. Где же это толмач? Он бы вас ему представил и растолковал, что вы хотите сказать. Вот увидите, он вам непременно ответит: он прекрасно говорит по-турецки. Эй! Эй! Куда же это его унесло? *(Клеонту.)* Струф, стриф, строф, страф. Этот каспатин, балшой велмош, балшой велмош, а эта каспаша — ух какой снатна тама, ух какой снатна тама! *(Видя, что тот ничего не понимает.)* Ага! *(Указывает на Доранта.)* Он — французский мамамуши, она — французская мамамушиня. Яснее выразиться не могу. Вот, слава богу, и переводчик.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант, Клеонт, одетый турком, Ковьель, тоже переодетый.

Г-н Журден. Где же вы? Мы без вас как без рук. *(Указывая на Клеонта.)* Скажите ему, пожалуйста, что этот господин и эта дама — особы из высшего общества и что они в качестве моих друзей явились засвидетельствовать ему свое почтение и принести уверения в преданности. *(Доримене и Доранту.)* Послушайте, что он ответит.

Ковьель. Алабала кросьям якши борам алабамен.

Клеонт. Каталеки тубал урин сотер амалушан.

Г-н Журден *(Доранту и Доримене)*. Слышите?

Ковьель. Он желает, чтобы дождь благоденствия во всякое время орошал вертоград[1] вашего семейства.

Г-н Журден. Я вам не зря сказал, что он говорит по-турецки!

Дорант. Поразительно!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Люсиль, Клеонт, г-н Журден, Доримена, Дорант, Ковьель.

Г-н Журден. Иди сюда, дочь моя, подойди поближе и дай руку этому господину,— он делает тебе честь, что сватается за тебя.

Люсиль. Что с вами, батюшка? Что вы с собой сделали! Или вы комедию играете?

---

[1] *Вертоград* — сад (книжное, устаревшее).

Г-н Журден. Нет-нет, это вовсе не комедия, это дело очень даже серьезное и такое для тебя почетное, что лучше не придумаешь. *(Указывая на Клеонта.)* Вот кого я даю тебе в мужья.

Люсиль. Мне, батюшка?

Г-н Журден. Ну да, тебе. Скорей подай ему руку и благодари бога за такое счастье.

Люсиль. Я не желаю выходить замуж.

Г-н Журден. А я, твой отец, этого желаю.

Люсиль. Ни за что.

Г-н Журден. Без всяких разговоров! Поживей, тебе говорят! Ну, давай же руку!

Люсиль. Нет, батюшка, я уже вам сказала, что нет такой силы, которая принудила бы меня выйти замуж за кого-нибудь, кроме Клеонта. Я скорей решусь на любую крайность, чем... *(Узнает Клеонта.)* Конечно, вы — мой отец, я должна вам беспрекословно повиноваться, устраивайте мою судьбу как вам будет угодно.

Г-н Журден. Ах, как я рад, что сознание долга так скоро к тебе вернулось! Хорошо иметь послушную дочь!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г-жа Журден, Клеонт, г-н Журден, Люсиль, Дорант, Доримена, Ковьель.

Г-жа Журден. Это что такое? Что это еще за новости? Говорят, ты собрался выдать свою дочь за какого-то шута?

Г-н Журден. Да замолчишь ли ты, нахалка? Надоели мне твои дикие выходки! Ничем тебя не вразумишь!

Г-жа Журден. Это тебя никакими силами не приведешь в разум: так и жди какого-нибудь нового сумасбродства. Что это ты задумал, и к чему это сборище?

Г-н Журден. Я хочу выдать нашу дочь за сына турецкого султана.

Г-жа Журден. За сына турецкого султана?

Г-н Журден. Да. *(Указывая на Ковьеля.)* Засвидетельствуй ему свое почтенье вот через этого толмача.

Г-жа Журден. Не нужно мне никакого толмача, я сама ему скажу прямо в глаза, что дочки моей ему не видать.

Г-н Журден. Да замолчишь ли ты наконец?

Дорант. Помилуйте, госпожа Журден, неужели вы отказываетесь от такой чести? Вы не хотите, чтобы вашим зятем был его турецкое высочество?

Г-жа Журден. Ради бога, сударь, не вмешивайтесь вы в чужие дела.

Доримена. Таким великим счастьем пренебрегать не следует.

Г-жа Журден. И вас, сударыня, я тоже попрошу не лезть, куда не спрашивают.

Дорант. Мы о вас же заботимся, единственно из дружеского к вам расположения.

Г-жа Журден. Не нуждаюсь я в вашем дружеском расположении.

Дорант. Но ведь и ваша дочь согласна подчиниться воле родителя.

Г-жа Журден. Моя дочь согласна выйти за турка?

Дорант. Вне всякого сомнения.

Г-жа Журден. Она может забыть Клеонта?

Дорант. Чем только не поступаются ради того, чтобы именоваться знатной дамой!

Г-жа Журден. Если она выкинула такую штуку, я ее своими руками задушу.

Г-н Журден. Ну, поехала! Я тебе говорю, что свадьба состоится.

Г-жа Журден. А я тебе говорю, что не состоится.

Г-н Журден. Довольно разговоров!

Люсиль. Матушка!

Г-жа Журден. А, да ну тебя, скверная девчонка!

Г-н Журден *(жене)*. Ты что же это, бранишь ее за повиновение отцу?

Г-жа Журден. Да. Она столько же моя дочь, сколько и твоя.

Ковьель *(г-же Журден)*. Сударыня!

Г-жа Журден. А вы-то что собираетесь мне сказать?

Ковьель. Только одно слово.

Г-жа Журден. Очень мне нужно ваше слово!

Ковьель *(г-ну Журдену)*. Сударь! Если только ваша супруга захочет поговорить со мной наедине, то я вам ручаюсь, что она изъявит свое согласие.

Г-жа Журден. Ни за что не соглашусь!

Ковьель. Да вы только выслушайте меня!

Г-жа Журден. Не выслушаю.

Г-н Журден *(жене)*. Выслушай его.

Г-жа Журден. Не желаю я его слушать.

Г-н Журден. Он тебе растолкует...

Г-жа Журден. Не желаю я, чтоб он мне растолковывал.

Г-н Журден. До чего же все женщины упрямы! Что, тебя от этого убудет, что ли?

Ковьель. Вам надо только выслушать меня, а дальше поступайте как вам заблагорассудится.

Г-жа Журден. Ну, что у вас такое?

Ковьель *(г-же Журден, тихо)*. Битый час, сударыня, мы делаем вам знаки. Неужели вы не видите, что все это мы затеяли только для того, чтобы подделаться под господина Журдена

с его вечными причудами? Мы дурачим его этим маскарадом: ведь сын турецкого султана — не кто иной, как Клеонт.

Г-жа Журден *(Ковьелю, тихо)*. Ах, вот в чем дело!

Ковьель *(г-же Журден, тихо)*. А я, Ковьель, при нем переводчиком.

Г-жа Журден *(Ковьелю, тихо)*. Ну, коли так, то я сдаюсь.

Ковьель *(г-же Журден, тихо)*. Только не подавайте виду.

Г-жа Журден *(громко)*. Да. Все уладилось. Я согласна на брак.

Г-н Журден. Ну, вот все и образумились! *(Жене.)* А ты еще не хотела его выслушать! Я был уверен, что он сумеет объяснить, что значит сын турецкого султана.

Г-жа Журден. Он мне все толком объяснил, и теперь я довольна. Надо послать за нотариусом[1].

Дорант. Похвальное намерение. А чтобы вы, госпожа Журден, могли быть совершенно спокойны и с нынешнего дня перестали ревновать почтенного вашего супруга, я вам объявляю, что мы с маркизой воспользуемся услугами того же самого нотариуса и заключим брачный союз.

Г-жа Журден. Я и на это согласна.

Г-н Журден *(Доранту, тихо)*. Это вы для отвода глаз?

Дорант *(г-ну Журдену, тихо)*. Пусть себе тешится этой басней.

Г-н Журден *(тихо)*. Отлично, отлично! *(Громко.)* Пошлите за нотариусом!

Дорант. А пока он придет и составит брачные договоры, давайте посмотрим балет — это послужит развлечением и для его турецкого высочества.

Г-н Журден. Прекрасная мысль. Пойдемте занимать места.

Г-жа Журден. А как же Николь?

Г-н Журден. Николь я отдаю толмачу, а мою супругу — кому угодно.

Ковьель. Благодарю вас, сударь. *(В сторону.)* Ну, уж другого такого сумасброда на всем свете не сыщешь!

Комедия заканчивается балетом.

Занавес

---

[1] *Нотариус* — должностное лицо, на обязанности которого лежит засвидетельствование и оформление разного рода документов, юридических актов и т. п.

ГЁТЕ

Великий немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гёте (Johann Wolfgang Goethe, 1749—1832) писал трагедию «Фауст» в течение всей своей творческой жизни: начатая в 1773 г., она была завершена им за полтора года до смерти.

Гёте родился во Франкфурте-на-Майне в обеспеченной семье доктора права. Шестнадцати лет он поступил в Лейпцигский университет, но не закончил курса наук из-за болезни. В 1770 г., оправившись от недуга, он переехал в Страсбург, где два года проучился в Страсбургском университете на факультете права. В 1771 г. Гёте вернулся во Франкфурт, где и прожил вплоть до приглашения в Веймар в 1775 г. С этого времени и до самой смерти Гёте — сначала советник, а затем — министр при дворе Карла Августа, герцога саксен-веймарского.

В конце XVIII — первой половине XIX века Германия была страной полуфеодальной реакции. Передовые немецкие писатели того времени выступали против уродливой современности и исповедовали идеалы, вдохновившие французскую революцию. Молодые поэты объединились в группу, получившую название «Буря и натиск». Гёте принял участие в бунтарском движении штюрмеров (так называли в Германии членов этой группы).

Однако революционный энтузиазм, одушевлявший штюрмеров, не смог найти практического воплощения в конкретных исторических условиях Германии тех лет. «Его темперамент, его энергия, все его духовные стремления толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, с которой он сталкивался, была жал-

ка»,— писал о Гёте Ф. Энгельс (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2, т. 4, с. 233). В концепции так называемого веймарского классицизма, к которой Гёте приходит в конце 80-х годов, место революционного действия занимает идея постепенных реформ, воспитание всесторонней, гармонически развитой личности. Эта идея соответствовала просветительскому идеалу Гёте, его вере в безграничные возможности человеческого разума и силы духа. Но в то же время она знаменовала и примирение Гёте с немецкой действительностью. На эту двойственность гражданской и творческой позиции «веймарского» Гёте указывал Ф. Энгельс: «Так, Гёте то колоссально велик, то мелок; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер» (там же).

Гёте был одним из самых образованных, одаренных и разносторонних людей своего времени, личностью в полном смысле слова многогранной: прозаиком, драматургом, поэтом, политическим деятелем, философом, филологом, естествоиспытателем. Его творческое наследие велико и разнообразно. В мировую литературу он вошел не только как создатель бессмертного «Фауста», но и как непревзойденный поэт-лирик, как автор пьес «Гёц фон Берлихинген» (1773) и «Эгмонт» (1788), сатирической поэмы «Рейнеке-Лис» (1793), романов «Страдания юного Вертера» (1774), «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796), «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821—1829) и других произведений.

Трагедия в стихах «Фауст» (часть I—1808, часть II—1831) — самое великое творение Гёте. «Никогда и нигде — и не только в творчестве Гёте, но и во всей немецкой и мировой литературе той эпохи — великая вера в жизнь и борьбу за человеческое счастье на земле не нашла такого гениального художественного выражения, как в «Фаусте»... Всю исполинскую мощь своего гения, всю мудрость и глубину своего познания жизни Гёте с наибольшей поэтической силой и драматическим совершенством воплощает в «Фаусте». «Фауст» Гёте — философская поэма, раскрывающая гигантские горизонты, ставящая и разрешающая основные вопросы человеческого бытия. В чем смысл жизни, в чем ее назначение? На эти важнейшие вопросы... Гёте отвечает в своей поэме»,— писал советский литературовед Я. М. Металлов.

«Фауст» — вдохновенный гимн человеческому дерзанию, человеческой мудрости. Любовь к человечеству, стремление к познанию и желание помочь людям движут героем трагедии. Назвать философскую поэму Гёте трагедией можно с полным правом не только потому, что она написана в драматической форме, но в первую очередь потому, что путь человека к истине, к идеалу всегда сопряжен с трагическими ошибками, безысходными утратами, с отказом от милых, успокоительных иллюзий. Первая часть трагедии и является рассказом о чувственных искушениях, которым поддается Фауст, рассказом о его заблуждениях и страшной цене, которой приходится за них расплачиваться. Трагическая гибель Маргариты убеждает Фауста в том, что смысл жизни заключается не в удовлетворении личных желаний, а в служении людям, в осознании человеком своей ответственности за других.

Во второй части поэмы Фауст практически претворяет в жизнь эту с таким трудом завоеванную им мудрость: он задумывает и начинает осуществлять грандиозный план — отвоевать у моря земли, чтобы они могли послужить людям. Мгновение, когда дряхлому, ослепшему Фаусту открывается все величие его замысла, подлинно прекрасно:

Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.

Это, может быть, самая емкая в мировой литературе поэтическая формула того исторического прогресса, которого — считали просветители — способен достигнуть человек, научившись властвовать над разрушительными стихиями природы и управлять собственными страстями.

Согласно договору между Господом и Мефистофелем, Фауст должен был попасть в ад. Однако ангелы возносят душу Фауста в рай: по духу (не по

«букве») договора Мефистофель оказывается посрамленным, ибо зло не смогло завладеть Фаустом, человеком, нашедшим истину в самоотречении ради других людей.

Энциклопедическое богатство философских идей, наблюдений, афористических суждений о человеческой природе, помноженное на сложнейшую гамму чувств и передающих эти чувства поэтических интонаций,— то, чем поражает «Фауст»,— все это характерно и для лирики Гёте. В ней звучат и безмерное упоение жизнью («Майская песня»), и опьянение любовью («Свидание и разлука»), и ощущение полного слияния души и мироздания («Ночная песня странника»), и озорная ирония («Мальчик, свет зажигай!..»), и мудро-лукавое утверждение очищающей и возвышающей человека силы искусства («Стихи подобны разноцветным стеклам...»).

Сцены из «Фауста» даются в переводе *Бориса Пастернака.* Историческая справка и примечания принадлежат *Я. М. Металлову* и *Н. А. Холодковскому.*

Произведения Гёте можно прочитать в изданиях:

Гёте. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1950.
Гёте. Избранное. М., Детгиз, 1963.
Гёте. Фауст. Перевод Б. Пастернака. М., Гослитиздат, 1960. (То же: М., Правда, 1975.)
Гёте, Иоганн Вольфганг. Лирика. М., Художественная литература, 1966.
Гёте, Иоганн Вольфганг. Поэзия и правда. Из моей жизни. М., Художественная литература, 1969.
Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского. М., Детская литература, 1973.
Гёте И. В. Лирика. М., Детская литература, 1975.

О жизни и творчестве Гёте см.:

Тураев С. Иоганн Вольфганг Гёте. М., Учпедгиз, 1957.
Вильмонт Н. Гёте. М., Гослитиздат, 1959.
Людвиг, Эмиль. Гёте. М., Молодая гвардия, 1965.

ФАУСТ

ТРАГЕДИЯ

ЛЕГЕНДА О ДОКТОРЕ ФАУСТЕ

(историческая справка)

Подобно многим классическим произведениям, «Фауст» зародился в народном творчестве. Художественное сознание народных масс давно уже занимал образ героя, готового продать свою душу черным силам ада во имя расширения границ человеческого познания. Прототипом народного Фауста явился живой, конкретный, исторически действительно существовавший в первой половине XVI века маг и чернокнижник по имени Фауст — прообраз целой плеяды литературных Фаустов.

История развития образа Фауста могла бы послужить интереснейшей и поучительной иллюстрацией к истории развития человеческой культуры и человеческого общества.

Впервые легенда о Фаусте возникла в конце XV — начале XVI века, на переломе от средневековья к новому времени. Народная легенда рисует Фауста то волшебником, то поэтом и гуманистом.

В 1587 г. во Франкфурте-на-Майне вышла первая литературная редакция легенды о Фаусте, изданная Иоганном Шписом. Самое заглавие книги, звучащее в настоящее время более чем юмористично, в ту пору заключало в себе суровую религиозно-морализирующую сентенцию: «История о докторе Иоганне Фаусте, всемирно известном колдуне и чернокнижнике, как он заключил на определенный срок с дьяволом условие, какие были с ним за это время редкостные приключения, пока он наконец не воспринял заслуженного им возмездия. Составлена большей частью по его собственным, оставшимся после него сочинениям, в страшное поучение, ужасающий пример и доброжелательное предостережение всем высокомерным, суемудрым и безбожным людям». Религиозный автор обвиняет Фауста в том, что он в гордыне своей «привязал себе орлиные крылья и стремился исследовать и небо и землю — все до основания». В повествовании Шписа Мефистофель по истечении договора, скрепленного кровью, безжалостно уничтожает Фауста.

Последующие немецкие литературные варианты легенды о Фаусте XV — XVII веков не поднимаются над уровнем «Фауста» Шписа.

Иную интерпретацию легенды дал видный драматург английского Возрождения XVI века, современник В. Шекспира — Кристофер Марло. Смелый и страстный вольнодумец, достойный представитель Ренессанса, Марло в своей трагедии «Жизнь и смерть доктора Фауста» создал титанический образ Фауста-богоборца, обратившегося к магии и стремившегося раскрепостить личность от косных законов мироздания.

В XVIII веке, накануне французской революции 1789 г., образ Фауста, ученого-протестанта, становится особенно популярным. Крупнейший из немецких просветителей — Лессинг в своих набросках драмы «Фауст» с явной симпатией рисует ученого, одержимого всепожирающей жаждой знания. И показательно, что уже в лессинговском варианте «Фауста» попытка сатаны погубить Фауста заранее обрекается на неудачу.

Представители движения «Буря и натиск», с их культом бурного гения, не признающего над собой никаких законов, не могли не увлечься заманчивой

фигурой Фауста, не останавливающегося в своей борьбе с миропорядком перед союзом с дьяволом. На протяжении одного-двух десятков лет драматурги «Бури и натиска» один за другим создают новые варианты «Фауста». В 1778 г. появляется «Жизнь Фауста» Фридриха Мюллера. В 1791 г. возникает замечательный «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» Клингера. Клингер отождествляет Фауста с одним из первых мастеров книгопечатания в XV веке, типографом Фаустом. Герой Клингера — гений, рвущийся к познанию, счастью и свободе. Книгопечатание вызывает лишь ликование сатаны, видящего в этом изобретении лишний повод к насаждению лжеучений и усилению вражды среди людей. Договор Фауста с дьяволом приводит к тому, что Фауст, познакомившись с ужасающими порядками в разных странах, приходит к мысли о порочности человеческой натуры и в отчаянии сам предает себя власти сатаны.

В начале 70-х годов XVIII века к написанию «Фауста» приступает и Иоганн Вольфганг Гёте. Гёте еще в детстве в кукольных театрах узнал народного «Фауста». Вступив в движение «Буря и натиск», Гёте увлекся титаническим образом Фауста и в 1774—1775 гг. создал свой первый вариант «Фауста», так называемый «Прафауст». В соответствии с общим духом «Бури и натиска» Фауст «Прафауста» — бунтарь, рвущийся к познанию тайн природы, но неизбежно обреченный на поражение. Только в окончательной редакции «Фауста» Гёте возник образ Фауста побеждающего.

ИЗ ЧАСТИ I

ПРОЛОГ НА НЕБЕ[1]

Господь, небесное воинство, потом Мефистофель. Три архангела[2].

Рафаил

В пространстве, хором сфер объятом,
Свой голос солнце подает,
Свершая с громовым раскатом
Предписанный круговорот.
Дивятся ангелы господни,
Окинув взором весь предел.
Как в первый день, так и сегодня
Безмерна слава божьих дел.

Гавриил

И с непонятной быстротою
Внизу вращается Земля,

[1] Пролог на небе носит символический характер и является, по сути дела, завязкой всей трагедии. Величественно и торжественно, поражая спокойствием и плавностью ритма, звучит в оригинале «Фауста» славословие архангелов мирозданию. Ироническое вступление Мефистофеля вносит диссонанс в это славословие, противопоставляя гармоническому величию природы ничтожность человеческого существования. Но твердое спокойствие Господа, заключающего с дьяволом пари, вера в конечное торжество Фауста позволяют Гёте сохранить оптимистическую тональность пролога.

[2] *Архангелы Рафаил, Гавриил* и *Михаил* — согласно христианской мифологии, старшие ангелы, окружающие бога.

На ночь со страшной темнотою
И светлый полдень круг деля.
И море пеной волн одето,
И в камни пеной бьет прибой,
И камни с морем мчит планета
По кругу вечно за собой.

Михаил

И бури, все попутно руша
И все обломками покрыв,
То в вольном море, то на суше
Безумствуют наперерыв.
И молния сбегает змеем,
И дали застилает дым.
Но мы, господь, благоговеем
Пред дивным промыслом твоим.

Все втроем

Мы, ангелы твои господни,
Окинув взором весь предел,
Поем, как в первый день, сегодня
Хвалу величью божьих дел.

Мефистофель

К тебе попал я, боже, на прием,
Чтоб доложить о нашем положенье.
Вот почему я в обществе твоем
И всех, кто состоит тут в услуженье.
Но если б я произносил тирады,
Как ангелов высокопарный лик,
Тебя бы насмешил я до упаду,
Когда бы ты смеяться не отвык.
Я о планетах говорить стесняюсь,
Я расскажу, как люди бьются, маясь.
Божок вселенной, человек таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет.
Прошу простить, но по своим приемам
Он кажется каким-то насекомым.
Полулетя, полускача,
Он свиристит, как саранча.
О, если б он сидел в траве покоса
И во все дрязги не совал бы носа!

Господь

И это все? Опять ты за свое?
Лишь жалобы да вечное нытье?
Так на земле все для тебя не так?

Мефистофель

Да, господи, там беспросветный мрак,
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда.

Господь

Ты знаешь Фауста?

Мефистофель

Он доктор?

Господь

Он мой раб.

Мефистофель

Да, странно этот эскулап
Справляет вам повинность божью,
И чем он сыт, никто не знает тоже.
Он рвется в бой, и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли,
И век ему с душой не будет сладу,
К чему бы поиски ни привели.

Господь

Он служит мне, и это налицо,
И выбьется из мрака мне в угоду.
Когда садовник садит деревцо,
Плод наперед известен садоводу.

Мефистофель

Поспорим-те! Увидите воочью,
У вас я сумасброда отобью,
Немного взявши в выучку свою.
Но дайте мне на это полномочья.

Господь

Они тебе даны. Ты можешь гнать,
Пока он жив, его по всем уступам.
Кто ищет — вынужден блуждать.

Мефистофель

Пристрастья не питая к трупам,
Спасибо должен вам сказать.
Мне ближе жизненные соки,
Румянец, розовые щеки.
Котам нужна живая мышь,
Их мертвою не соблазнишь.

Господь

Он отдан под твою опеку!
И, если можешь, низведи
В такую бездну человека,
Чтоб он тащился позади.
Ты проиграл наверняка.
Чутьем, по собственной охоте
Он вырвется из тупика.

Мефистофель

Поспорим. Вот моя рука,
И скоро будем мы в расчете.
Вы торжество мое поймете,
Когда он, ползая в помете,
Жрать будет прах от башмака,
Как пресмыкается века
Змея, моя родная тетя.

Господь

Тогда ко мне являйся без стесненья.
Таким, как ты, я никогда не враг.
Из духов отрицанья ты всех мене
Бывал мне в тягость, плут и весельчак.
Из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его застой,
Вертись пред ним, томи, и беспокой,
И раздражай его своей горячкой.

(Обращаясь к ангелам.)

Вы ж, дети мудрости и милосердья,
Любуйтесь красотой предвечной тверди.
Что борется, страдает и живет,
Пусть в вас любовь рождает и участье,
Но эти превращенья в свой черед
Немеркнущими мыслями украсьте.

Небо закрывается. Архангелы расступаются.

Мефистофель
(один)

Как речь его спокойна и мягка!
Мы ладим, отношений с ним не портя.
Прекрасная черта у старика
Так человечно думать и о черте.

У ВОРОТ[1]

Толпы гуляющих направляются за город.

Несколько подмастерьев

Куда такой толпой?

Другие

В стрелковый тир лесной.

Первые

А мы ватагой к мельничной запруде.

Один из подмастерьев

На гать ступайте. Вот где красота.

Второй подмастерье

Далекий путь. Неважные места.

---

[1] Жанровая сцена эта, с таким мастерским реализмом рисующая красочную картину гулянья горожан, как бы вводит Фауста в окружающую его действительность. Фауст не только не сторонится горожан, но с интересом наблюдает их, почувствовав себя в их веселом, оживленном кругу простым человеком. Ученый-филистер Вагнер и здесь проявляет свою оторванность от жизни, высокомерно сторонясь простого народа. Благодарность крестьян за оказанную им медицинскую помощь напоминает Фаусту об ограниченности научного знания. Последующая беседа Фауста с Вагнером протекает в духе диалога горьковского Сокола с Ужом: Фауст рвется ввысь, Вагнер не понимает его. В ответ на призыв Фауста к духам наделить его волшебным плащом, который смог бы перенести его в неведомый мир и дать иную жизнь, появляется черный пудель.

Из второй группы

А ты куда?

Третий подмастерье

Туда, куда и люди.

Четвертый

Таких, как возле замка в слободе,
Ни девушек, ни пива нет нигде.
И первый сорт задиры и скандалы.

Пятый

Так у тебя опять, у хвастуна,
По их побоям чешется спина?
Я этим сыт надолго до отвала.

Служанка

Нет, лучше я пойду домой.

Другая служанка

Наверно, он за тополями теми.

Первая

А мне в нем интерес какой?
Он за тобой таскается все время,
А я, как дура, радуйся на вас,
Когда вдвоем пускаетесь вы в пляс.

Вторая

Сегодня, кажется, он не один.
С ним, помнишь, тот кудрявчик господин.

Студент

Гляди, девчонка под руку с девчонкой!
А ну-ка за обеими вдогонку!
Да, брат, покрепче пиво и табак
Да девочки — на это я мастак.

Девушка-горожанка

Могу сказать, студенты-кавалеры!
Я удивляюсь, как не стыдно им.
У барышень хорошие манеры,
Они же липнут к горничным простым.

Второй студент
(первому)

Да не беги ты! Видишь, сзади две,
И обе из порядочного дома.
Одна из них с соседями в родстве,
И потому мы шапочно знакомы.
Раскланяемся с ними, подойдем
И совершим прогулку вчетвером.

Первый студент

Нет, брат, одно стесненье эта знать.
Я отдаю служанкам предпочтенье.
Та, что в субботу будет подметать,
Всех лучше приголубит в воскресенье.

Горожанин

Беда нам с новым бургомистром.
Он все решает с видом быстрым,
А пользой нашей пренебрег.
Дела все хуже раз от разу,
И настоятельней приказы,
И непосильнее налог.

Нищий
(поет)

Вы, судари мои и дамы,
Пошли господь вам много лет!
Подайте нищему у храма,
Я голоден и не одет!
В день праздничного ликованья
Рука дающего легка.
Не откажите в подаянье
И пожалейте старика!

Второй горожанин

По праздникам нет лучше развлеченья,
Чем толки за стаканчиком вина,
Как в Турции далекой, где война,

Сражаются друг с другом ополченья.
Подходишь у трактирщика к окну
И смотришь — по реке идут баркасы,
И после, дома, отходя ко сну,
Благословляешь миролюбье часа.

Третий горожанин

Я тоже так смотрю, сосед.
Пусть у других неразбериха,
Передерись хотя весь свет,
Да только б дома было тихо.

Старуха
(девушкам-горожанкам)

Ах, ягодки-красавицы мои!
Глаз не отвесть от вашего наряда.
Зачем чураетесь ворожеи?
Я раздобыть сумею, что вам надо.

Первая девушка

Агата, что ты! Постыдись греха!
При встречных заговаривать с колдуньей!
Она мне будущего жениха
Недавно показала в новолунье.

Вторая девушка

И мне, в хрустальном шаре. Он солдат,
Средь удальцов, бросающихся в сечу.
С тех пор по сторонам бросаю взгляд,
Но, сколько ни ищу, нигде не встречу.

Солдаты

Рвы, частоколы,
Стены, ограды,
Женского пола
Гордые взгляды
Перед осадой
Не устоят.
Ради награды
Бьется солдат.

Перед началом
Всякой атаки,
Перед привалом
Трубят вояки.

Штурмы с паденьем
Женщин и стен,
Вот что мы ценим,
Прочее — тлен.
Ради награды
Бьется солдат.
Утром уходит
Дальше отряд.

Фауст и Вагнер.

Фауст

Растаял лед, шумят потоки,
Луга зеленеют под лаской тепла.
Зима, размякнув на припеке,
В суровые горы подальше ушла.
Оттуда она крупою мелкой
Забрасывает зеленя,
Но солнце всю ее побелку
Смывает к середине дня.
Все хочет цвесть, росток и ветка,
Но на цветы весна скупа,
И вместо них своей расцветкой
Пестрит воскресная толпа.
Взгляни отсюда вниз с утеса
На городишко у откоса.
Смотри, как валит вдаль народ
Из старых городских ворот.
Всем хочется вздохнуть свободней,
Все рвутся вон из толкотни.
В день воскресения господня
Воскресли также и они.
Они восстали из-под гнета
Конур, подвалов, верстаков,
Ремесленных оков без счета,
Нависших крыш и чердаков,
И высыпали на прогулку
Из хмурящейся тьмы церквей,
Из узенького закоулка,
И растеклись ручьев живей,
И бросились к речным причалам,
И рыщут лодки по реке,
И тяжело грести усталым
Гребцам в последнем челноке.
По горке ходят горожане,
Они одеты щегольски,
А в отдаленье на поляне

В деревне пляшут мужики.
Как человек, я с ними весь:
Я вправе быть им только здесь.

Вагнер

Прогулка с вами на свободе
Приносит честь и пользу мне.
Но от забав простонародья
Держусь я, доктор, в стороне.
К чему б крестьяне ни прибегли,
И тотчас драка, шум и гам.
Их скрипки, чехарда, и кегли,
И крик невыносимы нам.

Крестьяне

(под липою; пляски и пение)

Плясать отправился пастух,
Оделся, разрядился в пух,
Цветов в камзол натыкал.
Под липой шла уж кутерьма,
Кружились пары без ума,
Скрипач вовсю пиликал.

Протискиваясь в этот круг,
Столкнулся с девушкой пастух
Румяною и свежей,
И та ему, скользя из рук:
«Пожалуйста, без этих штук!
Не надо быть невежей!»

Но, на нее взглянув в упор,
Стал девушку кружить танцор,
И зашумели юбки.
И все нежней за туром тур
Шептался с нею балагур,
Не вымолив уступки.

«Как только врать не надоест!
Довольно из-за вас невест
Пропало по ошибке!»
Но недотрогу в уголок
Он понемногу уволок
От скрипача и скрипки.

8 Заказ 137

Старик

Мне, доктор, поручил народ
Вам благодарность принести.
Вы оказали нам почет,
Не погнушавшись к нам прийти.
Ученость ваша у крестьян
Прославлена и всем видна.
Вот полный доверху стакан,
И сколько капель в нем вина,
Пусть столько же счастливых дней
Вам бог прибавит к жизни всей.

Фауст

Желаю здравья вам в ответ
В теченье столь же многих лет.

Народ обступает их.

Старик

Отрадно вспомнить в светлый день,
Как жертвовали вы собой
Для населенья деревень
В дни черной язвы моровой.
Иного только потому
Ужасный миновал конец,
Что нам тогда избыть чуму
Помог покойный ваш отец.
Вас не пугал ее очаг,
И — юноша еще тогда —
Входили вы к больным в барак
И выходили без вреда.
За близость с братиею низшей
Хранила вас десница свыше.

Все

Храни вас господи и впредь,
Чтоб не давали нам болеть.

Фауст

Вам следует благодарить
Того, кто всех учил любить.

(Проходит с Вагнером дальше.)

Вагнер

Вы можете всем этим быть горды.
Как вы любимы деревенским людом!
Большое счастье — пожинать плоды
Способностей, не сгинувших под спудом.
Вы появились — шапки вверх летят,
Никто не пляшет, пораженный чудом,
Вас пропускают, выстроившись в ряд,
Еще немного,— позовут ребят
И станут перед вами на колени,
Как пред святыней, чтимою в селенье.

Фауст

Давай дойдем до этой крутизны
И там присядем. Часто я, бывало,
На той скале сидел средь тишины,
Весь от поста худой и отощалый.
Ломая руки, я мольбой горел,
Чтоб бог скорей избавил нас от мора
И положил поветрию предел.
Так уповал и верил я в ту пору!
И для меня насмешкою звучит
Тех тружеников искреннее слово.
От их речей охватывает стыд
И за себя, и за дела отцовы.
Отец мой, нелюдим-оригинал,
Всю жизнь провел в раздумьях о природе.
Он честно голову над ней ломал,
Хотя и по своей чудной методе.
Алхимии тех дней забытый столп,
Он запирался с верными в чулане
И с ними там перегонял из колб
Соединенья всевозможной дряни.
Там звали «лилиею» серебро,
«Львом» — золото, а смесь их — связью в браке.
Полученное на огне добро,
«Царицу» [1], мыли в холодильном баке,
В нем осаждался радужный налет.
Людей лечили этой амальгамой,
Не проверяя, вылечился ль тот,
Кто обращался к нашему бальзаму.
Едва ли кто при этом выживал.
Так мой отец своим мудреным зельем
Со мной средь этих гор и по ущельям

---

[1] «*Царица*» — в алхимии — панацея, всеисцеляющее средство.

Самой чумы похлеще бушевал.
И каково мне слушать их хваленья,
Когда и я виной их умерщвленья,
И сам отраву тысячам давал.

Вагнер

Корить себя решительно вам нечем.
Скорей была заслуга ваша в том,
Что вы воспользовались целиком
Уменьем, к вам от старших перешедшим.
Для сыновей отцовский опыт свят.
Они его всего превыше ставят.
Ваш сын ведь тоже переймет ваш взгляд
И после новое к нему прибавит.

Фауст

Блажен, кто вырваться на свет
Надеется из лжи окружной.
В том, что известно, пользы нет,
Одно неведомое нужно.
Но полно вечер омрачать
Своей тоскою беспричинной.
Смотри: закат свою печать
Накладывает на равнину.
День прожит, солнце с вышины
Уходит прочь в другие страны.
Зачем мне крылья не даны
С ним вровень мчаться неустанно!
На горы в пурпуре лучей
Заглядывался б я в полете
И на серебряиный ручей
В вечерней темной позолоте.
Опасиый горный перевал
Не останавливал бы крыльев.
Я море бы пересекал,
Движенье этих крыл усилив.
Когда б зари вечерний свет
Грозил погаснуть в океане,
Я б налегал дружиее вслед
И нагонял его сиянье.
В соседстве с небом надо мной,
С днем впереди и ночью сзади,
Я реял бы над водной гладью.
Жаль, нет лишь крыльев за спиной.
Но всем знаком порыв врожденный
Куда-то ввысь, туда, в зенит,

Когда из сииевы бездоиной
Песиь жаворонка зазвенит,
Или когда вверху над бором
Парит орел, или вдали
Осенним утреииим простором
К отлету тянут журавли.

Вагиер

И иа меня капризы находили,
Но не припомню я таких причуд.
Меия леса и нивы не влекут,
И зависти не будят птичьи крылья.
Моя отрада — мысленный полет
По книгам, со страницы иа страиицу.
Зимой за чтеньем быстро ночь пройдет,
Тепло по телу весело струится,
А если попадется редкий том,
От радости я нá небе седьмом.

Фауст

Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадио льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
О, если бы ие в царстве грез,
А в самом деле вихрь небесиый
Меня куда-ибудь унес
В мир новой жизни иеизвестиой!
О, если б, плащ волшебный взяв,
Я б улетал куда угодно! —
Мне б царских мантий и держав
Милей был этот плащ походный.

Вагнер

Не призывайте лучше никогда
Существ, живущих в воздухе и ветре.
Они распространители вреда,
Смертей повальиых, моровых поветрий.
То демон севера заладит дуть
И иас проймет простудою жестокой,
То иам пойдет сушить чахоткой грудь

Томительное веянье востока,
То с юга из пустыни суховей
Нас солнечным ударом стукнет в темя,
То запад целой армией дождей
Повадится нас поливать все время.
Не доверяйте духам темноты,
Роящимся в ненастной серой дымке,
Какими б ангелами доброты
Ни притворялись эти невидимки.
Пойдемте, впрочем. На землю легла
Ночная сырость, нависает мгла,
Хорош по вечерам уют домашний!
На что, однако, вы вперили взор
И смотрите как вкопанный в упор?

Фауст

Заметил, черный пес бежит по пашне?

Вагнер

Давно заметил. Что же из того?

Фауст

Кто он? Ты в нем не видишь ничего?

Вагнер

Обыкновенный пудель, пес лохматый,
Своих хозяев ищет по следам.

Фауст

Кругами, сокращая их охваты,
Все ближе подбирается он к нам.
И, если я не ошибаюсь, пламя
За ним змеится по земле поляи.

Вагнер

Не вижу. Просто пудель перед нами,
А этот след — оптический обман.

Фауст

Как он плетет вкруг нас свои извивы!
Магический их смысл не так-то прост.

Вагнер

Не замечаю. Просто пес трусливый,
Чужих завидев, поджимает хвост.

Фауст

Все меньше круг. Он подбегает. Стой!

Вагнер

Вы видите, не призрак — пес простой.
Ворчит, хвостом виляет, лег на брюхо.
Все как у псов, и не похож на духа.

Фауст

Не бойся! Смирно, пес! За мной! Не тронь!

Вагнер

Забавный пудель. И притом — огонь.
Живой такой, понятливый и бойкий,
Поноску знает, может делать стойку.
Оброните вы что-нибудь — найдет.
За брошенною палкой в пруд нырнет.

Фауст

Да, он не оборотень, дело ясно.
К тому же, видно, вышколен прекрасно.

Вагнер

Серьезному ученому забавно
Иметь собаку с выучкой исправной.
Пес этот, судя по его игре,
Наверно, у студентов был в муштре.

Входят в городские ворота.

РАБОЧАЯ КОМНАТА ФАУСТА[1]

Входит Фауст с пуделем.

Фауст

Оставил я поля и горы,
Окутанные тьмой ночной,
Открылось внутреннему взору
То лучшее, что движет мной.

[1] Мефистофель является Фаусту. Прототипом Мефистофеля, как признавал сам Гёте, послужил ему его друг И.-Г. Мёрк (1741—1791) — весьма ловкий, умный и образованный делец, отличавшийся скептицизмом и цинизмом.

В душе, смирившей вожделенья,
Свершается переворот.
Она любовью к провиденью,
Любовью к ближнему живет.

Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай!
Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог.
Ну-ка — за печку и располагайся к ночлегу.
Право, приятель, на эту подушку бы лег.
Очень любезно нас было прыжками забавить.
В поле, на воле, уместна твоя беготня.
Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить.
Угомонись и пойми: ты в гостях у меня.

Когда в глубоком мраке ночи
Каморку лампа озарит,
Не только в комнате рабочей,
И в сердце как бы свет разлит.
Я слышу разума внушенья,
Я возрождаюсь и хочу
Припасть к источникам творенья,
К живительному их ключу.

Пудель, оставь! С вдохновеньем минуты,
Вдруг охватившим меня невзначай,
Несовместимы ворчанье и лай.
Более свойственно спеси надутой
Лаять на то, что превыше ее.
Разве и между собачьих ухваток
Водится этот людской недостаток?
Пудель! Оставь беготню и вытье.

Но вновь безволье, и упадок,
И вялость в мыслях, и разброд.
Как часто этот беспорядок
За просветленьем настает!
Паденья эти и подъемы
Как в совершенстве мне знакомы!
От них есть средство искони:
Лекарство от душевной лени —
Божественное откровенье [1],
Всесильное и в наши дни.
Всего сильнее им согреты
Страницы Нового завета [2].

[1] *Откровенье* — по христианскому вероучению, истина, догма, в которой открывается воля бога.

[2] *Новый завет* — часть Библии, в которой изложены легенды о пришествии на землю Иисуса Христа и возникновении христианской религии.

Вот, кстати, рядом и они.
Я по-немецки все Писанье
Хочу, не пожалев старанья,
Уединившись взаперти,
Как следует перевести[1].

(Открывает книгу, чтобы приступить к работе.)

«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале Мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале Сила». Вот в чем суть.
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит:
«В начале было Дело» — стих гласит.

Если ты хочешь жить со мною,
То чтоб без воя.
Что за возня?
Понял ты, пудель? Смотри у меня!
Кроме того, не лай, не балуй,
Очень ты, брат, беспокойный малый.
Одному из нас двоих
Придется убраться из стен моих.
Ну, так возьми на себя этот шаг.
Нечего делать. Вот дверь. Всех благ!
Но что я вижу! Вот так гниль!
Что это, сказка или быль?
Мой пудель напыжился, как пузырь,
И все разбухает ввысь и вширь.
Он может до потолка достать.
Нет, это не собачья стать!
Я нечисть ввел себе под свод!
Раскрыла пасть, как бегемот,
Огнем глазища налиты,—
Тварь из бесовской мелкоты.

---

[1] Гёте приписывает Фаусту намерение перевести на немецкий язык Новый завет (Евангелие) — то, что в действительности сделал Лютер.

Совет, как пакость обуздать,
«Ключ Соломона» [1] может дать.

Духи[2]

(в сенях)

Один из нас в ловушке,
Но внутрь за ним нельзя.
Наш долг помочь друг дружке,
За дверью лебезя.
Вертитесь втихомолку,
Чтоб нас пронюхал бес
И к нам в дверную щелку
На радостях пролез.
Узнав, что есть подмога
И он в родном кругу,
Он ринется к порогу,
Мы все пред ним в долгу.

Фауст

Чтоб зачураться от собаки,
Есть заговор четвероякий!

Саламандра, жгись,
Ундина, вейся,
Сильф, рассейся,
Кобольд, трудись! [3]
Кто слышит впервые
Про эти стихии,
Их свойства и строй,
Какой заклинатель?
Кропатель пустой!

Раздуй свое пламя,
Саламандра!
Разлейся ручьями,
Ундина!
Сильф, облаком взмой!
Инкуб, домовой,

---

[1] В средние века библейский царь Соломон считался могучим волшебником. *«Ключ Соломона»* — древнееврейская книга заклинаний.

[2] Эти духи — прислужники Мефистофеля, пытающиеся спасти его от магических заклинаний Фауста.

[3] Фауст заклинает здесь четыре стихии: огонь, воздух, воду и землю. Саламандра в этом заклинании олицетворяет стихию огня, так как по легенде, это пресмыкающееся не горит в огне; Сильф олицетворяет духов воздуха, Ундина — духов воды и Кобольд — духов земли.

В хозяйственном хламе,
Что нужно, отрой!

Из первоматерий
Нет в нем ни одной.
Не стало ни больно, ни боязно зверю.
Разлегся у двери, смеясь надо мной.
Заклятья есть строже,
Поганая рожа,
Постой!
Ты выходец бездны,
Приятель любезный?
Вот что без утайки открой.
Вот символ святой,
И в дрожь тебя кинет,
Так страшен он вашей всей шайке клятой!
Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит!
Глазами своими
Бесстыжими, враг,
Прочтешь ли ты имя,
Осилишь ли знак [1]
Несотворенного,
Неизреченного,
С неба сошедшего, в лето Пилатово
Нашего ради спасенья распятого?

За печку оттеснен,
Он вверх растет, как слон,
Готовый, словно дым,
По потолку расплыться.
Ложись к ногам моим
На эту половицу!
Я сделать все могу
Еще с тобой, несчастный!
Я троицей сожгу
Тебя триипостасной! [2]
На это сила есть,
Поверь, у чародея.

Мефистофель

(выходит, когда дым рассеивается, из-за печи в одежде странствующего студента)

Что вам угодно? Честь
Представиться имею.

---

[1] *Знак* — знак, изображающий начальные буквы имени Иисуса Христа.
[2] Разумеется троица христианской мифологии: бог-отец, бог-сын (Иисус) и бог-дух.

Фауст

Вот, значит, чем был пудель начинен!
Скрывала школяра в себе собака?

Мефистофель

Отвешу вам почтительный поклон.
Ну, вы меня запарили, однако!

Фауст

Как ты зовешься?

Мефистофель

Мелочный вопрос
В устах того, кто безразличен к слову,
Но к делу лишь относится всерьез
И смотрит в корень, в суть вещей, в основу.

Фауст

Однако специальный атрибут
У вас обычно явствует из кличек:
Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик,
Смотря как каждого из вас зовут:
Ты кто?

Мефистофель

Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.

Фауст

Нельзя ли это проще передать?

Мефистофель

Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады,
Творенье не годится никуда.
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда.

Фауст

Ты говоришь, ты — часть, а сам ты весь
Стоишь передо мною здесь?

Мефистофель

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомненьем смелым
Себя считает вместо части целым.
Я — части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот — порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел — поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Фауст

Так вот он в чем, твой труд почтенный!
Не сладив в целом со вселенной,
Ты ей вредишь по мелочам?

Мефистофель

И безуспешно, как я ни упрям.
Мир бытия — досадно малый штрих
Среди небытия пространств пустых.
Однако до сих пор он непреклонно
Мои нападки сносит без урона.
Я донимал его землетрясеньем,
Пожарами лесов и наводненьем,—
И хоть бы что! Я цели не достиг.
И море в целости и материк.
А люди, звери и порода птичья,
Мори их не мори, им трын-трава.
Плодятся вечно эти существа,
И жизнь всегда имеется в наличье.
Иной, ей-ей, рехнулся бы с тоски!
В земле, в воде, на воздухе свободном
Зародыши роятся и ростки
В сухом и влажном, теплом и холодном.
Не завладей я областью огня,
Местечка не нашлось бы для меня.

Фауст

Итак, живительным задаткам,
Производящим все кругом,
Объятый зависти припадком,
Грозишь ты злобно кулаком?
Что ж ты поинтересней дела
Себе, сын ночи, не припас?

Мефистофель

Об этом надо будет зрело
Подумать в следующий раз.
Теперь позвольте удалиться.

Фауст

Прощай, располагай собой.
Знакомый с тем, что ты за птица,
Прошу покорно в час любой.
Ступай. В твоем распоряженье
Окно, и дверь, и дымоход.

Мефистофель

Я в некотором затрудненье.
Мне выйти в сени не дает
Фигура под дверною рамой.

Фауст

Ты испугался пентаграммы? [1]
Каким же образом тогда
Вошел ты чрез порог сюда?
Как оплошал такой пройдоха?

Мефистофель

Всмотритесь. Этот знак начертан плохо.
Наружный угол вытянут в длину
И оставляет ход, загнувшись с края.

[1] *Пентаграмма* — магический знак в виде пятиугольной звезды, по углам которой размещены начальные буквы греческого имени Иисуса Христа. Пентаграмму изображали для того, чтобы спастись от проникновения в дом злых духов. Неправильно начертанная пентаграмма и дала будто бы возможность Мефистофелю проникнуть в дом Фауста.

Фауст

Скажи-ка ты, нечаянность какая!
Так, стало быть, ты у меня в плену?
Не мог предугадать такой удачи!

Мефистофель

Мог обознаться пудель на бегу,
Но с чертом дело обстоит иначе:
Я вижу знак и выйти не могу.

Фауст

Но почему не лезешь ты в окно?

Мефистофель

Чертям и призракам запрещено
Наружу выходить иной дорогой,
Чем внутрь вошли; закон на это строгий.

Фауст

Ах, так законы есть у вас в аду?
Вот надо будет что иметь в виду
На случай договора с вашей братьей.

Мефистофель

Любого обязательства принятье
Для нас закон со всеми наряду.
Мы не меняем данных обещаний.
Договорим при будущем свиданье,
На этот раз спешу я и уйду.

Фауст

Еще лишь миг, и я потом отстану:
Два слова только о моей судьбе.

Мефистофель

Я как-нибудь опять к тебе нагряну,
Тогда и предадимся ворожбе.
Теперь пусти меня!

Фауст

Но это странно!
Ведь я не расставлял тебе сетей,
Ты сам попался и опять, злодей,
Не дашься мне, ушедши из капкана.

Мефистофель

Согласен. Хорошо. Я остаюсь
И, в подтвержденье дружеского чувства,
Тем временем развлечь тебя берусь
И покажу тебе свое искусство.

Фауст

Показывай, что хочешь, но гляди —
Лишь скуки на меня не наведи.

Мефистофель

Ты больше извлечешь сейчас красот
За час короткий, чем за долгий год.
Незримых духов тонкое уменье
Захватит полностью все ощущенья,
Твой слух и нюх, а также вкус, и зренье,
И осязанье — все наперечет.
Готовиться не надо. Духи тут
И тотчас исполнение начнут.

Духи

Рухните, своды
Каменной кельи!
С полной свободой
Хлынь через щели,
Голубизна!
В тесные кучи
Сбились вы, тучи,
В ваши разрывы
Смотрит тоскливо
Звезд глубина.
Там в притяженье
Вечном друг к другу
Мчатся по кругу
Духи и тени,
Неба сыны.
Эта планета
В зелень одета.
Нивы и горы
Летом в уборы
Облечены.
Всё — в оболочке:
Первые почки,
Редкие ветки,

Гнезда, беседки
И шалаши.
Всюду секреты,
Слезы, обеты,
Взятье, отдача
Жаркой, горячей,
Страстной души.
С тою же силой,
Как из давила
Сок винограда
Пенною бурей
Хлещет в чаны,
Так с верхотурья
Горной стремнины
Мощь водопада
Всею громадой
Валит в лощину
На валуны.
Здесь на озерах
Зарослей шорох,
Лес величавый,
Ропот дубравы,
Рек рукава.
Кто поупрямей —
Вверх по обрыву,
Кто с лебедями —
Вплавь по заливу
На острова.
Раннею ранью
И до захода —
Песни, гулянье
И хороводы,
Небо, трава.
И поцелуи
Напропалую,
И упоенье
Самозабвенья,
И синева.

Мефистофель

Он спит! Благодарю вас несказанно,
Его вы усыпили, мальчуганы,
А ваш концерт — вершина мастерства.
Нет, не тебе ловить чертей в тенета!
Чтоб глубже погрузить его в дремоту,
Дружней водите, дети, хоровод.
А этот знак — для грызуна работа,

Его мне крыса сбоку надгрызет.
Ждать избавительницы не придется:
Уж слышу я, как под полом скребется.
Царь крыс, лягушек, и мышей,
Клопов, и мух, и жаб, и вшей [1]
Тебе велит сюда явиться
И выгрызть место в половице,
Куда я сверху масла капну.
Уж крыса тут как тут виезапио!
Ну, живо! Этот вот рубец.
Еще немиого, и коиец.
Готово! Покидаю кров.
Спи, Фауст, мирио. Будь здоров!

(Уходит.)

Фауст

(просыпаясь)

Не вовремя я сиом забылся.
Я в дураках. Пока я спал,
Мие в сновидеиье черт явился
И пудель от меия сбежал.

РАБОЧАЯ КОМНАТА ФАУСТА [2]

Фауст и Мефистофель.

Фауст

Опять стучится кто-то. Вот досада!
Войдите. Кто там?

Мефистофель

Это я.

Фауст

Войди ж.

Мефистофель

Заклятье повторить три раза иадо.

---

[1] По иародному поверью, черти являются повелителями животиой иечисти: паразитов, грызуиов, лягушек и т. п.

[2] Мефистофель увлекает Фауста из ученого кабинета в открытый мир, чтобы подвергиуть чувствеииым искушеииям и развратить.

Фауст

Войди.

Мефнстофель

Вот ты меня н лицезришь.
Я убежден, поладнть мы сумеем
И сообща твою тоску рассеем.
Смотри, как расфрантнлся я пестро.
Из кармазнна с золотою нниткой
Камзол в обтяжку, на плечах накидка,
На шляпе петушнное перо,
А сбоку шпага с выгнутым эфесом.
И — хочешь знать? — вот мненне мое:
Сам облекись в такое же шнтье,
Чтобы в одежде, свойственной повесам,
Изведать после долгого поста,
Что означает жнзнн полнота.

Фауст

В любом наряде буду я по праву
Тоску существованья сознавать.
Я слншком стар, чтоб знать одни забавы,
И слншком юн, чтоб вовсе не желать.
Что даст мне свет, чего я сам не знаю?
«Смиряй себя!» — вот мудрость пропнсная,
Извечный, нескончаемый прнпев,
Которым с детства прожужжали ушн,
Нравоучнтельною этой сушью
Нам всем до тошноты осточертев.
Я утром просыпаюсь с содроганьем
И чуть не плачу, зная наперед,
Что день пройдет, глухой к монм желаньям,
И в нсполненье их ие прнведет.
Намек на чувство, еслн он заметен,
Недопустим н дерзок чересчур:
Злословье все покроет грязью сплетен
И тысячью своих карнкатур.
И ночь меня в покое не оставнт,
Едва я на постелн растянусь,
Меня кошмар иочным удушьем сдавит,
И я в поту от ужаса проснусь.
Бог, обнтающнй в грудн моей,
Влняет только на мое сознанье.
На внешннй мир, на общнй ход вещей
Не простнрается его влняиье.
Мне тяжко от неполноты такой,
Я жизнь отверг и смерти жду с тоской.

Мефистофель

Смерть — посетнтель ие ахти какой.

Фауст

Блажеи, к кому оиа в пылу сраженья,
Увеичаиная лаврами, придет,
Кого сразит средь вихря развлечеиий
Или в объятьях девушки иайдет.
При виде духа коичить с жизиью счеты
Я был вчера на радостях ие прочь.

Мефистофель

Но, еслн я ие ошибаюсь, кто-то
Не выпил яда имеиио в ту ночь?

Фауст

В прндачу ко всему ты н шпион?

Мефистофель

Я ие всеведущ, я лишь нскушен.

Фауст

О, если мне в тот миг разлада
Был дорог благовеста гул
И с детства памятиой отрадой
Мою решимость пошатиул,
Я проклииаю ложь без меры
И изворотливость без дна,
С какою в тело, как в пещеру,
У иас душа заключеиа.
Я проклииаю самомиеиье,
Которым ум иаш обуяи,
И проклннаю мир явлений,
Обмаичивых, как слой румян.
И обольщеиье семьяиииа,
Детей, хозяйство н жеиу,
И иашн сиы, иаполовииу
Неисполиимые, кляиу.
Кляну Маммоиа, власть наживы,
Растлившей в мире все кругом,

Кляну святой любви порывы
И опьяненне вином.
Я шлю проклятне надежде,
Переполняющей сердца,
Но более всего и прежде
Кляну терпенне глупца.

Хор духов[1]
(незримо)

О, бездна страданья
И море тоски!
Чудесное зданье
Разбито в куски.
Ты градом проклятий
Его расшатал.
Горюй об утрате
Погибших начал.
Но справься с печалью,
Воспрянь, полубог!
Построй на обвале
Свой новый чертог.
Но не у пролома,
А глубже, в груди,
Свой дом по-другому
Теперь возведи.
Настойчивей к цели
Насущной шагни
И песни веселья
В пути затяни.

Мефистофель

Мои малютки.
Их прибаутки.
Разумное их слово
Не по летам толково.
Они тебя зовут
Рвануться вон из пут
И мрака кабинета
В простор большого света.
Оставь заигрывать с тоской своей,
Точащею тебя, как коршун злобный.

---

[1] Духи призывают Фауста, разбившего мир своих мечтаний и надежд, построить в своем сердце новый, лучший мир.

Как нн плоха среда, но все подобны,
И человек немыслим без людей.
Я не зову тебя к простолюднnам,
Мы повндней компанню найдем.
Хоть средь чертей я сам не вышел чнном,
Найдешь ты пользу в обществе моем.
Давай столкуемся друг с другом,
Чтоб вместе жнзнн путь пройтн.
Благодаря моим услугам
Не будешь ты скучать в путн.

Фауст

А что ты требуешь в уплату?

Мефнстофель

Сочтемся после, время ждет.

Фауст

Черт даром для меньшого брата
И пальцем не пошевельнет.
Договоримся, чтоб потом
Не заноснть раздора в дом.

Мефнстофель

Тебе со мною будет здесь удобно,
Я буду нсполнять любую блажь.
За это в жнзни тамошней, загробной
Ты тем же прн свнданье мне воздашь.

Фауст

Но я к загробной жнзнн равнодушен.
В тот час, как будет этот свет разрушен,
С тем светом я не заведу родства.
Я сын земли. Отрады н кручнны
Испытываю я на ней единой.
В тот горькнй час, как я ее покнну,
Мне все равно, хоть не расти трава.
И до нного света мне нет дела,
Как тамошнне б чувства нн звалнсь,
Не любопытно, где его пределы,
И есть лн там, в том царстве, верх н ннз.

Мефистофель

Тем легче будет, при таком воззренье,
Тебе войти со мною в соглашенье.
За это, положись на мой обет,
Я дам тебе, чего не видел свет.

Фауст

Что можешь ты пообещать, бедняга?
Вам, близоруким, непонятна суть
Стремлений к ускользающему благу.
Ты пищу дашь, не сытную ничуть.
Дашь золото, которое, как ртуть,
Меж пальцев растекается; зазнобу,
Которая, упав к тебе на грудь,
Уж норовит к другому ушмыгнуть.
Дашь талью карт, с которой, как ни пробуй,
Игра вничью и выигрыш не в счет;
Дашь упоенье славой, дашь почет,
Успех, недолговечней метеора,
И дерево такой породы спорой,
Что круглый год день вянет, день цветет.

Мефистофель

Меня в тупик не ставит порученье.
Все это есть в моем распоряженье.
Но мы добудем, дай мне только срок,
Вернее и полакомей кусок.

Фауст

Пусть мига больше я не протяну,
В тот самый час, когда в успокоенье
Прислушаюсь я к лести восхвалений,
Или предамся лени или сну,
Или себя дурачить страсти дам,—
Пускай тогда в разгаре наслаждений
Мне смерть придет!

Мефистофель

Запомним!

Фауст

По рукам!
Едва я миг отдельный возвеличу,

Вскрнчав: «Мгновенне, повремени!» —
Все кончено, н я твоя добыча,
И мне спасенья нет нз западнн.
Тогда вступает в снлу наша сделка,
Тогда ты волен,— я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.

Мефнстофель

Имей в внду, я это все запомню.

Фауст

Не бойся, я от слов не отступлюсь.
И отчего бы стал я вероломней?
Ведь еслн в росте я остановлюсь,
Чьей жертвою я стану, все равно мне.

Мефнстофель

Я нынче ж на ученом кутеже
Твое доверье службой завоюю,
Ты ж мне черкнн распнску долговую,
Чтоб мне не сомневаться в платеже.

Фауст

Тебе, педанту, значнт, нужен чек
И веры не внушает человек?
Но если клятвы для тебя неважны,
Как можешь думать ты, что клок бумажный,
Пустого обязательства клочок,
Удержнт жнзнн бешеный поток?
Наоборот, средь этой быстрнны
Еще лншь чувство долга только свято.
Сознание того, что мы должны,
Толкает нас на жертвы н затраты.
Что значнт перед этнм власть черннл?
Меня смешнт, что слову нет креднта,
А пнсьменностн прнзрак непрнкрытый
Всех тнранней буквы подчнннл.
Что ж ты в нтоге хочешь? Рассудн,
Пером, резцом нль грнфелем, какнмн
Чертамн, где мне нацарапать нмя?
На камне? На бумаге? На медн?

Мефистофель

Зачем ты горячишься? Не дури.
Листка довольно. Вот он наготове.
Изволь тут расписаться каплей крови.

Фауст

Вот вздор! Но будь по-твоему: бери.
Какие-то ходульные условья!

Мефистофель

Кровь, надо знать, совсем особый сок.

Фауст

Увы, тебя я не надую.
Я — твой, тебе принадлежу,
Раз обещаю к платежу
Себя и жизнь свою пустую,
Которой я не дорожу.
Чем только я кичиться мог?
Великий дух миропорядка
Пришел и мною пренебрег.
Природа для меня загадка.
Я на познанье ставлю крест.
Чуть вспомню книги — злоба ест.
Отныне с головой нырну
В страстей клокочущих горнило,
Со всей безудержностью пыла
В пучину их, на глубину!
В горячку времени стремглав!
В разгар случайностей с разбегу!
В живую боль, в живую негу,
В вихрь огорчений и забав!
Пусть чередуются весь век
Счастливый рок и рок несчастный.
В неутомимости всечасной
Себя находит человек.

Мефистофель

Со всех приманок снят запрет.
Но, жаждой радостей терзаем,
Срывая удовольствий цвет,
Не будь застенчивым кисляем,
Рви их смелее,— мой совет.

Фауст

Нет, право, ты неподражаем:
О радостях и речи нет.
Скорей о буре, урагане,
Угаре страсти разговор.
С тех пор как я остыл к познанью,
Я людям руки распростер.
Я грудь печалям их открою
И радостям — всему, всему,
И все их бремя роковое,
Все беды на себя возьму.

Мефистофель

В теченье многих тысяч лет
Жую я бытия галет,
Но без изжоги и отрыжки
Нельзя переварить коврижки.
Вселенная во весь объем
Доступна только провиденью.
У бога светозарный дом,
Мы в беспросветной тьме живем,
Вам, людям, дал он во владенье
Чередованье ночи с днем.

Фауст

А я осилю все.

Мефистофель

Похвально.
Но жизнь, к несчастью, коротка,
А путь до совершенства дальний,
Нужна помощника рука.
Возьми поэта на подмогу.
Пусть щедро он тебе привьет
Все доблести по каталогу:
Бесстрашье льва, оленя ход,
Страсть итальянца, твердость шведа,
Его рецепту ты последуй,
Как претворить в одну черту
Двуличие и прямоту.
Затем со страстью первозданной
Пусть влюбит он тебя по плану.
Все мыслимое охвати,
Стань микрокосмом во плоти.

Фауст

Что я такое, если я венца
Усилий человеческих не стою,
К которому стремятся все сердца?

Мефистофель

Ты — то, что представляешь ты собою.
Надень парик с мильоном завитков,
Повысь каблук на несколько вершков,
Ты — это только ты, не что иное.

Фауст

Итак, напрасно я копил дары
Людской премудрости с таким упорством?
Я ничего своим усердьем черствым
Добиться не сумел до сей поры.
Ни нá волос не стал я боле крупен,
Мир бесконечности мне недоступен.

Мефистофель

Ты в близорукости неодинок,
Так смотрите вы все на это дело.
А нужен взгляд решительный и смелый,
Пока в вас тлеет жизни огонек.
Большой ли пользы истиной достигнешь,
Что, скажем, выше лба не перепрыгнешь?
Да, каждый получил свою башку,
Свой зад, и руки, и бока, и ноги.
Но разве не мое, скажи, в итоге,
Все, из чего я пользу извлеку?
Купил я, скажем, резвых шестерню.
Не я ли мчу ногами всей шестерки,
Когда я их в карете разгоню?
Поэтому довольно гнить в каморке!
Объедем мир! Я вдаль тебя маню!
Брось умствовать! Схоластика повадки
Напоминают ошалевший скот,
Который мечется кругом в припадке,
А под ногами сочный луг цветет.

Фауст

Куда ж махнем?

Мефистофель

Куда глаза глядят.
Скорей оставим этот каземат.
Дался тебе твой каменный застенок,
Где отдаешь ты силы за бесценок
И моришь скукой взрослых и ребят!
Довольно! Лучше предоставь собрату
Водотолченье в ступе. Решено.
Того, что лучше всякого трактата,
Ребятам ты не скажешь все равно.
Студента, кстати, вижу я в окно.

Фауст

Сейчас я занят. Он пришел не в пору.

Мефистофель

Я заменю тебя. Он ждет давно.
Я в дом пущу его из коридора.
Дай шапку мне свою и балахон.

(Переодевается.)

Я, кажется, хорош в твоем костюме?
Теперь все предоставим остроумью.
Ты на минут пятнадцать выйди вон
И позаботься о дорожных сборах.

Фауст уходит.

Мефистофель

(один, в длинной одежде Фауста)

Мощь человека, разум презирай,
Который более тебе не дорог!
Дай ослепленью лжи зайти за край,
И ты в моих руках без отговорок!
Нрав дан ему отчаянный и страстный.
Во всем он любит бешенство, размах.
От радостей земли он ежечасно
Срывается куда-то впопыхах.
Я жизнь изведать дам ему в избытке,
И в грязь втопчу, и тиной оплету.
Он у меня пройдет всю жуть, все пытки,
Всю грязь ничтожества, всю пустоту!

Он будет пить — и вдоволь не напьется,
Он будет есть, — и он не станет сыт,
И если бы он не был черту сбыт,
Он все равно пропал и не спасется.

Входит **студент.**

Студент

Я здесь с недавних пор и рад
На человека бросить взгляд,
Снискавшего у всех признанье
И кем гордятся горожане.

Мефистофель

Душевно тронут и польщен.
Таких, как я, здесь легион.
Вы осмотрелись тут отчасти?

Студент

Прошу принять во мне участье.
Для знанья не щадя души,
Я к вам приехал из глуши.
Меня упрашивала мать
Так далеко не уезжать,
Но я мечтал о вашей школе.

Мефистофель

Да, здесь вы разовьетесь вволю.

Студент

Скажу со всею прямотой:
Мне хочется уже домой.
От здешних тесных помещений
На мысль находит помраченье.
Кругом ни травки, ни куста,
Лишь сумрак, шум и духота.
От грохота аудиторий
Я глохну и с собой в раздоре.

Мефистофель

Тут только в непривычке суть.
У матери не сразу грудь
Берет глупыш новорожденный,
А после не отнять от лона.

Так все сильней когда-нибудь
Вы будете к наукам льнуть.

Студент

Но если с первого же шага
Во мне отбили эту тягу?

Мефистофель

Наметили вы или нет
Призванье и факультет?

Студент

Я б стать хотел большим ученым
И овладеть всем потаенным,
Что есть на небе и земле.
Естествознаньем в том числе.

Мефистофель

Что ж, правильное направленье.
Все дело будет в вашем рвенье.

Студент

Я рад и телом и душой
Весь год работать напряженно.
Но разве будет грех большой
Гулять порой вакационной?

Мефистофель

Употребляйте с пользой время.
Учиться надо по системе.
Сперва хочу вам в долг вменить
На курсы логики ходить.
Ваш ум, нетронутый доныне,
На них приучат к дисциплине,
Чтоб взял он направленья ось,
Не разбредаясь вкривь и вкось.
Что вы привыкли делать дома
Единым махом, наугад,
Как люди пьют или едят,
Вам расчленят на три приема
И на субъект и предикат.
В мозгах, как на мануфактуре,
Есть ниточки и узелки.
Посылка не по той фигуре
Грозит запутать челноки.

За тьму оставшихся вопросов
Возьмется вслед за тем философ
И объяснит, непогрешим,
Как подобает докам тертым,
Что было первым и вторым
И стало третьим и четвертым.
Но, даже генезис узнав
Таинственного мирозданья
И вещества живой состав,
Живой не создадите ткани.
Во всем подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать.
«Encheiresin naturae»[1] — вот
Как это химия зовет.

Студент

Не понял вас ни в малой доле.

Мефистофель

Поймете волею-неволей.
Для этого придется впредь
В редукции[2] понатореть,
Классифицируя поболе.

Студент

Час от часу не легче мне,
И словно голова в огне.

Мефистофель

Еще всем этим не пресытясь,
За метафизику[3] возьмитесь.

---

[1] Повадка природы, ее способ действия *(лат.)*.
[2] *Редукция* — термин логики, означающий сведение понятий к основным видам.
[3] *Метафизикой* в то время называли часть философии, которая рассматривала вопросы, не поддающиеся изучению посредством опыта (о боге, душе и пр.). Гёте отвергал всякие не основанные на опыте и потому антинаучные измышления и вложил в уста Мефистофеля пренебрежительную оценку метафизики.

Придайте глубины печать
Тому, чего иельзя понять.
Красивые обозначенья
Вас выведут из затрудненья.
Но более всего режим
Налаженный необходим.
Отсидкою часов учебных
Добьетесь отзывов хвалебных.
Хорошему ученику
Нельзя опаздывать к звонку.
Заучивайте на дому
Текст лекции по руководству.
Учитель, сохраняя сходство,
Весь курс читает по нему.
И все же с жадной быстротой
Записывайте мыслей звенья.
Как будто эти откровенья
Продиктовал вам дух святой.

Студент

Я это знаю и весьма
Ценю значение письма.
Изображенное в тетради
У вас, как в каменной ограде.

Мефистофель

Какой же факультет избрать?

Студент

Законоведом мне не стать.

Мефистофель

Вот поприще всех бесполезней.
Тут крючкотворам лишь лафа.
Седого кодекса графа,
Как груз иаследственной болезни.
Иной закон из рода в род
От деда переходит к внуку.
Он благом был, но в свой черед
Стал из благодеянья мукой.
Вся суть в естественных правах.
А их и втаптывают в прах.

Студент

Да, мне юристом не бывать.
Я отношусь к ним с нелюбовью.
Отдамся лучше богословью.

Мефистофель

О нет, собьетесь со стези!
Наука эта — лес дремучий.
Не видно ничего вблизи.
Исход единственный и лучший:
Профессору смотрите в рот
И повторяйте, что он врет.
Спасительная голословность
Избавит вас от всех невзгод,
Поможет обойти неровность
И в храм бесспорности введет.
Держитесь слов.

Студент

Да, но словам
Ведь соответствуют понятья.

Мефистофель

Зачем в них углубляться вам?
Совсем ненужное занятье.
Бессодержательную речь
Всегда легко в слова облечь.
Из голых слов, ярясь и споря,
Возводят здания теорий.
Словами вера лишь жива.
Как можно отрицать слова?

Студент

Простите, я вас отвлеку,
Но я расспросы дальше двину:
Не скажете ли новичку,
Как мне смотреть на медицину?
Три года обученья — срок,
По совести, конечно, плевый.
Я б многого достигнуть мог,
Имей я твердую основу.

Мефистофель
(про себя)

Я выдохся как педагог
И превращаюсь в черта снова.

(Вслух.)

Смысл медицины очень прост.
Вот общая ее идея:
Все в мире изучив до звезд,
Все за борт выбросьте позднее.
Зачем трудить мозги напрасно?
Валяйте лучше напрямик.
Кто улучит удобный миг,
Тот и устроится прекрасно.
Вы стройны и во всей красе,
Ваш вид надменен, взгляд рассеян.
В того невольно верят все,
Кто больше всех самонадеян.
Ступайте к дамам в будуар.
Они — податливый товар.
Их обмороки, ахи, охи,
Одышки и переполохи
Лечить возьмитесь не за страх —
И все они у вас в руках.
Вы так почтенны в их оценке.
Хозяйничайте ж без стыда,
Так наклоняясь к пациентке,
Как жаждет кто-нибудь года.
Исследуя очаг недуга,
Рукой проверьте, сердцеед,
Не слишком ли затянут туго
На страждущей ее корсет.

Студент

Вот эта область неплоха.
Теперь гораздо ближе мне вы.

Мефистофель

Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.

Студент

От вас я просто как в чаду.
Я вновь когда-нибудь приду
Послушать ваши рассужденья.

Мефистофель

Вы сделали б мне одолженье.

Студент

Ужель ни с чем идти домой?
В воспоминанье о приеме
Оставьте росчерк ваш в альбоме.

Мефистофель

Не откажусь. Вот вам автограф мой.

(Делает надпись в альбоме и возвращает его студенту.)

Студент
(читает)

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum [1].

(Почтительно закрывает альбом и откланивается.)

Мефистофель

Змеи, моей прабабки, следуй изреченью,
Подобье божие утратив в заключенье!

Входит Фауст.

Фауст

Куда же мы теперь?

Мефистофель

В любой поход.
В большой и малый свет.[2] И ты не хмурься!

С каким восторгом после всех экскурсий
Ты сдашь по этим странствиям зачет!

---

[1] «Будете, как бог, знать добро и зло» *(лат.)*. По библейской легенде, этими словами змий-искуситель соблазнил в раю Еву, предлагая ей отведать плодов с «древа познания».

[2] Под «малым светом» Мефистофель подразумевает узкий мир средневекового городка, в котором происходит действие первой части «Фауста», «Большой свет» — государственная и общественная деятельность Фауста, показанная во второй части.

Фауст

Однако, видишь, я длиннобород.
Едва ли пользу принесет поездка.
Мне стыдно малости своей средь блеска
И легкомыслия недостает.
Я в жизни не умел усвоить лоска
И в обществе застенчивей подростка.

Мефистофель

Потрешься меж людьми и, убежден,
Усвоишь независимость и тон.

Фауст

Но как мы пустимся в поездку эту?
Где лошади, где кучер, где карета?

Мефистофель

Я расстелю пошире пелерину
И предоставлю моему плащу
По воздуху унесть нас на чужбину.
С большим узлом тебя я не пущу.
Я вещество такое берегу,
Чтоб к небу подняло нас, как пушинку.
Поздравить с жизнью тебя могу,
Которая тебе еще в новинку.

САД [1]

Маргарита под руку с Фаустом и Марта с Мефистофелем прогуливаются по саду.

Маргарита

Ах, это только ваша доброта,
Что вы так снисходительно нестроги.
Меняя в путешествии места,
Любезны вы со встречными в дороге.
Моя незанимательная речь
Не может вас ни капельки увлечь.

---

[1] В опущенных сценах рассказано о том, как Фауст возвращает себе молодость и встречает Маргариту.

Фауст

Один лишь взгляд, одни лишь голос твой
Дороже мне всей мудрости земной.

(Целует ей руку.)

Маргарита

Да что вы, право, руки целовать!
Ведь кожа у меня так огрубела.
Тружусь, минуты не сижу без дела.
И требует порядка в доме мать.

Проходят дальше.

Марта

Так вы в разъездах, стало быть, всегда?

Мефистофель

Проклятое занятие такое.
Стрелою мчишься через города
И ни в одном нельзя пожить в покое.

Марта

По молодости все нам нипочем,
Свищи в кулак да по дорогам рыскай,
Когда ж к концу подступит дело близко,
Не сладко доживать холостяком.

Мефистофель

Представишь это, сердце жить не радо.

Марта

Об этом вовремя подумать надо.

Проходят дальше.

Маргарита

Да, с глаз долой, из сердца вон небось?
Вы вежливы, вот все и объясненье.
У вас друзей ученых тьма, хоть брось.
Я с ними не могу идти в сравненье.

Фауст

Поверь, мой ангел, то, что мы зовем
Ученостью, подчас одно тщеславье.

Маргарита

Ужель?

Фауст

О, как в неведенье своем
Невинность блещет, как алмаз в оправе,
Не помышляя о своей цене,
Своих достоинств ни во что не ставя!

Маргарита

Хоть миг вниманья подарите мне,
И я всегда вас помнить буду вправе.

Фауст

И ты все дома?

Маргарита

Больше все одна.
Хотя у нас хозяйство небольшое,
Сноровка в доме все равно нужна:
Мы без служанки, я стираю, мою,
Готовлю, подметаю, шью, все — я.
Возни и спешки, только б с ног не сбиться.
И матушка строга: насчет шитья
Она сама большая мастерица!
Не то чтоб находились мы в нужде,
Скорее мы с достатком горожане.
Отец семье оставил состоянье,
И сад, и домик малый в слободе.
Теперь я не тружусь чуть свет спросонку,
Как год назад:
В солдатах брат
И умерла сестренка,
А то я отдавала все ребенку,
Но рада б муки все вернуть назад
За милый детский взгляд.

Фауст

Взгляд, вероятно, херувима,
Единственно с твоим сравнимый.

Маргарита

Сестра на свет явилась в страшный год
Отцовой смерти. Я была ей няней.
Мать поручила мне за ней уход,
Сама ж тогда лежала без сознанья,
Мы думали, что и она умрет.
Кормить дитя в теченье этих дней
Тогда нельзя и думать было ей.
Я молоком с водой сестру вскормила.
И на моих руках, всегда со мной
Она росла, смеялась и шалила.

Фауст

И это было радостью живой?

Маргарита

Но временами я теряла силы,
Стояла ночью рядом колыбель.
Проснусь, чуть двинется она, бывало,
Сестре дам молока, возьму в постель,
А если этого крикунье мало,
Пойду качать, закутав в одеяло,
И ноги оттопчу до хромоты,
А поутру на рынке, у плиты
Или за постирушкой у корыта
Почувствуешь себя такой разбитой!
Зато как сладок съеденный кусок,
Как дорог отдых и как сон глубок!

Проходят дальше.

Марта

Неисправимые холостяки!
Как обратить вас в истинную веру?

Мефистофель

К такой учительнице, для примера,
Охотно б я пошел в ученики.

Марта

Тогда нельзя ль вам в душу заглянуть?
У вас есть на примете кто-нибудь?

Мефистофель

Своя жена да угол, говорят,
Дороже царств и каменных палат.

Марта

Я говорю о склонности взаимной.

Мефистофель

Все встречные в пути гостеприимны.

Марта

Нет, вы не поняли. Я знать хочу,
Серьезных чувств вы в прошлом не таите?

Мефистофель

Я в жизни с женщинами не шучу.

Марта

Ах нет, меня понять вы не хотите!

Мефистофель

Я, каюсь, глуп. Однако в меру сил
Любвеобильность вашу оценил.

Проходят дальше.

Фауст

О радость ты моя! Так ты сейчас
Меня узнала с первого же взгляда?

Маргарита

Конечно. И потупилась, смутясь.

Фауст

Прости же, что тебя я подстерег
В то утро за церковною оградой.
Не ставь мне этой вольности в упрек.

Маргарита

Мне это непривычно, и сперва
Я было растерялась от смущенья.
Ведь на меня до этого молва
Еще ни разу не бросала тени.
Мое ли, думала я, поведенье
Внушило вам столь вольные слова?
Наверно, я нарушила приличье,
Что представляюсь легкою добычей!
Признаться, я предвидеть не могла,
Что я сама возьму вас под защиту,
И на себя была за то сердита,
Что строже вас в душе не распекла.

Фауст

О милая!

Маргарита

А ну...

(Срывает ромашку и обрывает один за другим лепестки.)

Фауст

Ты что, букет
Или венок плетешь?

Маргарита

Нет, так, пустое.

Фауст

Нет, что же ты?

Маргарита

Не смейтесь надо мною!

(Шепчет.)

Фауст

Что шепчешь ты?

Маргарита

(вполголоса)

Не любит. Любит. Нет.

Фауст

О прелесть ты моя!

Маргарита

(продолжает)

Не любит. Любит!
Не любит.

(Обрывая последний лепесток, громко и радостно.)

Любит!

Фауст

Любит! Да, мой свет!
Гаданье этот узел пусть разрубит!
Он любит, любит, вот цветка ответ.
Вмести, постигни это торжество!

Маргарита

Я вся дрожу.

Фауст

Не бойся ничего!
Пусть этот взгляд
И рук пожатье скажут
О необъятном том,
Пред чем слова — ничто,
О радости, которая нам свяжет
Сердца.
Да, да, навеки без конца!
Конец — необъяснимое понятье.

Печать отчаянья, проклятья
И гнев творца.

Маргарита сжимает ему руки, вырывается и убегает.
Фауст не сразу приходит в себя и, овладев собою, идет за нею.

Марта

(приближаясь из глубины)

Смеркается.

Мефистофель

И нам домой пора.

Марта

Я вас не отпустила бы так скоро
Со своего двора,
Но городок наш страшная дыра,
Начнутся разговоры.
Здесь у людей другого дела нет,
Как наблюдать через заборы,
Куда и с кем пошел сосед.
А наша пара?

Мефистофель

Он юркнул в тьму
За нею вслед.

Марта

Он благосклонен к ней.

Мефистофель

Она — к нему.
Так создан свет.

КОМНАТА ГРЕТХЕН

Гретхен

(одна за прялкой)

Что сталось со мною?
Я словно в чаду.
Минуты покоя
Себе не найду.

Чуть он отлучится,
Забьюсь, как в петле,
И я не жилица
На этой земле.

В догадках угрюмых
Брожу, чуть жива,
Сумятица в думах,
В огне голова.

Что сталось со мною?
Я словно в чаду.
Минуты покоя
Себе не найду.

Гляжу, цепенея,
Часами в окно.
Заботой моею
Все заслонено.

И вижу я живо
Походку его,
И стан горделивый,
И глаз колдовство.

И, слух мой чаруя,
Течет его речь,
И жар поцелуя
Грозит меня сжечь.

Что сталось со мною?
Я словно в чаду.
Минуты покоя
Себе не найду.

Где духу набраться,
Чтоб страх победить,
Рвануться, прижаться,
Руками обвить?

Я б все позабыла
С ним наедине,
Хотя б это было
Погибелью мне.

НОЧЬ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ГРЕТХЕН[1]

Валентин, солдат, брат Гретхен.

Валентин

Зайду, бывало, пить в подвал
И слышу, как иной бахвал
Расписывает наобум
Свою властительницу дум.
И девушки на свете нет
Красивей, чем его предмет.
Я тихо сяду, как вошел,
И локти положу на стол,
И бороды курчавлю край,
Пока болтает краснобай.
Потом стакан свой подыму
И говорю в ответ ему:
«Кому какая по нутру,—
Я выпью за свою сестру.
Какую девушку в стране
Поставишь с Гретхен наравне?»
И прекращается вранье,
Все чокаются за нее,
Смолкают разом хвастуны
И видят, что посрамлены.
Теперь все по-другому здесь,
Хоть на стену от злобы лезь!
Терпеть, чтоб каждое дрянцо
Могло бросать тебе в лицо
Намеки, колкости, кивки,
Двусмысленности и смешки!
А чем мерзавцев этих мне
На месте припереть к стене,
Когда их сплетни не навет
И в их словах обмана нет?
Что за канальи там вдвоем
Подкрадываются тайком?
Поди, любезник сестрин тут?
Они живыми не уйдут.

Входят Фауст и Мефистофель.

---

[1] Мефистофель убивает брата Маргариты. Валентин — один из наиболее совершенных в художественном отношении образов трагедии. Характерно, что этот бравый солдат-ландскнехт (т. е. наемный воин) взволнован «грехопадением» Маргариты более всего потому, что теперь он будет лишен возможности в дружеской компании похваляться непорочностью своей сестры.

Фауст

Дрожа от веянья прохлады
И озаряя сумрак плит,
Неугасимая лампада
В соборной ризнице горит.
Такой же мрак во мне точь-в-точь,
Как эта полутьма и ночь.

Мефистофель

А у меня позыв другой,
Какой-то зуд страстей угарных,
Как по ночам весенним вой
Котов на лестницах пожарных.
Ведь я бродяга и шатун
И славу о себе упрочу
Опять Вальпургиевой ночью,
А завтра ведь ее канун.
Тогда по праву кутерьма
И сходит целый свет с ума.

Фауст

А выйдет ли из-под земли
Тот клад, светящийся вдали?

Мефистофель

Уж у поверхности покрышка,
Нам не придется долго рыть.
Набита золотом кубышка.

Фауст

Мозги б ты лучше понатужил
И раздобыл жемчужин нить,
Чтоб милой Гретхен подарить.

Мефистофель

Я там и жемчуг обнаружил.

Фауст

Прекрасно. К девушке под кров
Ходить мне больно без даров.

Мефистофель

Напрасно! Выгоду свою
Преследуй в жизни безвозмездно.
Сейчас я Гретхен песнь спою
Под кровом этой ночи звездной.
Чтоб девушка попалась в сеть,
О нравственности буду петь.

(Поет под гитару.)

Смиряя дрожь,
Зачем под нож,
Катринхен, к милому идешь
И гибели не видишь?
Пусть он хорош,
Пусть он пригож,—
Ты девушкой к нему войдешь,
Но девушкой не выйдешь.

Он для проказ,
Не обручась,
Возьмет что надобно от вас,
И — с богом, до свиданья!
А нужен глаз,
На все отказ,
Чтоб честь осталась про запас
До самого венчанья.

Валентин
(выступая вперед)

Кого ты пеньем манишь, крысолов? [1]
Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый!
Сперва гитару на двадцать кусков,
А после сокрушу и гитариста!

Мефистофель

Сломал гитару вдребезги мою.

Валентин

Я вам обоим череп раскрою.

---

[1] Намек на легендарного крысолова из Гаммельна (Германия), который, играя на дудочке, сманил вместо крыс детей.

Мефистофель

(Фаусту)

Смелее, доктор! Шпагу вон! Вперед!
Тесни его. Прижмись ко мне вплотную.
Коли смелей, он целым не уйдет!
Не отступай! Я хорошо фехтую.

Валентин

Так отражай!

Мефистофель

Ну что ж, и отразим.

Валентин

А если так ударю?

Мефистофель

Эка штука!

Валентин

Я бьюсь как будто с дьяволом самим,
И вот уже он перешиб мне руку!

Мефистофель

(Фаусту)

Коли!

Валентин

(падая)

Пропал!

Мефистофель

Несчастному капут.
Теперь, пока не поздно, надо скрыться.
Сейчас людей на помощь позовут.
С полицией не трудно сговориться,
Другое дело уголовный суд.

Уходят.

Марта

(у окна)

Наружу все!

Гретхен

(у окна)

Огня! Огня!

Марта

Эй, караул! Разбой, резня!

Народ

Вон труп, взгляни сюда!

Марта

(выходя)

Лови убийц! Держи и бей!

Гретхен

(выходя)

Кто здесь?

Народ

Сын матери твоей.

Гретхен

О боже, вот беда!

Валентин

Я умираю,— сказ простой,—
И не увижу дня.
Не войте, бабы, надо мной,
Послушайте меня.

Все обступают его.

Еще ты, Гретхен, молода,
И где тебе понять, куда
Ведет твой глупый нрав.
Но, шлюхой ставши невзначай,
По правилам теперь гуляй,
На все есть свой устав.

Гретхен

Брат! Господи! Не убивай!

Валентин

Ты к богу всуе не взывай,
Что свершено, то свершено,
Что будет, будет все равно.
Теперь ты начала с одним,
А после перейдешь к другим,
Когда ж до дюжины дойдет,
Столпится город у ворот.

Когда на свет родится стыд,
Еще он от народа скрыт,
Его таят во тьме ночей,
Надвинув шапку до ушей.
Его не видно, и тогда
Его прикончить не беда.
Но не по дням, а по часам
Растет и выпирает срам,
И чем чудовищнее грех,
Тем больше на виду у всех.

Я твердо знаю: дни придут,
Когда тебя весь честный люд,
И стар и мал, исчадье тьмы,
Чураться будут, как чумы.
Ты будешь направлять стопы
В обход, подальше от толпы.
Тебе не даст проступок твой
Блистать в цепочке золотой
И в кружевном воротнике
Отплясывать на пикнике.
Ты будешь находить ночлег
Средь оборванцев и калек.
И если милостивый бог
Простит по смерти твой порок,
Ты смыть не сможешь на земле
Клейма проклятья на челе.

Марта

Вам каяться теперь под стать,
А не проклятья изрыгать.

Валентин

Ах, сводня, жалко, мочи нет,
Сломал бы я тебе хребет
Да все грехи бы искупил.

Гретхен

О брат мой, вынести нет сил!

Валентин

Не плачь, сказал я, брось тужить.
Минувшего не воротить.
Ты мне сама из-за угла
Удар бесчестьем нанесла.
Я честь солдатскую свою
И душу богу отдаю.

(Умирает.)

ТЮРЬМА[1]

Фауст со связкой ключей перед железной дверцей.

Фауст

Сжимается от боли сердце,
Грудь скорбью мира стеснена.
За этою железной дверцей,
Ни в чем невинная, она.
Ты медлишь, ты войти не смеешь,
С ней встретиться лицом к лицу?

---

[1] В этой сцене Гёте повествует о трагическом завершении любви Маргариты и Фауста.

Маргарита в тюрьме одна, в ожидании казни. Тяжелые воспоминания доводят ее до состояния невменяемости, ее душу терзают кошмарные видения. С исступленным отчаянием Маргарита думает о своем незаконнорожденном ребенке, которого она убила в страхе перед мещанской средой, о своей матери, погибшей, видимо, от снотворных напитков, о Валентине, погибшем от руки Фауста. Явившегося к ней в тюрьму Фауста Маргарита вначале не узнает и принимает за палача. Только ласки Фауста на мгновение возвращают сознание Маргарите. Но чудесные воспоминания о невозвратимых днях любви быстро сменяются новым помрачением рассудка. Огорченная «холодностью» возлюбленного, который торопит ее бежать, пока не поздно, Маргарита остается в темнице в ожидании казни. Ее пугают и собственные укоры совести, и мысль о суровой страже, которая будет ее преследовать, и мысль о нищенской жизни в изгнании. Обессиленная, отказываясь бороться за свое счастье, Маргарита беспомощно предается в руки «суда божьего». Наивная и трогательная чистота Маргариты позволяет Гёте противопоставить мефистофельскому «Она осуждена на муки!» гуманное — «Спасена!».

Живей! Пока ты цепенеешь,
Ты близишь жизнь ее к концу!

(Берется за замок.)

Голос внутри[1]

Чтоб вольнее гулять,
Извела меня мать,
И отец-людоед
Обглодал мой скелет,
И меня у бугра
Закопала сестра
Головою к ключу.
Я вспорхнула весной
Серой птичкой лесной
И лечу.

Фауст

(отворяя дверь)

Ей невдомек, что я сломал засов
И слышу песнь ее и шум шагов.

(Входит в камеру.)

Маргарита

(прячась на подстилке)

Идут за мною! Скоро под топор!

Фауст

(вполголоса)

Молчи, мы увезем тебя и спрячем.

Маргарита

(у него в ногах)

Будь милостив! Смягчи свой приговор!

Фауст

Ты спящих сторожей разбудишь плачем.

(Старается разбить ее цепи.)

---

[1] «Голос внутри» представляет собой вариант немецкой народной песни.

Маргарита

(на коленях)

Кто дал тебе, мучитель мой,
Власть надо мною, бесталанной?
Дай до утра дожить! Постой!
Казнь завтра ведь! Что ж ты так рано
За мной врываешься сюда?

(Встает.)

Я молода, я молода
И умираю так нежданно!
То был моей красы расцвет,
Она меня и погубила.
Со мной был милый, ныне нет.
Опал венок, увял букет.
Не жми меня с такою силой,
А лучше б от могилы спас!
Я зла тебе не причинила,
Тебя я вижу в первый раз.

Фауст

Как эту боль мне превозмочь?

Маргарита

Сейчас пойду, лишь миг отсрочь!
Я б грудью покормила дочь.
Мне дали ночь проплакать с нею,
А утром отняли, злодеи,
И говорят — мои дела,
Сама-де в лес ее снесла,
Как в сказке есть про двух малюток.
Я вся дрожу от этих шуток
И оттого невесела.

Фауст

(на коленях перед нею)

Твой милый рядом и мгновенно
Освободит тебя из плена.

Маргарита

(падая рядом с ним на колени)

Скорей вдвоем
На колени станем

И к небу взовем
Пред святым изваяньем!
Смотри, под стенами
Этой темницы
Всеми огнями
Ад дымится,
И смеха раскаты
Его, супостата!

Фауст

(громко)

Гретхен! Гретхен!

Маргарита

(прислушиваясь)

То голос друга, как когда-то!
Спасенье! Наше место свято!

(Вскакивает. Цепи падают.)

Не страшно ничего ничуть!
Ушам поверить я не смею,
Где он? Скорей к нему на шею!
Скорей, скорей к нему на грудь!
Сквозь мрак темницы неутешный,
Сквозь пламя адской тьмы кромешной,
И улюлюканье, и вой
Он крикнул «Гретхен!», милый мой!

Фауст

Я тут.

Маргарита

(обнимая его)

Ты тут? О, повтори!
Он тут! Он тут! Он все исправит!
Где ужас завтрашней зари?
Где смерть? Меня не обезглавят!
Я спасена!
Я в мыслях у того угла,
Где встретила тебя впервые.
Вот сад и деревца кривые,
Где с Мартой я тебя ждала.

Фауст

(с поспешностью)

Идем! Идем!

Маргарита

Давай в покое
Побуду миг один с тобою!

(Прижимается к нему.)

Фауст

Спеши!
Кругом ни души.
Мы дорого заплатим
За то, что время тратим.

Маргарита

Разлуки срок был невелик,
А ты от ласк совсем отвык
И холоден к моим объятьям!
Что мне с тобой такая жуть?
Ты разучился целоваться!
Бывало, станем обниматься,
И страшно,— разорвется грудь,
И вдруг — какой-то холод, муть!
Целуй меня! Ах, ты так вял,
Тебя сама я поцелую!

(Обнимает его.)

Какой ты равнодушный стал!
Где растерял ты страсть былую?
Ты мой был. Кто тебя украл?

(Отворачивается от него.)

Фауст

Мой друг, теперь одно: в дорогу!
Во имя наших жарких нег
Решись скорее на побег!
Скорей со мною из острога!

Маргарита

(поворачивается к нему)

Но это правда ты? Ей-богу?

Фауст

Да, да!

Маргарита

И ты взломал засов
И подошел к моей постели?
Тебе не страшно в подземелье
С такой, как я? И неужели
Ты выпустить меня готов?

Фауст

Спеши! Уж начало светать.

Маргарита

Усыпила я до смерти мать,
Дочь свою утопила в пруду.
Бог думал ее нам на счастье дать,
А дал нам на беду.
Ты здесь? И это не во сне?
Все время я в бреду.
Ты не ушел? Дай руку мне.
О милая рука!
Но в чем она? Ах, узнаю.
Она в крови слегка.
Вину́ твою мы скрыть должны,
Ах, шпагу убери свою,
Вложи ее в ножны.

Фауст

Что было — поросло быльем.
Спеши! Мы пропадем.

Маргарита

Останься в живых, желанный,
Из всех нас только ты
И соблюдай сохранно
Могильные цветы.
Ты выкопай лопатой
Три ямы на склоне дня:
Для матери, для брата
И третью для меня.
Мою копай сторонкой,
Невдалеке клади

И приложи ребенка
Тесней к моей груди.
Я с дочкою глубоко
Засну, прижавшись к ней,
Жаль, не с тобою сбоку,
С отрадою моей!
Но все теперь иначе.
Хоть то же все на вид,
Мне нет с тобой удачи,
И холод твой страшит.

Фауст

Идем! Доверься, не тяни!

Маргарита

На волю?

Фауст

Вон из западни!

Маргарита

Там смерть моя настороже
Стоит средь поля на меже.
Там спать без просыпу я лягу
И больше не ступлю ни шагу.
Но как же, Генрих? Ты — домой,
Мой свет?
О, если бы мне за тобой
Вослед!

Фауст

Дверь настежь! Только захоти!

Маргарита

Нельзя и некуда идти,
Да если даже уйти от стражи,
Что хуже участи бродяжьей?
С сумою по чужим одной
Шататься с совестью больной,
Всегда с оглядкой, нет ли сзади
Врагов и сыщиков в засаде!

Фауст

Тогда я остаюсь с тобой.

Маргарита

Скорей! Скорей!
Спаси свою бедную дочь!
Прочь,
Вдоль по обочине рощ,
Через ручей, и оттуда
Влево с гнилого мостка,
К месту, где из пруда
Высунулась доска.
Дрожащего ребенка,
Когда всплывет голова,
Хватай скорей за ручонку.
Она жива, жива!

Фауст

Опомнись! Только лишь шаг,
И прочь неволя и страх!
Но каждый миг нам дорог.

Маргарита

О, только б пройти пригорок!
На камушке том моя мать
(Мороз подирает по коже!),
На камушке том моя мать
Сидит у придорожья.
Она кивает головой,
Болтающейся, неживой,
Тяжелою от сна.
Ей никогда не встать. Она
Старательно усыплена
Для нашего веселья.
Тогда у нас была весна.
Где вы теперь, те времена?
Куда вы улетели?

Фауст

Раз не добром,— тебя, мой ангел милый,
Придется унести отсюда силой.

Маргарита

Нет, принужденья я не потерплю.
Не стискивай меня ты так ужасно!
Я чересчур была всегда безгласна.

Фауст

Уж брезжит день. Любимая, молю!

Маргарита

Да, это день. День смерти наступил.
Я думала, что будет он днем свадьбы.
О, если бы все это раньше знать бы!
Не говори, что ты у Гретхен был.
    Цветы с моей косынки
    Сорвут, и, хоть плясать
    Нельзя на вечеринке,
    Мы свидимся опять.
На улице толпа и гомон,
И площади их не вместить.
Вот стали в колокол звонить,
И вот уж жезл судейский сломан [1].
Мне крутят руки на спине
И тащат силою на плаху.
Все содрогаются от страха
И ждут, со мною наравне,
Мне предназначенного взмаха
В последней, смертной тишине!

Фауст

Зачем я дожил до такой печали!

Мефистофель

(в дверях)

Бегите, или вы пропали.
Все эти пререканья невпопад!
Уж светится полоска небосклона,
И кони вороные под попоной
Озябли, застоялись и дрожат.

---

[1] Перед казнью в знак смертного приговора судья ломал свой жезл и звонили в церковный колокол.

Маргарита

Кто это вырос там из-под земли?
Он за моей душой пришел, презренный!
Но стены божьего суда священны!
Скорее прочь уйти ему вели!

Фауст

Ты будешь жить! Живи! Ты жить должна!

Маргарита

Я покоряюсь божьему суду.

Мефистофель

Иди за мною, или я уйду.
Мое ведь дело, знаешь, сторона.

Маргарита

Спаси меня, отец мой в вышине!
Вы, ангелы, вокруг меня, забытой,
Святой стеной мне станьте на защиту!
Ты, Генрих, страх внушаешь мне.

Мефистофель

Она
Осуждена на муки!

Голос свыше

Спасена!

Мефистофель
(Фаусту)

Скорей за мною!

(Исчезает с Фаустом.)

Голос Маргариты

(из тюрьмы, замирая)

Генрих! Генрих!

ИЗ ЧАСТИ II

ПОСЛЕДНИЙ МОНОЛОГ ФАУСТА

Болото тянется вдоль гор,
Губя работы наши вчуже.
Но, чтоб очистить весь простор,
Я воду отведу из лужи.
Мильоны я стяну сюда
На девственную землю нашу.
Я жизнь их не обезопашу,
Но благодатностью труда
И вольной волею украшу.
Стада и люди, нивы, села
Раскинутся на целине,
К которой дедов труд тяжелый
Подвел высокий вал извне.
Внутри по-райски заживется.
Пусть точит вал морской прилив —
Народ, умеющий бороться,
Всегда заделает прорыв.
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.

ЛИРИКА

МАЙСКАЯ ПЕСНЯ

Как все ликует,
Поет, звенит!
В цвету долина,
В огне зенит!
Трепещет каждый
На ветке лист,
Не молкнет в рощах
Веселый свист.
Как эту радость
В груди вместить! —
Смотреть! и слушать!
Дышать! и жить!

Любовь, роскошен
Твой щедрый пир!
Твое творенье —
Безмерный мир!
Ты все даришь мне:
В саду цветок,
И злак на ниве,
И гроздный сок!..
Скорее, друг мой,
На грудь мою!
О, как ты любишь!
Как я люблю!

Находит ландыш
Тенистый лес,
Стремится птица
В простор небес.
А мне любовь лишь
Твоя нужна,
Дает мне радость
И жизнь она.
Мой друг, для счастья,

Любя, живи,—
Найдешь ты счастье
В своей любви!

Перевод *А. Глобы*

1771

СВИДАНИЕ И РАЗЛУКА

Душа в огне, нет силы боле,
Скорей в седло — и на простор!
Уж вечер плыл, лаская поле,
Висела ночь у края гор.
Уже стоял, одетый мраком,
Огромный дуб, встречая нас;
И тьма, гнездясь по буеракам,
Смотрела сотней черных глаз.

Исполнен сладостной печали,
Светился в тучах лик луны,
Крылами ветры помавали,
Зловещих шорохов полны.
Толпою чудищ ночь глядела,
Но сердце пело, несся конь,
Какая жизнь во мне кипела,
Какой во мне пылал огонь!

В моих мечтах лишь ты носилась,
Твой взор так сладостно горел,
Что вся душа к тебе стремилась
И каждый вздох к тебе летел.
И вот конец моей дороги,
И ты, овеяна весной,
Опять со мной! Со мной! О боги!
Чем заслужил я рай земной?

Но — ах! — лишь утро засияло,
Угасли милые черты.
О, как меня ты целовала,
С какой тоской смотрела ты!
Я встал, душа рвалась на части,
И ты одна осталась вновь...
И все ж любить — какое счастье!
Какой восторг — твоя любовь!

Перевод *Н. Заболоцкого*

1771

НОЧНАЯ ПЕСНЯ СТРАННИКА

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного —
Отдохнешь и ты!

1780

Перевод *М. Ю. Лермонтова*

ИЗ «РИМСКИХ ЭЛЕГИЙ»

«Мальчик, свет зажигай!» — «Да светло! Чего понапрасну
Масло-то переводить? Ставни закрыли к чему?
Не за горою поди, за крышами солнце укрылось —
Добрых полчасика нам звона ко всенощной ждать».
«Ох, несчастный! Ступай и не спорь! Я жду дорогую.
Вестница ночи меж тем, лампа, утешит меня!»

1788

Перевод *Н. Вольпин*

Стихи подобны разноцветным стеклам
Церковных окон. Заглянув снаружи,
Мы ничего там не увидим толком.
«Сплошная муть, а может быть, и хуже!» —
Так скажет обыватель. Он сердит,
Когда он ничего не разглядит!

И пусть его.
А вы — вступайте смело
В священные поэзии пределы!
Как хорошо! Как ясно и светло
Сияет многоцветное стекло!
Да, новый свет откроется для вас.
Все возвышает дух, пленяет глаз,
И ежели в вас есть душа —
То вам
Он по душе придется, этот храм!

1827

Перевод *Б. Заходера*

БАЙРОН

В 1804 г. генерал Бонапарт, первый консул Французской республики, объявил Францию империей, а себя — императором, взяв имя Наполеона I. Маркс видел в деятельности Наполеона завершение героического периода в истории буржуазного общества. Установление империи и захватнические войны, которые вел Наполеон (в частности, в Испании, куда в 1808 г. он ввел войска, стремясь навязать стране французское господство), были восприняты революционно настроенными людьми того времени как измена идеалам французской революции 1789—1794 гг. Окончательная гибель надежд на революционные преобразования в Европе наступила позже, когда Наполеон был разбит (в 1812 г.— в России, в 1815 г.— при Ватерлоо, после возвращения с острова Эльбы), во Франции реставрирована монархия, а на Европейском континенте восторжествовала реакция. Был создан архиреакционный «Священный союз» европейских монархов, целью которого было подавление в зародыше любых революционных выступлений. Италия, раздробленная на ряд мелких герцогств и княжеств, оказалась под властью Габсбургов; Греция задыхалась под турецким игом. Реакция душила свободу, но народ оказывал сопротивление. В Италии действовали карбонарии — патриоты, поклявшиеся свергнуть австрийское господство. В Греции в начале 20-х годов разгоралась национально-освободительная война.

Англия, неоднократно выступавшая против революционной Франции и ввязавшаяся в многолетнюю войну с Наполеоном, в начале XIX века

10 Заказ 137

переживала жестокий кризис. Этот кризис был усугублен недородом. В 10-х годах с новой силой вспыхнули народные волнения, возродилось движение луддитов — разрушителей станков. Луддиты считали, что, уничтожая машины на фабриках, они тем самым уничтожают источник всех бед. Размах движения, получившего название по имени легендарного «генерала Лудда» — рабочего, который якобы первым разбил ткацкий станок,— напугал правительство. Против луддитов были предприняты многочисленные репрессии, вплоть до принятия закона о смертной казни за любую порчу рабочим собственности фабриканта.

Такова была историческая обстановка, в которой сформировался и проявил себя поэтический гений Байрона.

Джордж Ноэл Гордон Байрон (George Noel Gordon Byron, 1788—1824) родился в семье английского дворянина, в возрасте десяти лет унаследовал родовой титул Байронов, их поместье и скамью в палате лордов — аристократической палате британского парламента. Завершив образование в знаменитом Кембриджском университете, молодой лорд отправился в двухлетнее путешествие (он посетил Пиренейский полуостров и Балканы), по возвращении из которого выступил в палате лордов со своей первой речью, направленной на защиту луддитов.

В одном из стихотворений Байрон с предельной краткостью и выразительностью раскрыл существо своего недолгого и блистательного жизненного пути:

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.

Непримиримость поэта, посвятившего свой дар защите идеалов Великой французской революции, которые предал «узурпатор» — Наполеон, служению угнетенным, обездоленным и униженным и поддержке национально-освободительных движений в Европе, вызвала вполне естественную ненависть к нему со стороны правящих кругов Англии. Они подвергли поэта гнусной травле, воспользовавшись бракоразводным процессом Байрона с его первой женой. Суд лишил Байрона прав отцовства. Поэт покинул Англию, оставив на родине дочь и любимую сестру. Он жил в Швейцарии (1816), затем в Италии (1817—1823).

В Италии Байрон вторично женился; его подругой стала патриотка Тереза Гваччиоли, чьи братья были видными карбонариями. Байрон принял непосредственное участие в движении карбонариев и тяжело пережил его разгром. В 1823 г., снарядив на собственные средства военный корабль, он отплыл в Грецию, где шла национально-освободительная война против турецкого господства. Он стал одним из вождей восстания, но неожиданно заболел и умер от лихорадки в греческом городе Миссолунги 19 апреля 1824 г. Сердце Байрона было погребено в Греции, а тело захоронено в Англии в его родовом поместье.

Гениальный поэт-романтик, Байрон с равным блеском владел всеми формами и жанрами поэзии. Его перу принадлежат великолепные образцы интимной, философской и политической лирики, романтические поэмы («Гяур», 1813, «Корсар», 1814, «Паризина», 1816, и др.), драматические поэмы, или мистерии, как их называл Байрон («Манфред», 1817, «Каин», 1821), поэмы юмористические и сатирические («Беппо», 1818, «Видение суда», 1822, «Бронзовый век», 1823, и др.), исторические трагедии, биографическая проза, сатирико-нравоописательный роман в стихах «Дон Жуан» (1818—1823), оставшийся незавершенным.

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» состоит из четырех частей (песен). Две первые песни были опубликованы в 1812 г. и сразу же прославили автора. (Байрон записал в дневнике: «В одно прекрасное утро я проснулся и увидел себя знаменитым».) Третья песнь была опубликована в 1816 г., четвертая — в 1818. Чайльд-Гарольд — типично романтический герой: молодой, разочаровавшийся в жизни, в обществе и в людях, скучающий, пресыщенный, не находящий себе пристанища. Столкновения с несправедливостями общества — источник его разочарования, презрения и скорби. Именно этой поэме обязаны

своим происхождением выражения «байроновская скорбь» и «байронический герой».

Поэма, задуманная во многом как биографическая хроника скитаний гордого юноши, претерпела в ходе воплощения значительные изменения. Живая история того времени вторгалась в поэму, властно о себе заявляя и отодвигая образ героя на второй, а в последних песнях — уже и вовсе на какой-то дальний план. Идейной основой «Паломничества...» постепенно становился вольнолюбивый пафос, гимн революционным преобразованиям общества. Менялось и отношение Байрона к своему герою. Восхищаясь духом бунтарства, который свойствен Чайльд-Гарольду, он в то же время осуждает его за непомерный индивидуализм. По мере развития поэтического сюжета тождественность автора и лирического героя нарушается. Байрон начинает смотреть на Чайльд-Гарольда как бы со стороны, «корректируя» суждения и впечатления героя мудрым и подчас ироничным авторским комментарием.

«Поэт раскрывает перед нами свой внутренний мир. Этот мир отличается большим богатством, сложностью и красотой, ибо лирический герой поэмы наделен способностью чувствовать сильно и страстно,— пишет о «Паломничестве...» советский литературовед А. Аникст.— То звучат слова восхищения женской красотой, то выражается нежное чувство отца к дочери, с которой он разлучен, то воспоминания о неразделенной первой любви, то горечь разочарования в людях. Наряду с элегическими мотивами в поэме не раз возникает гимн силе и мужеству человека. В простых людях, не испорченных буржуазной цивилизацией, Байрон находит подлинное величие, а когда он его не видит у современников, то вспоминает о титанической мощи героев прошлого, будь то афиняне или спартанцы, трибуны республиканского Рима или просветители Вольтер и Руссо. В страстных поисках героических характеров сказывается действенный, революционный характер гуманизма Байрона».

Вслед за первыми песнями «Паломничества...» Байрон написал «Гяура», «Корсара» и некоторые другие поэмы, которые образуют цикл так называемых «Восточных поэм», наиболее характерных для романтизма Байрона. Содержание большинства поэм — изображение грандиозных человеческих страстей на фоне романтически стилизованной экзотики Востока. Герои «Восточных поэм», уязвленные несправедливостью общества и злым роком, объявляют обществу войну, замыкаются в гордом одиночестве или стоически принимают неизбежное. «Восточные поэмы» развивают мотивы, прозвучавшие в «Паломничестве...»: неприкаянности, воли, судьбы, одиночества. Пассивный вызов, который бросает миру Чайльд-Гарольд своим добровольным изгнанием, в «Корсаре», например, превращается в своего рода вооруженный мятеж против общества и его законов, и герой пресыщенный становится героем действующим. Больше того, в поэме «Шильонский узник» (1816) трагедия романтического героя уже получает четкое социально-историческое объяснение: это плата за любовь к свободе. В созданных позднее мистериях бунтарские и вольнолюбивые мотивы «Восточных поэм» и «Шильонского узника» переходят в мотивы богоборческие.

Произведения Байрона можно прочитать в изданиях:

Байрон Д. Г. Избранное. М., Детская литература, 1964.

Байрон Д. Г. Дневники. Письма. М., Наука, 1965.

Байрон, Джордж Гордон. Сочинения в 3 т. М., Художественная литература, 1974.

Поэзия английского романтизма XIX века. М., Художественная литература, 1975.

О жизни и творчестве Байрона см.:

Елистратова А. А. Байрон. М., Изд-во АН СССР, 1956.

Кургинян М. Джордж Байрон. М., Гослитиздат, 1958.

Кондратьев Ю. Д. Г. Байрон.— В кн.: Байрон Д. Г. Избранное. М., Детская литература, 1964.

ЛИРИКА

ПЕСНЯ ГРЕЧЕСКИХ ПОВСТАНЦЕВ[1]

О Греция, восстань!
Сиянье древней славы
Борцов зовет на брань,
На подвиг величавый.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пускай за нами следом
Течет тиранов кровь!

С презреньем сбросьте, греки,
Турецкое ярмо,
Кровью вражеской навеки
Смойте рабское клеймо!

Пусть доблестные тени
Героев и вождей
Увидят возрожденье
Эллады прежних дней.

Пусть встает на голос горна
Копьеносцев древних рать,
Чтоб за город семигорный[2]
Вместе с нами воевать.

Спарта, Спарта, к жизни новой
Подымайся из руин
И зови к борьбе суровой
Вольных жителей Афин.

---

[1] Перевод песни, написанной греческим поэтом-патриотом Константином Ригасом, который был казнен турецким правительством за участие в национально-освободительной борьбе.

[2] Константинополь.

Пускай в сердцах воскреснет
И нас объединит
Герой бессмертной песни,
Спартанец Леонид.

Он принял бой неравный
В ущелье Фермопил [1]
И с горсточкою славной
Отчизну заслонил.

И, преградив теснины,
Три сотни храбрецов
Омыли кровью львиной
Дорогу в край отцов.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пускай за нами следом
Течет тиранов кровь!

1811

Перевод *С. Маршака*

ОДА АВТОРАМ БИЛЛЯ ПРОТИВ РАЗРУШИТЕЛЕЙ СТАНКОВ

Лорд Эльдон, прекрасно! Лорд Райдер, чудесно! [2]
Британия с вами как раз процветет;
Врачуйте ее, управляя совместно,
Заранее зная: лекарство убьет!
Ткачи, негодяи, готовят восстанье:
О помощи просят. Пред каждым крыльцом
Повесить у фабрик их всех в назиданье!
Ошибку исправить — и дело с концом [3].

В нужде, негодяи, сидят без полушки.
И пес, голодая, на кражу пойдет.
Их вздернув за то, что сломали катушки,
Правительство деньги и хлеб сбережет.
Ребенка скорее создать, чем машину,
Чулки — драгоценнее жизни людской.

---

[1] *Фермопилы* — узкий горный проход в Средней Греции, где в 480 году до н. э. немногочисленный военный отряд, во главе которого был спартанский царь Леонид, отразил натиск стотысячного персидского войска.

[2] *Райдер,* министр внутренних дел, и *Эльдон* были ревностными сторонниками кровавого билля (законопроекта), направленного против ткачей.

[3] Байрон иронизирует над высказыванием лорда Эльдона, который лицемерно назвал кровавую расправу правительства над луддитами «государственной ошибкой».

И виселиц ряд оживляет картину,
Свободы расцвет знаменуя собой.

Идут волонтеры, идут гренадеры,
В походе полки... Против гнева ткачей
Полицией все принимаются меры,
И судьи на месте: толпа палачей!
Из лордов не всякий отстаивал пули,
О судьях взывали. Потраченный труд!
Согласья они не нашли в Ливерпуле,
Ткачам осуждение вынес не суд.

Не странно ль, что если является в гости
К нам голод и слышится вопль бедняка,—
За ломку машины ломаются кости
И ценятся жизни дешевле чулка?
А если так было, то многие спросят:
Сперва не безумцам ли шею свернуть,
Которые людям, что помощи просят,
Лишь петлю на шее спешат затянуть?

1812

Перевод *О. Чюминой*

ДУША МОЯ МРАЧНА...

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.

И если не навек надежды рок унес,
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются.

Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.

Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

1815

Перевод *М. Ю. Лермонтова*

НЕ БРОДИТЬ УЖ НАМ НОЧАМИ...

Не бродить уж нам ночами,
Хоть и манит нас луна
Серебристыми лучами,
А душа любви полна!

Меч сотрет железо ножен,
И душа источит грудь,
Вечный пламень невозможен,
Сердцу нужно отдохнуть.

Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле —
Не бродить уж нам ночами
В серебристой лунной мгле.

1817

Перевод *Ю. Вронского*

СТАНСЫ

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.
За греков и римлян в далеком краю
Он буйную голову сложит.

За общее благо борись до конца —
И будет тебе воздаянье.
Тому, кто избегнет петли и свинца,
Пожалуют рыцаря званье.

1820

Перевод *С. Маршака*

ИЗ ДНЕВНИКА В КЕФАЛОНИИ[1]

Встревожен мертвых сон — могу ли спать?
Тираны давят мир — я ль уступлю?
Созрела жатва — мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

1823

Перевод *А. Блока*

[1] *Кефалония* — остров в Ионическом море; здесь Байрон останавливался по пути в Миссолунги (Греция).

ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА

ИЗ ПЕСНИ ПЕРВОЙ

* * *

Не ты ль слыла иебесиой в древием мире,
О Муза, дочь Поэзии земной,
И ие тебя ль бесчестили иа лире
Все рифмачи преступиою рукой!
Да ие посмеют твой смутить покой!
Хоть был я в Дельфах [1], слушал, как в пустыие
Звеиит твой ключ серебряиой волиой,
Простой рассказ мой иачиная ныие,
Я ие дерзиу взывать о помощи к богине.

* * *

Жил в Альбиоие юиоша. Свой век
Ои посвящал лишь развлеченьям праздиым.
В безумиой жажде радостей и иег,
Распутством ие гиушаясь безобразным,
Душою предан низменным соблазиам,
Но чужд равио и чести и стыду,
Ои в мире возлюбил миогообразиом,
Увы! лишь кратких связей череду
Да собутыльников веселую орду.

---

[1] *Дельфы* — город в Древией Греции иа склоие горы Париас, иа которой, по верованиям древних греков, обитали *Аполлон* (Феб) — бог солица, покровитель иаук и искусств, и *девять муз* — богинь-сестер, олицетворявших различиые искусства.

В Дельфах иаходился храм Аполлоиа, где жрица (пифия) произиосила свои прорицаиия, предсказывала судьбу.

В переиосиом смысле *Парнас* — поэзия, мир поэзии.

Муза — поэтическое творчество или источник вдохиовеиия поэта.

Кастальский ключ — в древиегреческих сказаииях источник, вода которого вдохиовляла поэтов.

* * *

Он звался Чайльд-Гарольд[1]. Не все равно ли,
Какнм он вел блестящнм предкам счет!
Хоть и в гражданстве н на бранном поле
Они снискали славу и почет,
Но осрамнт и самый лучшнй род
Однн бездельннк, развращенный ленью.
Тут не поможет ворох льстнвых од,
И не придашь, хвалясь фамильной сенью,
Пороку — чнстоту, невнnность — преступленью.

* * *

Вступая в девятнадцатый свой год,
Как мотылек, резвнлся он, порхая,
Не помышлял о том, что день пройдет
И холодом повеет тьма ночная.
Но вдруг в расцвете жизненного мая
Заговорило пресыщенье в нем,
Болезнь ума н сердца роковая,
И показалось мерзкнм все кругом:
Тюрьмою — роднна, могнлой — отчнй дом.

* * *

Он совестн не знал укоров строгнх
И слепо шел дорогою страстей.
Любнл одну — прельщал любовью многих,
Любнл — и не назвал ее своей.
И благо ускользнувшей от сетей
Развратннка, что, близ жены скучая,
Бежал бы вновь на буйный пнр друзей
И, все, что взял приданым, расточая,
Чуждался б радостей супружеского рая.

* * *

Но в сердце Чайльд глухую боль унес,
И наслажденнй жажда в нем остыла,
И часто блеск его внезапных слез
Лншь гордость возмущенная гаснла.
Меж тем тоски язвнтельная снла
Звала покннуть край, где вырос он,
Чужнх небес прнветствовать светнла.
Он звал печаль, весельем пресыщен,
Готов был в ад бежать, но броснть Альбнон.

---

[1] *Чайльд* — в средневековой Англнн титул молодого дворяннна, еще не посвященного в рыцарское звание; соответствует старорусскому «отрок». Байрон подчеркнвает здесь древность рода героя.

* * *

И в жажде новых мест Гарольд умчался,
Покинув свой почтенный старый дом,
Что сумрачной громадой возвышался,
Весь почерневший и покрытый мхом.
Назад лет сто он был монастырем,
И ныне там плясали, пели, пили,
Совсем как в оны дни, когда тайком,
Как повествуют нам седые были,
Святые пастыри с красотками кутили.

* * *

Но часто в блеске, в шуме людных зал
Лицо Гарольда муку выражало.
Отвергнутую страсть он вспоминал
Иль чувствовал вражды смертельной жало,—
Ничье живое сердце не узнало.
Ни с кем не вел он дружеских бесед.
Когда унынье душу омрачало,
В часы раздумий, в дни сердечных бед
Презреньем он встречал сочувственный совет.

* * *

И в мире был он одинок. Хоть многих
Поил он щедро за столом своим,
Он знал их, прихлебателей убогих,
Друзей на час,— он ведал цену им.
И женщинами не был он любим.
Но, боже мой, какая не сдается,
Когда мы блеск и роскошь ей сулим!
Так мотылек на яркий свет несется,
И плачет ангел там, где сатана смеется.

* * *

У Чайльда мать была, но наш герой,
Собравшись бурнойввериться стихии,
Ни с ней не попрощался, ни с сестрой,
Единственной подругой в дни былые.
Ни близкие не знали, ни родные,
Что едет он. Но то не черствость, нет:
Хоть отчий дом он покидал впервые,
Уже он знал, что сердце много лет
Хранит прощальных слез неизгладимый след.

* * *

Наследство, дом, поместья родовые,
Прелестных дам, чей смех он так любил,
Чей синий взор, чьи локоны златые

В нем часто юный пробуждали пыл,—
Здесь даже и святой бы согрешил,—
Вином бесценным полные стаканы,—
Все то, чем роскошь радует кутил,
Он променял на ветры и туманы,
На рокот южных волн и варварские страны.

* * *

Дул свежий бриз, шумели паруса,
Все дальше в море судно уходило,
Бледнела скал прибрежных полоса,
И вскоре их пространство поглотило.
Быть может, сердце Чайльда и грустило,
Что повлеклось в неведомый простор,
Но слез не лил он, не вздыхал уныло,
Как спутники, чей увлажненный взор,
Казалось, обращал к ветрам немой укор.

* * *

Когда же солнце волн коснулось краем,
Он лютню[1] взял, которой он привык
Вверять все то, чем был обуреваем
Равно и в горький и в счастливый миг,
И на струнах отзывчивых возник
Протяжный звук, как сердца стон печальный,
И Чайльд запел, а белокрылый бриг
Летел туда, где ждал их берег дальный,
И в шуме темных волн тонул напев прощальный.

Прости, прости! Все крепнет шквал,
Все выше вал встает,
И берег Англии пропал
Среди кипящих вод.
Плывем на запад, солнцу вслед,
Покинув отчий край.
Прощай до завтра, солнца свет,
Британия, прощай!

Промчится ночь, оно взойдет
Сиять другому дню.
Увижу море, небосвод,
Но не страну мою.
Погас очаг мой, пуст мой дом,
И двор травой зарос.
Мертво и глухо все кругом,
Лишь воет старый пес.

---

[1] *Лютня* — старинный щипковый музыкальный инструмент.

Мой паж, мой мальчик, что с тобой?
Я слышал твой упрек.
Иль так напуган ты грозой,
Иль на ветру продрог?
Мой бриг надежный крепко сшит,
Ненужных слез не лей.
Быстрейший сокол не летит
Смелей и веселей.

«Пусть воет шквал, бурлит вода,
Грохочет в небе гром,—
Сэр Чайльд, все это не беда,
Я плачу о другом.
Отца и мать на долгий срок
Вчера покинул я,
И на земле лишь вы да бог
Теперь мои друзья.

Отец молитву произнес
И отпустил меня,
Но знаю, мать без горьких слез
Не проведет и дня».
Мой паж, дурные мысли прочь,
Разлуки минет срок!
Я сам бы плакал в эту ночь,
Когда б я плакать мог.

Мой латник верный, что с тобой?
Ты мертвеца бледней.
Предвидишь ты с французом бой,
Продрог ли до костей?
«Сэр Чайльд, привык я слышать гром
И не бледнеть в бою,
Но я покинул милый дом,
Любимую семью.

Где замок ваш у синих вод,
Там и моя страна.
Там сын отца напрасно ждет
И слёзы льет жена».
Ты прав, мой верный друг, ты прав,
Понятна скорбь твоя,
Но у меня беспечный нрав,
Смеюсь над горем я.

Я знаю, слезы женщин — вздор,
В них постоянства нет.
Другой придет, пленит их взор,
И слез пропал и след.

Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,
Но жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.

Вверяюсь ветру и волне,
Я в мире одинок.
Кто может вспомнить обо мне?
Кого б я вспомнить мог?
Мой пес поплачет день-другой,
Разбудит воем тьму
И станет первому слугой,
Кто бросит кость ему.

Наперекор грозе и мгле,
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
Привет, привет, морской простор,
И вам — в конце пути —
Привет, леса, пустыни гор!
Британия, прости!

* * *

Плывет корабль унылых вод равниной,
Шумит Бискайи пасмурный залив.
На пятый день из волн крутой вершиной,
Усталых и печальных ободрив,
Роскошной Синтры [1] горный встал массив.
Вот, моря данник, меж холмов покатых
Струится Тахо [2], быстр и говорлив.
Они плывут меж берегов богатых,
Где волнам вторит шум хлебов, увы, несжатых.

* * *

Неизъяснимой полон красоты
Весь этот край, обильный и счастливый,
Роскошны здесь деревья и цветы,
Прекрасны пышно зреющие нивы,
И берега, и синих рек извивы.
Но в эту землю вторглись палачи,—
Срази, о небо, род их нечестивый!
Все молнии, все громы ополчи,
Избавь Эдем [3] земной от галльской саранчи!.. [4]

---

[1] *Синтра* — город и горный кряж в Португалии.

[2] *Тахо* — река, протекающая в Испании и Португалии.

[3] *Эдем* — согласно библейской легенде, земной рай, из которого были изгнаны прародители — Адам и Ева.

[4] Байрон имеет в виду французские наполеоновские войска, вторгшиеся в Испанию с целью захватить ее и присоединить к Франции.

* * *

Но посмотри, на склонах, близ дороги,
Стоят кресты. Заботливой рукой
Не в час молитв, не в помыслах о боге
Воздвигли их. Насилье и разбой
На этот край набег свершили свой,
Земля внимала жертв предсмертным стонам,
И вопиют о крови пролитой
Кресты под равнодушным небосклоном,
Где мирный труженик не огражден законом.

* * *

На пышный дол глядят с крутых холмов
Руины, о былом напоминая.
Где был князей гостеприимный кров,—
Там ныне камни и трава густая.
Вон замок тот, где жил правитель края,
И ты, кто был так сказочно богат,
Ты, Ватек[1], создал здесь подобье рая,
Не ведая средь царственных палат,
Что все богатства — тлен и мира не сулят.

* * *

Ты свой дворец воздвигнул здесь, в долине,
Для радостей, для нег и красоты.
Но запустеньем все сменилось ныне,
Бурьян раскинул дикие кусты,
И твой эдем — он одинок, как ты.
Обрушен свод, остались только стены,
Как памятники бренной суеты.
Не все ль услады бытия мгновенны!
Так на волне блеснет — и тает сгусток пены...

* * *

И, полный смуты, все вперед, вперед
Меж горных круч смятенный Чайльд стремится.
Он рад уйти, бежать от всех красот,
Он рвется вдаль, неутомим, как птица.
Иль совесть в нем впервые шевелится?
Да, он клянет пороки буйных лет,
Он юности растраченной стыдится,
Ее безумств и призрачных побед,
И все мрачнее взор, узревший Правды свет.

---

[1] *Ватек* — герой одноименного романа английского писателя В. Бэкфорда, современника Байрона.

* * *

Коня! Коня! Гонимый бурей снова,
Хотя кругом покой и тишина,
Назло дразнящим призракам былого
Он ищет не любовниц, не вина,
Но многие края и племена
Изведает беглец неугомонный,
Пока не станет цель ему ясна,
Пока, остывший, жизнью умудренный,
Он мира не найдет под кровлей благосклонной.

* * *

...Холмы все реже, местность все ровней,
Бедней поля, и зелень уж другая.
И вот открылась даль пустых степей,
И, кажется, им нет конца и края.
Пред ним земля Испании нагая,
Где и пастух привык владеть клинком,
Бесценные стада оберегая.
В соседстве с необузданным врагом
Испанец должен быть солдатом иль рабом.

* * *

...Романтики воскресшая страна,
Испания, где блеск твоей державы?
Где крест, которым ты была сильна,
Когда предатель мстил за слезы Кавы,
И трупы го́тов нес поток кровавый?
Твой стяг царям навязывал закон,
Он обуздал разбойничьи оравы,
И полумесяц пал, крестом сражен,
И плыл над Африкой вой мавританских жен.

* * *

Теперь лишь в песнях отзвук тех побед [1],
Лишь в песнях вечность обрели герои,
Столпы разбиты, летописей нет,
Но помнит песнь величие былое.
Взгляни с небес на поприще земное,
О Гордость! Рухнет бронза и гранит,
И только песнь верней, чем все иное,
Когда историк лжет, а льстец забыт,
Твое бессмертие в народе сохранит.

---

[1] Байрон имеет в виду испанские народные песни, легенды и сказания, которые запечатлели многовековые кровопролитные войны испанцев с маврами — арабами, переселившимися из Северной Африки на Пиренейский полуостров.

* * *

К оружию, испанцы! Мщенье, мщенье!
Дух Реконкисты правнуков зовет.
Пусть не копье подъемлет он в сраженье,
Плюмажем красным туч не достает,
Но, свистом пуль означив свой полет,
Ощерив жерла пушек роковые,
Сквозь дым и пламень кличет он: вперед!
Иль зов его слабей, чем в дни былые,
Когда он вдохновлял сынов Андалусии?!

* * *

Я слышу звон металла и копыт
И крики битвы в зареве багряном —
То ваша кровь чужую сталь поит,
То ваши братья сражены тираном.
Войска его идут тройным тараном,
Грохочут залпы на высотах гор,
И нет конца увечиям и ранам.
Летит на тризну Смерть во весь опор,
И ярый бог войны приветствует раздор.

* * *

...Великолепно зрелище сраженья
(Когда ваш друг в него не вовлечен).
О, сколько блеска, грома и движенья!
Цветные шарфы, пестрый шелк знамен,
Сверкает хищно сталь со всех сторон,
Несутся псы, добычу настигая.
Не всем триумф, но всем — веселый гон,
Всем будет рада Мать-земля сырая.
И шествует Война, трофеи собирая.

* * *

Три знамени взывают к небесам,
Три языка воздвигли спор ужасный.
Француз, испанец, бритт сразились там,—
Враг, жертва и союзник тот опасный [1],
В чью помощь верить — право, труд напрасный.
У Талаверы, смерть ища в бою
(Как будто ей мы дома не подвластны),
Сошлись они, чтоб кровь пролить свою,
Дать жирный тук полям и пищу воронью [2].

---

[1] *Опасный союзник* — Англия, находившаяся в военном союзе с Испанией, против которой выступила Франция.
[2] Речь идет о битве при городе Талавера 27—28 июля 1809 года.

* * *

И здесь им тлеть — глупцам, прельщенным
славой
И славы удостоенным в гробах!
О, бред! Орудья алчности кровавой —
Их тысячи тиран бросает в прах,
Свой воздвигая трон на черепах,—
Спроси зачем — во имя сновиденья!
Он царствует, пока внушает страх,
Но станет сам добычей смрадной тленья,
И тесный гроб ему заменит все владенья.

* * *

...И вот Севилью видит пилигрим [1].
Еще блистает буйной красотою
Свободный город, но уже над ним
Насилье кружит. Огненной пятою
Войдет тиран, предаст его разбою
И грабежу. О, если б смертный мог
Бороться с неизбежною судьбою!
Не пала б Троя, Тир [2] не изнемог,
Добро не гибло бы, не властвовал порок.

* * *

Но, близящихся бед не сознавая,
Еще Севилья пляшет и поет,
Веселая, беспечная, живая.
Тут патриотам их страна не в счет!
Воркуют лютни, барабан не бьет,
Над всем царит веселье молодое,
Разгул свершает поздний свой обход,
И Преступленье крадется ночное
Вдоль стен, дряхлеющих в торжественном покое.

* * *

Не то крестьянин. С бледною женой
Он тужит днем, ночей не спит в печали.
Их виноградник вытоптан войной,
В селе давно фанданго [3] не плясали.
Звезда любви восходит, но едва ли
Раздастся дробь веселых кастаньет.

---

[1] Байрон посетил Севилью летом 1809 года, а в январе 1810 года город был взят французскими войсками.

[2] *Тир* — древний финикийский город, уничтоженный Александром Македонским после длительной осады.

[3] *Фанданго* — испанский народный танец.

Цари, цари! Когда б вы только знали
Простое счастье! Смолк бы гром побед,
Не стал бы трубный зов предвестьем стольких бед!

* * *

Какою ныне песней оживляет
Погонщик мулов долгий переход?
Любовь ли, старину ли прославляет,
Как славил их, когда не знал забот?
Нет, он теперь «Viva el Rey»[1] поет.
Но вдруг, Годоя[2] вспомнив, хмурит брови
И Карла рогоносного клянет,
А с ним — его Луизу, в чьем алькове
Измена родилась, алкающая крови.

* * *

Среди равнины голой, на скале,
Чернеют стены мавританских башен.
Следы копыт на раненой земле,
Печать огня на черном лике пашен.
Здесь орды вражьи, грозен и бесстрашен,
Андалусийский селянин встречал,
Здесь кровью гостя был не раз окрашен
Его клинок, когда на гребнях скал
Драконьи логова он дерзко штурмовал.

* * *

Здесь, не надев на шляпу ленты красной,
Не смеет появиться пешеход.
Когда ж дерзнет — раскается несчастный:
То будет знак, что он не патриот.
А нож остер, он мимо не скользнет!
О Франция! давно бы ты дрожала,
Когда б имел хоть ружья здесь народ,
Когда б от взмаха гневного кинжала
Тупели тесаки и пушка умолкала.

* * *

С нагих высот Морены[3] в хмурый дол
Стволы орудий смотрят, выжидая.
Там бастион, тут ямы, частокол,

---

[1] «Да здравствует король!» *(исп.)*.
[2] *Годой, Манюэль* — испанский государственный деятель, фаворит королевы, в конце XVIII — начале XIX века фактически правивший страной. После вторжения Наполеона был вынужден спасаться бегством.
[3] *Сьерра-Морена* — горная гряда на юге Испании.

Там ров с водой, а там скала крутая
С десятком глаз внимательных вдоль края,
Там часовой с опущенным штыком,
Глядят бойницы, дулами сверкая,
Фитиль зажжен, и конь — под чепраком[1],
И ядра горками уложены кругом.

* * *

...Ужель вам смерть судьба определила,
О юноши, Испании сыны!
Ужель одно: покорность иль могила,
Тирана смерть иль гибель всей страны?
Вы стать подножьем деспота должны!
Где бог? Иль он не видит вас, герои,
Иль стоны жертв на небе не слышны?
Иль тщетно все: искусство боевое,
Кровь, доблесть, юный жар, честь, мужество
стальное!

* * *

Не оттого ль, для битв покинув дом,
Гитару дочь Испании презрела,
Повесила на иву под окном
И с песней, в жажде доблестного дела,
На брань с мужами рядом полетела?
Та, кто, иголкой палец уколов
Или заслышав крик совы, бледнела,
По грудам мертвых тел, под звон штыков
Идет Минервой там, где дрогнуть Марс готов![2]

* * *

Ты слушаешь, и ты пленен, но, боже!
Когда б ты знал, какой была она
В кругу семьи, в саду иль в темной ложе!
Как водопад — волос ее волна,
Бездонна глаз лучистых глубина,
Прелестен смех, живой и нестесненный,—
И слово меркнет, кисть посрамлена!
Но вспомни Сарагоссы бастионы,
Где веселил ей кровь мертвящий взгляд Горгоны![3]

---

[1] *Чепрак* — суконная или ковровая подстилка под седло.

[2] *Минерва* (Афина Паллада) — в древнегреческой мифологии богиня мудрости, богиня-воительница. *Марс* — бог войны.

[3] *Горгона* — в древнегреческой мифологии женщина со змеями вместо волос на голове. От взгляда Горгоны человек превращается в камень.

* * *

Любимый ранен — слез она не льет.
Пал капитан — она ведет дружину.
Свои бегут — она кричит: вперед!
И натиск новый смёл врагов лавину.
Кто облегчит сраженному кончину?
Кто отомстит, коль лучший воин пал?
Кто мужеством одушевит мужчину? —
Все, все она! Когда надменный галл
Пред женщинами столь позорно отступал?

* * *

...О ты, Парнас! Ты мне сияешь въяве,
Не сновиденьем беглым, не мечтой,
Но здесь, во всей тысячелетней славе,
Запечатленный дикой красотой,
На этой почве древней и святой.
Так я ли, твой паломник, о могучий,
Тебя хоть краткой не почту хвалой!
О, пусть услышу отклик твой певучий
И муза крыльями взмахнет над снежной кручей.

* * *

Как часто мне являлся ты во сне!
Я слышал звуки древних песнопений,
И час настал, и ты открылся мне.
Я трепещу, и клонятся колени.
Передо мной — певцов великих тени,
И стыдно мне за слабый голос мой.
О, где найти слова для восхвалений!
И, бледный, умиленный и немой,
Я тихо радуюсь: Парнас передо мной!

* * *

Сколь многие тебя в восторге пели,
Ни разу не видав твоих красот,
Не посетив страны твоей,— так мне ли
Сдержать порыв, когда душа поет!
Пусть Аполлон покинул древний грот,
Где муз был трон, там ныне их гробница,—
Но некий дух прекрасный здесь живет,
Он в тишине лесов твоих таится,
И вздохи ветру шлет, и в глубь озер глядится.

* * *

...Прощай! Нигде средь этих древних гор,
Ни даже в дни Эллады золотые,

Когда гремел еще дельфийский хор,
Звучали гимны пифии святые,—
Верь, не являлись девы молодые
Прекрасней тех, что дивно расцвели
Средь пылких нег в садах Андалусии!
О, если б мир им боги принесли,
Хоть горький мир твоей, о Греция, земли!

* * *

Горда Севилья роскошью и славой,
Прекрасны в ней минувшего черты,
И все ж ты лучше, Кадикс многоглавый,
Хоть похвалы едва ль достоин ты.
Но чьей порок не соблазнял мечты,
Кто не блуждал его тропой опасной,
Пока блистали юности цветы?
Вампир [1] с улыбкой херувима ясной,
Для каждого иной, для всех равно прекрасный!

* * *

...С утра до ночи, с ночи до утра
Здесь праздный люд на улицах толпится,
Плащи, мантильи [2], шляпы, веера,
Гирлянды роз,— весь город веселится,
Повсюду смех и праздничные лица,
Умеренность на стыд обречена.
Приехал — можешь с трезвостью проститься!
Здесь царство песни, пляски и вина,
И, верите, любовь с молитвою дружна.

* * *

...И день седьмой ведет заря в тумане,
Пустеет Лондон в этот день святой.
Принарядясь, идут гулять мещане,
Выходит смывший грязь мастеровой
В неделю раз на воздух полевой.
По всем предместьям катит и грохочет
Карет, ландо [3], двуколок шумный рой,
И конь, устав, уже идти не хочет,
А пеший грубиян глумится и хохочет.

* * *

Один с утра на Темзу поспешил,
Другой пешком поплелся на заставу,

---

[1] *Вампир* — сказочный мертвец-оборотень, который выходит из могилы и сосет кровь живых людей.

[2] *Мантилья* — длинная кружевная женская накидка.

[3] *Ландо* — четырехместная карета с откидным верхом.

Тех манит Хайгет или Ричмонд-Хилл,
А этот в Вер повел друзей ораву[1].
По сердцу всяк найдет себе забаву,—
Тем невтерпеж почтить священный рог,
А тем попить и погулять на славу,
И, смотришь, пляшут, не жалея ног,
С полночи до утра и тянут эль и грог[2].

* * *

Безумны все, о Кадикс, но тобою
Побит рекорд. На башне девять бьет,
И тотчас, внемля колокола бою,
Твой житель четки набожно берет.
Грехам у них давно потерян счет,
И все у Девы просят отпущенья
(Ведь дева здесь одна на весь народ!),
И в цирк несутся все без исключенья:
Гранд[3], нищий, стар и млад — все жаждут развлеченья.

* * *

Ворота настежь, в цирке уж полно,
Хотя еще сигнала не давали.
Кто опоздал, тем сесть не суждено.
Мелькают шпаги, ленты, шляпы, шали.
Все дамы, все на зрелище попали!
Они глазами так и целят в вас,
Подстрелят мигом, но убьют едва ли
И, ранив, сами вылечат тотчас
(Мы гибнем лишь в стихах из-за прекрасных глаз).

* * *

Но стихло все. Верхом, как отлитые,
Въезжают пикадоры из ворот.
Плюмаж их белый, шпоры — золотые,
Оружье — пика. Конь храпит и ржет,
С поклоном выступают все вперед.
По кругу — вскачь, и шарф над каждым вьется.
Их четверо. Кого ж награда ждет?
Кого толпа почтит как полководца,
Кому восторженно испанка улыбнется?

---

[1] *Хайгет, Ричмонд-Хилл, Вер* — дачные места под Лондоном.
[2] *Эль* — крепкое светлое пиво; *грог* — горячий напиток из коньяка или рома с сахаром.
[3] *Гранд* — испанский дворянин.

* * *

В средине круга — пеший матадор.
Противника надменно ждет он к бою.
Он облачен в блистательный убор,
Он шпагу держит сильною рукою.
Вот пробует медлительной стопою,
Хорош ли грунт. Удар его клинка —
Как молния. Не нужен конь герою,
Надежный друг, что на рогах быка
Нашел бы смерть в бою, но спас бы седока.

* * *

Трубят протяжно трубы, и мгновенно
Цирк замер. Лязг засова, взмах флажком —
И мощный зверь на желтый круг арены
Выносится в пролет одним прыжком.
На миг застыл. Не в бешенстве слепом,
Но в цель уставясь грозными рогами,
Идет к врагу, могучим бьет хвостом,
Взметает гравий и песок ногами
И яростно косит багровыми зрачками.

* * *

Но вот он стал. Дорогу дай, смельчак,
Иль ты погиб! Вам биться, пикадоры!
Смертелен здесь один неверный шаг,
Но ваши кони огненны и скоры.
На шкуре зверя чертит кровь узоры.
Свист бандерилий [1], пик разящих звон...
Бык повернул, идет — скорее шпоры!
Гигантский круг описывает он
И мчится, бешенством и болью ослеплен.

* * *

И вновь назад! Бессильны пики, стрелы,
Конь раненый, взвиваясь, дико ржет.
Наездники уверены и смелы,
Но тут ни сталь, ни сила не спасет.
Ужасный рог вспорол коню живот,
Другому — грудь. Как рана в ней зияет!
Разверст очаг, где жизнь исток берет.
Конь прянул, мчится, враг его бросает,
Он гибнет, падая, но всадника спасает.

---

[1] *Бандерилья* — небольшое копье, употребляемое при бое быков.

* * *

Средь конских трупов, бандерилий, пик,
Изранен, загнан, изнурен борьбою,
Стоит, храпя, остервенелый бык,
А матадор взвивает над собою
Свой красный шарф, он дразнит, нудит к бою,
И вдруг прыжок, и вражий прорван строй,
И бык летит сорвавшейся горою.
Напрасно! Брошен смелою рукой,
Шарф хлещет по глазам; взмах, блеск,
и кончен бой.

* * *

Где сращена с затылком мощным шея,
Там входит сталь. Мгновенье медлит он,
Не хочет, гордый, пасть к ногам злодея,
Не выдаст муки ни единый стон.
Но вот он рухнул. И со всех сторон
Ревут, вопят, ликуют, бьют в ладони.
Въезжает воз, четверкой запряжен,
Втащили тушу, и в смятенье кони,
Рванув, во весь опор бегут, как от погони.

* * *

Так вот каков испанец! С юных лет
Он любит кровь и хищные забавы.
В сердцах суровых состраданья нет,
И живы здесь жестоких предков нравы.
Кипят междоусобные расправы.
Уже я мнил, война народ сплотит,—
Увы! Блюдя обычай свой кровавый,
Здесь другу мстят из-за пустых обид,
И жизни теплый ключ в глухой песок бежит.

* * *

Но ревность, заточенные красотки,
Невольницы богатых стариков,
Дуэньи [1], и запоры, и решетки —
Все минуло, все ныне — хлам веков.
Чьи девы так свободны от оков,
Как (до войны) испанка молодая,
Когда она плясала средь лугов
Иль пела песнь, венок любви сплетая,
И ей в окно луна светила золотая?

---

[1] *Дуэнья* — в Испании — пожилая женщина, назначаемая в «компаньонки» девушке или молодой женщине и следящая за каждым ее шагом.

* * *

Гарольд не раз любил, иль видел сон —
Да, сон любви: любовь ведь сновиденье.
Но стал угрюмо-равнодушным он.
Давно в своем сердечном охлажденье
Он понял: наступает пробужденье,
И пусть надежды счастье нам сулят,
Кончается их яркое цветенье,
Волшебный исчезает аромат,
И что ж останется? Кипящий в сердце яд.

* * *

В нем прелесть женщин чувства не будила,
Он стал к ним равнодушней мудреца,
Хотя его не мудрость охладила,
Свой жар высокий льющая в сердца.
Изведав все пороки до конца,
Он был страстями, что отбушевали,
И пресыщеньем обращен в слепца,
И жизнеотрицающей печали
Угрюмым холодом черты его дышали.

* * *

Он в обществе был сумрачен и хмур,
Хоть не питал вражды к нему. Бывало,
И песнь споет, и протанцует тур,
Но сердцем в том участвовал он мало,
Лицо его лишь скуку выражало.
Но раз он бросил вызов сатане.
Была весна, все радостью дышало,
С красавицей сидел он при луне
И стансы ей слагал в вечерней тишине.

ИНЕСЕ

Не улыбайся мне, не жди
Улыбки странника ответной.
К его бесчувственной груди
Не приникай в печали тщетной.

Ты не разделишь, милый друг,
Страданья дней его унылых,
Ты не поймешь причины мук,
Которым ты помочь не в силах.

Когда бы ненависть, любовь
Иль честолюбье в нем бродило!

Нет, не они велят мне вновь
Покинуть все, что сердцу мило.

То скука, скука! С давних пор
Она мне сердце тайно гложет.
О, даже твой прекрасный взор,
Твой взор его развлечь не может!

Томим сердечной пустотой,
Делю я жребий Агасфера [1].
И в жизнь за гробовой чертой,
И в эту жизнь иссякла вера.

Бегу от самого себя,
Ищу забвенья, но со мною
Мой демон злобный, мысль моя,—
И в сердце места нет покою.

Другим все то, что скучно мне,
Дает хоть призрак наслажденья.
О, пусть пребудут в сладком сне,
Не зная муки пробужденья!

Проклятьем прошлого гоним,
Скитаюсь без друзей, без дома
И утешаюсь тем одним,
Что с худшим сердце уж знакомо.

Но с чем же? — спросишь ты. О нет,
Молчи, дитя, о том ни слова!
Взгляни с улыбкой мне в ответ,
Но сердца не пытай мужского.

* * *

Прости, прости, прекрасный Кадикс [2] мой!
Напрасно враг грозил высоким стенам,
Ты был средь бурь незыблемой скалой,
Ты не знаком с покорностью и пленом.
И если, гневом распален священным,
Испанца кровь дерзал ты проливать,—
То суд был над изменником презренным [3].

---

[1] *Агасфер* — «Вечный жид», по преданию, бессмертный и осужденный, не находя себе пристанища, скитаться по земле «до скончания веков».

[2] Кадикс прославился как неприступная крепость во время освободительной войны 1807—1814 годов. Байрон напоминает, что этот город был цитаделью испанской независимости и в период борьбы с маврами.

[3] В 1809 году губернатор Кадикса был убит народом за измену.

Но изменить могла здесь только знать,
Лишь рыцарь был готов чужой сапог лобзать.

* * *

Испания, таков твой жребий странный:
Народ-невольник встал за вольность в бой.
Бежал король, сдаются капитаны,
Но твердо знамя держит рядовой.
Пусть только жизнь дана ему тобой,
Ему, как хлеб, нужна твоя свобода.
Он все отдаст за честь земли родной,
И дух его мужает год от года.
«Сражаться до ножа!» — таков девиз народа.

* * *

...Ты видишь трупы женщин и детей
И дым над городами и полями?
Кинжала нет — дубиной, ломом бей!
Пора кончать с незваными гостями!
На свалке место им, в помойной яме!
Псам кинуть труп — и то велик почет!
Засыпь поля их смрадными костями
И тлеть оставь — пусть внук по ним прочтет,
Как защищал свое достоинство народ!

* * *

...Вот странствий Чайльда первая страница.
Кто пожелает больше знать о нем,
Пусть следовать за мною потрудится,
Пока есть рифмы в словаре моем.
Бранить меня успеете потом.
Ты, критик мой, сдержи порыв досады!
Прочти, что видел он в краю другом,
Там, где заморских варваров отряды
Бесстыдно грабили наследие Эллады.

ИЗ ПЕСНИ ВТОРОЙ

* * *

Пою тебя, небесная, хоть к нам,
Поэтам бедным, ты неблагосклонна.
Здесь был, богиня мудрости, твой храм.
Над Грецией прошли врагов знамена,
Огонь и сталь ее терзали лоно,
Бесчестило владычество людей,
Не знавших милосердья и закона

И равнодушных к красоте твоей.
Но жив твой вечных дух средь пепла и камней.

* * *

Увы, Афина, нет твоей державы!
Как в шуме жизни промелькнувший сон,
Они ушли, мужи бессмертной славы,
Те первые, кому среди племен
Венец бессмертья миром присужден.
Где? Где они? За партой учат дети
Историю ушедших в тьму времен,
И это все! И на руины эти
Лишь отсвет падает сквозь даль тысячелетий.

* * *

О сын Востока, встань! Перед тобой
Племен гробница — не тревожь их праха!
Сменяются и боги чередой,
Всем нить прядет таинственная Пряха [1],
Был Зевс, пришло владычество Аллаха,
И до тех пор сменяться вновь богам,
Покуда смертный, отрешась от страха,
Не перестанет жечь им фимиам [2]
И строить на песке пустой надежды храм.

* * *

Он, червь земной,— чего он ищет в небе?
Довольно бы того, что он живет.
Но так он ценит свой случайный жребий,
Что силится загадывать вперед,
Готов из гроба кинуться в полет
Куда угодно, только б жить подоле,
Блаженство ль там или страданье ждет.
Взвесь этот прах! Тебе он скажет боле,
Чем все, что нам твердят о той, загробной доле.

* * *

...Я сяду здесь, меж рухнувших колонн,
На белый цоколь. Здесь, о вседержитель,
Сатурна сын [3], здесь был твой гордый трон.

---

[1] В древнеримской мифологии три богинии судьбы (Парки) пряли нить человеческой жизни.

[2] *Фимиам* — благовоиное вещество, которое воскуряют при обрядах.

[3] *Сатурн* — в древиеримской мифологии бог времеии и плодородия. *Сатурна сын* — Юпитер, верховное божество.

Но из обломков праздный посетитель
Не воссоздаст в уме твою обитель.
Никто развалин вздохом не почтит.
И, здешних мест нелюбопытный житель,
На камни мусульманин не глядит,
И проходящий грек поет или свистит.

* * *

Но кто же, кто к святилищу Афины
Последним руку жадную простер?
Кто расхищал бесценные руины,
Как самый злой и самый низкий вор?
Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!
Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,
Но не почтил их сын шотландских гор[1]:
Он, переплыв бушующие воды,
В усердье варварском ломал колонны, своды.

* * *

Что пощадили время, турок, гот,
То нагло взято пиктом[2] современным.
Нет, холоднее скал английских тот,
Кто подошел с киркою к этим стенам,
Кто не проникся трепетом священным,
Увидев прах великой старины.
О, как страдали, скованные пленом,
Деля богини скорбь, ее сыны,
Лишь видеть и молчать судьбой обречены!

* * *

Ужель признают, не краснея, бритты,
Что Альбион был рад слезам Афин,
Что Грецию, молившую защиты,
Разграбил полумира властелин!
Страна свободы, страж морских пучин,
Не ты ль была заступницей Эллады!
И твой слуга, твой недостойный сын
Пришел, не зная к слабому пощады,
Отнять последнее сокровище Паллады!

---

[1] Речь идет о хищничестве Англии, грабившей и вывозившей в свои музеи исторические ценности и произведения искусства Древней Греции. *Сын шотландских гор* — Байрон здесь и в следующих трех строфах имеет в виду английского посла лорда Эльджина, шотландца по происхождению, который вывез из Греции в Англию богатейшую коллекцию памятников древнего зодчества и скульптуры.

[2] *Пикты* — название группы древних племен, населявших Шотландию.

* * *

...Глух тот, кто прах священный не почтит
Слезами горя, словно прах любимой!
Слеп тот, кто меж обломков не грустит
О красоте, увы, невозвратимой!
О, если б гордо возгласить могли мы,
Что бережет святыни Альбион,
Что алтари его рукой хранимы!
Нет, все поправ, увозит силой он
Богов и зябких нимф под зимний небосклон.

* * *

Но где ж Гарольд остался? Не пора ли
Продолжить с ним его бесцельный путь?
Его и здесь друзья не провожали,
Не кинулась любимая на грудь,
Чтоб знал беглец, о ком ему вздохнуть.
Хоть красоты иноплеменной гений
И мог порой в нем сердце всколыхнуть,
Он скорбный край войны и преступлений
Покинул холодно, без слез, без сожалений.

* * *

Кто бороздил простор соленых вод,
Знаком с великолепною картиной:
Фрегат нарядный весело плывет,
Раскинув снасти тонкой паутиной.
Играет ветер в синеве пустынной,
Вскипают шумно волны за кормой.
Уходит берег. Стаей лебединой
Вдали белеет парусный конвой.
И солнца свет, и блеск пучины голубой!

* * *

...Вей, ветер, вей, наш парус надувая!
День меркнет, скоро солнце уж зайдет.
Так растянулась за день наша стая,
Хоть в дрейф ложись, пока не рассветет!
На флагмане уже спускают грот [1],
И, верно, остановимся мы вскоре.
А ведь ушли б на много миль вперед!
Вода подобна зеркалу. О, горе —
Ленивой свиты ждать, когда такое море!

---

[1] *Грот* — нижний парус на второй от носа мачте корабля.

* * *

Встает луна. Какая ночь, мой бог!
Средь волн дрожит дорожка золотая.
В такую ночь один ваш страстный вздох —
И верит вам красотка молодая.
Неси ж на берег нас, судьба благая!
Но Арион[1] нашелся на борту
И так хватил по струнам, запевая,
Так лихо грянул в ночь и в темноту,
Что все пустились в пляс, как с милыми в порту.

* * *

Корабль идет меж берегов высоких.
Две части света[2] смотрят с двух сторон.
Там — пышный край красавиц чернооких,
Здесь — черного Марокко нищий склон.
Испанский берег мягко освещен,
Видны холмы, под ними лес зубчатый,
А тот — гигантской тенью в небосклон
Вонзил свои береговые скаты,
Не озаренные косым лучом Гекаты[3].

* * *

Ночь. Море спит. О, как в подобный час
Мы ждем любви, как верим, что любили,
Что друг далекий ждет и слышит нас,
Хоть друга нет, хоть все о нас забыли.
Нет, лучше сон в безвременной могиле,
Чем юность без любимой, без друзей!
Ах, если сердце мы похоронили,
Тогда на что и жизнь, что толку в ней?
Кто может возвратить блаженство детских дней!

* * *

Глядишь за борт, следишь, как в глуби водной
Дианы рог мерцающий плывет,
И сны забыты гордости бесплодной,
И в памяти встает за годом год,
И сердце в каждом что-нибудь найдет,
Что было жизни для тебя дороже,

---

[1] *Арион* — древнегреческий поэт, певец и музыкант. В переносном смысле — поэт, певец.
[2] Европа и Африка, разделенные Гибралтарским проливом.
[3] *Геката* — одно из мифологических имен луны.

И ты грустишь, и боль в душе растет,
Глухая боль... Что тягостней, о боже,
Чем годы вспоминать, когда ты был моложе!

* * *

Лежать у волн, сидеть на крутизне,
Уйти в безбрежность в дикие просторы,
Где жизнь вольна в беспечной тишине,
Куда ничьи не проникали взоры;
По козьим тропкам забираться в горы,
Где грозен шум летящих в бездну вод,
Подслушивать стихий мятежных споры,—
Нет, одиноким быть не может тот,
Чей дух с природою один язык найдет.

* * *

Зато в толпе, в веселье света мимом,
В тревогах, смутах, шуме суеты
Идти сквозь жизнь усталым пилигримом
Среди богатств и жалкой нищеты,
Где нелюбим и где не любишь ты,
Где многие клянутся в дружбе ныне
И льстят тебе, хоть, право, их черты
Не омрачатся при твоей кончине,—
Вот одиночество, вот жизнь в глухой пустыне!

* * *

...Но между тем мы долгий путь прошли,
И зыбкий след наш поглотили воды.
Мы шквал, и шторм, и штиль перенесли,
И солнечные дни, и непогоды —
Все, что несут удачи и невзгоды
Жильцам морских крылатых крепостей,
Невольникам изменчивой природы,—
Все позади, и вот среди зыбей —
Ура! Ура! — земля! Ну, други, веселей!

* * *

...Над скалами Албании суровой
Восходит день. Вот Пинд[1] из темных туч,
В тюрбане белом, черный и лиловый,
Возник вдали. На склонах мшистых круч
Селенья бледный освещает луч.

---

[1] *Пинд* — горный хребет в Северной Греции.

Там лютый барс в расселинах таится,
Орел парит, свободен и могуч.
Там люди вольны, точно зверь и птица,
И буря, Новый год встречая, веселится.

* * *

И вот где Чайльд один! Пред ним края
Для христианских языков чужие.
Любуясь ими, но и страх тая,
Иной минует скалы их крутые.
Однако Чайльд изведал все стихии,
Не ищет гроз, но встретить их готов,
Желаний чужд, беспечен, и впервые
Дыша свободой диких берегов,
И зной он рад терпеть и холод их снегов.

* * *

...Минуя Пинд, и воды Ахерузы [1],
И главный город, он туда идет,
Где Произвол надел на Вольность узы,
Где лютый вождь [2] Албанию гнетет,
Поработив запуганный народ.
Где лишь порой, неукротимо дики,
Отряды горцев с каменных высот
Свергаются, грозя дворцовой клике,
И только золото спасает честь владыки.

* * *

...В суровых добродетелях воспитан,
Албанец твердо свой закон блюдет.
Он горд и храбр, от пули не бежит он,
Без жалоб трудный выдержит поход.
Он — как гранит его родных высот.
Храня к отчизне преданность сыновью,
Своих друзей в беде не предает
И, движим честью, мщеньем иль любовью,
Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью.

* * *

Среди албанцев прожил Чайльд немало.
Он видел их в триумфе бранных дней,

[1] *Ахеруза* — древнее название реки Фанариотикос в Северной Греции.
[2] *Лютый вождь* — всесильный правитель Албании Али-паша.

Видал и в час, когда он, жертва шквала,
Спасался от бушующих зыбей.
Душою черствый в час беды черствей,
Но их сердца для страждущих открыты —
Простые люди чтут своих гостей.
И лишь у вас, утонченные бритты,
Так часто не найдешь ни крова, ни защиты!

* * *

Случилось так, что ветром и волной
Корабль Гарольда к Сулии[1] помчало,
Чернели рифы, и ревел прибой,
Но капитан и не искал причала.
Была гроза, и море бушевало,
Однако люди больше волн и скал
Боялись тут засады и кинжала,
Который встарь без промаха карал,
Когда незваный гость был турок или галл.

* * *

Но все ж подплыть отважились — и что же?
Их сулиоты в бухту провели
(Гостеприимней шаркуна-вельможи
Рыбак иль скромный труженик земли),
Очаг в хибарке и светец зажгли,
Развесили одежды их сырые,
Радушно угостили, чем могли,—
Не так, как филантропы[2] записные,
Но как велят сердца бесхитростно-простые.

* * *

...Моя Эллада! Красоты гробница!
Бессмертная и в гибели своей,
Великая в паденье! Чья десница
Сплотит твоих сынов и дочерей?
Где мощь и непокорство прошлых дней,
Когда в неравный бой за Фермопилы
Шла без надежды горсть богатырей?
И кто же вновь твои разбудит силы
И воззовет тебя, Эллада, из могилы?

---

[1] *Сулия* — албанский городок. *Сулиоты* — греко-албанское племя, героически боровшееся с турками за свою независимость.

[2] *Филантропы* — благотворители в буржуазных странах, занимающиеся оказанием помощи беднякам.

* * *

Когда за вольность бился Фразибул [1],
Могли ль поверить гордые Афины,
Что покорит их некогда Стамбул
И ввергнет в скорбь цветущие долины.
И кто ж теперь Эллады властелины?
Не тридцать их [2] — кто хочет, тот и князь.
И грек молчит, и рабьи гнутся спины,
И, под плетьми турецкими смирясь,
Простерлась Греция, затоптанная в грязь.

* * *

Лишь красоте она не изменила,
И странный блеск в очах таит народ,
Как будто в нем еще былая сила
Неукротимой вольности живет.
Увы! Он верит, что не вечен гнет,
Но веру он питает басней вздорной,
Что помощь иноземная придет
И раздробит ярем его позорный,
И вырвет слово «грек» из книги рабства черной.

* * *

Рабы, рабы! Иль вами позабыт
Закон, известный каждому народу?
Вас не спасут ни галл, ни московит,
Не ради вас готовят их к походу,
Тиран падет, но лишь другим в угоду.
О Греция! Восстань же на борьбу!
Раб должен сам добыть себе свободу!
Ты цепи обновишь, но не судьбу.
Иль кровью смыть позор, иль быть рабом рабу!

* * *

...Нет, Греция, тот разве патриот,
Кто, болтовнею совесть успокоя,
Тирану льстит, покорно шею гнет
И с видом оскорбленного героя
Витийствует и прячется от боя.
И это те, чьих дедов в оны дни
Страшился перс и трепетала Троя!
Ты все им дать сумела, но взгляни:
Не любят матери истерзанной они!

---

[1] *Фразибул* — афинский политический деятель конца V века до н. э., поборник рабовладельческой демократии.

[2] В конце V века до н. э. в Афинах было образовано правительство из тридцати человек (так называемое «правительство тридцати тиранов»).

* * *

Когда сыны Лакедемона[1] встанут
И возродится мужество Афин,
Когда сердца их правнуков воспрянут
И жены вновь начнут рождать мужчин,
Ты лишь тогда воскреснешь из руин.
Тысячелетья длится рост державы,
Ее низвергнуть — нужен час один,
И не вернут ей отошедшей славы
Ни дальновидный ум, ни злата звон лукавый.

* * *

...Но ты жива, священная земля,
И так же Фебом пламенным согрета.
Оливы пышны, зелены поля,
Багряны лозы, светел мед Гимета[2].
Как прежде, в волнах воздуха и света
Жужжит и строит влажный сот пчела,
И небо чисто, и роскошно лето.
Пусть умер гений, вольность умерла,—
Природа вечная прекрасна и светла.

* * *

...И все же ты, как в древности, чудесен,
Ты каждой гранью прошлого велик,
Заветный край героев, битв и песен,
Где родился божественный язык,
Что и в пределы Севера проник
И зазвучал, живой и юный снова,
В сердцах горячих, на страницах книг,—
Искусства гордость, мудрости основа,
Богов и светлых муз возвышенное слово.

ИЗ ПЕСНИ ТРЕТЬЕЙ

* * *

...Продолжим нить рассказа моего!
Ты, мыслящий над пастью гроба черной
О бренности! Взгляни на прах того,
Кто был как свет, как пламень животворный.
Он здесь рожден[3], и здесь, где ветер горный

---

[1] *Лакедемон* — Спарта, одна из областей Древней Греции.
[2] *Гимет* — гора в Аттике.
[3] В этой и следующих одиннадцати строфах Байрон пишет о Жан-Жаке Руссо, великом французском просветителе, уроженце Женевы.

Бальзамом веет в сердце, он созрел,
К вершинам славы шел тропой неторной
И, чтоб венчать бессмертьем свой удел,—
О глупость мудреца! — все отдал, чем владел.

* * *

Руссо, апостол роковой печали,
Пришел здесь в мир, злосчастный для него,
И здесь его софизмы [1] обретали
Красноречивой скорби волшебство.
Копаясь в ранах сердца [2] своего,
Восторг безумья он являл в покровах
Небесной красоты, и оттого
Над книгой [3], полной чувств и мыслей новых,
Читатель слезы лил из глаз, дотоль суровых.

* * *

Любовь безумье страсти в нем зажгла,—
Так дуб стрела сжигает громовая.
Он ею был испепелен дотла,
Он не умел любить, не погибая.
И что же? Не красавица живая,
Не тень усопшей, вызванная сном,
Его влекла, в отчаянье ввергая,—
Нет, чистый образ, живший только в нем,
Страницы книг его зажег таким огнем.

* * *

Тот пламень — чувство к Юлии прекрасной,
Кто всех была и чище и нежней,
То поцелуев жар, увы, напрасный,
Лишь отклик дружбы находивший в ней,
Но, может быть, в унынье горьких дней
Отрадой мимолетного касанья
Даривший счастье выше и полней,
Чем то, каким — ничтожные созданья! —
Мы упиваемся в восторгах обладанья.

* * *

Всю жизнь он создавал себе врагов,
Он гнал друзей, любовь их отвергая.
Весь мир подозревать он был готов.

---

[1] *Софизм* — ложно построенное умозаключение.
[2] Имеется в виду автобиографическое сочинение Руссо «Исповедь».
[3] Речь идет о романе Руссо «Новая Элоиза»; *Юлия* — героиня этого романа. Далее, говоря о *«двух избранных душах»*, Байрон подразумевает Юлию и ее возлюбленного Сен-Пре.

На самых близких месть его слепая
Обрушивалась, ядом обжигая,—
Так светлый разум помрачала тьма.
Но скорбь виной, болезнь ли роковая?
Не может проницательность сама
Постичь безумие под маскою ума.

* * *

И, молнией безумья озаренный,
Как пифия на троне золотом,
Он стал вещать, и дрогнули короны,
И мир таким заполыхал огнем,
Что королевства, рушась, гибли в нем.
Не так ли было с Францией, веками
Униженной, стонавшей под ярмом,
Пока не поднял ярой мести знамя
Народ, разбуженный Руссо с его друзьями [1].

* * *

И страшен след их воли роковой.
Они сорвали с правды покрывало,
Разрушив ложных представлений строй,—
И взорам сокровенное предстало.
Они, смешав Добра и Зла начала,
Все прошлое низвергли. Для чего?
Чтоб новый трон потомство основало,
Чтоб выстроило тюрьмы для него
И мир опять узрел насилья торжество.

* * *

Так не должно, не может больше длиться!
Народ восстал, оковы сбросил он,
Но не сумел в свободе утвердиться.
Почуяв силу, властью ослеплен,
Забыл он все — и жалость и закон.
Кто рос в тюрьме, во мраке подземелий,
Не может быть орлу уподоблен,
Чьи очи в небо с первых дней глядели,—
Вот отчего он бьет порою мимо цели.

* * *

Чем глубже рана, тем упорней след.
Пускай из сердца кровь уже не льется,
Рубец остался в нем на много лет.
Но тот, кто знал, за что с судьбою бьется,
Пусть бой проигран, духом не сдается.

---

[1] Французская революция 1789—1794 годов была подготовлена деятельностью великих французских просветителей — Руссо, Дидро, Монтескье, Вольтера и др.

Страсть притаилась и безмолвно ждет.
Отчаянью нет места. Все зачтется
В час торжества. Возмездие придет,
Но Милосердье пусть проверит Мести счет.

* * *

Леман! [1] Как сладок мир твой для поэта,
Изведавшего горечь бытия!
От шумных волн, от суетного света
К тебе пришел я, горная струя.
Неси ж меня, заветная ладья!
Душа отвергла сумрачное море
Для светлых вод, и, мнится, слышу я,
Сестра [2], твой голос в их согласном хоре:
«Вернись! Что ищешь ты в бушующем просторе?»

* * *

Нисходит ночь. В голубоватой мгле
Меж берегом и цепью гор окрестной
Еще все ясно видно на земле.
Лишь Юра [3], в тень уйдя, стеной отвесной,
Вся черная, пронзила свод небесный.
Цветов неисчислимых аромат
Восходит ввысь. Мелодией чудесной
Разносится вечерний звон цикад,
И волны шепчутся и плещут веслам в лад.

* * *

...Недаром здесь Руссо капризный гений
Остановил мечты своей полет
И приютил для чистых наслаждений
Две избранных души. У этих вод
Психеи пояс распустил Эрот [4],
Благословив для счастья эти склоны.
Там тишина и нега. Там цветет
Гармония. Над ложем светлой Роны
Там Альп возносятся блистательные троны.

* * *

Лозанна и Ферней! Святой предел,
Где двух титанов обитают тени [5],
Где смертных вел тропой бессмертных дел

---

[1] *Леман* — Женевское озеро в Швейцарии.
[2] Августа Ли, сводная сестра Байрона.
[3] *Юра* — горный хребет в Швейцарии.
[4] *Эрот* — в древнегреческой мифологии бог любви.
[5] Байрон говорил о Вольтере и Гиббоне, видном английском историке XVIII века, который одно время жил в Швейцарии, в Лозанне. *Ферней* — собственное поместье Вольтера близ Женевы.

На штурм небес отважившийся гений.
Здесь разум на фундаменте сомнений
Дерзнул создать мятежной мысли храм,
И если гром не сжег ее творений,
Так, значит, не впервые небесам
Улыбкой отвечать на все угрозы нам.

* * *

Один из них Протей[1] был — вечно новый,
Изменчивый, ни в чем не знавший уз,
Шутник, мудрец, то кроткий, то суровый,
Хронист, ученый и любимец муз,
Предписывавший миру мненья, вкус,
Оружьем смеха исправлявший нравы,
Как ветер вольный, истинный француз,
Прямой, коварный, добрый, злой, лукавый,
Бичующий глупцов колеблющий державы.

* * *

Другой — пытлив, медлителен, глубок,
Упорством мысли изощрял сужденья,
Оттачивал иронии клинок,
Отдав труду ночей бессонных бденья,
Насмешкой низвергал предубежденья,
И — бог сарказма! — яростью глупцов
Был ввергнут в ад на муки искупленья,—
Там, если верить россказням попов,
Для усомнившихся ответ на все готов.

ИЗ ПЕСНИ ЧЕТВЕРТОЙ

* * *

...Я изучил наречия другие,
К чужим входил не чужестранцем я.
Кто независим, тот в своей стихии,
В какие ни попал бы он края,—
И меж людей, и там, где нет жилья.
Но я рожден на острове Свободы
И Разума — там родина моя,
Туда стремлюсь! И пусть окончу годы
На берегах чужих, среди чужой Природы,

[1] В древнегреческой мифологии морское божество, способное бесконечно менять свой внешний облик. Байрон сравнивает с Протеем Вольтера.

* * *

И мне по сердцу будет та страна,
И там я буду тлеть в земле холодной,—
Моя душа! Ты в выборе вольна.
На родину направь полет свободный,
И да останусь в памяти народной,
Пока язык Британии звучит,
А если будет весь мой труд бесплодный
Забыт людьми, как ныне я забыт,
И равнодушие потомков оскорбит

* * *

Того, чьи песни жар в сердцах будили,—
Могу ль роптать? Пусть в гордый пантеон
Введут других, а на моей могиле
Пусть будет древний стих напечатлен:
«Среди спартанцев был не лучшим он» [1].
Шипами мной посаженного древа —
Так суждено! — я сам окровавлен,
И, примирясь, без горечи, без гнева
Я принимаю плод от своего посева...

* * *

Тебя любил я, море! В час покоя
Уплыть в простор, где дышит грудь вольней,
Рассечь руками шумный вал прибоя —
Моей отрадой было с юных дней.
И страх веселый пел в душе моей,
Когда гроза внезапно налетала,
Твое дитя, я радовался ей,
И, как теперь, в дыханье буйном шквала
По гриве пенистой рука тебя трепала.

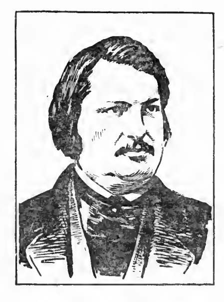
* * *

Мой кончен труд, дописан мой рассказ,
И гаснет, как звезда перед зарею,
Тот факел, о который я не раз
Лампаду поздней зажигал порою.
Что написал, то написал,— не скрою,
Хотел бы лучше, но уж я не тот,
Уж, верно, старость кружит надо мною,
Скудеет чувств и образов полет,
И скоро холодом зима мне в грудь дохнет...

Перевод *В. Левика*

---

[1] Так ответила мать убитого спартанского полководца Брасида тем, кто превозносил доблесть ее сына.



БАЛЬЗАК

Великий французский писатель Оноре Бальзак (Honoré Balzac, 1799—1850) не успел осуществить грандиозного замысла «Человеческой комедии» — эпического цикла, который должен был состоять из ста пятидесяти произведений и стать, по мысли автора, художественным исследованием всей «социальной действительности» его времени. Написано было девяносто шесть произведений: Бальзак подвижнически трудился в течение двадцати лет, не выпуская из пальцев пера по 15—16 часов в сутки. Но и в незавершенном виде «Человеческая комедия» — величайшее создание художественного гения, всеобъемлющая панорама человеческих судеб, отношений, характеров, пристальное исследование жизни французского общества в период от Ватерлоо до революции 1848 г. «Бальзак... в своей «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную историю французского общества, описывая в виде хроники почти год за годом, с 1816 по 1848 г., все усиливающийся напор подымающейся буржуазии на дворянское общество, которое после 1815 г. перестроило свои ряды и снова, насколько это было возможно, показало образец старинной французской изысканности. Он показывает, как последние остатки этого образцового для него общества либо постепенно гибли под натиском вульгарного богача-выскочки, либо были им развращены»,— писал Энгельс (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные письма. М., Госполитиздат, 1953, с. 405).

Бальзак считал, что его задача как художника — проникнуть в самое существо действительности, выявить ее

закономерности, ее характерные черты и на основании этого определить законы, этой действительностью управляющие, «ловить скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий». В соответствии с художественной задачей Бальзак выделял в «Человеческой комедии» три основных раздела. В первый входили «Этюды о нравах», которые, в свою очередь, подразделялись на шесть циклов: сцены частной жизни, сцены парижской жизни, сцены провинциальной жизни и т. д. Этот наиболее обширный раздел составляли произведения, рисующие жизнь, быт и нравы различных слоев французского общества,— «Евгения Гранде» (1833), «Отец Горио» (1834—1835), «Утраченные иллюзии» (1837—1843), «Музей древностей» (1837), «Крестьяне» (1844) и др. Во второй раздел были собраны «Философские этюды», которые должны были обобщить художественные открытия, сделанные в «Этюдах о нравах», выявить закономерности жизни,— «Шагреневая кожа» (1831), «Поиски абсолюта» (1834) и др. Наконец, «Аналитические этюды» должны были формулировать законы, управляющие действительностью. Понять и художественно осмыслить такое огромное количество фактов и жизненного материала Бальзаку помогли его богатый опыт и умение превращать в объект исследования собственные неудачи.

Бальзак родился в небогатой разночинной семье и, получив среднее образование в частных парижских школах, поступил в старейший французский университет Сорбонну на отделение права. После окончания университета он, однако, отказался от профессии юриста и заявил родным, что желает стать писателем. В начале 20-х годов он лихорадочно писал романы, от которых впоследствии сам отказывался,— писал «для денег», которых ему, разумеется, не принесли эти ученические поделки в духе модной тогда беллетристики. Бальзак пробовал заняться коммерцией: сделался издателем, затем приобрел типографию. «Дело» потерпело крах, и Бальзак до самой смерти выплачивал долги кредиторам. Вернувшись к литературе, Бальзак в 1829 г. опубликовал произведение, сделавшее его имя известным,— роман «Шуаны», первую из написанных им книг «Человеческой комедии». С этого времени Бальзак всецело посвятил себя литературе. Издатели и кредиторы осаждали его денежными требованиями, он в полном смысле слова работал как проклятый. Непосильный труд приблизил смерть великого художника.

Новелла «Гобсек» написана в 1830 г. и входит в сцены частной жизни «Этюдов о нравах». Образ Гобсека, ростовщика-накопителя,— обобщение характерных черт частнособственнической психологии. Власть денег над человеком, извращение отношений между людьми раскрыты Бальзаком с точным лаконизмом большого мастера.

В своих политических убеждениях Бальзак был легитимистом, т. е. сторонником монархии. Презирая буржуа, «новый класс», он возлагал надежды на аристократию. Однако в своих художественных выводах Бальзак-писатель часто опровергал Бальзака-легитимиста. «Его великое произведение,— писал Энгельс о «Человеческой комедии»,— нескончаемая элегия по поводу непоправимого разложения высшего общества; его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех людей, которым больше всего симпатизировал,— аристократов и аристократок!» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные письма. М., Госполитиздат, 1953, с. 406). В новелле «Гобсек» Бальзак не только вывел типичного буржуа эпохи накопления капитала, но показал, что дворянство к этой эпохе не приспособлено и обречено на гибель самим ходом истории. Перевела новеллу *Н. И. Немчинова.*

Произведения Бальзака можно прочитать в издании:

Бальзак О. Собрание сочинений в 24 томах. М., Правда, 1960.

О жизни и творчестве Бальзака см.:

Муравьева Н. Бальзак. М., Учпедгиз, 1958.

Реизов Б. Г. Бальзак. Л., Гослитиздат, 1960.

Цвейг, Стефан. Бальзак. М., Молодая гвардия, 1962.

Моруа, Андре. Прометей, или Жизнь Бальзака. М., Прогресс, 1967.

ГОБСЕК

Барону Баршу де Пононэ

Из всех бывших питомцев Вандомского коллежа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще,— недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами De viris illustribus[1]. *Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его.*

Твой старый школьный товарищ де Бальзак.

Как-то раз зимою 1829—1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет[2], подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжавшего кабриолета[3], что подтвердило опасение матери.

— Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто так же, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения — в девичестве ее фамилия была Горио, и в молодости

---

[1] «О знаменитых мужах». Сочинение римского историка Корнелия Непота (I век до н. э.).

[2] *Пикет* — старинная игра в карты для двух лиц.

[3] *Кабриолет* — легкий двухколесный экипаж.

она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф ее обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но,— добавила виконтесса с лукавым видом,— пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.

— Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! — воскликнул вышеупомянутый друг семьи.— Я выиграл, граф,— сказал он, обращаясь к партнеру.— Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.

— Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! — воскликнула виконтесса.— Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что́ я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.

— Я все понял по вашим глазам,— ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло.

Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а г-жа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.

— Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.

— Историю?! — воскликнула Камилла.— Скорей рассказывайте, господин Дервиль!

Стряпчий бросил на г-жу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье[1], и, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и держать себя в ее салоне запросто, но объяснить это очень легко. Г-жа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм цивильного листа[2], положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в свое время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвра-

---

[1] *Сен-Жерменское предместье* — район Парижа, заселенный во времена Бальзака дворянской знатью.

[2] *Цивильный лист* — денежная сумма, выделяемая государством на содержание монарха и его двора.

щения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала н довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние г-жи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесятн тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении г-жи Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома г-жи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы г-жи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть,— в нем не было пронырливости истого стряпчего. С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона г-жи де Гранлье, словно щеголь с Шоссе д'Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:

— Жаль, что у этого юношн нет двух-трех миллионов! Правда?

— Почему «жаль»? Я не считаю это несчастьем,— ответила она.— Господин де Ресто человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда «этот юноша» окажется у власти, богатство само придет к нему в руки.

— Да, но вот если б он уже сейчас был богат!

— Если б он был богат?..— краснея, повторила Камилла.— Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривалн бы его друг у друга,— добавила она, указывая на участниц кадрили.

— И тогда,— заметил стряпчий,— мадемуазель де Гранлье не была бы едннственным магнитом, притягнвающнм его взоры. Вы, кажется, покраснели,— почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите...

Камнлла вспорхнула с кресла.

«Она влюблена в него»,— подумал Дервиль.

С этого дня Камилла выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Эрнесту де Ресто.

А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним скользило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то, указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность — это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.

Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:

— Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романтической истории, единственной в моей жизни... Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать,— речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать *лунным ликом*, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью — пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана[1], казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу[2]. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью,— совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать го-

---

[1] *Талейран* (1754—1838) — известный французский дипломат и государственный деятель; прославился своей политической изворотливостью и беспринципностью.

[2] *Габриэль Метсу* — голландский живописец XVII века, современник Рембрандта, великого голландского художника.

лос. По примеру Фонтенеля[1], он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди — человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости,— право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка[2]. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице де Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы,— еще раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были подстать друг другу — совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое по причине безденежья во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.

---

[1] *Фонтенель* — французский писатель, автор «Бесед о множественности миров», дожил до ста лет (1657—1757).

[2] *Кожаный Чулок* — охотник Натти Бумпо, герой романов Фенимора Купера.

— Это не моя! — воскликнул он, замахав рукой.— Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!

По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха-привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него, по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная — Гобсек[1]. Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в 1740 году, в предместье Антверпена; мать у него была еврейка, отец — голландец, полное его имя было Жан-Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной *Прекрасная Голландка.* Как-то в разговоре с бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:

— Это моя внучатая племянница.

Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что Прекрасную Голландку звали Сарра ван Гобсек. Когда я попросил его объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил улыбаясь:

— В нашем роду женщины никогда не выходили замуж.

Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался двадцать лет. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попранной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал господина де Лалли, адмирала Симеза, господина де Кергаруэта и д'Эстена, байи де Сюфрена, господина де Портандюэра, лорда Корнуэлса, лорда Хастингса, отца Типпо-Саиба и самого Типпо-Саиба[2]. С ним вел дела тот савояр[3], что служил в Дели радже Махаджи-Синдиаху и был пособником могущества династии Махараттов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом и

[1] Живоглот. *Стерн, Лоренс* (1713—1768) — английский писатель-сентименталист, мастер парадокса.

[2] *Де Лалли,* адмирал *Симез* и другие упоминаемые Дервилем лица — военные и политические деятели Франции, Англии и Индии XVIII века.

[3] Речь идет о выходце из Савойи, Бенуа ле Боринь (1770—1831), нажившем огромное богатство на службе у властителей княжества Дели в Индии.

другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове Сен-Тома. Он все перепробовал, чтобы разбогатеть, даже пытался разыскать пресловутый клад — золото, зарытое племенем дикарей где-то в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям войны за независимость Соединенных Штатов. Но об Индии или об Америке он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей «болтливости». Если человечность, общение меж людьми считать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками. Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола. Если все ростовщики похожи на него, то они, верно, принадлежат к разряду бесполых. Остался ли он верен религии своей матери и смотрел на христиан как на добычу? Стал ли католиком, магометанином, последователем брахманизма, лютеранином? Я ничего не знал о его верованиях. Он казался скорее равнодушным к вопросам религии, чем неверующим. Однажды вечером я зашел к этому человеку, обратившемуся в золотого истукана и прозванного его жертвами в насмешку или по контрасту «папаша Гобсек». Он, по обыкновению, сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не оживлялось красками, а казалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой привычный стул.

«О чем думает это существо? — спрашивал я себя.— Знает ли он, что есть в мире бог, чувства, женская любовь, счастье?»

И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяжко болен. Однако я прекрасно понимал, что если у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами, которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил.

— Здравствуйте, папаша Гобсек,— сказал я.

Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись,— это характерное для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина.

— Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой.

— Жертвой? — удивленно переспросил он.

— А помните, он добился полюбовной сделки с вами, переписал свои векселя на основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы вы скостили ему долг по этому соглашению.

— Да, он хитер был,— подтвердил старик.— Но я его потом опять прищемил.

— Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется, сегодня тридцатое число.

Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо шевельнул бровями; а затем писклявым тихим голоском, очень похожим на звук флейты в руках неумелого музыканта, произнес:

— Я развлекаюсь.

— Так вы иногда и развлекаетесь?

— А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи? — спросил он, пожав плечами и презрительно сощурившись.

«Поэзия? В такой голове?» — удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни.

— А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня? — сказал он, и взгляд его загорелся.— Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Вы глядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас подведу итог человеческой жизни. Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, все равно приходит возраст, когда вся жизнь — только привычка к излюбленной среде. И тогда счастье состоит в упражнении своих способностей применительно к житейской действительности. А кроме этих двух правил, все остальные — фальшь. У меня вот принципы менялись сообразно обстоятельствам — приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей примерялся ко всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения — пустые слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется *личным интересом*. Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это... золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком месте жить — это значения не имеет. А что касается нравов — человек везде одинаков: везде идет борьба между бедными и богатыми, везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые люди трудятся, а худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду они одинаково истощают силы; переживает все наслаждения только одна утеха — тщеславие. Тщеславие! Это всегда наше «я». А что может удовлетворить тщеславие?

Золото! Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности и усилия. Ну что ж! В золоте все содержится в зародыше, и все оно дает в действительности.

Одни только безумцы да больные люди могут находить счастье в том, чтобы убивать все вечера за картами в надежде выиграть несколько су. Только дураки могут тратить время на размышления о самых обыденных делах — возляжет ли такая-то дама на диван одна или в приятном обществе и чего у ней больше: крови или лимфы, темперамента или добродетели? Только простофили могут воображать, что они приносят пользу ближним, занимаясь установлением принципов политики, чтобы управлять событиями, которых никогда нельзя предвидеть. Только олухам может быть приятно болтать об актерах и повторять их остроты, каждый день кружиться на прогулках, как звери в клетках, разве лишь на пространстве чуть побольше; рядиться ради других, задавать пиры ради других, похваляться чистокровной лошадью или новомодной коляской, которую посчастливилось купить на целых три дня раньше, чем соседу. Вот вам вся жизнь ваших парижан, вся она укладывается в эти несколько фраз,— верно? Но взгляните на существование человека с той высоты, на какую им не подняться. В чем счастье? Это или сильные волнения, подтачивающие нашу жизнь, или размеренные занятия, которые превращают ее в некое подобие хорошо отрегулированного английского механизма. Выше этого счастья стоит так называемая «благородная» любознательность, стремление проникнуть в тайны природы и добиться известных результатов, воспроизводя ее явления. Вот вам, в двух словах, искусство и наука, страсть и спокойствие. Верно? Так вот, все человеческие страсти, распаленные столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии. Научную вашу любознательность, своего рода поединок, в котором человек всегда бывает повержен, я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечество. Словом, я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти.

— Да вот послушайте,— заговорил он, помолчав,— я расскажу вам две истории, случившиеся сегодня утром на моих глазах, и вы поймете, в чем мои утехи.

Он поднялся, заложил дверь засовом, подошел к окну, задернул старый ковровый занавес, кольца которого взвизгнули, скользнув по металлическому пруту, и снова сел в кресло.

— Нынче утром,— сказал он,— мне надо было предъявить должникам только два векселя,— остальные я еще вчера пустил в ход при расчетах по своим операциям. И то барыш! Ведь при учете я сбрасываю с платежной суммы расходы по взиманию долга и ставлю по сорок су за извозчика, хотя и не думал его нанимать. Разве не забавно, что из-за каких-нибудь шести фран-

ков учетного процента я бегу через весь Париж? Это я-то! Человек, который никому не подвластен и платит налога всего семь франков. Первый вексель, на тысячу франков, учел у меня молодой человек, писаный красавец и щеголь: у него жилетки с искрой, у него и лорнет, и тильбюри, и английская лошадь, и тому подобное. А выдан был вексель женщиной, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок — графа. Почему же ее сиятельство графиня подписала вексель, юридически недействительный, но практически вполне надежный? Ведь эти жалкие женщины, светские дамы, до того боятся семейных скандалов в случае протеста векселя, что готовы бывают расплатиться собственной своей особой, коли не могут заплатить деньгами. Мне захотелось узнать тайную цену этого векселя. Что тут скрывается: глупость, опрометчивость, любовь или состраданье? Второй вексель на такую же сумму, подписанный некоей Фанни Мальво, учел у меня купец, торгующий полотном, верный кандидат в банкроты. Ведь ни один человек, если у него еще есть хоть самый малый кредит в банке, не придет в мою лавочку: первый же его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные поиски ссуды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных оленей, за которыми гонится целая свора заимодавцев. Графиня живет на Гельдерской улице, а Фанни Мальво — на улице Монмартр. Сколько догадок я строил, когда выходил нынче утром из дому! Если у этих двух женщин нечем заплатить, они, конечно, примут меня ласковей, чем отца родного. Уж как графиня начнет фокусничать, какую будет комедию ломать из-за тысячи франков! Приветливо заулыбается, заговорит вкрадчивым, нежным голоском, каким любезничает с тем молодчиком, на чье имя выдан вексель, пожалуй, будет даже умолять меня! А я...

Старик бросил на меня холодный взгляд.

— А я непоколебим! — сказал он.— Я появляюсь, как возмездие, как укор совести... Ну, оставим мои догадки. Прихожу.

— Графиня еще не вставала,— заявила мне горничная.

— Когда ее можно видеть?

— Не раньше двенадцати.

— Что ж, графиня больна?

— Нет, сударь, она вернулась с бала в три часа утра.

— Моя фамилия Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я еще раз зайду в полдень.

И я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей — не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимости. Прихожу на улицу Монмартр, в неказистый дом, отворяю ветхую калитку в воротах, вижу двор — настоящий колодец, куда никогда не заглядывает солнце. В каморке при-

вратиницы темио, стекло в окие грязное, как измызганный, засаленный рукав теплого халата, да еще все в трещинах.

— Здесь живет мадемуазель Фанни Мальво?

— Живет, только ее сейчас нет дома. Но если вы насчет векселя, то оиа оставила для вас деньги.

— Я зайду попозже,— сказал я.

Деньги оставлены у привратницы — прекрасно, ио мне любопытно посмотреть иа самое должницу. Мне почему-то казалось, что это хорошенькая вертихвостка. Ну вот. Утро я провел иа бульваре, рассматривал гравюры в окиах магазиное. Но ровно в полдень я уже проходил по гостиной, смежиой со спальней графини.

— Барыня только что позвонила,— заявила мие горничная.— Не думаю, чтобы оиа сейчас приняла вас.

— Я подожду,— ответил я и уселся в кресло.

Открываются жалюзи, прибегает горничная.

— Пожалуйте, сударь.

По сладкому голоску горничной я понял, что хозяйке заплатить иечем. Зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покрывалом вырисовывалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем[1],— значит, не меньше двух тысяч франков в год уходило на прачку, мастерицу по стирке тонкого белья. Голова ее была небрежно повязана, как у креолки[2], пестрым шелковым платком, а из-под него выбивались крупные черные локоны. Раскрытая постель была смята, и беспорядок ее говорил о тревожном сне. Художник дорого бы дал, чтобы побыть хоть несколько минут в спальне моей должницы в это утро. Складки занавесей у кровати дышали сладостной негой, сбитая простыня на голубом шелковом пуховике, смятая подушка, резко белевшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками, казалось, еще сохраняли неясный отпечаток дивных форм, дразнивших воображение. На медвежьей шкуре, разостланной у бронзовых львов, поддерживающих кровать красного дерева, блестел атлас белых туфелек, небрежно сброшенных усталой женщиной по возвращении с бала. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвились прозрачные чулки, которые унесло бы дуновением ветерка. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блестки полураскрытого дорогого веера. Ящики комода остались незадвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы, бриллианты, перчатки, букет, пояс и прочие принадлежности бального наряда. Пахло какими-то тонкими духами. Во всем была красота, лишенная гармонии, роскошь и бес-

[1] *Пеньюар* — утреннее женское платье, род капота; *рюш* — украшение на платье в виде оборки.

[2] *Креолы* — потомки испанских и португальских колонизаторов в странах Латинской Америки.

порядок. И уже нищета, грозившая этой женщине или ее возлюбленному, притаившаяся за всей этой роскошью, поднимала голову и казала им свои острые зубы. Утомленное лицо графини было под стать всей ее опочивальне, усеянной приметами минувшего празднества.

Разбросанные повсюду безделки вызвали во мне чувство жалости: еще вчера все они были ее убором, и кто-нибудь восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленной угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты и выдавали танталовы усилия[1] поймать ускользающие наслаждения. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности ее кожи, но лицо ее как будто припухло, темные тени под глазами, казалось, обозначались резче обычного. И все же природная энергия била в ней ключом, а все эти признаки безрассудной жизни не портили ее красоты. Глаза ее сверкали, она была великолепна; она напоминала одну из прекрасных Иродиад кисти Леонардо да Винчи[2] (я ведь когда-то перепродавал картины старых мастеров), от нее веяло жизнью и силой. Ничего не было хилого, жалкого ни в линиях ее стана, ни в ее чертах; она, несомненно, должна была внушать любовь, но сама, казалось мне, была сильнее любви. Словом, эта женщина понравилась мне. Давно мое сердце так не билось. Ну, значит, я уже получил плату. Я сам отдал бы тысячу франков за то, чтобы вновь изведать ощущения, напоминающие мне дни молодости.

— Сударь,— сказала она, предложив мне сесть,— не будете ли вы так любезны немного отсрочить платеж?

— До полудня следующего дня, графиня,— сказал я, складывая вексель, который предъявил ей.— До этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель.

А мысленно я говорил ей: «Плати за всю эту роскошь, плати за свой титул, плати за свое счастье, за все исключительные преимущества, которыми ты пользуешься. Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильотину[3], к которой, как мотыльки на гибельный огонь, сами устремляются глупцы. Но для вас, для людей, которые спят на шелку и шелком укрываются, существует кое-что иное: укоры совести, скрежет зубовный, скрываемый улыбкой, химеры[4] с львиной пастью, вонзающие свои клыки вам в сердце».

---

[1] *Танталовы* — по имени лидийского царя Тантала, осужденного Зевсом на вечные муки от голода и жажды, которые царь никак не мог утолить; *танталовы усилия* — усилия мучительные и в то же время тщетные.

[2] *Леонардо да Винчи* (1452—1519) — великий итальянский художник, ученый и инженер эпохи Возрождения; *Иродиада* — внучка Ирода Великого, царя Иудеи, известная своим сластолюбием; по библейской легенде, Иоанн Креститель был обезглавлен по наущению Иродиады.

[3] *Гильотина* — устройство для смертной казни через обезглавливание.

[4] *Химера* — в древнегреческой мифологии огнедышащее чудовище с пастью льва, хвостом дракона и козьим туловищем; в переносном значении — несбыточная фантазия.

— Опротестовать вексель? Неужели вы решитесь? — воскликнула она, вперив в меня взгляд.— Неужели вы так мало уважаете меня?

— Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд еще скорее, чем на всякого другого должника.

В эту минуту кто-то тихо постучался в дверь.

— Меня нет дома! — властно крикнула графиня.

— Анастази, это я. Мне нужно поговорить с вами.

— Попозже, дорогой,— ответила она уже менее резким тоном, но все же отнюдь не ласково.

— Что за шутки! Ведь вы с кем-то разговариваете,— отозвался голос, и в комнату вошел мужчина — несомненно, сам граф.

Графиня на меня взглянула, я понял ее,— она стала моей рабой. Было время, юноша, когда я по глупости иной раз не опротестовывал векселей. В 1763 году в Пондишери я пощадил одну женщину, и что же! Здорово она меня общипала! Поделом мне,— зачем я ей доверился?

— Что вам угодно, сударь? — спросил меня граф.

И тут я вдруг заметил, что его жена вся дрожит мелкой дрожью и белая атласная шея пошла у нее пупырышками,— как говорится, покрылась гусиной кожей. А я смеялся в душе, но ни один мускул на лице у меня не шевельнулся.

— Это один из моих поставщиков,— сказала графиня.

Граф повернулся ко мне спиной, а я вытащил из кармана угол сложенного векселя. Увидев этот беспощадный жест, молодая женщина подошла ко мне и подала мне бриллиант.

— Возьмите,— сказала она.— И скорее уходите.

В обмен на бриллиант я отдал вексель и, поклонившись, вышел. На мой взгляд, бриллиант стоил верных тысячу двести франков. На графском дворе я увидел толпу всякой челяди — лакеи чистили щетками свои ливрейные фраки, наводили глянец на сапоги, конюхи мыли роскошные экипажи. И я подумал: вот что гонит ко мне знатных господ. Вот что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину. Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхаживая пешком, важный барин и всякий, кто силится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь. Как раз тут ворота распахнулись, и въехал в кабриолете тот самый молодой щеголь, который учел у меня вексель графини.

— Сударь,— сказал я, когда он выскочил из кабриолета,— вот двести франков, передайте их, пожалуйста, графине и скажите ей, что заклад, который она мне дала, я немножко придержу и недельку он будет в ее распоряжении.

Щеголь взял двести франков, и по губам его скользнула насмешливая улыбка, говорившая: «Ага, заплатила! Ну что ж, отлично!»

И я прочел на его лице всю будущность графини. Этот белокурый красавчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит ее, разорит ее мужа, разорит детей, промотав их наследство, да и в других салонах учинит разгром почище, чем артиллерийская батарея в неприятельских войсках.

Затем я отправился на улицу Монмартр к мадемуазель Фанни. Я поднялся по узкой крутой лестнице на шестой этаж. Меня впустили в квартирку из двух комнат, где все сверкало чистотой, блестело, как новенький дукат; ни пылинки не было на мебели в первой комнате, где меня приняла хозяйка, мадемуазель Фанни, молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом парижанки; у нее была грациозная головка, свежее личико и приветливый вид; каштановые, красиво зачесанные волосы, спускаясь двумя гладкими полукружиями, прикрывали виски, и это сообщало какое-то тонкое выражение ее голубым глазам, чистым, как кристалл. Солнце, пробиваясь сквозь занавески на окнах, озаряло мягким светом весь ее скромный облик. Вокруг нее стопками лежали раскроенные куски полотна, и я понял, чем она зарабатывала на жизнь: она, конечно, была белошвейкой. Эта девушка казалась феей одиночества.

Я протянул ей вексель и сказал, что приходил утром, но не застал ее.

— А ведь деньги были у привратницы,— сказала она.

Я притворился, что не расслышал.

— Вы, как видно, рано выходите из дому.

— Вообще я очень редко куда выхожу, но, знаете, когда всю ночь просидишь за работой, хочется пойти искупаться.

Я посмотрел повнимательней и с первого взгляда разгадал ее. Передо мной, несомненно, была девушка, которую нужда заставляла трудиться не разгибая спины,— вероятно, дочь какого-нибудь честного фермера: на лице у нее еще виднелись мелкие веснушки, свойственные крестьянским девушкам. От нее веяло чем-то хорошим, по-настоящему добродетельным. Я как будто вступил в атмосферу искренности, чистоты душевной, и мне даже как-то стало легче дышать. Бедная простушка! Она во что-то верила: над изголовьем ее немудреной деревянной кровати висело распятие, украшенное двумя веточками букса. Я почти умилился. Я готов был предложить ей денег взаймы всего лишь из двенадцати процентов, чтобы помочь ей купить какое-нибудь прибыльное дело. «Ну нет,— образумил я себя.— У нее, пожалуй, есть молодой двоюродный братец, который заставит ее подписывать векселя и обчистит бедняжку». С тем я и ушел, предостерегая себя от великодушных порывов: ведь мне частенько приходилось наблюдать, что если самому благодетелю и не вредит благодеяние, то для того, кому оно оказано, подобная милость бывает гибельной. Когда вы вошли сегодня в мою комнату, я как раз думал о Фанни Мальво,— вот из кого вышла бы хорошая жена, мать семейства. Сравнить только чистую одинокую

жизнь этой девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась подписывать векселя, а скоро скатится на самое дно всяких пороков!

Задумавшись, он молчал с минуту, а я в это время разглядывал его.

— А ну-ка, скажите,— вдруг промолвил он,— разве плохие у меня развлечения? Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть ее без прикрас, во всей неприкрытой наготе? Каких только картин не насмотришься! Тут и мерзкие язвы, и неутешное горе, тут любовные страсти, нищета, которую подстерегают воды Сены, наслаждения юноши — роковые ступени, ведущие к эшафоту, смех отчаяния и пышные празднества. Сегодня видишь трагедию: какой-нибудь честный труженик, отец семейства покончил с собою, оттого что не мог прокормить своих детей. Завтра смотришь комедию: молодой бездельник пытается разыграть перед тобой современный вариант классической сцены обольщения Диманша[1] его должником! Вы, конечно, читали о хваленом красноречии новоявленных добрых пастырей[2] прошлого века? Я много раз тратил время, ходил их послушать. Им удалось кое в чем повлиять на мои взгляды, но повлиять на мое поведение — никогда! — как выразился кто-то. Так знайте же, все эти ваши прославленные проповедники, всякие там Мирабо, Верньо[3] и прочие — просто-напросто жалкие заики по сравнению с моими повседневными ораторами. Какая-нибудь влюбленная молодая девица, старик купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына, художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость и того и гляди из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий,— все эти люди иной раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актеры! И дают они представление для меня одного! Но обмануть меня им никогда не удается. У меня взор, как у господа бога: я читаю в сердцах. От меня ничто не укроется. А разве могут отказать в чем-либо тому, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служителей и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не представляют собою сущности вашего нового общественного строя? Таких, как я, в Париже человек десять; мы властители ваших судеб — тихонькие, никому не-

[1] *Диманш* — действующее лицо из комедии Мольера «Дон Жуан», тип застенчивого кредитора, обезоруженного вежливостью и ласковыми уговорами своего должника.

[2] *Пастырь* — наставник, руководитель.

[3] *Мирабо* (1749—1791), *Верньо* (1753—1793) — деятели Великой французской революции; славились как блестящие ораторы.

ведомые. Что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги? Помните, что средства к действию сливаются с его результатами: никогда не удастся разграничить душу и плотские чувства, дух и материю. Золото — вот духовная сущность всего нынешнего общества. Я и мои собратья, связанные со мною общими интересами, в определенные дни недели встречаемся в кафе «Фемида» возле Нового моста. Там мы беседуем, открываем друг другу финансовые тайны. Ни одно самое большое состояние не введет нас в обман, мы владеем секретами всех видных семейств. У нас есть своего рода «черная книга», куда мы заносим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле. В качестве духовников биржи мы образуем, так сказать, трибунал священной инквизиции, анализируем самые на вид безобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем верно. Один из нас надзирает за судейской средой, другой — за финансовой, третий — за высшим чиновничеством, четвертый — за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая молодежь, актеры и художники, светские люди, игроки — самая занятная часть парижского общества. И каждый нам рассказывает о тайнах своих соседей. Обманутые страсти, уязвленное тщеславие болтливы. Пороки, разочарование, месть — лучшие агенты полиции. Как и я, мои собратья всем насладились, всем пресытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания властью и деньгами. Вот здесь,— сказал он, поведя рукой,— в этой холодной комнате с голыми стенами, самый пылкий любовник, который во всяком другом месте вскипит из-за малейшего намека, вызовет на дуэль из-за острого словечка, молит меня, как бога, смиренно прижимая руки к груди! Проливая слезы бешеной ненависти или скорби, молит меня и самый спесивый купец, и самая надменная красавица, и самый гордый военный. Сюда приходит с мольбою и знаменитый художник и писатель, чье имя будет жить в памяти потомков. А вот здесь,— добавил он, прижимая палец ко лбу,— здесь у меня весы, на которых взвешиваются наследства и корыстные интересы всего Парижа. Ну, как вам кажется теперь,— сказал он, повернувшись ко мне бледным своим лицом, будто вылитым из серебра,— не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью?

Я вернулся к себе в комнату совершенно ошеломленным. Этот высохший старикашка вдруг вырос в моих глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти золота. Жизнь и люди внушали мне в эту минуту ужас.

«Да неужели все сводится к деньгам?» — думал я.

Помнится, я долго не мог заснуть. Мне все мерещились вокруг груды золота. Да и красавица графиня очень занимала меня. Должен признаться, к стыду моему, что она совсем затмила образ Фанни Мальво, простодушного, чистого создания, обреченного на труд и безвестность. Но утром, в туманных грезах пробуж-

дения, милый девический образ сразу возник передо мной во всей прелести, и я уже думал только о Фанни.

— Не хотите ли выпить стакан воды с сахаром? — спросила г-жа Гранлье, прервав Дервиля.

— С удовольствием,— ответил он.

— Знаете, я не вижу, какое отношение к нам имеет вся эта история,— заметила г-жа Гранлье, позвонив в колокольчик.

— Гром и молния! — воскликнул Дервиль, употребив любимое свое выражение.— Я сейчас сразу прогоню сон от глаз мадемуазель Камиллы,— пусть она знает, что ее счастье совсем еще недавно зависело от папаши Гобсека. Но так как старик на днях умер, дожив до восьмидесяти девяти лет, господин де Ресто скоро вступит во владение превосходным состоянием. Как и почему — это надо объяснить. А что касается Фанни Мальво, то вы ее хорошо знаете. Это моя жена.

— Друг мой,— заметила виконтесса де Гранлье,— вы, по свойственной вам откровенности, пожалуй, признаетесь в этом при двадцати свидетелях!

— Да я готов крикнуть это всему миру! — заявил стряпчий.

— Вот сладкая вода, пейте, милый мой Дервиль. Никогда вы ничего не достигнете, зато будете счастливейшим и лучшим из людей.

— Я, кажется, потерял нить,— сказал вдруг брат виконтессы, пробуждаясь от сладкой дремоты.— Так, вы, значит, были у какой-то графини на Гельдерской улице. Что вы там делали?

— Через несколько дней после моего разговора со стариком голландцем,— продолжал свой рассказ Дервиль,— я защитил диссертацию, получил степень лиценциата[1] прав, затем был зачислен в коллегию[2] стряпчих. Доверие ко мне старого скряги Гобсека очень возросло. Он даже обращался ко мне за советами по разным своим рискованным аферам, в которые смело пускался, собрав точные сведения, хотя даже самый искушенный делец счел бы их опасными. К удивлению моему, этот человек, на которого никто ни в чем не мог повлиять, выслушивал мои советы с какой-то почтительностью. Правда, они всегда шли ему на пользу. Но вот, проработав три года в конторе стряпчего, я получил там должность старшего клерка[3] и переехал с улицы де Грэ, так как мой патрон, помимо ста пятидесяти франков жалованья в месяц, давал мне теперь еще стол и квартиру. Какой это был счастливый день для меня! Когда я зашел к старому ростовщику проститься, он не сказал мне ни одного дружеского слова, не выразил никакого сожаления, не пригласил бывать у него, а толь-

---

[1] *Лиценциат* — ученая степень в некоторых странах, средняя между бакалавром и доктором.

[2] *Коллегия* — группа лиц, образующих какой-либо административный, распорядительный или совещательный орган.

[3] *Клерк* — служащий в конторе, учреждении или предприятии; конторщик, письмоводитель.

ко бросил на меня взгляд, свой удивительный, необыкновенный взгляд, по которому можно было подумать, что он обладает даром ясновидения. Однако неделю спустя старик сам навестил меня, принес запутанное дело об отчуждении земельного участка и с тех пор по-прежнему стал пользоваться моими безвозмездными советами с такою непринужденностью, как будто платил за них. В конце второго, 1818—1819 года, зимою, мой патрон, большой кутила и расточитель, оказался в стесненных обстоятельствах, вынуждавших его продать контору. Хотя в те времена цены на патент [1] стряпчего не достигали таких баснословных сумм, как теперь, он запросил за свое заведение немало —сто пятьдесят тысяч франков. Если б деятельному, знающему и толковому стряпчему доверили такую сумму на покупку этой конторы, он мог бы прилично жить на доходы от нее, оплачивать проценты и за десять лет расквитаться с долгом. Но у меня гроша за душой не было, так как отец у меня мелкий провинциальный буржуа. Я седьмой по счету в нашей семье, а из всех капиталистов в мире я был близко знаком только с Гобсеком... Но, представьте, честолюбивое желание и какой-то слабый луч надежды внушили мне дерзкую мысль обратиться к нему. И вот однажды вечером я медленным шагом направился на улицу де Грэ. Сердце у меня сильно билось, когда я постучался в двери хорошо мне знакомого угрюмого дома. Мне вспомнилось все, что я слышал от старого скряги в ту пору, когда я и не подозревал, какая мучительная тревога терзает людей, переступающих порог его жилища. И вот теперь я иду протоpенной ими дорожкой и буду так же просить, как они. «Ну нет,— решил я,— честный человек должен всегда и везде сохранять свое достоинство. Унижаться из-за денег не стоит. Покажу себя таким же практичным, как он».

Когда я съехал с квартиры, папаша Гобсек снял мою комнату, чтобы избавиться от соседей, и велел в своей двери прорезать решетчатое окошечко; меня он впустил только после того, как разглядел в это окошечко мое лицо.

— Что ж,— сказал он писклывым голоском,— ваш патрон продает свою контору?

— Откуда вы знаете? Он никому не говорил об этом, кроме меня.

Губы старика раздвинулись, и в углах рта собрались складки, как на оконных занавесках, но его немую усмешку сопровождал холодный взгляд.

— Только этому я обязан честью видеть вас у себя,— добавил он сухим тоном и умолк.

Я сидел как потерянный.

— Выслушайте меня, папаша Гобсек,— заговорил я наконец,

---

[1] *Патент* — документ на право заниматься торговлей или какой-либо деятельностью; свидетельство, выдаваемое изобретателю и закрепляющее за ним право на изобретение.

изо всех сил стараясь говорить спокойно, хотя бесстрастный взгляд этого старика, не сводившего с меня светлых блестящих глаз, смущал меня.

Он сделал жест, означавший: «Говорите!»

— Я знаю, что растрогать вас очень трудно. Поэтому я не стану тратить красноречия, пытаясь изобразить вам положение нищего клерка, у которого вся надежда только на вас, так как в целом мире ему не найти близкую душу, которой не безразлична его будущность. Но оставим близкие души в покое, дела решаются по-деловому, без чувствительных излияний и всяких нежностей. Положение дел вот какое. Моему патрону контора приносит двадцать тысяч дохода в год; но я думаю, что в моих руках она будет давать сорок тысяч. Я чувствую: вот тут есть кое-что,— сказал я, постучав себя пальцем по лбу,— и если бы вы согласились ссудить мне сто пятьдесят тысяч, необходимые для покупки конторы, я в десять лет расплатился бы с вами.

— Умные речи! — сказал Гобсек и наградил меня рукопожатием.— Никогда еще с тех пор, как я веду дела, ни один человек так ясно не излагал мне цели своего посещения. А какие гарантии? — спросил он, смерив меня взглядом, и тут же сам себе ответил: — Никаких. Сколько вам лет?

— Через десять дней исполнится двадцать пять. Иначе я бы не мог заключать договоры.

— Правильно.

— Ну, так как же?

— Пожалуй!

— Правда? Тогда надо все поскорее устроить, иначе перебьют, дадут дороже!

— Завтра утром принесите метрическую выпись, и мы поговорим о вашем деле. Я подумаю.

Утром, в восемь часов, я уже был у старика. Он взял у меня метрику, надел очки, откашлялся, сплюнул, закутался поплотнее в черную свою крылатку и внимательно прочел всю метрическую выпись, от первого до последнего слова; повертел ее в руках, поглядел на меня, опять покашлял, заерзал на стуле и сказал:

— Ну что ж, давайте торговаться.

Я затрепетал.

— Я беру за кредит по-разному,— сказал он,— самое меньшее пятьдесят процентов, сто, двести, а когда и пятьсот.

Я побледнел.

— Ну, а с вас по знакомству я возьму только двенадцать с половиной процентов...— Он замялся.— Нет, не так,— с вас я возьму тринадцать процентов в год. Подойдет вам?

— Подойдет,— ответил я.

— Смотрите. Если много, защищайтесь, Гроций[1] (он иногда в шутку называл меня Гроцием). Я с вас прошу тринадцать про-

[1] *Гроций* — известный голландский юрист XVII века.

центов — такое уж мое ремесло. Прикиньте — под силу вам столько платить? Я не люблю, когда человек сразу сдается. Еще раз спрашиваю, не много ль это?

— Нет,— ответил я.— Я расплачусь, придется только приналечь на работу.

— Вот оно что! — заметил Гобсек, поглядывая на меня искоса лукавым взглядом.— Значит, клиенты расплатятся?

— Ну нет, черт возьми! — воскликнул я.— Сам расплачусь. Я скорее дам себе руку отрубить, чем стану грабить людей.

— До свидания,— сказал Гобсек.

— Гонорар я буду брать по таксе.

— Таксы нет на некоторые дела — например, на получение отсрочек по платежам, на полюбовные соглашения. Тут можно брать по две, по три тысячи франков, а то и по шести тысяч в зависимости от важности дела, да еще за переговоры, за разъезды, за составление актов, всяких выписок и за говорильню в суде. Надо только уметь находить такие дела. Я вас буду рекомендовать как очень знающего и толкового стряпчего, стану посылать к вам клиентов, и они потащат к вам столько судебных исков, что ваша адвокатская братия лопнет от зависти. Мои коллеги Вербруст, Пальма́, Жигонне поручат вам вести дела об отчуждении земельных участков, а у них таких дел уйма. Значит, у вас будут две клиентуры: одна по наследству от вашего патрона, другую предоставляю вам я. Пожалуй, надо бы взять с вас пятнадцать процентов годовых, я ведь вам полтораста тысяч даю.

— Хорошо, пусть будет так, но не больше,— сказал я с твердостью, желая показать, что это предел и что дальше я не пойду.

Гобсек смягчился,— он, видимо, был доволен мной.

— За контору я сам уплачу вашему патрону,— сказал он,— я постараюсь добиться солидной скидки и с цены и с суммы залога.

— Пожалуйста. Обеспечьте себя какими угодно гарантиями.

— А вы мне выдадите после этого пятнадцать векселей, каждый на десять тысяч франков.

— Только надо зарегистрировать эту двойную сделку и...

— Нет! — сердито воскликнул Гобсек, прерывая меня.— Почему я должен доверять вам больше, чем вы мне?

Я промолчал.

— А сверх процентов,— добавил он уже благодушным тоном,— вы будете бесплатно, пока я жив, вести мои дела. Хорошо?

— Согласен, но никаких расходов из своих средств производить я не буду.

— Правильно! — сказал Гобсек.— А кстати,— добавил он с необычным для него ласковым выражением лица,— вы позволите мне навещать вас?

— Всегда буду рад вас видеть.

— Только, знаете, утром это и вам и мне неудобно: у вас свои дела, у меня свои.

— Приходите по вечерам.

— Нет, это тоже не годится,— живо возразил он.— Вам надо бывать в обществе, встречаться с клиентами. А у меня есть приятели, мы проводим вечера в кафе.

«Приятели? Неужели?» — подумал я и сказал: — Знаете что? Будем встречаться за обедом.

— Превосходно! — одобрил Гобсек.— После биржи, в пять часов. Условимся так: я буду приходить к вам два раза в неделю — по средам и субботам. Мы будем беседовать о делах, как друзья. Ого! Я иной раз бываю в веселом расположении духа. Вы угостите меня крылышком куропатки, бокалом шампанского, и мы с вами поболтаем. У меня в запасе уйма занимательных историй, о которых теперь уже можно рассказывать, и вы из них многому научитесь, узнаете людей, особенно женщин.

— Идет! Куропатка и шампанское.

— Смотрите, не роскошествуйте, а то лишитесь моего доверия. Не вздумайте поставить дом на широкую ногу. Наймите старуху кухарку, вот и вся прислуга. Я буду навещать вас, узнавать, в добром ли вы здоровье. Я ведь вложу в вас целый капитал! Хе-хе! Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. Ну, до свидания. Приходите под вечер с вашим патроном.

— Разрешите спросить, если вы не сочтете это нескромным любопытством,— сказал я старику, когда он проводил меня до порога,— зачем вам понадобилась моя метрическая выписка?

Жан-Эстер ван Гобсек пожал плечами и, хитро улыбаясь, ответил:

— До чего глупа молодежь! Извольте знать, господин стряпчий, и запомните хорошенько, чтоб вас не провели при случае,— ежели человеку меньше тридцати, то его честность и дарования еще могут служить в некотором роде обеспечением ссуды. А после тридцати уже ни на кого полагаться нельзя.

И он запер за мною дверь.

Три месяца спустя я стал стряпчим, а вскоре после этого мне посчастливилось, сударыня, выиграть тяжбы о возвращении вам вашей недвижимости. Успех этот принес мне некоторую известность. Хотя мне приходилось выплачивать Гобсеку огромные проценты, я через пять лет уже расквитался с ним полностью. Я женился на Фанни Мальво, которую полюбил всей душой. Сходство нашей с нею участи, трудовая жизнь и успехи еще укрепили наше взаимное чувство. Умер один из ее дядьев, разбогатевший фермер, и она получила по наследству семьдесят тысяч франков — это помогло мне расплатиться с Гобсеком. А с тех пор моя жизнь — непрерывное счастье и благополучие. Больше я о себе говорить не буду: счастливый человек — тема нестерпимо скучная. Вернемся к героям моей истории. Спустя год после покупки конторы я однажды, почти против воли, попал на холостяцкую

пирушку. Один из моих приятелей давал обед, проиграв пари молодому франту, светскому льву. Слава господина де Трай, блестящего денди, гремела тогда в салонах.

— Да и теперь еще гремит,— заметил граф де Борн, прерывая стряпчего.— Он неподражаемо носит фрак, неподражаемо правит лошадьми, запряженными цугом [1]. А как Максим играет в карты, как он кушает и пьет! Такого изящества манер в целом мире не увидишь. Он знает толк и в лошадях, и в шляпах, и в картинах. Женщины без ума от него. В год он проматывает тысяч сто, однако ж не слыхать, чтобы у него было хоть захудалое поместье или хоть какая-нибудь рента [2]. Это образец странствующего рыцаря нашего времени — странствует же он по салонам, будуарам, бульварам нашей столицы, это своего рода амфибия, ибо в натуре у него мужских черт столько же, сколько женских. Да, граф Максим де Трай — существо самое странное, на все пригодное и никуда не годное, субъект, внушающий и страх и презрение, всезнайка и круглый невежда, способный оказать благодеяние и совершить преступление, то подлец, то само благородство, бретер [3], больше испачканный грязью, чем запятнанный кровью, человек, которого могут терзать заботы, но не угрызения совести, которого ощущения занимают сильнее, чем мысли, по виду душа страстная и пылкая, а внутренне холодная, как лед,— блестящее соединительное звено между обитателями каторги и людьми высшего света. Ум у Максима де Трай незаурядный, из таких людей иногда выходят Мирабо, Питты, Ришелье, но чаще всего — графы де Хорн, Фукье-Тенвили и Коньяры [4].

— Так вот,— заговорил Дервиль, внимательно выслушав брата виконтессы,— я много слышал об этом человеке от несчастного старика Горио, одного из моих клиентов, и старательно уклонялся от опасной чести познакомиться с ним, когда встречал его в обществе. Но тут мой приятель так настойчиво звал меня на свой пир, что я не мог отказаться, иначе меня ославили бы ханжой. Вам, сударыня, трудно представить себе, что такое холостяцкий званый обед. Пышность, редкостные блюда, во всем роскошь, как у скряги, вздумавшего из тщеславия на один день пуститься в мотовство. Войдешь — и глаз оторвать не можешь: какой стройный порядок царит на накрытом столе! Сверкают

---

[1] *Цуг* — запряжка лошадей гуськом, в две или три пары.

[2] *Рента* — регулярно получаемый доход с имущества или земель; процент с капитала.

[3] *Бретёр* — человек, ищущий малейшего повода вызвать кого-нибудь на дуэль.

[4] *Вильям Питт-младший* (1759—1806) — премьер-министр Англии, непримиримый враг французской революции. Герцог *Арман-Эммануэль Ришелье* — французский министр при Реставрации. Граф *Антуан Хорн* был в 1720 году колесован за убийство, совершенное в целях ограбления. *Фукье-Тенвиль* — общественный обвинитель революционного трибунала французской революции, беспощадно боровшийся с врагами. *Коньяр* — авантюрист, глава бандитской шайки, выдававший себя за графа.

серебро и хрусталь, снежной белизной блещет камчатная скатерть. Словом, жизнь в цвету. Молодые люди очаровательны, улыбаются, говорят тихо, похожи на женихов под венцом, и все вокруг них сияет девственной чистотой. А через два часа... На столе разгром, как на бранном поле после побоища; повсюду осколки разбитых бокалов, скомканные салфетки; на блюдах искромсанные кушанья, на которые противно смотреть; крик, хохот, шутовские тосты, перекрестный огонь эпиграмм и циничных острот, побагровевшие лица, бессмысленно горящие глаза, разнузданная откровенность душевных излияний. Шум поднимается адский: один бьет бутылки, другой затягивает песню, третий вызывает приятеля на дуэль, а те, глядишь, обнимаются или дерутся. В воздухе стоит отвратительный чад, в котором смешалась целая сотня запахов, и такой рев, как будто кричат сто голосов разом. Никто уже не замечает, что он ест, что пьет и что говорит; один молчит угрюмо, другие болтают без умолку, а кто-нибудь, точно сумасшедший, твердит все одно и то же слово, равномерно гудит, как колокол; иные пытаются командовать этим сумбуром, самый искушенный предлагает поехать в злачные места. Если бы трезвый человек вошел сюда в это время, он, наверное, подумал бы, что попал на вакханалию[1]. И вот в таком диком угаре господин де Трай попытался заручиться моим расположением. Я еще кое-что соображал и держался настороже. Зато он казался вдребезги пьяным, хотя в действительности был в полном рассудке и думал только о своих делах. Уж не знаю, как это случилось, но он совсем меня околдовал, и в девять часов вечера, выходя из гостиной де Гриньона, я пообещал, что завтра утром свезу его к Гобсеку. Этот златоуст де Трай сумел просто с волшебной ловкостью опутать меня своими речами, ввертывая в них, и всегда очень к месту, такие слова, как «честь», «благородство», «графиня», «порядочная женщина», «добродетель», «несчастье», «отчаяние» и так далее. Утром, проснувшись, я попытался вспомнить, что я наговорил вчера, и с трудом мог собраться с мыслями. Наконец я припомнил, что, кажется, дочь одного из моих клиентов попала в беду и может лишиться доброго имени, уважения и любви супруга, если нынче утром до двенадцати часов не достанет пятидесяти тысяч франков. Тут были замешаны и карточные долги, и счета каретника, и какие-то растраты... Мой обаятельный собутыльник заверял меня, что эта дама довольно богата и за несколько лет сумеет бережливостью возместить урон, который нанесла своему состоянию. И только тут я понял, почему мой приятель так настойчиво приглашал меня к себе. Но признаюсь, к стыду своему, мне и на ум не приходило, что сам Гобсек был весьма заинтересован в примирении с блистательным денди. Едва я успел встать с постели, явился господин де Трай.

[1] *Вакханалия* — в Древней Греции празднество в честь бога вина Вакха; дикий разгул, оргия.

— Граф,— сказал я, когда мы обменялись обычными любезностями,— я, право, не понимаю, зачем вам нужно, чтобы я привел вас к Гобсеку,— ведь он самый учтивый и самый безобидный из всех ростовщиков. Он вам даст денег, если они есть у него,— вернее, если вы представите ему достаточные гарантии.

— Господин Дервиль,— ответил де Трай,— я не намерен насильно требовать от вас этой услуги, хотя вчера вы обещали мне оказать ее.

«Гром и молния! — мысленно воскликнул я.— Неужели я дам этому человеку повод думать, будто я не умею держать слово!»

— Вчера я имел честь объяснить вам, что очень некстати поссорился с папашей Гобсеком,— заметил де Трай.— Ведь во всем Париже, кроме него, не найдется такого финансиста, который в конце месяца, пока не подведен баланс, может выложить в одну минуту сотню тысяч. Вот я и попросил вас помирить меня с ним. Но не будем больше говорить об этом...

И господин де Трай, посмотрев на меня с учтиво-оскорбительной усмешкой, направился к двери.

— Я поеду с вами к Гобсеку,— сказал я.

Когда мы приехали на улицу де Грэ, денди все озирался вокруг с таким странным, напряженным вниманием и взгляд его выражал такую тревогу, что я был поражен. Он то бледнел, то краснел, то вдруг желтизна проступала у него на лице, а лишь только он завидел подъезд Гобсека, на лбу у него заблестели капельки пота. Когда мы выскочили из кабриолета, из-за угла на улицу де Грэ завернул фиакр [1]. Ястребиным своим взором молодой щеголь сразу разглядел в уголке кареты женскую фигуру, и на его лице вспыхнула почти звериная радость. Он подозвал проходившего мимо мальчишку и поручил ему подержать лошадь. Мы поднялись по лестнице и вошли к старику дисконтеру [2].

— Господин Гобсек,— сказал я,— вот я привел к вам одного из самых близких моих друзей. (Бойтесь его как дьявола,— шепнул я на ухо старику.) Надеюсь, по моей просьбе вы возвратите ему доброе свое расположение (за обычные проценты) и выручите его из беды (если это вам выгодно).

Господин де Трай низко поклонился ростовщику, сел и, приготовляясь выслушать его, принял изящно-угодливую позу царедворца, которая пленила бы кого угодно; но мой Гобсек сидел в кресле у камелька все так же неподвижно, все такой же бесстрастный. Он походил на статую Вольтера [3] в перестиле [4] Французской комедии [5], освещенную вечерними огнями. В качест-

[1] *Фиакр* — наемный экипаж.

[2] *Дисконтером* именуется в буржуазном банковом деле лицо, занимающееся досрочным учетом, т. е. оплатой до срока векселей и вообще долговых обязательств с вычетом следуемых по векселю процентов и комиссионных.

[3] *Вольтер* (1694—1768) — великий французский просветитель, писатель и философ.

[4] *Перистиль* — крытая галерея между рядом колонн и стеной здания.

[5] *Французская комедия* — знаменитый французский театр.

ве приветствия он лишь слегка приподнял истрепанный картуз, всегда покрывавший его голову, и мелькнувшая полоска голого черепа, желтого, как старый мрамор, довершила это сходство.

— Деньги у меня есть только для моих постоянных клиентов,— сказал он.

— Так вы, значит, очень разгневались, что я к другим пошел разоряться? — улыбнувшись, отозвался граф.

— Разоряться? — с иронией переспросил Гобсек.

— Вы хотите сказать, что у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего? А вы попробуйте-ка сыскать в Париже человека с таким вот солидным капиталом, как у меня! — воскликнул этот фат и, встав, повернулся на каблуках. Шутовская его выходка, имевшая почти серьезный смысл, нисколько, однако, не расшевелила Гобсека.

— А кто у меня самые закадычные друзья? — продолжал де Трай.— Господа Ронкероль, де Марсе, Франкессини, оба Ванденеса, Ажуда-Пинто — словом, самые блестящие в Париже молодые люди. Я неизменный партнер за карточным столом одного принца и хорошо известного вам посланника. Я собираю доход в Лондоне, в Карлсбаде, в Бадене, в Бате[1]. Великолепный промысел! Разве не верно?

— Верно.

— Вы со мной обращаетесь, как с губкой, черт подери! Даете мне пропитаться золотом в светском обществе, а в трудную для меня минуту возьмете да выжмите. Но смотрите, ведь и с вами то же самое случится. Смерть и вас выжмет, как губку.

— Возможно.

— Да если б не расточители, что бы вы делали? Мы с вами друг для друга необходимы, как душа и тело.

— Правильно.

— Ну, дайте руку, помиримся, папаша Гобсек. И проявите великодушие, если все это возможно, верно и правильно.

— Вы пришли ко мне,— холодно ответил ростовщик,— только потому, что Жирар, Пальма́, Вербруст и Жигонне по горло сыты вашими векселями и всем их навязывают, даже с убытком для себя в пятьдесят процентов. Но выложили-то они вам, по всей вероятности, только половину номинала, значит, векселя ваши и двадцати пяти процентов не стоят. Нет, нет. Слуга покорный! Куда это годится! — продолжал Гобсек.— Разве можно ссудить хоть грош человеку, у которого долгов на триста тысяч франков, а за душой ни сантима. Третьего дня на балу у барона Нусингена вы проиграли в карты десять тысяч.

— Милостивый государь,— ответил граф, с редкостной наглостью смерив его взглядом,— мои дела вас не касаются. Долг платежом красен.

---

[1] *Карлсбад* (ныне *Карловы Вары*), *Баден*, *Бат* — знаменитые курортные места в Европе.

— Верно.
— Мои векселя всегда будут оплачены.
— Возможно.
— И в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному: могу я или не могу представить вам достаточный залог под ссуду на ту сумму, которую я хотел бы занять.
— Правильно.

С улицы донесся шум подъезжавшего к дому экипажа.

— Сейчас я принесу вам кое-что, и вы, думается мне, будете вполне удовлетворены,— сказал де Трай и выбежал из комнаты.

— О сын мой! — воскликнул Гобсек, вскочив и пожимая мне руку.— Если заклад у него ценный, ты спас мне жизнь! Ведь я чуть не умер. Вербруст и Жигонне вздумали сыграть со мной шутку. Но благодаря тебе я сам нынче вечером посмеюсь над ними.

В радости этого старика было что-то жуткое. Впервые он так ликовал при мне, и как ни мимолетно было это мгновение торжества, оно никогда не изгладится из моей памяти.

— Сделайте мне одолжение, побудьте тут,— добавил Гобсек.— Хоть при мне пистолеты и я уверен в своей меткости, потому что мне случалось и на тигра ходить и на палубе корабля драться в абордажной схватке не на живот, а на смерть, а все-таки я побаиваюсь этого элегантного мерзавца.

Он подошел к письменному столу и сел в кресло. Лицо его вновь стало бледным и спокойным.

— Так, так! — сказал он, повернувшись ко мне.— Вы, несомненно, увидите сейчас ту красавицу, о которой я когда-то рассказывал вам. Я слышу в коридоре шаги аристократических ножек.

В самом деле, молодой франт вошел, ведя под руку даму, и я сразу узнал в ней одну из дочерей старика Горио, а по описанию Гобсека — ту самую графиню, в чью опочивальню он проник однажды. Она же сначала не заметила меня, так как я стоял в оконной нише и тотчас повернулся лицом к стеклу.

Войдя в сырую и темную комнату ростовщика, графиня бросила недоверчивый взгляд на Максима де Трай. Она была так хороша, что я, невзирая на все ее прегрешения, пожалел ее. Видно было, что сердце у нее щемит от ужасных мук, и ее гордое лицо с благородными чертами искажала плохо скрытая боль. Молодой щеголь стал ее злым гением. Я подивился прозорливости Гобсека,— уже четыре года назад он предугадал судьбу этих двух людей по первому их векселю. «Вероятно, это чудовище с ангельским лицом,— думал я,— властвует над ней, пользуясь всеми ее слабостями — тщеславием, ревностью, жаждой наслаждений, светской суетностью».

— Да и самые добродетели этой женщины, несомненно, были его оружием! — воскликнула виконтесса.— Он пользовался ее преданностью, умел разжалобить до слез, играл на великоду-

шии, свойственном нашему полу, злоупотреблял ее нежностью и очень дорого продавал ей преступные радости.

— Должен вам признаться,— заметил Дервиль, не понимая знаков, которые делала ему г-жа Гранлье,— я не оплакивал участи этого несчастного создания, пленительного в глазах света и ужасного для тех, кто читал в ее сердце, но я с отвращением смотрел на ее молодого спутника, сущего убийцу, хотя у него было такое ясное чело, румяные, свежие уста, милая улыбка, белоснежные зубы и ангельский облик. Оба они в эту минуту стояли перед своим судьей, а он наблюдал за ними таким взглядом, каким, верно, в шестнадцатом веке старый монах-доминиканец [1] смотрел на пытки каких-нибудь двух мавров в глубоком подземелье святейшей инквизиции.

— Сударь,— заговорила графиня срывающимся голосом,— можно получить вот за эти бриллианты полную их стоимость, оставив, однако, за собою право выкупить их? — И она протянула Гобсеку ларчик.

— Можно, сударыня,— вмешался я, выходя из оконной ниши.

Графиня быстро повернулась в мою сторону, вздрогнула, узнав меня, и бросила мне взгляд, который на любом языке означает: «Не выдавайте».

— У нас, юристов, такая сделка именуется «условной продажей, с правом последующего выкупа», и состоит она в передаче движимого или недвижимого имущества на определенный срок, по истечении коего собственность может быть возвращена владельцу при внесении им покупщику обусловленной суммы.

Графиня вздохнула с облегчением. Максим де Трай нахмурился, видимо, опасаясь, что при такой сделке ростовщик даст меньше, ибо ценность бриллиантов неустойчива. Гобсек молча схватил лупу и принялся рассматривать содержимое ларчика. Проживи я на свете еще сто лет, мне не забыть этой картины. Бледное лицо его разрумянилось, глаза загорелись каким-то сверхъестественным огнем, словно в них отражалось сверкание бриллиантов. Он встал, подошел к окну и, разглядывая драгоценности, подносил их так близко к своему беззубому рту, словно хотел проглотить их. Он бормотал какие-то бессвязные слова, доставал из ларчика то браслеты, то серьги с подвесками, то ожерелья, то диадемы [2], поворачивал их, определяя чистоту воды, оттенок и грань алмазов, искал, нет ли изъяна. Он вытаскивал их из ларчика, укладывал обратно, опять вынимал, опять поворачивал, чтобы они заиграли всеми таившимися в них огнями. В эту минуту он был скорее ребенком, чем стариком, или, вернее, он был и ребенком и стариком.

---

[1] *Доминиканцы* — католический монашеский орден, основанный в XIII веке, которому папа римский поручил руководство инквизицией.

[2] *Диадема* — женское украшение с драгоценными камнями в форме небольшой открытой короны.

— Хороши! Ах, хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы триста тысяч! Чистейшей воды! Несомненно, из Индии — из Голконды или из Висапура. Да разве вы знаете им цену? Нет, нет, во всем Париже только Гобсек сумеет их оценить. При Империи запросили бы больше двухсот тысяч, чтобы сделать на заказ такие уборы.— И с досадливым жестом он добавил: — А нынче бриллианты падают в цене, с каждым днем падают! После заключения мира Бразилия наводнила рынок алмазами, хоть они и желтоватой воды, не такие, как индийские. Да и дамы носят теперь бриллианты только на придворных балах. Вы, сударыня, бываете при дворе?

И, сердито бросая эти слова, он с невыразимым наслаждением рассматривал бриллианты один за другим.

— Хорош! Без единого пятнышка! — бормотал он.— А вот на этом точечка! А тут трещинка! А этот — красавец! Красавец!

Все его бледное лицо было освещено переливающимися отблесками алмазов, и мне пришли на память в эту минуту зеленоватые старые зеркала в провинциальных гостиницах, тусклое стекло которых совсем не отражает световых бликов, а смельчаку, дерзнувшему поглядеться в них, преподносит образ человека, умирающего от апоплексического удара.

— Ну, так как же? — спросил граф, хлопнув Гобсека по плечу.

Старый младенец вздрогнул. Он оторвался от любимых игрушек, положил их на письменный стол, сел в кресло и вновь стал только ростовщиком, учтивым, но холодным и жестким, как мраморный столб.

— Сколько вы желали бы занять?

— Сто тысяч. На три года,— ответил граф.

— Что ж, можно,— согласился Гобсек, осторожно доставая из шкатулки красного дерева свою драгоценность — неоценимые, точнейшие весы. Он взвесил бриллианты, определяя на глаз (бог весть как!) вес старинной оправы. Во время этой операции лицо его выражало и ликование и стремление побороть его. Графиня словно оцепенела, погрузившись в раздумье; и я порадовался за нее — мне казалось, что эта женщина увидела вдруг, в какую глубокую пропасть она скатилась. Значит, совесть еще не совсем заглохла в ее душе и, может быть, достаточно только некоторого усилия, достаточно лишь протянуть сострадательно руку, чтобы спасти ее. И я сделал попытку.

— Это ваши собственные бриллианты, сударыня? — спросил я.

— Да, сударь,— ответила она, надменно взглянув на меня.

— Пишите акт о продаже с последующим выкупом, болтун,— сказал Гобсек и, встав из-за стола, указал мне рукой на свое кресло.

— Вы, сударыня, вероятно, замужем? — задал я второй вопрос.

Графиия нетерпеливо кивиулаголовой.

— Я отказываюсь составлять акт! — воскликнул я.

— Почему это? — спросил Гобсек.

— Как «почему?» — возмутился я и, отведя старика к окну, вполголоса сказал: — Замужняя жеищина во всем зависит от мужа, сделка будет признана незакоиной, а вам не удастся сослаться на свое неведение, раз налицо будет акт. Вам придется предъявить эти бриллиаиты, так как в акте будут указаиы их вес, стоимость и граиь.

Гобсек прервал меня кивком головы и повериулся к двум преступникам:

— Он прав. Условия меияются. Восемьдесят тысяч наличными, а бриллиаиты останутся у меия,— добавил он глухим и тоненьким голоском.— При сделках иа движимое имущество собственность лучше всяких актов.

— Но...— заговорил было де Трай.

— Соглашайтесь или берите обратно,— перебил его Гобсек и протянул ларчик графиие.— Я не хочу рисковать.

— Гораздо лучше для вас броситься к ногам мужа,— шепнул я графине.

Ростовщик понял по движеиию моих губ, что́ я сказал, и бросил на меня холодиый взгляд.

Молодой щеголь побледнел как полотно. Графиия явно колебалась. Максим де Трай подошел к ией, и, хотя он говорил очеиь тихо, я расслышал слова: «Прощай, добрая Анастази. Будь счастлива. А я... Завтра я уже избавлюсь от всех забот».

— Сударь! — воскликиула графиия, быстро повернувшись к Гобсеку.— Я согласиа, я принимаю ваши условия.

— Ну, вот и хорошо! — отозвался старик.— Трудно вас уломать, красавица моя.— Он подписал банковский чек иа пятьдесят тысяч и вручил его графиие.— А вдобавок к этому,— сказал он с улыбкой, очень похожей на вольтеровскую,— я в счет остальной платежиой суммы дам вам на тридцать тысяч векселей, самых бесспорных, самых для вас надежиых. Все равио что золотом выложу эту сумму. Граф де Трай только что сказал мне: *«Мои векселя всегда будут оплачены»*,— добавил Гобсек, подавая графиие векселя, подписаииые графом, опротестоваииые накануне одним из собратьев Гобсека и, вероятно, продаииые за бесценок.

Максим де Трай разразился рычаиьем, в котором явственно прозвучали слова: «Старый подлец!»

Гобсек и бровью не повел, спокойно достал из картоиного футляра пару пистолетов и холодио сказал:

— Первый выстрел за мной, по праву оскорбленной стороны.

— Максим! — тихо вскрикнула графиня.— Извинитесь. Вы должиы извиииться перед господииом Гобсеком.

— Сударь, я не имел намерения оскорбить вас,— пробормотал граф.

— Я это прекрасно знаю,— спокойно ответил Гобсек.— В ваши намерения входило только не заплатить по векселям.

Графиня встала и, поклонившись, выбежала, видимо, охваченная ужасом. Графу де Трай пришлось последовать за ней, но на прощанье он сказал:

— Если вы хоть словом обмолвитесь обо всем этом, господа, прольется ваша или моя кровь.

— Аминь! — ответил ему Гобсек, пряча пистолеты.— Чтобы пролить свою кровь, надо ее иметь, милый мой, а у тебя в жилах вместо крови — грязь.

Когда хлопнула наружная дверь и оба экипажа отъехали, Гобсек вскочил с места и, приплясывая, закричал:

— А бриллианты у меня! А бриллианты-то мои! Великолепные бриллианты! Дивные бриллианты! И как дешево достались! А-а, господа Вербруст и Жигонне! Вы думали поддеть старика Гобсека? А я сам вас поддел! Я все получил сполна! Куда вам до меня! Мелко плаваете! Какие у них глупые будут рожи, когда я расскажу нынешнюю историю между двумя партиями в домино!

Эта свирепая радость, это злобное торжество дикаря, завладевшего блестящими камешками, ошеломила меня. Я остолбенел, онемел.

— Ах, ты еще тут, голубчик! Я и забыл совсем. Мы нынче пообедаем вместе. У тебя пообедаем,— я ведь не веду хозяйства, а все эти рестораторы с их подливками да соусами, с их винами — сущие душегубы. Они самого дьявола отравят.

Заметив, наконец, выражение моего лица, он сразу вернулся к холодной бесстрастности.

— Вам этого не понять,— сказал он, усаживаясь у камина, где стояла на жаровне жестяная кастрюлька с молоком.— Хотите позавтракать со мною? — добавил он. — Пожалуй, и на двоих хватит.

— Нет, спасибо,— ответил я.— Я всегда завтракаю в полдень.

В эту минуту в коридоре послышались чьи-то торопливые шаги.

Кто-то остановился у дверей Гобсека и яростно постучал в них. Ростовщик направился к порогу и, поглядев в окошечко, отпер двери. Вошел человек лет тридцати пяти, вероятно, показавшийся ему безобидным, несмотря на свой гневный стук.

Посетитель одет был просто, а наружностью напоминал покойного герцога Ришелье. Это был супруг графини, и вы, вероятно, встречали его в свете: у него была, прошу извинить меня за это определение, вельможная осанка государственных мужей, обитателей вашего предместья.

— Сударь,— сказал он Гобсеку, к которому вернулось все его спокойствие,— моя жена была у вас?

— Возможно.

— Вы что же, сударь, не понимаете меня?

— Не имею чести знать вашу супругу,— ответил ростов-

щик.— У меня нынче утром перебывало много народу — мужчины, женщины, девицы, похожие на юношей, и юноши, похожие на девиц. Мне, право, трудно...

— Шутки в сторону, сударь! Я говорю о своей жене. Она только что была у вас.

— Откуда же мне знать, что эта дама — ваша супруга? Я не имел удовольствия встречаться с вами.

— Ошибаетесь, господин Гобсек,— сказал граф с глубокой иронией.— Мы однажды утром встретились с вами в спальне моей жены. Вы приходили взимать деньги по векселю, по которому она никаких денег не получала.

— А уж это не мое дело разузнавать, какими ценностями ей была возмещена эта сумма,— возразил Гобсек, бросив на графа ехидный взгляд.— Я учел ее вексель при расчетах с одним из моих коллег. Кстати, позвольте заметить вам, граф,— добавил Гобсек без малейшей тени волнения, неторопливо засыпав кофе в молоко,— позвольте заметить вам, что, по моему разумению, вы не имеете права читать мне нотации в собственном моем доме. Я, сударь, достиг совершеннолетия еще в шестьдесят первом году прошлого века.

— Милостивый государь, вы купили у моей жены по крайне низкой цене бриллианты, не принадлежащие ей, это фамильные драгоценности.

— Я не считаю себя обязанным посвящать вас в тайны моих сделок, но скажу вам, однако, что, если графиня и взяла у вас без спросу бриллианты, вам следовало предупредить письменно всех ювелиров, чтобы их не покупали,— ваша супруга могла продать бриллианты по частям.

— Сударь! — воскликнул граф.— Вы ведь знаете мою жену!

— Верно.

— Как замужняя женщина, она подчиняется мужу.

— Возможно.

— Она не имела права распоряжаться этими бриллиантами.

— Правильно.

— Ну, так как же, сударь?

— А вот как! Я знаю вашу жену, она подчинена мужу,— согласен с вами; ей еще и другим приходится подчиняться,— но *ваших бриллиантов я не знаю.* Если ваша супруга подписывает векселя, то, очевидно, она может и заключать коммерческие сделки, покупать бриллианты или брать их на комиссию для продажи. Это бывает.

— Прощайте, сударь! — воскликнул граф, бледнея от гнева.— Существует суд.

— Правильно.

— Вот этот господин,— добавил граф, указывая на меня,— был свидетелем продажи.

— Возможно.

Граф направился к двери.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, я решил вмешаться и примирить противников.

— Граф,— сказал я,— вы правы, но господин Гобсек не виноват. Вы не можете привлечь его к суду, оставив вашу жену в стороне, а этим процессом будет опозорена не только она одна. Я стряпчий и, как должностное лицо, да и просто как порядочный человек, считаю себя обязанным подтвердить, что продажа произведена в моем присутствии. Но я не думаю, что вам удастся расторгнуть эту сделку как незаконную, и нелегко будет установить, что проданы именно ваши бриллианты. По справедливости вы правы, но по букве закона вы потерпите поражение. Господин Гобсек человек честный и не станет отрицать, что купил бриллианты очень выгодно для себя, да и я по долгу и по совести засвидетельствую это. Но если вы затеете тяжбу, исход ее крайне сомнителен. Советую вам пойти на мировую с господином Гобсеком. Он ведь может доказать на суде свою добросовестность, а вам все равно придется вернуть сумму, уплаченную им. Согласитесь считать свои бриллианты в закладе на семь, на восемь месяцев, даже на год, если раньше этого срока вы не в состоянии вернуть деньги, полученные графиней. А может быть, вы предпочтете выкупить их сегодня же, предоставив достаточные для этого гарантии?

Ростовщик преспокойно макал хлеб в кофе и завтракал с полнейшей невозмутимостью, но, услышав слова «пойти на мировую», бросил на меня взгляд, говоривший: «Молодец! Ловко пользуешься моими уроками!» Я ответил ему взглядом, который он прекрасно понял: «Дело очень сомнительное и грязное, надо вам немедленно заключить полюбовное соглашение». Гобсек не мог прибегнуть к запирательству, зная, что я скажу на суде всю правду. Граф поблагодарил меня благосклонной улыбкой. После долгих обсуждений, в которых хитростью и алчностью Гобсек заткнул бы за пояс участников любого дипломатического конгресса, я составил акт, где граф признавал, что получил от Гобсека восемьдесят пять тысяч франков, включая в эту сумму и проценты по ссуде, а Гобсек обязывался при уплате ему всей суммы долга вернуть бриллианты графу.

— Какая расточительность! — горестно воскликнул муж графини, подписывая акт.— Как перебросить мост через эту бездонную пропасть?

— Сударь, много у вас детей? — серьезным тоном спросил Гобсек.

Граф от этих слов вздрогнул, как будто старый ростовщик, словно опытный врач, сразу нащупал больное место. Он ничего не ответил.

— Так, так,— пробормотал Гобсек, поняв его угрюмое молчание.— Я вашу историю наизусть знаю. Эта женщина — демон, а вы, должно быть, все еще любите ее. Понимаю! Она даже и меня в волненье привела. Может быть, вы хотите спасти свое

состояние, сберечь его для одного или для двух своих детей? Советую вам: бросьтесь в омут светских удовольствий, играйте для виду в карты, проматывайте деньги да почаще приходите к Гобсеку. В светских кругах будут называть меня жидом, эфиопом, ростовщиком, грабителем, говорить, что я разоряю вас. Мне наплевать! За оскорбление обидчик дорого поплатится! Ваш покорный слуга прекрасно стреляет из пистолета и владеет шпагой. Это всем известно. А еще советую вам — найдите надежного друга, если можете, и путем фиктивной продажной сделки передайте ему все свое имущество. Как это у вас, юристов, называется? Фидеикомис [1], кажется? — спросил он, повернувшись ко мне.

Граф был весь поглощен своими заботами и, уходя, сказал Гобсеку:

— Завтра я принесу вам деньги. Держите бриллианты наготове.

— По-моему, он глупец, как все эти порядочные люди,— презрительно бросил Гобсек, лишь только мы остались одни.

— Скажите лучше — как люди, захваченные страстью.

— А за составление закладной пусть вам заплатит граф,— сказал Гобсек, когда я прощался с ним.

Через несколько дней после этой истории, открывшей мне мерзкие тайны светской женщины, граф утром явился ко мне.

— Сударь,— сказал он, войдя в мой кабинет.— Я хочу посоветоваться с вами по очень важному делу. Считаю своим долгом заявить, что я питаю к вам полное доверие, и надеюсь доказать это. Ваше поведение в процессах госпожи де Гранлье выше всяких похвал. (Вот видите, сударыня,— заметил стряпчий, повернувшись к виконтессе,— услугу я оказал вам очень простую, а сколько раз был за это вознагражден...) — Я почтительно поклонился графу и ответил, что только выполнил долг честного человека.

— Так вот, сударь. Я тщательно навел справки о том странном человеке, которому вы обязаны своим положением,— сказал граф,— и из всех моих сведений видно, что этот Гобсек — философ из школы циников. Какого вы мнения о его честности?

— Граф,— ответил я,— Гобсек оказал мне благодеяние... Из пятнадцати процентов,— добавил я смеясь.— Но его скупость все же не дает мне права слишком откровенничать о нем с незнакомым мне человеком.

— Говорите, сударь. Ваша откровенность не может повредить ни ему, ни вам. Я отнюдь не надеюсь встретить в лице этого ростовщика ангела во плоти.

— У папаши Гобсека,— сказал я,— есть одно основное правило, которого он придерживается в своем поведении. Он считает, что деньги — это товар, который можно со спокойной со-

[1] *Фидеикомис* — юридический акт, по которому одно лицо передает другому имущество во временное пользование для передачи его в дальнейшем третьему лицу.

вестью продавать, дорого или дешево, в зависимости от обстоятельств. Ростовщик, взимающий большие проценты за ссуду, по его мнению, такой же капиталист, как и всякий другой участник прибыльных предприятий и спекуляций. А если отбросить его финансовые принципы и его рассуждения о натуре человеческой, которыми он оправдывает свои ростовщические ухватки, то я глубоко убежден, что вне этих дел он человек самой щепетильной честности во всем Париже. В нем живут два существа: скряга и философ, подлое существо и возвышенное. Если я умру, оставив малолетних детей, он будет их опекуном. Вот, сударь, каким я представляю себе Гобсека на основании личного своего опыта. Я ничего не знаю о его прошлом. Возможно, он был корсаром; возможно, блуждал по всему свету, торговал бриллиантами или людьми, женщинами или государственными тайнами; но я глубоко уверен, что ни одна душа человеческая не получила такой жестокой закалки в испытаниях, как он. В тот день, когда я принес ему свой долг и расплатился полностью, я с некоторыми риторическими предосторожностями спросил у него, какие соображения заставили его брать с меня огромные проценты и почему он, желая помочь мне, своему другу, не позволил себе оказать это благодеяние совершенно бескорыстно. «Сын мой, я избавил тебя от признательности, я дал тебе право считать, что ты мне ничем не обязан. И поэтому мы с тобой лучшие в мире друзья». Этот ответ, сударь, лучше всяких моих слов нарисует вам портрет Гобсека.

— Мое решение бесповоротно,— сказал граф.— Потрудитесь подготовить все необходимые акты для передачи Гобсеку прав на мое имущество. И только вам, сударь, я могу доверить составление встречной расписки, в которой он заявит, что продажа является фиктивной, даст обязательство управлять моим состоянием по своему усмотрению и передать его в руки моего старшего сына, когда тот достигнет совершеннолетия. Но я должен сказать вам следующее: я боюсь хранить у себя эту расписку. Мой сын так привязан к матери, что я и ему не решусь доверить этот драгоценный документ. Я прошу вас взять его к себе на хранение. Гобсек на случай своей смерти назначит вас наследником моего имущества. Итак, все предусмотрено.

Граф умолк, и вид у него был очень взволнованный.

— Приношу тысячу извинений, сударь, за беспокойство,— заговорил он наконец,— но я так страдаю, да и здоровье мое вызывает у меня сильные опасения. Недавние горести были для меня жестоким ударом, боюсь, что мне недолго жить, и решительные меры, которые я хочу принять, просто необходимы.

— Сударь,— ответил я,— прежде всего позвольте поблагодарить вас за доверие. Но, чтоб оправдать его, я должен указать вам, что этими мерами вы совершенно обездолите... ваших младших детей, а ведь они тоже носят ваше имя. Пускай жена ваша грешна перед вами, все же вы когда-то ее любили, и дети ее

имеют право на известную обеспеченность. Должен заявить вам, что я не соглашусь принять на себя почетную обязанность, которую вам угодно на меня возложить, если их доля не будет точно установлена.

Граф вздрогнул, слезы выступили у него на глазах, и он сказал, крепко пожав мне руку:

— Я еще не знал вас как следует. Вы и причинили мне боль и обрадовали меня. Да, надо определить в первом же пункте встречной расписки, какую долю выделить этим детям.

Я проводил его до дверей моей конторы, и мне показалось, что лицо у него просветлело от чувства удовлетворения справедливым поступком. Вот, Камилла, как молодые женщины могут по наклонной плоскости скатиться в пропасть. Достаточно иной раз кадрили на балу, романса, спетого за фортепиано, загородной прогулки, чтобы за ними последовало непоправимое несчастье. К нему стремятся сами, послушавшись голоса самонадеянного тщеславия, гордости, поверив иной раз улыбке, поддавшись опрометчивому легкомыслию юности! А лишь только женщина перейдет известные границы, она неизменно попадает в руки трех фурий[1], имя которых — позор, раскаяние, нищета, и тогда...

— Бедняжка Камилла, у нее совсем слипаются глаза,— заметила виконтесса, прерывая Дервиля.— Ступай, детка, ложись. Нет надобности пугать тебя страшными картинами, ты и без них останешься чистой, добродетельной.

Камилла де Гранлье поняла мать и удалилась.

— Вы зашли немного далеко, дорогой Дервиль,— сказала виконтесса.— Поверенный по делам — это все-таки не мать и не проповедник.

— Но ведь газеты в тысячу раз более...

— Дорогой мой! — удивленно сказала виконтесса.— Я, право, не узнаю вас! Неужели вы думаете, что моя дочь читает газеты? Продолжайте,— добавила она.

— Прошло три месяца после утверждения купчей на имущество графа, перешедшее к Гобсеку...

— Можно теперь называть графа по имени — де Ресто, раз моей дочери тут нет,— сказала виконтесса.

— Прекрасно,— согласился стряпчий.— Прошло много времени после этой сделки, а я все не получал того важного документа, который должен был храниться у меня. В Париже стряпчих так захватывает поток житейской суеты, что они не могут уделять делам своих клиентов больше внимания, чем сами их доверители,— за отдельными исключениями, которые мы умеем делать. Но все же как-то раз, угощая Гобсека обедом у себя дома, я спросил его, когда мы встали из-за стола, не знает ли он, почему ничего больше не слышно о господине де Ресто.

---

[1] *Фурии* — в древнеримской мифологии богини мщения и кары.

— На то есть основательные причины,— ответил он.— Граф при смерти. Душа у него нежная. Такие люди не умеют совладать с горем, и оно убивает их. Жизнь — это сложное, трудное ремесло, и надо приложить усилия, чтобы научиться ему. Когда человек узна́ет жизнь, испытав ее горести, фибры сердца у него закалятся, окрепнут, а это позволяет ему управлять своей чувствительностью. Нервы тогда становятся не хуже стальных пружин — гнутся, а не ломаются. А если вдобавок и пищеварение хорошее, то при такой подготовке человек будет живуч и долголетен, как кедры ливанские, действительно великолепные деревья.

— Неужели граф умрет? — воскликнул я.

— Возможно,— заметил Гобсек.— Дело о его наследстве — лакомый для вас кусочек.

Я посмотрел на своего гостя и сказал, чтобы прощупать его намерения:

— Объясните вы мне, пожалуйста, почему из всех людей только граф и я вызвали в вас участие.

— Потому что вы одни доверились мне без всяких хитростей.

Хотя этот ответ позволял мне думать, что Гобсек не злоупотребит своим положением, даже если встречная расписка исчезнет, я все-таки решил навестить графа. Сославшись на какие-то дела, я вышел из дому вместе с Гобсеком. На Гельдерскую улицу я приехал очень быстро. Меня провели в гостиную, где графиня играла с младшими своими детьми. Когда лакей доложил обо мне, она вскочила с места, пошла было мне навстречу, потом села и молча указала рукой на свободное кресло у камина. И сразу же она как будто прикрыла лицо маской, под которой светские женщины так искусно прячут свои страсти. От пережитых горестей красота ее уже поблекла, но чудесные черты лица не изменились и свидетельствовали о былом его очаровании.

— У меня очень важное дело к графу; я бы хотел, сударыня, поговорить с ним.

— Если вам это удастся, вы окажетесь счастливее меня,— заметила она, прерывая мое вступление.— Граф никого не хочет видеть, с трудом переносит визиты врача, отвергает все заботы, даже мои. У больных странные причуды. Они, как дети, сами не знают, чего хотят.

— Может быть, наоборот,— они, как дети, прекрасно знают, чего хотят.

Графиня покраснела. Я же почти раскаивался, что позволил себе такую реплику в духе Гобсека, и поспешил переменить тему разговора.

— Но как же,— спросил я,— разве можно оставлять больного все время одного?

— Около него старший сын,— ответила графиня.

Я пристально поглядел на нее, но на этот раз она не покраснела; мне показалось, что она твердо решила не дать мне проникнуть в ее тайны.

— Поймите, сударыня,— снова заговорил я,— моя настойчивость вовсе не вызвана нескромным любопытством. Дело касается очень существенных интересов...

И тут же я прикусил язык, почувствовав, что пошел по неверному пути. Графиня тотчас воспользовалась моей оплошностью.

— Интересы мужа и жены нераздельны. Ничто ие мешает вам обратиться ко мне...

— Простите. Дело, которое привело меня сюда, касается только графа,— смело возразнл я.

— Я прнкажу передать о вашем желаини поговорнть с ннм.

Однако учтивый ее тон и любезный вид, с которым она это сказала, не обманули меня,— я догадался, что она ии за что не допустит меня к своему мужу.

Мы еще иемиого поговорили о самых безразличных вещах, и я в это время наблюдал за графиней. Но, как все женщины, составив себе определенный план действнй, она скрывала его с редкостным искусством, представляющнм собою высшую степень женского вероломства. Страшно сказать, но я всего опасался с ее стороиы, даже преступления. Ведь в каждом ее жесте, в ее взгляде, в ее манере держать себя, в интонациях голоса сквозило, что она знает, какое будущее ждет ее. Я простился с ией и ушел... А теперь я расскажу вам заключительиые сцены этой драмы, добавив к тем обстоятельствам, которые выяснились со временем, кое-какие подробности, разгаданные проницательиым Гобсеком и мною самим. С той поры как граф де Ресто, по видимостн, закружился в вихре удовольствий и прииялся проматывать свое состояние, между супругами происходили сцены, скрытые от всех,— они дали графу основания еще больше презирать жену. А когда он тяжело заболел и слег, проявилось все его отвращение к ней и к младшнм детям: он запретил им входить к нему в спальию, и если запрет пытались иарушить, это вызывало такие опасные для его жнзни припадки, что сам врач умолял графиню подчиниться распоряженням мужа. Графиня де Ресто видела, как все семейное состоянне — поместья, фермы, даже дом, где она живет,— уплывает в руки Гобсека, казавшегося ей сказочным колдуном, пожнрателем ее богатства, н она, несомиенно, поняла, что у мужа есть какой-то умысел. Де Трай, спасаясь от ярых преследованнй кредиторов, путешествовал по Англии. Только ои мог бы раскрыть графине глаза, угадав тайные меры, подсказаиные графу ростовщиком в защиту от нее. Говорят, оиа долго ие давала свою подпись, а это, по иашнм законам, необходимо при продаже имущества супругов. Но граф все же добнлся ее согласия. Графиня воображала, что муж обращает свое имущество в деньги н что пачечка креднтных билетов, в которую оно превратнлось, хранится в потайном шкафу у какого-ннбудь нотариуса или в баике. По ее расчетам, у господина де Ресто должеи был находиться на руках документ, который дает старшему сыну возможность защитнть свои права на

причитающуюся ему долю наследства. Поэтому она решила установить строжайшее наблюдение за спальней мужа. В доме она была полновластной хозяйкой и все подчинила своему женскому шпионству. Весь день она безвыходно сидела в гостиной перед спальней графа, прислушиваясь к каждому его слову, к малейшему движению, а на ночь ей тут же стлали постель, но она почти не смыкала глаз. Врач был всецело на ее стороне. Ее показная преданность мужу всех восхищала. С прирожденной хитростью вероломного существа она скрывала истинные причины отвращения, которое выказывал ей муж, и так замечательно разыгрывала скорбь, что стала, можно сказать, знаменитостью. Некоторые блюстительницы нравственности даже находили, что она искупила свои грехи. Но все время у нее перед глазами стояли картины нищеты, угрожавшей ей, если она потеряет присутствие духа. И вот эта женщина, изгнанная мужем из комнаты, где он стонал на смертном одре, очертила вокруг него магический круг. Она была и далеко от него и вместе с тем близко, лишена всех прав и вместе с тем всемогуща, притворялась самой преданной супругой, но стерегла час его смерти и свое богатство, словно то насекомое, которое роет в песке норку, изогнутую спиралью, и, притаившись на дне ее, поджидает намеченную добычу, прислушиваясь к падению каждой песчинки. Самому суровому моралисту поневоле пришлось бы признать, что графиня оказалась страстно любящей матерью. Говорят, смерть отца послужила ей уроком. Она обожала детей и стремилась скрыть от них свою беспутную жизнь; нежный их возраст легко позволял это сделать и внушить им любовь к ней. Она дала им превосходное, блестящее образование. Признаюсь, я с некоторым восхищением и жалостью относился к этой женщине, за что Гобсек еще недавно подтрунивал надо мною. В ту пору графиня уже убедилась в подлости Максима де Трай и горькими слезами искупала свои прошлые грехи. Я уверен в этом. Меры, которые она принимала, чтобы завладеть состоянием мужа, конечно, были гнусными, но ведь их внушала ей материнская любовь, желание загладить свою вину перед детьми. Да и очень возможно, что, как многие женщины, пережившие бурю страсти, она теперь искренне стремилась к добродетели. Может быть, только тогда она и узнала ей цену, когда пожала печальную жатву своих заблуждений. Всякий раз, как ее старший сын Эрнест выходил из отцовской комнаты, она подвергала его допросу, хитро выпытывала, что делал граф, что говорил. Мальчик отвечал с большой охотой, приписывая все ее вопросы нежной любви к отцу. Мое посещение всполошило графиню: она увидела во мне орудие мстительных замыслов мужа и решила не допускать меня к умирающему. Я почуял недоброе и горячо желал добиться свидания с господином де Ресто, так как беспокоился о судьбе встречных расписок. Я боялся, что эти документы попадут в руки графини, она может предъявить их, и тогда начнется нескон-

чаемая тяжба между нею и Гобсеком. Я уже хорошо знал характер этого ростовщика и был уверен, что он не отдаст графине имущества, переданного ему графом, а в тексте встречных расписок, которые привести в действие мог только я, имелось много оснований для судебной кляузы. Желая предотвратить это несчастье, я вторично пошел к графине.

— Я заметил, сударыня, — сказал Дервиль виконтессе де Гранлье, принимая таинственный тон,— что существует одно моральное явление, на которое мы в житейской суете не обращаем должного внимания. По своей натуре я склонен к наблюдениям и в дела, которые мне приходилось вести, особенно если в них разгорались человеческие страсти, всегда как-то невольно вносил дух анализа. И знаете, сколько раз я убеждался в удивительной способности противников разгадывать тайные мысли и намерения друг друга. Иной раз два врага проявляют такую же прозорливость, такую же силу внутреннего зрения, как двое влюбленных, читающих в душе друг у друга. И вот, когда мы вторично остались с графиней с глазу на глаз, я сразу понял, что она ненавидит меня, и угадал — почему, хотя она прикрывала свои чувства самой милой обходительностью и радушием. Ведь я оказался случайным хранителем ее тайны, а женщина всегда ненавидит тех, перед кем ей приходится краснеть. Она же догадалась, что если я и был доверенным лицом ее мужа, то все же он еще не успел передать мне свое состояние. Я избавлю вас от пересказа нашего разговора в тот день, замечу лишь, что он остался в моей памяти как одно из самых опасных сражений, которые мне приходилось вести в своей жизни. Эта женщина, наделенная от природы всеми чарами искусительницы, проявляла то уступчивость, то надменность, то приветливость, то доверчивость; она даже пыталась разжечь во мне мужское любопытство, заронить любовь в мое сердце и покорить меня,— она потерпела поражение. Когда я собрался уходить, глаза ее горели такой лютой ненавистью, что я содрогнулся. Мы расстались врагами. Ей хотелось уничтожить меня, я же чувствовал к ней жалость, а для таких натур, как она, это равносильно нестерпимому оскорблению. Она почувствовала эту жалость под учтивой формой последних моих фраз, сказанных на прощанье. Я дал ей понять, что, как бы она ни изощрялась, ее ждет неизбежное разорение, и, вероятно, ужас охватил ее.

— Если б я мог поговорить с графом, то по крайней мере судьба ваших детей...

— Нет! Тогда я во всем буду зависеть от вас! — воскликнула она, прервав меня презрительным жестом.

Раз борьба между нами приняла такой открытый характер, я решил сам спасти эту семью от ожидавшей ее нищеты. Для такой цели я готов был, если понадобится, пойти даже на действия юридически незаконные. И вот что я предпринял. Я возбудил против графа де Ресто иск на всю сумму его фиктивного долга

Гобсеку и получил исполнительный лист. Графине, конечно, пришлось скрывать от света судебное решение: оно давало мне право после смерти графа опечатать его имущество. Затем я подкупил одного из слуг в графском доме, и этот человек обещал вызвать меня, когда его хозяин будет при последнем издыхании, хотя бы это случилось в глухую ночь. Я решил приехать неожиданно, запугать графиню угрозой немедленной описи имущества и таким путем спасти документ, хранившийся у графа. Позднее я узнал, что эта женщина рылась в Гражданском кодексе, прислушиваясь к стонам умирающего мужа. Ужасную картину увидели бы мы, если б могли заглянуть в души наследников, обступающих смертное ложе. Сколько тут козней, расчетов, злостных ухищрений — и все из-за денег! Ну, оставим эти подробности, довольно противные сами по себе, хотя о них нужно было сказать, так как они помогут вам представить себе страдания этой женщины, страдания ее мужа и приоткроют завесу над скрытыми семейными драмами, похожими на их драму. Граф де Ресто два месяца лежал в постели, запершись в спальне, примирившись со своей участью. Смертельный недуг постепенно разрушал его тело и разум. У него появились причуды, которые иногда овладевают больными и кажутся необъяснимыми,— он запрещал прибирать в его комнате, отказывался от всех услуг, даже не позволял перестилать постель. Крайняя его апатия запечатлелась на всем: мебель в комнате стояла в беспорядке, пыль и паутина покрывали даже самые хрупкие, изящные безделушки. Человеку, когда-то богатому и отличавшемуся изысканными вкусами, как будто доставляло удовольствие плачевное зрелище, открывавшееся перед его глазами в этой комнате, где и камин, и письменный стол, и стулья были загромождены предметами ухода за больным, где всюду виднелись всякие грязные пузырьки, с лекарствами или пустые, разбросанное белье, разбитые тарелки, где перед камином валялась грелка без крышки и стояла ванна с невылитой минеральной водой. В каждой мелочи этого безобразного хаоса чувствовалось крушение человеческой жизни. Готовясь удушить человека, смерть проявляла свою близость в вещах. Дневной свет вызывал у графа какой-то ужас, поэтому решетчатые ставни всегда были закрыты, и в полумраке комната казалась еще угрюмее. Больной сильно исхудал. Казалось, только в его блестящих глазах еще теплится последний огонек жизни. Что-то жуткое было в мертвенной бледности его лица, особенно потому, что на впалые щеки падали длинные прямые пряди непомерно отросших волос, которые он ни за что не позволял подстричь. Он напоминал фанатиков-пустынников. Горе угасило в нем все человеческие чувства, а ведь ему еще не было пятидесяти лет, и было время, когда весь Париж видел его таким блестящим, таким счастливым!

Однажды утром, в начале декабря 1824 года, Эрнест, сын

графа, сидел в ногах его постели и с глубокой грустью смотрел на отца. Граф зашевелился и взглянул на него.

— Болит, папа? — спросил Эрнест.

— Нет,— ответил граф с душераздирающей улыбкой.— *Все вот тут и вот тут, у сердца!*

И он косиулся своей головы исхудалыми пальцами, а потом с таким страдальческим взглядом прижал руку к впалой груди, что сын заплакал.

— Почему же Дервиль не приходит? — спросил граф своего камердинера, которого считал преданным слугой, меж тем как этот человек был всецело на стороне его жены.— Как же это, Морис! — воскликнул умирающий и, приподнявшись, сел на постели; казалось, сознание его стало совершенно ясным.— За последние две недели я раз семь, не меньше, посылал вас за моим поверенным, а его все нет. Вы что, шутите со мной? Сейчас же, сию минуту поезжайте и привезите его. Если вы не послушаетесь, я встану с постели, я сам поеду...

— Графиня,— сказал камердинер, выйдя в гостиную,— вы слышали, что граф сказал? Как же теперь быть?

— Ну, сделайте вид, будто отправляетесь к этому стряпчему, а вернувшись, доложите графу, что он уехал из Парижа за сорок лье на важный процесс. Добавьте, что его ждут в конце недели.

«Больные никогда не верят близости конца. Он будет спокойно дожидаться возвращения своего поверенного»,— думала графиня. Накануне врач сказал ей, что граф вряд ли протянет еще сутки. Через два часа, когда камердинер сообщил графу неутешительное известие, тот пришел в крайнее волнение.

— Господи, господи,—шептал он.—На тебя все мое упование!

Он долго глядел на сына и, наконец, сказал ему слабым голосом:

— Эрнест, мальчик мой, ты еще очень молод, но у тебя чистое сердце, ты поймешь, как свято обещание умирающему отцу... Чувствуешь ли ты себя в силах соблюсти тайну, сохранить ее в душе так крепко, чтобы о ней не узнала даже мать? Во всем доме я теперь только тебе одному верю. Ты не обманешь моего доверия?

— Нет, папа.

— Так вот, Эрнест, я тебе сейчас передам запечатанный конверт; он адресован Дервилю. Сбереги его, спрячь хорошенько,— пусть никто не подозревает, что он у тебя. Незаметно выйди из дому и опусти его в почтовый ящик на углу.

— Хорошо, папа.

— Могу я положиться на тебя?

— Да, папа.

— Подойди, поцелуй меня. Теперь мне не так тяжело будет умереть, дорогой мой мальчик. Лет через шесть, через семь ты узнаешь, какая это важная тайна, ты будешь вознагражден за свою понятливость и за преданность отцу. И ты увидишь тогда,

как я любил тебя. А теперь оставь меня одного на минутку и никого не пускай ко мне.

Эрнест вышел в гостиную и увидел, что там стоит мать.

— Эрнест,— прошептала она,— поди сюда.— Она села и, притянув к себе сына, крепко прижав его к груди, поцеловала с нежностью.— Эрнест, отец сейчас говорил с тобой?

— Да, мама.

— Что ж он тебе сказал?

— Не могу пересказывать это, мама.

— Ах, какой ты у меня славный мальчик! — воскликнула графиня и горячо поцеловала его.— Как я рада, что ты умеешь молчать. Всегда помни два самых главных для человека правила: не лгать и быть верным своему слову.

— Мамочка, какая ты хорошая! Ты-то уж, конечно, никогда в жизни не лгала! Я уверен.

— Нет, Эрнест, иногда я лгала. Я изменила своему слову, но в таких обстоятельствах, которые сильнее всех законов. Послушай, Эрнест, ты уж большой и умный мальчик, ты, верно, замечаешь, что отец отталкивает меня, гнушается моими заботами. А это несправедливо. Ты ведь знаешь, как я люблю его.

— Да, мама.

— Бедный мой мальчик,— сказала графиня, проливая слезы.— Всему виной злые люди, они оклеветали меня, задались целью разлучить твоего отца со мною, оттого что они корыстные, жадные. Они хотят отнять у нас все наше состояние и присвоить себе. Если б отец был здоров, наша размолвка скоро бы миновала, он добрый, он любит меня, он понял бы свою ошибку. Но болезнь помрачила его рассудок, предубеждение против меня превратилось у него в навязчивую мысль, в какое-то безумие. И он вдруг стал оказывать тебе предпочтение перед всеми детьми,— это тоже доказывает умственное его расстройство. Ведь ты же не замечал до его болезни, что он Полину и Жоржа любил меньше, чем тебя. Все теперь зависит у него от болезненных капризов. Его нежность к тебе могла внушить ему странные замыслы. Скажи, он дал тебе какое-нибудь распоряжение? Ангел мой, ведь ты не захочешь разорить брата и сестру, ты не допустишь, чтобы твоя мама, как нищенка, молила о куске хлеба! Расскажи мне все...

— А-а! — закричал граф, распахнув дверь.

Он стоял на пороге полуголый, иссохший, худой, как скелет. Сдавленный его крик потряс ужасом графиню, она остолбенела, глядя на мужа; этот изможденный бледный человек казался ей выходцем из могилы.

— Вам мало, что вы всю жизнь мою отравили горем, вы мне не даете умереть спокойно, вы хотите развратить душу моего сына, сделать его порочным человеком! — кричал он слабым, хриплым голосом.

Графиня бросилась к ногам умирающего, страшного, почти

уродливого в эту минуту последних волнений жизни; слезы текли по ее лицу.

— Пожалейте! Пожалейте меня! — стонала она.

— А вы меня жалели? — спросил он.— Я дозволил вам промотать все ваше состояние, а теперь вы хотите и мое состояние пустить по ветру, разорить моего сына!

— Хорошо! Не щадите, губите меня! Детей пожалейте! — молила она.— Прикажите, и я уйду в монастырь на весь свой вдовий век. Я подчинюсь, я все сделаю, что вы прикажете, чтобы искупить свою вину перед вами. Но дети!.. Пусть хоть они будут счастливы... Дети, дети!..

— У меня только один ребенок! — воскликнул граф, в отчаянии протягивая иссохшие руки к сыну.

— Прости! Я так раскаиваюсь, так раскаиваюсь,— вскрикивала графиня, обнимая худые и влажные от испарины ноги умирающего мужа.

Рыдания не давали ей говорить, горло перехватило, у нее вырывались только невнятные слова.

— Вы раскаиваетесь?! Как вы смеете произносить это слово после того, что сказали сейчас Эрнесту! — ответил умирающий и оттолкнул ее ногой.

Она упала на пол.

— Озяб я из-за вас,— сказал он с каким-то жутким равнодушием.— Вы были плохой дочерью, плохой женой, вы будете плохой матерью...

Несчастная женщина лишилась чувств. Умирающий добрался до постели, лег и через несколько часов потерял сознание. Пришли священники причастить его. В полночь он скончался. Объяснение с женой лишило его последних сил. Я приехал в полночь вместе с Гобсеком. Благодаря смятению в доме мы без помехи прошли в маленькую гостиную, смежную со спальней покойного, и увидели плачущих детей; с ними были два священника, оставшиеся, чтобы провести ночь возле тела. Эрнест подошел ко мне и сказал, что его мать пожелала побыть одной в комнате умершего.

— Не входите туда! — сказал он, и меня восхитили его тон и жест, который сопровождал эти слова.— Она молится...

Гобсек засмеялся характерным своим беззвучным смехом, но меня так взволновало скорбное и негодующее выражение лица этого юноши, что я не мог разделять иронии старого ростовщика. Увидев, что мы все-таки направились к двери, мальчик подбежал к порогу и, прижавшись к створке, крикнул:

— Мама, к тебе пришли эти гадкие люди!

Гобсек отбросил его, точно перышко, и отворил дверь. Какое зрелище предстало перед нами! В комнате был подлинный разгром. Графиня стояла неподвижно, растрепанная, с выражением отчаяния на лице, и растерянно смотрела на нас сверкающими глазами, а вокруг нее разбросано было платье умершего, бумаги, скомканные тряпки. Ужасно было видеть этот хаос возле

смертного ложа. Лишь только граф испустил дыхание, его жена взломала все шкафы, все ящики письменного стола, и ковер вокруг нее густо устилали обрывки разодранных писем; шкатулки были сломаны, портфели разрезаны — везде шарили ее дерзкие руки. Возможно, ее поиски сначала были бесплодными, но сама ее поза, ее волнение навели меня на мысль, что в конце концов она обнаружила таинственные документы. Я бросил взгляд на постель и чутьем, развившимся в привычных стряпчему делах, угадал все, что произошло. Труп графа де Ресто лежал ничком, головой к стене, свесившись за кровать, презрительно отброшенный, как один из тех конвертов, которые валялись на полу, ибо и он теперь был лишь ненужной оболочкой. Его окоченевшее тело, раскинувшее руки и ноги, застыло в ужасной и нелепой позе. Несомненно, умирающий прятал встречную расписку под подушкой, надеясь, что таким способом до последней своей минуты убережет ее от посягательства. Графиня догадалась, где хранились бумаги, да, впрочем, это можно было понять и по жесту мертвой руки с закостеневшими скрюченными пальцами. Подушка была сброшена, и на ней еще виднелся след женского ботинка. А на ковре, у самых ног графини, я увидел разорванный пакет с гербовыми печатями графа. Я быстро подобрал этот пакет и прочел сделанную на нем надпись, указывающую, что содержимое его должно быть передано мне. Я посмотрел на графиню пристальным, строгим взглядом, как следователь, допрашивающий преступника.

В камине догорали листы бумаги. Услышав, что мы пришли, графиня бросила их в огонь, ибо увидела в первых строках имущественных распоряжений имена своих младших детей и вообразила, что уничтожает завещание, лишающее их наследства, меж тем как наследство им обеспечивалось по моему настоянию. Смятение чувств, невольный ужас перед совершенным преступлением помрачили ее рассудок. Она видела, что поймана с поличным; быть может, перед глазами ее возник эшафот, и она уже чувствовала, как палач выжигает ей клеймо раскаленным железом. Она молчала и, тяжело дыша, глядела на нас безумными глазами, выжидая наших первых слов.

— Что вы наделали! — воскликнул я, выхватив из камина клочок бумаги, еще не тронутый огнем.— Вы разорили своих детей! Ведь эти документы обеспечивали им состояние...

Рот у графини перекосился, казалось, с ней вот-вот случится удар.

— Хе-хе! — проскрипел Гобсек, и возглас этот напоминал скрип медного подсвечника, передвинутого по мраморной доске.

Помолчав немного, старик сказал мне спокойным тоном:

— Уж не думаете ли вы внушить графине мысль, что я не являюсь законным владельцем имущества, проданного мне графом? С этой минуты дом его принадлежит мне.

Меня точно обухом по голове ударили, я онемел от мучитель-

ного изумления. Графиня подметила удивленный взгляд, который я бросил на ростовщика.

— Сударь! Сударь! — бормотала она, не находя других слов.

— У вас фидеикомис? — спросил я Гобсека.

— Возможно.

— Вы хотите воспользоваться преступлением графини?

— Верно.

Я направился к двери, а графиня, упав на стул у постели покойника, залилась горючими слезами. Гобсек пошел за мною следом. На улице я молча повернул в другую сторону, но он подошел ко мне и, бросив на меня глубокий взгляд, проникавший в самую душу, крикнул тоненьким, пронзительным голоском:

— Ты что, судить меня берешься?

С этого дня мы виделись редко. Особняк графа Гобсек сдал внаймы; лето проводил по-барски в его поместьях, держал там себя хозяином, строил фермы, чинил мельницы и дороги, сажал деревья. Однажды я встретился с ним в одной из аллей Тюильри.

— Графиня ведет жизнь просто героическую,— сказал я ему.— Она всецело посвятила себя детям, дала им прекрасное воспитание и образование. Старший сын — премилый юноша.

— Возможно.

— Послушайте, разве вы не обязаны помочь Эрнесту?

— Помочь Эрнесту? — переспросил Гобсек.— Нет, нет! Несчастье — лучший учитель. В несчастье он многому научится, узнает цену деньгам, цену людям — и мужчинам и женщинам. Пусть поплавает по волнам парижского моря. А когда станет искусным лоцманом, мы его в капитаны произведем.

Я простился с ним, не желая вникать в смысл этих загадок. Хотя мать внушала господину де Ресто отвращение ко мне и он совсем не склонен был обращаться ко мне за советами, я на прошлой неделе пошел к Гобсеку, решив рассказать ему о любви Эрнеста к Камилле и поторопить его выполнить свои обязательства, так как молодой граф скоро достигнет совершеннолетия. Старика я застал в постели: он уже давно был болен и доживал последние дни. Мне он сказал, что даст ответ, когда встанет на ноги и будет в состоянии заниматься делами,— несомненно, он не желал расставаться с малейшей частицей своих богатств, пока еще в нем тлеет хоть искра жизни. Другой причины отсрочки не могло быть. Я видел, что он болен гораздо серьезнее, чем это казалось ему самому, и довольно долго пробыл у него — мне хотелось посмотреть, до каких пределов дошла его жадность, превратившаяся на пороге смерти в какое-то сумасшествие. Не желая видеть по соседству посторонних людей, он теперь снимал весь дом, жил в нем один, а все комнаты пустовали. В его спальне все было по-старому. Ее обстановка, хорошо мне знакомая, нисколько не изменилась за шестнадцать лет — каждая вещь как будто сохранялась под стеклом. Все та же привратница, преданная ему старуха, по-прежнему состояла его доверенным лицом,

вела его хозяйство, докладывала о посетителях, а теперь, в дни болезни, ухаживала за ним, оставляя своего мужа-инвалида стеречь входную дверь, когда поднималась к хозяину. Гобсек был очень слаб, но все же принимал еще некоторых клиентов, сам получал доходы, но так упростил свои дела, что для управления ими вне стен комнаты ему достаточно было изредка посылать с поручениями инвалида. При заключении договора, по которому Франция признала республику Гаити [1], Гобсека назначили членом комиссии по оценке и ликвидации владений французских подданных в этой бывшей колонии и для распределения между ними сумм возмещения убытков, ибо он обладал большими сведениями по части старых поместий в Сан-Доминго, их собственников и плантаторов. Изобретательность Гобсека тотчас подсказала ему мысль основать посредническое агентство по реализации претензий бывших землевладельцев и их наследников, и он получал доходы от этого предприятия наравне с официальными его учредителями Вербрустом и Жигонне, не вкладывая никаких капиталов, так как его познания являлись сами по себе достаточным вкладом. Агентство действовало не хуже перегонного куба, вытягивая прибыли из имущественных претензий людей несведущих, недоверчивых или знавших, что их права являются спорными. В качестве ликвидатора Гобсек вел переговоры с крупными плантаторами, и каждый из них, стремясь повысить оценку своих земель или поскорее утвердиться в правах, делал ему подарки сообразно своему состоянию. Взятки эти представляли нечто вроде учетного процента, возмещавшего Гобсеку доходы с тех долговых обязательств, которые ему не удавалось захватить; затем через агентство он скупал по дешевке обязательства на мелкие суммы, а также те обязательства, владельцы которых спешили реализовать их, предпочитая получить немедленно хотя бы незначительное возмещение, чем ждать постепенных и ненадежных платежей Республики. В этой крупной афере Гобсек был ненасытным удавом. Каждое утро он получал дары и алчно разглядывая их, словно министр какого-либо набоба [2], обдумывающий, стоит ли за такую цену подписать помилование. Гобсек принимал все, начиная от корзинки с рыбой, преподнесенной каким-нибудь бедняком, и кончая пачками свечей — подарком людей скуповатых, брал столовое серебро от богатых людей и золотые табакерки от спекулянтов. Никто не знал, куда он девал все эти подношения. Все доставляли ему на дом, но ничего оттуда не выносили.

— Ей-богу, по совести скажу,— уверяла меня привратница, моя старая знакомая,— сдается мне, он все это глотает, да только не на пользу себе,— исхудал, высох, почернел, будто кукушка на моих стенных часах.

---

[1] Франция признала независимость Гаити в 1825 году.
[2] *Набоб* — высокий титул индийской знати.

Но вот в прошлый понедельник Гобсек прислал за мной инвалида, и тот, войдя ко мне в кабинет, сказал:

— Едемте скорее, господин Дервиль. Хозяин последний счет подводит, пожелтел, как лимон, торопится поговорить с вами. Смерть уже за глотку его схватила, в горле хрип клокочет.

Войдя в комнату умирающего, я, к удивлению своему, увидел, что он стоит на коленях у камина, хотя там не было огня, а только большая куча золы. Он слез с кровати и дополз до камина, но ползти обратно уже не было у него сил и не было голоса позвать на помощь.

— Старый друг мой,— сказал я, поднимая его и помогая добраться до постели.— Вам холодно? Почему вы не велите затопить камин?

— Мне вовсе не холодно,— сказал он.— Не надо топить, не надо. Я ухожу, голубчик,— промолвил он, помолчав, и бросил на меня угасающий, тусклый взгляд.— Куда ухожу — не знаю, но ухожу отсюда. У меня уж *карфология*[1] началась,— добавил он, употребив медицинский термин, что указывало на полную ясность сознания.— Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится, и я встал, чтобы подобрать его. Куда же теперь все мое добро пойдет? Казне я его не оставлю; я завещание написал. Найди его, Гроций. У Прекрасной Голландки осталась дочь. Я как-то раз встретил ее вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как купидон. У нее прозвище — Огонек. Разыщи ее, Гроций. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут все, что хочешь, кушай — еды у меня много. Паштеты из гусиной печенки есть, мешки кофе, сахару. Ложки есть золотые. Возьми для своей жены сервиз работы Одио. А кому же бриллианты? Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табака, разных сортов. Продай его в Гамбург, там в полтора раза дороже дадут. Да, все у меня есть, и со всем надо расстаться. Ну, ну, папаша Гобсек, не трусь, будь верен себе...

Он приподнялся на постели; его лицо четко, как бронзовое, вырисовывалось на белой подушке. Протянув иссохшие руки, он вцепился костлявыми пальцами в одеяло, будто хотел за него удержаться, взглянул на камин, такой же холодный, как его металлический взгляд, и умер в полном сознании, явив своей привратнице, инвалиду и мне образ настороженного внимания, подобно тем старцам древнего Рима, которых Летьер изобразил позади консулов на своей картине «Смерть детей Брута».

— Молодцом рассчитался, старый скваыга! — по-солдатски отчеканил инвалид.

А у меня все еще звучало в ушах фантастическое перечисление богатств, которые я слышал от умершего, и я невольно посмотрел на кучу золы в камине, увидев, что к ней устремлены его застывшие глаза. Величина этой кучи поразила меня. Я взял

---

[1] *Карфология* — бессознательное движенне рук у умирающего.

каминные щипцы и, сунув их в золу, наткнулся на что-то твердое,— там лежала груда золота и серебра, вероятно, его доходы за время болезни. У него уже не было сил припрятать их получше, а недоверчивость не позволяла отослать все это в банк.

— Бегите к мировому судье! — сказал я инвалиду.— Надо тут немедленно все опечатать.

Вспомнив поразившие меня последние слова Гобсека и то, что мне говорила привратница, я взял ключи от комнат обоих этажей и решил осмотреть их. В первой же комнате, которую я отпер, я нашел объяснение его речам, казавшимся мне бессмысленными, и увидел, до чего может дойти скупость, превратившаяся в безотчетную, лишенную всякой логики страсть, примеры которой мы так часто видим в провинции. В комнате, смежной со спальней покойного, действительно оказались и гниющие паштеты, и груды всевозможных припасов, даже устрицы и рыба, покрывшаяся пухлой плесенью. Я чуть не задохся от смрада, в котором слились всякие зловонные запахи. Все кишело червями и насекомыми. Подношения, полученные недавно, лежали вперемешку с ящиками различных размеров, с цибиками чаю и мешками кофе. На камине в серебряной суповой миске хранились накладные различных грузов, прибывших на его имя в портовые склады Гавра: тюков хлопка, ящиков сахара, бочонков рома, кофе, индиго[1], табака — целого базара колониальных товаров! Комнату загромождала дорогая мебель, серебряная утварь, лампы, картины, вазы, книги, превосходные гравюры без рам, свернутые трубкой, и самые разнообразные редкости. Возможно, что не вся эта груда ценных вещей состояла из подарков,— многие из них, вероятно, были невыкупленными закладами. Я видел там ларчики с драгоценностями, украшенные гербами и вензелями[2], прекрасные камчатные скатерти и салфетки, дорогое оружие, но без клейма. Раскрыв какую-то книгу, казалось, недавно вынимавшуюся из стопки, я обнаружил в ней несколько банковых билетов по тысяче франков. Тогда я решил внимательно осмотреть каждую вещь вплоть до самых маленьких, все перевернуть, исследовать половицы, потолки, стены, карнизы, чтобы разыскать золото, к которому питал такую алчную страсть этот голландец, достойный кисти Рембрандта. Никогда еще в своей юридической практике я не встречал такого удивительного сочетания скупости со своеобразием характера. Вернувшись в спальню умершего, я нашел на его письменном столе разгадку постепенного скопления всех этих богатств. Под пресс-папье лежала переписка Гобсека с торговцами, которым он обычно продавал подарки своих клиентов. Но оттого ли, что купцы не раз оказывались жертвами уловок Гобсека, или оттого, что он слишком

---

[1] *Индиго* — ценная синяя краска, получаемая из некоторых растений или химическим путем.

[2] *Вензель* — начальные буквы имени и фамилии (или имен и фамилий), переплетенные таким образом, чтобы образовать узор.

дорого запрашивал за съестные припасы и за вещи, ни одна сделка не состоялась. Он не желал продавать накопившуюся у него снедь в магазин Шеве, потому что Шеве требовал тридцатипроцентной скидки. Он торговался из-за нескольких франков, а в это время товар портился. Серебро не было продано, потому что Гобсек отказывался взять на себя расходы по доставке. Мешки кофе залежались, так как он не желал скинуть на утруску. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров — несомненный признак, что он уж впал в детство и проявлял то дикое упрямство, что развивается у всех стариков, одержимых какой-либо страстью, пережившей у них разум. И я задал себе тот же вопрос, который слышал от него: кому же достанется все это богатство?.. Вспомнив, какие странные сведения он дал мне о своей единственной наследнице, я понял, что мне придется вести розыски во всяких злачных местах Парижа и отдать огромное богатство в руки какой-то непотребной женщины. Но прежде всего знайте, что в силу совершенно бесспорных документов граф Эрнест де Ресто на днях вступил во владение состоянием, которое позволит ему жениться на мадемуазель Камилле да еще выделить вполне достаточный капитал матери и брату, а сестре дать приданое.

— Хорошо, дорогой Дервиль, мы подумаем,— ответила г-жа де Гранлье.— Господину де Ресто нужно быть очень богатым, чтобы такая семья, как наша, согласилась породниться с его матерью. Не забывайте, что мой сын рано или поздно станет герцогом де Гранлье и объединит состояние двух ветвей нашего рода. Я хочу, чтобы зять был ему под пару.

— А вы знаете,— спросил граф де Борн,— какой герб у Ресто? Четырехчастное червленое поле с серебряной полосой и черными крестами. Очень древний герб.

— Это верно,— подтвердила виконтесса,— к тому же Камилла может и не встречаться со своей свекровью, нарушительницей девиза на этом гербе — Res tuta [1].

— Госпожа де Босеан принимала у себя графиню де Ресто,— заметил старик дядюшка.

— О, только на раутах! [2] — возразила виконтесса.

[1] «Надежность» *(лат.)*.

[2] *Раут* — торжественный званый вечер, большей частью строго официального характера.

ТУВИМ

С именем Юлиана Тувима (Julian Tuwim, 1894—1953) связано полвека польской поэзии: его первое выступление в печати относится к 1913 г., когда одна из варшавских газет опубликовала его стихотворение. Умер он классиком польской и мировой поэзии XX века.

В 1920-е годы Тувим вместе с собратьями по перу основал поэтическое объединение «Скамандр». «Скамандриты», среди которых был Ярослав Ивашкевич, ставший впоследствии одним из виднейших писателей Польши, выступили с требованием приблизить поэзию к обыденной жизни и демократическому читателю, отвергли господствовавший в то время канон крайне сложной, книжной, перегруженной символами поэзии. Впоследствии «Скамандр» распался, однако своему демократизму той поры Тувим остался верен до смерти. Этот демократизм определил и философское содержание его поэзии, свойственное ей жизнелюбие, оптимизм, не имеющий ничего общего с близоруким бодрячеством, и выбор лирического героя — простого человека, горожанина, и стиль Тувима — ясный, раскованный, напевный, лишенный вычурности и словесных украшательств.

Там, на улице, он ждет меня
в разлуке —
Мой знакомый, серый, скромный
человечек, —

писал Тувим о своем герое на страницах сборника «Слова в крови» (1926).

Кланяйся, дочка, особо скромному
люду.
Скромные люди велики. Помни об
этом, —

повторял он в 1952 г. в стихотворении «Дочери — в Закопане».

Лирика Тувима развивает преимущественно «вечные» темы мировой поэзии: любовь, природа, жизнь, смерть, творчество, поэтическое искусство — и решает эти темы на польском «материале». Метафоры Тувима, общая интонация его стихотворений нередко окрашены легкой и немного грустной иронией, которую некоторые критики называют сентиментальной. В 1930-х годах в его поэзии все отчетливее звучит политическая тема. Его ирония начинает переходить в политическую сатиру, носящую ярко выраженный антимещанский, а позднее — антифашистский характер. Крупнейшее произведение Тувима-сатирика — гротескно-фантастическая поэма «Бал в опере» (опубликована в 1946 г.), беспощадно высмеивающая правящую верхушку буржуазной Польши кануна второй мировой войны.

С сентября 1939-го по май 1946 г. Тувим находился в эмиграции. Там он начал работу над самым значительным своим замыслом — лиро-эпической поэмой «Цветы Польши», оставшейся незавершенной. Отрывки из поэмы, в которой история родной страны, судьбы польской речи и биография поэта представали как единое целое, нелегально распространялись в оккупированной Польше и служили идейным оружием в борьбе против фашистских захватчиков.

Возвратившись из эмиграции, Тувим всемерно содействовал восстановлению и обновлению польской культуры, пострадавшей от войны не меньше, чем земля его родины. Стихотворения послевоенного периода объединены им в цикл «Из новых стихов» (1953). В 1951 г. Тувим стал лауреатом Государственной премии ПНР в области литературы.

Особое место в творчестве Тувима занимают переводы произведений русских и советских авторов. Он внес огромный вклад в благородное дело сближения двух славянских литератур — русской и польской. Им переведены на польский язык «Слово о полку Игореве», произведения Гоголя, Грибоедова, Лескова, Достоевского, Чехова, образцы русской классической и советской поэзии — от Ломоносова и Пушкина до Маяковского и Твардовского.

Произведения Тувима можно прочитать в изданиях:

Тувим, Юлиан. Стихи. М., Художественная литература, 1965.
Тувим, Юлиан. Цветы Польши. М., Художественная литература, 1971.
Юлиан Тувим. Владислав Броневский. Константы И. Галчинский. Избранное. М., Художественная литература, 1975.

О жизни и творчестве Тувима см.:
Живов М. Юлиан Тувим. М., Советский писатель, 1963.
Самойлов Д. Юлиан Тувим. — В кн.: Тувим Ю. Стихи. М., Художественная литература, 1965.
Эренбург И. Собрание сочинений в 9 т., т. 8. М., Художественная литература, 1967, с. 418—428.

ЛОДЗЬ

Когда моей славы придут года,
Безмерных хвалений эра,
И станут из-за меня города
Спорить, как из-за Гомера[1],

Когда в Польше, как после дождя опят,
Будет статуй моих и бюстов
И в каждом городе завопят:
«Здесь родина Златоуста!» —

Пускай потомки забудут рознь
И спор о «Тувимовом деле».
Я сам скажу им: мой город — Лодзь,
Я здесь лежал в колыбели!

Пусть те восхвалят Соррента, Крым,
Кто на красоты падок.
А я из Лодзи. И черный дым
Мне был отраден и сладок.

Здесь рос, штаны протирал насквозь,
Рвал пуговицы с мясом,
Здесь старый педель[2], срывая злость,
Ругал меня лоботрясом.

Тут слышал я бури первый гром
И музы чуть слышный шорох.
(Доныне стоит знаменитый дом:
Андреевская, номер сорок.)

---

[1] За честь называться родиной великого Гомера, по преданию, спорили семь древних городов.
[2] *Педель* — надзиратель при старой гимназии и университете, обязанный следить за поведением учеников или студентов.

Здесь я лет десять в школу ходил,
Со скукой, сказать по чести;
Среди лентяев и заводил
Сидел на почетном месте.

И тут мое сердце забрал в полон
Некто тихий и золотистый,
И здесь семь лет, огромных, как сон,
Писал я стихи и письма.

Я признан был Лодзью с первого дня,
Без всяческой проволочки.
И некий Ксенжек печатал меня
По две копейки за строчку.

Люблю твой облик, прекрасный и злой,
Как мать недобрую — дети,
И вид твоих улиц под серою мглой,
Любимейший город на свете!

И говор проулков, и смех продавщиц,
Пылища и гомон базаров
Дороже мне шика и блеска столиц,
Милее парижских бульваров!

Доныне слезами мне застят взор
И окна твои, и отрепья,
И стареньких улиц базарный задор,
И жалкое великолепье,

И этот дурацки торчащий «Савой»,
Одетые с шиком торговки,
И вечная надпись: «Мужской портной,
Он же дамы и перелицовки».

1919

Перевод *Д. Самойлова*

АКАЦИЯ

Запах акаций, белых, хмельных,
Белых акаций завалы,
Словно нет в мире цветов иных
И никогда не бывало.

Темной листвы и белых цветов
Шелест, и шум, и дыханье,
Словно от века иных голосов
Не было и не слыхали.

И так сквозь ветки блестит звезда,
Так видно и слышно далече,
Словно я еще не любил никогда
В предчувствии нашей встречи.

Перевод *Д. Самойлова*

ВСЁ

Всё, всё отдать тебе без колебанья,
Движенье каждое души живой.
Былое — о тебе воспоминанье,
А будущее — взгляд священный твой.

Всё, всё: и сердца каждое биенье,
И грош последний, и остаток сил,
Огонь души, мечтанья и смятенье...
Твой путь отметить жаркой кровью жил.

Предать. Отречься. Но в песок мельчайший
Разгрызть каменья на твоем пути,
И за тобою следовать все дальше,
И если повелишь — на смерть пойти.

У ног твоих спокойно и смиренно
Отдать дыханье — славя и любя,
И в миг последний веровать блаженно,
Что умереть я мог лишь за тебя.

Перевод *А. Ахматовой*

ПИСЬМО

Снег падает, падает тихо.
Глянь — снег
На душу твою ложится,
Как белый мех.

Тихо, светло, счастливо.
Снег — глянь!
Слезою в душе отзовется
Зимняя рань.

Тогда заиграй, печалясь,
«Valse triste» [1].
Падает снег... Дописан
Последний лист.

Перевод *Д. Самойлова*

---

[1] «Грустный вальс» *(франц.)*.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

«Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden...» [1]

Песня Шуберта

А может, снова, дорогая,
В Томашув на день закатиться?
Там та же вьюга золотая
В беззвучности сентябрьской длится...

В том белом доме, в тех покоях,
Где мебель сдвинута чужая,
Наш давний спор незавершенный
Должны мы кончить, дорогая.

За круглым тем столом доныне
Сидим без жеста и без слова.
Кто расколдует нас? Кто вырвет
Из рук беспамятства немого?

Еще из глаз слеза сбегает
И привкус на губах соленый.
А ты ни слова не промолвишь —
Ты виноград жуешь зеленый.

Еще тебе внушаю взглядом:
«Du holde Kunst». А в сердце — муки.
И надо ехать... Мы простились...
Холодные разжались руки!

Наш разговор прервался снова.
И я уехал, я покинул,
Благословляю, проклинаю:
«Du holde Kunst»! Вот так. Без слова!

В том белом доме, в тех покоях,
Доныне места не находят...
Чужую мебель расставляют,
И затоскуют, и выходят...

А я — а я там все оставил:
Ту тишину, что вечно длится...
Что ж, может, снова, дорогая,
В Томашув на день закатиться?..

Перевод *Д. Самойлова*

---

[1] «О высокое искусство, сколько раз в часы печали...» *(нем.)*.

МУЗА, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Не ищите яркость слова,
Обложившись словарями,—
В сад густой вернитесь снова,
В сад, гремящий соловьями.

Там по-старому запойте,
Загрустив по-молодому.
Весь в невесть какой заботе,
Я иду к нему, как к дому.

Трепет трав, деревья, трели —
Те слова не увядают,
Нет, они не постарели —
Соловьи еще рыдают.

Там нас встретит тень любимой.
Как ей сладко было клясться
Той порой невозвратимой —
Лет тому назад пятнадцать.

Нежный образ, светлый облик,
Ты, что в песнь вложила слово,—
Вновь влюбленных, чистых, добрых
Ты нас здесь встречаешь снова.

Ночь в сирени, звук свирели,
Звезды плавают в фонтане...
Так летите ж, эти трели,
К милой Музе, к светлой Панне.

Перевод *Н. Асеева*

НЕТУ КРАЯ...

Нету края, где б не тосковалось
По улицам стародавним,
Где б на гром победный сердце отзывалось
Радостью, а не глухим страданьем.

Нету края, где бы замолчала
Память в час ночного бденья.
Всюду, всюду пред очами
У меня одно виденье.

Нету, нету мне нигде покою,
Увещаньям ничьим не внемлю,

Всюду вижу пред собою
Только родину — небо и землю.

Никакие не спасут дороги,
И ни толпы, и ни океаны.
Я молюсь на улицах — строгий,
Слух отверстый и взор туманный.

Не помочь мне самым дивным словом,
И ни гимном, и ни громом битвы.
И вечно будут, будут снова
Памятные старые молитвы.

Я молю, молю, заламываю руки!
Боже, выслушай мои простые речи!
Там, на улице, он ждет меня в разлуке —
Мой знакомый, серый, скромный человечек.

Перевод *Д. Самойлова*

ДОЧЕРИ — В ЗАКОПАНЕ

Кланяйся Татрам, дочурка, Татрам могучим,
Снегу, кипящему солнцем, зорям татранским,
Кланяйся синему небу, кланяйся тучам,
Кланяйся, дочка, высоким дням закопанским.

Кланяйся птицам и людям, рощам, полянкам,
Кланяйся близким созвездьям, утру и ночи,
Это — твое, моя дочка, ты ведь гражданка
Нашей Республики юной — Польши рабочей.

Здесь я скитался когда-то (если б ты знала!)
Темной тенью по снегу, ночью кромешной.
Черная свора металась, глухо рычала,
Грозной шеренгой вставала — бойся, нездешний!

Вóроны мрачно кричали, били крылами,
Вихри в проулках кружили, веяли в очи.
Нынче — и трудно и скудно, завтра — в тумане,
Завтра все то же, что прежде,— шпик и заводчик.

Кланяйся Татрам, дочурка, доброе слово
Молви трудящейся Лодзи с горного склона,
Кланяйся с гор и нагорий, с Ока Морского
Добрым силезским шахтерам низким поклоном.

Кланяйся горным вершинам, гордому чуду,
Крикни приветное слово ясным рассветам,
Кланяйся, дочка, особо скромному люду.
Скромные люди велики. Помни об этом.

Вспомни учительниц сельских, что спозаранку
В школу спешат по дороге снежной и мглистой.
И типографских рабочих вспомни, гражданка
Новой Республики Польской — светлой и чистой.

Гёвонт высок, моя дочка. Видишь с вершины —
Реки истории мчатся, бурные реки.
Там, на горах, моя дочка, помни долины,
Помни средь скал, моя дочка, о человеке.

Помни о тех, кто шагает гордо и строго,
Помни строителей Польши, люд благородный.
Скромный цветок возложи ты возле порога
Там, где жил Ленин когда-то[1], друг всенародный.

Кланяйся Татрам, дочурка, Татрам могучим,
Снегу, кипящему солнцем, зорям татранским,
Кланяйся синему небу, кланяйся тучам,
Кланяйся, дочка, высоким дням закопанским.

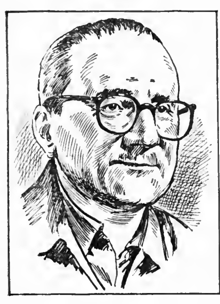
Смолоду был я в том крае, мед пил и пиво,
Слушал я страшные сказки, грохот цимбала,
Шлялся, шатался по тропам, возле обрыва,
Там, где увядшие лавры бездна скрывала.

Кланяйся юности, солнцу горного лета,
Правде, труду, благородству, небу, простору
И возвращайся в Варшаву, полную света,—
Светлой, как день, моя дочка, чистой, как горы.

Перевод *Д. Самойлова*

---

[1] В. И. Ленин жил в деревне Поронин в 1913 и 1914 гг. В 1950 г. в Поронине открыт Музей В. И. Ленина.



БРЕХТ

Один из крупнейших драматургов XX века, поэт, прозаик, режиссер и теоретик театра, Бертольт Брехт (Bertolt Brecht, 1898—1956) оказал могучее воздействие не только на немецкий, но на весь мировой театр наших дней. Пьесы Брехта идут на сценах пяти континентов, его именем клянутся поборники проблемного политического театра, к его режиссерским открытиям постоянно обращаются постановщики, а объем того, что написано о Брехте, значительно превышает объем его собственного литературного наследия, которое, кстати, достаточно обширно. Творчество Брехта, ставшее неотъемлемой частью современной прогрессивной культуры, настолько многогранно, что знакомство с этим творчеством происходит подчас самым неожиданным образом. Так, многие не раз восхищались знаменитой песенкой «Мэки-Мессер» («Мэки-Нож»), не подозревая о том, что песенка появилась на свет как результат творческого содружества композитора Курта Вайля и Бертольта Брехта и впервые прозвучала в «Трехгрошовой опере», работа над которой была закончена ими в 1928 г.

Брехт родился в немецком городке Аугсбурге в семье фабриканта. Впервые он выступил в печати, когда еще учился в гимназии: местная газета опубликовала в 1914 г. его стихотворение. Окончив гимназию, Брехт поступил на медицинский факультет Мюнхенского университета, однако вскоре был призван в армию. Он служил санитаром в военном госпитале, а после окончания первой мировой войны решил оставить медицину, чтобы посвятить себя театру и литерату-

ре. Первая премьера Брехта состоялась в 1922 г., когда Мюнхенский камерный театр поставил его пьесу «Барабаны в ночи», написанную тремя годами раньше. В том же театре сам Брехт поставил пьесу «Жизнь Эдуарда II английского» (1924), созданную им совместно с Лионом Фейхтвангером.

С начала 1920-х годов известность Брехта как драматурга и режиссера начинает стремительно расти. Совместные постановки связывают его со многими выдающимися деятелями немецкой культуры тех лет. Свойственное Брехту обостренное чувство социальной справедливости и размышления над германской действительностью с ее обнаженными классовыми противоречиями и битвами приводят его к марксизму. Он изучает «Капитал», в 1927 г. начинает посещать марксистскую рабочую школу — МАРШ. В январе 1932 г. Брехт ставит в Берлине свою инсценировку по роману М. Горького «Мать», а в июле впервые приезжает в Советский Союз (он снова посещает СССР в 1935 г.; в 1941 г. пересекает страну с запада на восток, направляясь в США; наконец, весной 1955 г. ему вручают в Москве Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами»).

С приходом фашистов к власти в Германии Брехт, как подавляющее большинство видных представителей немецкой творческой интеллигенции, оказывается в политической эмиграции. В Берлин он возвращается осенью 1948 г. С этого времени он принимает деятельное участие в культурном строительстве новой Германии, возглавляя знаменитый театральный коллектив «Берлинский ансамбль», основанный в 1949 г. На домыслы реакционеров, пытавшихся «объяснять» гражданскую и политическую позиции Брехта тем, что он живет в ГДР, писатель ответил знаменитой формулой: «У меня такие убеждения не потому, что я здесь; я здесь потому, что у меня такие убеждения».

Главный вклад Брехта в культуру, помимо написанных им художественных произведений,— разработанная им теория «эпического театра», основные положения которой сложились к концу 1920-х годов. Эта теория возникла как итог поисков Брехтом новых художественных форм, способных раскрыть социальные конфликты и политические борения эпохи во всей их глубине и наглядности. Традиционный театр, который Брехт называл «драматическим», не мог, по его мнению, до конца решить такую задачу, потому что в первую очередь стремился воздействовать на чувства зрителей, заставить сопереживать. Брехт же полагал, что политический театр прежде всего должен обращаться не к чувствам, а к разуму, должен не столько увлекать эмоции зрителя, сколько заставить его думать и осмыслять то, что происходит на сцене.

Ведущим принципом «эпического театра» стал «эффект очуждения», т. е. нарочитое подчеркивание театральной условности во всем — от литературного текста пьесы до декораций и освещения. Если «драматический» театр стремился свести на нет дистанцию между сценой и зрительным залом, для чего на подмостках все, по возможности, должно было выглядеть «как в жизни», то «эпический театр» настаивал на сохранении этой дистанции, на том, чтобы зрителю ни на минуту не давали забыть, что сцена — это сцена, а актеры — актеры. Чтобы этого достигнуть, Брехт в своих пьесах зачастую сознательно пренебрегал внешним правдоподобием, вводил в текст прямой комментарий к изображаемому в виде стихотворных и прозаических «заставок», обращенных непосредственно к зрителю или песенок, так называемых «зонгов». Брехт-режиссер опирался на «эффект очуждения», ставя как свои, так и чужие пьесы, и самые значительные из его собственных драм созданы в соответствии с требованиями «эпического театра». Это «Святая Иоанна скотобоен» (1929—1930), «Страх и отчаяние в третьей империи» (1935—1938), «Винтовки Тересы Каррар» (1937), «Мамаша Кураж и ее дети» (1939), «Карьера Артуро Уи» (1941), «Добрый человек из Сычуани» (1938—1940), «Кавказский меловой круг» (1944—1945), «Жизнь Галилея».

Пьеса «Жизнь Галилея» существует в двух вариантах. Первый (1938—1939) рисует великого ученого как человека, преданного науке и людям. Поэтому и отречение Галилея трактуется здесь как ловкий тактический ход, призванный обмануть бдительность святой инквизиции и обеспечить герою возможность для дальнейших научных изысканий на благо человечества. Готовя пьесу для постановки в США (1947), Брехт существенно ее переработал, под-

черкнув два важных, на его взгляд, урока, которые следуют из истории Галилея: профессиональная деятельность ученого неотделима от его общественной позиции; измена истине чревата изменой человечеству. Поэтому отступничество Галилея, хотя — в известной степени — оно и оправдано в личном плане дальнейшей его деятельностью, давшей миру знаменитый трактат «Беседы», не может, по мнению драматурга, иметь объективное оправдание в истории; Галилей предал разум, а вместе с ним — исторический прогресс человечества:

День июньский скоро угас,
А был он важен для вас и для нас.
Разум вышел из мрака вперед
И стоял у дверей весь день напролет.

Отречение Галилея загнало разум обратно во мрак. Не навсегда, понятно,— никакое предательство не остановит то, чему рано или поздно надлежит восторжествовать,— но все же на какое-то время. И в этом, в расхождении между поступательным устремлением пытливой научной мысли и трусостью слабого духом, кроется, по Брехту, трагедия Галилея, ученого и гражданина,— трагедия, не раз, как отмечал драматург, повторявшаяся в науке, забывавшей о своем долге перед человечеством.

Приступая к работе над постановкой пьесы в «Берлинском ансамбле» (премьера состоялась уже после смерти Брехта), автор остановился на втором варианте «Галилея», видимо, считая его окончательным. Этот вариант драмы «Жизнь Галилея» и дается здесь в переводе *Л. Копелева.*

Произведения Брехта можно прочитать в изданиях:
Брехт, Бертольт. Трехгрошовый роман. М.—Л., Гослитиздат, 1962.
Брехт, Бертольт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания, т. I—V. М., Искусство, 1963—1965.
Брехт, Бертольт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М., Художественная литература, 1972.
О жизни и творчестве Брехта см.:
Фрадкин И. Бертольт Брехт. Путь и метод. М., Наука, 1965.
Райх, Бернгард. Вена — Берлин — Москва — Берлин. М., Искусство, 1972.

ЖИЗНЬ ГАЛИЛЕЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Галилео Галилей.
Андреа Сарти.
Госпожа Сарти, экономка Галилея, мать Андреа.
Людовико Марсили, богатый молодой человек.
Приули, куратор[1] университета в Падуе.
Сагредо, друг Галилея.
Вирджиния, дочь Галилея.
Федерцони, шлифовальщик линз, помощник Галилея.
Дож.
Советники.
Козимо Медичи, великий герцог Флоренции.
Маршал двора.
Теолог.
Философ.
Математик.
Пожилая придворная дама.
Молодая придворная дама.
Лакей великого герцога.
Две монахини.
Два солдата.
Старуха.
Толстый прелат[2].
Двое ученых.
Два монаха.
Два астронома.
Очень тощий монах.
Очень старый кардинал.
Патер Кристофер Клавиус, астроном.
Маленький монах.
Кардинал-инквизитор.
Кардинал Барберини — он же затем папа Урбан VIII.
Кардинал Беллармин.
Два монаха, писцы.
Две молодые дамы.
Филиппо Муциус, ученый.
Граффоне, ректор университета в Пизе.
Уличный певец и его жена.
Ванни, владелец литейной.
Чиновник.
Высокопоставленный чиновник.
Некий субъект.

---

[1] *Куратор* — попечитель, опекун.
[2] *Прелат* — высший церковный сановник.

Монах.
Крестьянин.
Пограничный страж.
Писец.
Мужчины, женщины, дети.

I

Галилео Галилей, учитель математики в Падуе, хочет доказать правильность нового учения Коперника о строении вселенной.

В году тысяча шестьсот девятом
Свет истинного знания
Излился на людей,
Из города Падуи, из скромной хижины.
Исчислил Галилео Галилей,
Что движется Земля, а Солнце неподвижно.

Небогатая рабочая комната Галилея в Падуе. Утро. Мальчик Андреа, сын экономки, приносит Галилею стакан молока и булочку.

Галилей *(умывается; обнажен до пояса, фыркает, весел)*. Поставь молоко на стол, но не тронь там ни одной книги.

Андреа. Мать говорит, что нужно заплатить молочнику, а то он скоро будет описывать круг вокруг нашего дома, господин Галилей.

Галилей. Нужно говорить: «описывать окружность», Андреа.

Андреа. Как вам угодно. Если мы не заплатим, он и опишет окружность вокруг нас, господин Галилей.

Галилей. А вот судебный исполнитель господин Камбионе идет прямо к нам и при этом избирает... какое он избирает расстояние между двумя точками?

Андреа *(ухмыляясь)*. Кратчайшее.

Галилей. Хорошо! У меня есть кое-что для тебя. Погляди там, за звездными таблицами.

Андреа *(вытаскивает из-за таблиц большую деревянную модель солнечной системы Птолемея)*. Что это такое?

Галилей. Это астролябия — такая штука, которая изображает, как планеты и звезды движутся вокруг Земли. Так думали в старину.

Андреа. Что значит — так думали?

Галилей. Давай исследуем это. Прежде всего опиши, что видишь.

Андреа. Посередине находится маленький шар...

Галилей. Это Земля.

Андреа. А вокруг него, одно над другим, — кольца.

Галилей. Сколько их?

Андреа. Восемь.

Галилей. Это кристаллические сферы.

Андреа. На этих кольцах приделаны шары.

Галилей. Это планеты и звезды.

Андреа. Тут полоски, а на них написаны слова.

Галилей. Какие слова?

Андреа. Названия звезд.

Галилей. Например?

Андреа. Самый нижний шар — это Луна, тут так и написано. А над ним — Солнце.

Галилей. А теперь двигай Солнце.

Андреа *(вращает кольца)*. Красиво получается. Только вот... Мы так закупорены.

Галилей *(вытираясь)*. Да, и я ощутил то же, когда впервые увидел эту штуку. Некоторые чувствуют это. *(Бросает Андреа полотенце и подставляет спину, чтобы тот вытер.)* Стены, и кольца, и неподвижность! Две тысячи лет кряду люди верили, что и Солнце, и все небесные тела вращаются вокруг нашей Земли. Папа, кардиналы, князья, ученые, капитаны, купцы, торговки рыбой и школьники верили, что неподвижно сидят в этом кристаллическом шаре. Но теперь мы выбираемся из него, Андреа. Потому что старые времена миновали и наступило новое время. Вот уже сто лет, как человечество все как будто ждет чего-то.

В городах тесно и в головах тесно. Есть суеверия, есть и чума. Но теперь говорят: есть, но не будет, не останется. Потому что все движется, друг мой.

Мне хочется думать, что началось все с кораблей. С незапамятных времен корабли все ползали вдоль побережий, но внезапно они покинули берега и вышли в открытое море. На нашем старом материке возник слух: где-то есть новые материки. И с тех пор как наши корабли добираются до них, на всех материках, смеясь, говорят о том, что великий грозный океан — только маленький водоем. Возникла великая задача, люди хотят понять причины всего, что есть на свете. Почему камень, если его выпустить из рук, упадет, а если подбросить — подымется вверх? Каждый день приносит что-нибудь новое. Даже столетние старцы требуют, чтобы юноши кричали им в уши о новых открытиях.

Многое уже открыто, но куда больше осталось такого, что еще можно открыть. Так что и для новых поколений найдется дело.

Еще юношей в Сиене я видел, как двое строителей изменили древний, тысячелетний способ передвижения гранитных глыб; после пятиминутного спора они договорились и стали применять новое, более целесообразное приспособление канатов. Тогда я понял, что старые времена прошли, что наступает новое время. Скоро человечество полностью изучит свое жилье, ту планету, на которой оно обитает. Написанного в старых книгах уже недостаточно.

И там, где тысячи лет гнездилась вера, теперь гнездится сомнение. Все говорят: да, так написано в книгах, но дайте-ка нам самим поглядеть. С самыми почтенными истинами теперь обра-

щаются запросто; сомневаются в том, в чем прежде никогда не сомневались.

И от этого возник такой сквозняк, что задирает даже расшитые золотом полы княжеских и прелатских одежд. И становятся видны их ноги, жирные или тощие, но такие же, как у нас. А небеса, оказывается, пусты. Поэтому раздается веселый хохот.

Но воды Земли двигают валы новых прядильных станов, на верфях, в канатных и парусных мастерских сотни рук работают по-новому в лад.

Я предвижу, что еще на нашем веку об астрономии будут говорить на рынках. Даже сыновья торговок рыбой будут ходить в школу. И жадным до всего нового людям наших городов придется по душе, что новая астрономия заставила двигаться также и Землю. До сих пор всегда были уверены в том, что небесные тела укреплены на кристаллическом своде и поэтому не падают. А теперь мы набрались смелости и позволяем им свободно парить в пространстве, ничто их не удерживает, и все они движутся по великим путям так же, как и наши корабли. Ничто их не удерживает в стремительном движеиии. И Земля весело катится вокруг Солнца, и торговки рыбой, купцы, князья и кардиналы, и даже сам папа катятся вместе с ней.

Вселенная внезапно утратила свой центр и сразу же обрела бесчисленное множество центров. Так что теперь любая точка может считаться центром, любая и никакая. Потому что мир, оказывается, очень просторен.

Наши корабли заплывают далеко-далеко, наши планеты и созвездия движутся в беспредельном пространстве, даже в шахматах теперь ладьи могут двигаться в новом пространстве через все клетки. Как сказал поэт? «О рассвет великих начинаний...»

Андреа.

О рассвет великих начинаний!
О дыханье ветра, что веет
Со вновь открытых берегов!

Но пейте же молоко, ведь скоро опять придет кто-нибудь.

Галилей. А ты хорошо понял то, о чем я тебе говорил вчера?

Андреа. О чем же? Об этом, как его, Копернике, у которого все вертится?

Галилей. Да.

Андреа. Нет, не понял. И как я могу понять? Это же очень трудно, а мне еще только в октябре будет одиннадцать.

Галилей. Вот я как раз хочу, чтобы и ты это понял. Чтобы все понимали. Поэтому я и работаю, и покупаю дорогие книги, вместо того чтобы платить молочнику.

Андреа. Но я же сам вижу, что Солнце вечером здесь, а утром там. Как же оно может стоять на месте? Никак не может!

Галилей. Ты видишь? Что ты видишь? Ничего ты не видишь. Ты только глазеешь. А глазеть — не значит видеть. *(Ставит*

железный умывальник посреди комнаты.) Это пусть будет Солнце. Садись.

Андреа садится на стул, Галилей становится за ним.

Где Солнце: справа или слева?

Андреа. Слева.

Галилей. А когда оно будет справа?

Андреа. Когда вы его перенесете направо, конечно же!

Галилей. Нет. Не только так. *(Подымает Андреа вместе со стулом и поворачивает его на 180°.)* Где теперь Солнце?

Андреа. Справа.

Галилей. А оно двигалось?

Андреа. Нет.

Галилей. А что же двигалось?

Андреа. Я двигался.

Галилей *(орет)*. Чепуха! Дурень! Стул двигался!

Андреа. Но и я вместе со стулом!

Галилей. Разумеется. Стул — это Земля. А ты на ней.

Госпожа Сарти *(вошла, чтобы застелить постель, и наблюдала все происходящее)*. Что это вы делаете с моим парнишкой, господин Галилей?

Галилей. Учу его видеть, дорогая Сарти.

Госпожа Сарти. Тем, что таскаете по комнате?

Андреа. Не мешай, мама, ты этого не понимаешь.

Госпожа Сарти. Вот как? А ты понимаешь, что ли? Тут приходил молодой человек, который хочет учиться. Очень хорошо одет и принес рекомендательное письмо. *(Подает письмо.)* Вы моего Андреа скоро до того обучите, что он станет говорить, будто дважды два — пять. Он же путает все, что вы ему рассказываете. Вчера вечером он доказывал мне, что Земля вертится вокруг Солнца. Он, видите ли, твердо убежден, что это вычислил какой-то господин по имени Киперникус.

Андреа. А разве Киперникус не высчитал этого, а, господин Галилей? Скажите вы сами.

Госпожа Сарти. Что такое? Так вы и вправду рассказываете ему такую чепуху? Чтобы он болтал об этом в школе, а господа священники приходили ко мне жаловаться, что он плетет греховную ересь? Постыдились бы вы, господин Галилей.

Галилей *(ест)*. На основе наших исследований, госпожа Сарти, и после жестоких споров мы с Андреа сделали открытие, которое больше не можем держать в тайне от мира. Настало новое время, великое время, одно удовольствие жить в такое время.

Госпожа Сарти. Да неужели! Надеюсь, господин Галилей, в это новое время мы сможем заплатить молочнику? *(Показывает на письмо.)* Очень прошу, сделайте мне хоть раз такую милость, не отказывайте в этот раз. Помните о том, что мы должны молочнику. *(Уходит.)*

Галилей *(смеясь)*. Дайте мне хоть молоко допить! *(Обращаясь к Андреа.)* Значит, кое-что мы все-таки вчера поняли?

Андреа. Да я говорил, только чтобы ее удивить. Но это же неправильно. Стул, на котором я сидел, вы только боком повернули *(показывает рукой)*, а не переворачивали. Вот так. Не то я упал бы, и это факт. Почему вы не переворачивали стул? Потому что тогда было бы доказано, что я свалился бы и с Земли тоже, если бы она вертелась. Вот видите как.

Галилей. Но ведь я же тебе доказал...

Андреа. А сегодня ночью я думал и понял, что если бы Земля так вертелась, то я всю ночь висел бы головой вниз. И это факт.

Галилей *(берет со стола яблоко)*. Так вот — это Земля.

Андреа. Не берите вы всегда такие примеры, господин Галилей. Так вам всегда удастся.

Галилей *(кладет яблоко на место)*. Хорошо.

Андреа. С примерами всегда можно доказать, если хитер. Но ведь я же не могу таскать на стуле свою мать, как вы меня. Видите, какой это плохой пример. Ну, а что, если яблоко — Земля? Это же ничего не значит.

Галилей *(смеясь)*. Да ведь ты же не хочешь знать.

Андреа. Возьмите его опять. Как же это получается, что я ночью не вишу вниз головой?

Галилей. А вот так: вот это Земля, а вот стоишь ты *(отламывает от полена щепку и втыкает ее в яблоко)*, и вот Земля вертится.

Андреа. А я вишу вниз головой.

Галилей. Почему же? Посмотри внимательней! Где голова?

Андреа *(показывает на яблоко)*. Здесь, внизу.

Галилей. Что? *(Поворачивает яблоко в обратную сторону.)* Разве она не на том же самом месте? Разве ноги твои по-прежнему не ниже головы? Разве, когда я поворачиваю, ты стоишь так? *(Вынимает щепку и переворачивает ее.)*

Андреа. Нет. Но почему же я не замечаю, как Земля повернулась?

Галилей. Потому что ты сам вращаешься вместе с ней! И ты, и воздух над тобой, и все, что есть на шаре.

Андреа. А почему же мы видим, что ходит Солнце?

Галилей *(снова поворачивая яблоко с щепкой)*. Под собой ты видишь Землю, она не изменяется, она всегда внизу, и для тебя она не движется. А теперь погляди, что над тобой. Вот сейчас лампа над твоей головой. А сейчас, когда я повернул,— что сейчас над твоей головой, что сейчас сверху?

Андреа *(поворачивая голову вслед за его движениями)*. Печка.

Галилей. А где лампа?

Андреа. Внизу.

Галилей. Вот то-то оно и есть...

Андреа. Вот это здорово! Ну теперь уж она удивится.

Входит Людовико Марсили — богатый молодой человек.

Галилей. У нас тут как на проходном дворе.

Людовико. Доброе утро, сударь. Меня зовут Людовико Марсили.

Галилей *(читает рекомендательное письмо)*. Вы бывали в Голландии?

Людовико. Да, и там я много слышал о вас.

Галилей. Ваши родители владеют поместьями в Кампанье?

Людовико. Мамаша хотела, чтобы я малость поглядел на свет. Что где имеется и тому подобное.

Галилей. И вот в Голландии вы услышали, что в Италии, например, имеюсь я.

Людовико. А так как мамаша желает, чтоб я еще и с науками малость познакомился...

Галилей. Частные уроки — десять скуди[1] в месяц.

Людовико. Очень хорошо, сударь.

Галилей. А что вас интересует?

Людовико. Лошади.

Галилей. Ах вот что!

Людовико. У меня, видите ли, господин Галилей, голова не приспособлена к наукам.

Галилей. Ах вот что! Ну если так, вы будете платить пятнадцать скуди в месяц.

Людовико. Очень хорошо, господин Галилей.

Галилей. Мне придется заниматься с вами по утрам. Значит, с тобой уже не выйдет, Андреа. Сам пойми, ведь ты же не платишь.

Андреа. Ладно. Я пойду. Можно мне взять яблоко?

Галилей. Бери.

Андреа уходит.

Людовико. Вам придется запастись терпением, чтоб меня учить. Потому что в науках ведь всегда все не так, как следует по здравому человеческому разумению. Возьмите, например, эту диковинную трубу, которую продают в Амстердаме. Я ее подробно исследовал. Футляр из зеленой кожи и две линзы: одна такая *(показывает жестами двоякую выпуклость)*, а другая — такая *(показывает двоякую вогнутость)*. Мне говорят: одна увеличивает, а другая уменьшает. Каждый разумный человек, конечно, поймет: они друг дружку должны уравнивать. Неверно! Сквозь эту штуку все видно увеличенным в пять раз. Вот вам и ваша наука.

Галилей. Что увеличено в пять раз?

Людовико. Колокольни, голуби, все, что вдали.

Галилей. И вы сами видели увеличенные колокольни?

Людовико. Да, сударь.

---

[1] *Скуди* (скудо) — старинная итальянская серебряная и золотая монета.

Галилей. И в трубе две линзы? *(Набрасывает на листе бумаги чертеж.)* Так это выглядит?

Людовико кивает.

Как давно изобрели эту штуку?

Людовико. Думаю, что она была не старше нескольких дней, когда я уезжал из Голландии. Во всяком случае, ее как раз только что начали продавать.

Галилей *(почти дружелюбно)*. И зачем вам нужна физика? Почему не коневодство?

Не замеченная Галилеем, входит госпожа Сарти.

Людовико. Мамаша считает, что немного науки необходимо. Нынче, знаете ли, никто и шагу без науки не ступит.

Галилей. Вы с тем же успехом могли бы заняться мертвыми языками или богословием. Это полегче будет. *(Замечает госпожу Сарти.)* Ладно, приходите во вторник утром.

Людовико уходит.

Не гляди на меня так. Я же взял этот урок.

Госпожа Сарти. Потому что вовремя заметили меня. Там пришел куратор университета.

Галилей. Веди его сюда, веди, он сейчас очень кстати. Может быть, через него я добуду пятьсот скуди, тогда не нужны будут уроки.

Госпожа Сарти уходит и вводит куратора.

(Тем временем продолжает одеваться, в промежутках делая записи на клочках бумаги.) Доброе утро, одолжите мне полскуди.

Куратор достает из кошелька и протягивает Галилею монету, тот передает ее госпоже Сарти.

Пошлите Андреа к мастеру, что делает очки. Пусть купит две линзы, вот тут записаны размеры.

Госпожа Сарти уходит с запиской.

Куратор. Я пришел по поводу вашего ходатайства о повышении вам жалованья до тысячи скуди. К сожалению, я не могу ходатайствовать об этом перед университетом. Вы ведь знаете, что математические коллеги ничего не приносят университету. Математика — это, так сказать, чистое искусство, не приносящее дохода. Не подумайте, что наша республика ее не ценит. Ценит, и притом даже весьма высоко. Математика не так необходима, как философия, и не так полезна, как богословие, но зато доставляет знатокам безмерное наслаждение.

Галилей *(склонившись над бумагами)*. Я не могу жить на пятьсот скуди, любезнейший.

Куратор. Однако, господин Галилей, ведь вы преподаете всего два раза в неделю по два часа. Ваша исключительная известность, несомненно, доставит вам сколько угодно учеников, которые могут платить за уроки. Разве у вас нет платных учеников?

Галилей. Сударь, у меня их слишком много! Я учу и учу, а когда же мне самому учиться? Послушайте, вы, человек божий, ведь я не так хитроумен, как господа с философского факультета. Я глуп. Я ничего не понимаю. И поэтому вынужден латать прорехи в своих знаниях. А когда же мне этим заниматься? Когда я могу исследовать? Сударь, моя наука еще очень любознательна! Вместо ответов на самые великие вопросы мы сегодня имеем только гипотезы, но мы требуем доказательств от самих себя. А как же мне продвигаться вперед, если только для того, чтобы поддерживать свое существование, я должен втолковывать каждому болвану, который может заплатить, что параллельные линии пересекаются в бесконечности?

Куратор. Не забывайте, однако, что если наша республика платит меньше, чем некоторые князья, зато она обеспечивает свободу исследований. У нас в Падуе мы допускаем в число слушателей даже протестантов! И удостаиваем их ученой степени доктора. Господина Кремонини мы не выдали инквизиции, хотя нам доказали — доказали, господин Галилей,— что он высказывает безбожные суждения; напротив, мы еще повысили ему жалованье. Даже в Голландии известно, что в Венецианской республике инквизиция не имеет никакого влияния. А это кое-что значит для вас, поскольку вы астроном и, следовательно, подвизаетесь в такой науке, в которой за последнее время учение церкви уже не почитается должным образом!

Галилей. Господина Джордано Бруно вы, однако, выдали Риму. За то, что он распространял учение Коперника.

Куратор. Не за то, что он распространял учение Коперника, которое, впрочем, ложно, а потому, что он не был венецианцем, да и не имел здесь должности. Поэтому вам незачем ссылаться на сожженного. Кстати, при всех наших свободах все же не рекомендуется произносить слишком громко имя того, кто проклят церковью. Даже здесь не следует, да, даже здесь.

Галилей. Ваша защита свободы мысли довольно выгодное дело, не правда ли? Крича о том, что в других краях инквизиция лютует и сжигает, вы зато вербуете по дешевке хороших преподавателей. Защищая их от инквизиции, вы вознаграждаете себя тем, что платите самое низкое жалованье.

Куратор. Несправедливо! Несправедливо! Что толку в том, что вам предоставляют неограниченное время для исследований, если невежественный монах — служитель инквизиции — может просто запретить ваши мысли? Нет роз без шипов, нет князей без монахов, господин Галилей!

Галилей. А какой толк в свободе исследований, если нет свободного времени для того, чтобы исследовать? Может быть, вы покажете господам городским советникам эти исследования о законах падения *(показывает на связку рукописей)* и спросите, не стоят ли они прибавки в несколько скуди!

Куратор. Они стоят бесконечно больше, господин Галилей.

Галилей. Нет, не бесконечно больше, а всего на пятьсот скуди больше, сударь.

Куратор. Деньгами оценивается лишь то, что приносит деньги. Если вам нужны деньги, вы должны предложить что-нибудь другое. За те знания, что вы продаете, можно требовать лишь столько, сколько они принесут дохода тому, кто их купит. Например, философия, которую господин Коломбо преподает во Флоренции, приносит князю по меньшей мере десять тысяч скуди в год. Ваши законы падения возбудили много шума. Вам рукоплещут в Париже и Праге. Но господа, которые рукоплещут, не оплачивают университету того, во что вы ему обходитесь. Вы не ту науку избрали, господин Галилей.

Галилей. Понимаю: свобода торговли, свобода исследований... и свободная торговля свободными исследованиями, не так ли?

Куратор. Однако, господин Галилей, что за странные мысли! Позвольте признаться, я не совсем понимаю ваши насмешливые замечания. Цветущая торговля республики, как мне представляется, никак не дает поводов для презрительных шуток. А будучи в течение многих лет куратором университета, я еще менее склонен говорить в таком, осмелюсь сказать, легкомысленном тоне о научных исследованиях.

Галилей тоскливо поглядывает на свой письменный стол.

Подумайте о том, что происходит вокруг нас. О биче рабства, под которым стонут науки в других краях! Из кожаных переплетов древних фолиантов там нарезаны бичи. Там не нужно знать то, как действительно падает камень, а только то, что написал об этом Аристотель[1]. Там глаза служат только для чтения. К чему новые законы падения, если важны только законы коленопреклонения? И сопоставьте с этим ту бесконечную радость, с которой наша республика воспринимает ваши мысли, как бы смелы они ни были! Здесь вы можете исследовать! Здесь вы можете трудиться! Никто не следит за вами, никто не угнетает вас! Наши купцы хорошо знают, что значит улучшение качества тканей в борьбе против флорентийской конкуренции, и они с интересом слушают ваш призыв «улучшить физику»! И ведь физика, в свою очередь, многим обязана требованию улучшить ткацкие станки. Самые именитые сограждане интересуются вашими исследованиями и навещают вас, знакомятся с вашими открытиями: люди, чье время очень дорого стоит. Не презирайте торговли... Здесь никто не потерпел бы, чтобы вашей работе чинились хоть малейшие помехи, чтобы посторонние люди создавали вам трудности. Признайтесь, господин Галилей, здесь вы можете работать!

Галилей *(с отчаянием)*. Да.

Куратор. А что касается материальных дел, то сделали бы вы опять что-нибудь хорошее. Ну вот что-нибудь вроде этого ва-

[1] *Аристотель* из Стагиры (384—322 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, ученый-энциклопедист и теоретик литературы.

шего замечательного пропорционального циркуля, посредством которого можно без всяких математических знаний *(перечисляет, загибая пальцы)* проводить любые линии, вычислять сложные проценты с капитала, воспроизводить планы земельных участков в уменьшенных или увеличенных масштабах и вычислить тяжесть пушечных ядер.

Галилей. Игрушка!

Куратор. Вы называете игрушкой то, что привело в восхищение, что поразило самых влиятельных господ, что принесло вам наличные деньги? Я слыхал, что даже генерал Стефано Гритти может извлекать корни с помощью этого инструмента!

Галилей. Воистину чудо! Впрочем, знаете что, Приули, вы все же побудили меня задуматься. Кажется, я опять изобрету для вас нечто подобное. *(Рассматривает листок с наброском.)*

Куратор. Неужели? Вот это был бы выход. *(Встает.)* Господин Галилей, мы знаем, что вы великий человек. Великий, но, осмелюсь сказать, ничем не довольный.

Галилей. Да, я не доволен. Но именно за это недовольство вы и должны были бы мне приплачивать, если бы у вас был здравый смысл! Потому что я не доволен самим собой. Однако вместо этого вы стараетесь, чтобы я был недоволен вами. Признаюсь, господа венецианцы, мне бывает приятно показать вам, чего я стою, работая в вашем знаменитом арсенале, на ваших верфях и в артиллерийских мастерских. Но вы не оставляете мне времени для того, чтобы основательно продумать те плодотворные утверждения, которые именно там выдвигает моя наука. Вы завязываете рот волу молотящему. Мне уже сорок шесть лет, а я ничего не сделал, что могло бы меня удовлетворить.

Куратор. В таком случае не смею вам больше мешать.

Галилей. Благодарю вас.

Куратор уходит. Галилей начинает работать. Через несколько минут вбегает Андреа.

(Продолжая работать.) Почему ты не съел яблоко?

Андреа. А как бы я тогда показал ей, что Земля вертится?

Галилей. Вот что я хочу тебе сказать, Андреа. Не говори ты другим людям о наших мыслях.

Андреа. Почему нельзя говорить?

Галилей. Потому что власти это запрещают.

Андреа. Но ведь это же правда!

Галилей. Но тем не менее власти запрещают. Да притом тут еще кое-что есть. Мы, физики, все еще не можем доказать то, что считаем правильным. Даже учение великого Коперника еще не доказано. Оно пока еще только гипотеза. Давай-ка линзы.

Андреа. Полскуди не хватило. Я должен был оставить там свою куртку. В залог.

Галилей. Что же ты будешь делать зимой без куртки?

Пауза. Галилей располагает линзы на листе с чертежом.

Андреа. А что такое гипотеза?

Галилей. Это если что-нибудь считают вероятным, но не имеют фактов. Вот, например, Феличе там, у лавки корзинщика, держит ребенка. Если сказать, что она кормит его грудью, а не сама берет у него молоко, то это будет гипотезой до тех пор, пока не подойдешь к ней, не увидишь сам и не сможешь доказать, что это так. А перед звездами мы словно мутноглазые черви, видящие лишь очень немногое. Старые учения, которым верили тысячу лет, совсем разваливаются. В этих огромных строениях осталось меньше дерева, чем в тех подпорках, которыми их стараются поддержать. У них много законов, но они мало что объясняют, тогда как в новой гипотезе мало законов, но они объясняют многое.

Андреа. Так ведь вы же мне все доказали.

Галилей. Доказал только то, что это может быть так. Видишь ли ты, эта гипотеза прекрасна, и ничто ей не противоречит.

Андреа. Я тоже хочу стать физиком, господин Галилей.

Галилей. Верю тебе, потому что у нас, физиков, огромное множество еще не решенных вопросов. *(Подходит к окну и смотрит через линзы, не проявляя особой заинтересованности.)* Погляди-ка сюда, Андреа.

Андреа. Боже мой, как все приблизилось. Колокол на башне теперь совсем близко. Я даже могу прочесть медные буквы: «Грациа деи...» Благодарение богу.

Галилей. Это принесет нам пятьсот скуди.

II

Галилей передает Венецианской республике новое изобретение:

Не все то гениально, что гением совершено;
Галилей любил вкусную пищу и хорошее вино.
Услышав правду, не хмурьте лоб;
Слушайте правду про телескоп.

Большой арсенал в гавани Венеции. Советники во главе с дожем. В стороне друг Галилея Сагредо и пятнадцатилетняя дочь Галилея Вирджиния, которая держит бархатную подушку с подзорной трубой длиной примерно в шестьдесят сантиметров, в ярко-красном кожаном футляре. На возвышении Галилей, за ним подставка для подзорной трубы, за которой присматривает шлифовальщик линз Федерцони.

Галилей. Ваше превосходительство! Высокая Синьория! Будучи преподавателем математики вашего университета в Падуе, я всегда считал своей задачей не только исполнять мои почетные обязанности преподавателя, но еще и сверх того с помощью полезных изобретений доставлять чрезвычайные преимущества Республике Венеции. С глубокой радостью и всем надлежащим смирением я осмеливаюсь сегодня показать и преподнести вам совершенно новый прибор — мою зрительную трубу, или те-

лескоп,— прибор, который изготовлен здесь, в вашем всемирно прославленном арсенале, на основе самых высоких научных и христианских принципов, являясь плодом семнадцатилетних терпеливых исследований вашего покорного слуги. *(Спускается с возвышения и становится рядом с Сагредо.)*

Аплодисменты.

(Раскланивается, к Сагредо, тихо.) Пустая трата времени.

С а г р е д о *(тихо)*. Ты сможешь заплатить мяснику, старик.

Г а л и л е й. Да, им это принесет деньги. *(Снова раскланивается.)*

К у р а т о р *(подымается на возвышение)*. Ваше превосходительство! Высокая Синьория! Снова, в который раз, страница славы в великой книге искусств покрывается венецианскими письменами.

Вежливые аплодисменты.

Ученый, пользующийся мировой славой, передает вам исключительное право на изготовление и продажу прибора, который, несомненно, встретит самый высокий спрос.

Аплодисменты усиливаются.

Надеюсь, вы заметили, что с помощью этого прибора во время войны мы сможем распознать число и вооружение вражеских кораблей за целых два часа до того, как они увидят нас. Так что мы сумеем, установив силы противника, заблаговременно решить — преследовать его, нападать или обращаться в бегство.

Бурные аплодисменты.

Итак, ваше высокопревосходительство, высокая Синьория, ныне господин Галилей просит вас принять этот изобретенный им прибор, это свидетельство его дарования, из рук его очаровательной дочери.

Музыка, Вирджиния выступает вперед, кланяется, передает трубу куратору, тот передает ее Федерцони. Федерцони устанавливает трубу на подставке, наводит; дож и советники подымаются на возвышение, смотрят в трубу.

Г а л и л е й *(тихо, к Сагредо)*. Не могу тебе обещать, что вытерплю эту комедию. Господа думают, что получают сейчас доходную игрушку, но это кое-что побольше, значительно больше. Этой ночью я ее направил на Луну.

С а г р е д о. Что же ты увидел?

Г а л и л е й. Она сама не светится, но отражает свет.

С а г р е д о. Что?

С о в е т н и к. Господин Галилей, я вижу укрепления Санта-Розита. Вон там, на лодке, сели обедать. Жареная рыба. Я чувствую аппетит.

Г а л и л е й. Пойми, астрономия остановилась на месте тысячу лет тому назад, потому что у нее не было подзорной трубы.

С о в е т н и к. Господин Галилей!

С а г р е д о. Ḳ тебе обращаются.

С о в е т н и к. В эту штуку слишком хорошо все видио. Я должен буду сказать моим дамам, что теперь им уже иельзя умываться иа крыше.

Г а л и л е й. Знаешь ли ты, из чего состоит Млечный Путь?

С а г р е д о. Нет.

Г а л и л е й. А я знаю.

С о в е т н и к. За такую штуку можно запросить десять скуди, господин Галилей.

Галилей кланяется.

В и р д ж и н и я *(подводит Людовико к отцу)*. Людовико хочет тебя поздравить, отец.

Л ю д о в и к о *(смущенно)*. Поздравляю вас, сударь.

Г а л и л е й. Я ее усовершенствовал.

Л ю д о в и к о. Да, сударь. Я видел. Вы сделали футляр красиым. В Голландии был зеленый.

Г а л и л е й *(к Сагредо)*. Я даже спрашиваю себя, ие удастся ли мие с помощью этой штуки доказать иекое учение.

С а г р е д о. Возьми себя в руки.

К у р а т о р. Ну теперь вы имеете верных пятьсот скуди прибавки, Галилей.

Г а л и л е й *(не обращает на него внимания, к Сагредо)*. Разумеется, я очень иедоверчив к себе и остерегаюсь поспешиых выводов.

Дож, толстый застеичивый человек, подходит к Галилею и иеуклюже пытается заговорить с иим.

К у р а т о р. Господин Галилей, его высокопревосходительство дож.

Дож пожимает руку Галилею.

Г а л и л е й. Да, верно, пятьсот скуди. Вы удовлетворены, ваше высокопревосходительство?

Д о ж. Увы, так уж повелось, что иашей республике нужен какой-нибудь повод для воздействия на отцов города, чтобы хоть что-нибудь перепало ученым.

К у р а т о р. Но, с другой стороны, господии Галилей, ведь иужно иметь стимул.

Д о ж *(улыбаясь)*. Нам нужен повод.

Дож и куратор подводят Галилея к советникам; оии окружают его. В и р д ж и и и я и Л ю д о в и к о медлеиио уходят.

В и р д ж и н и я. Ну как, я все правильно делала?

Л ю д о в и к о. По-моему, правильно.

В и р д ж и н и я. О чем ты думаешь?

Л ю д о в и к о. Да нет, ничего! Но зелеиый футляр был бы, пожалуй, так же хорош.

В и р д ж и н и я. А мне кажется, что все очень довольны отцом.

Л ю д о в и к о. А мне кажется, что я начинаю кое-что понимать в науке.

III

10 января 1610 года. С помощью подзорной трубы Галилей открывает в небесном пространстве явления, которые подтверждают правильность системы Коперника. Друг предостерегает его от опасных последствий этих открытий, но Галилей утверждает, что он верит в человеческий разум.

Десятого января тысяча шестьсот десятого года
Галилей увидел, что нет небосвода.

Рабочая комната Галилея в Падуе. Г а л и л е й и С а г р е д о в теплых плащах у телескопа.

С а г р е д о *(смотрит в телескоп; вполголоса)*. Край зубчатый и шершавый. В темной части, вблизи светящегося края, светящиеся точки. Они выступают одна за другой. Свет растекается от них на все большие участки, и там он сливается с большой светящейся частью.

Г а л и л е й. Как ты объяснишь, что это за точки?

С а г р е д о. Этого не может быть.

Г а л и л е й. И все-таки есть. Это горы.

С а г р е д о. Горы на звезде?

Г а л и л е й. Огромные горы. Их вершины позолотило восходящее солнце, а вокруг на склонах еще ночь. Ты видишь, как свет, начиная с вершин, распространяется по долинам.

С а г р е д о. Но ведь это противоречит всему, что учит астрономия вот уже две тысячи лет.

Г а л и л е й. Именно так. Ты видишь то, чего не видел еще ни один человек, кроме меня. Ты второй.

С а г р е д о. Но Луна не может быть Землей с горами и долинами. Так же как Земля не может быть звездой.

Г а л и л е й. Нет, Луна может быть Землей с горами и долинами, и Земля может быть звездой. Это обычное небесное тело, одно из тысяч. Посмотри-ка еще раз. Кажется ли тебе затемненная часть Луны совсем темной?

С а г р е д о. Нет, теперь, когда я гляжу внимательно, я вижу там слабое, сероватое освещение.

Г а л и л е й. Откуда этот свет?

С а г р е д о. ?

Г а л и л е й. Он от Земли.

С а г р е д о. Но ведь это бессмыслица. Как может светиться Земля с ее морями, лесами и горами, ведь Земля — холодное тело.

Г а л и л е й. Так же, как светится Луна. Потому что обе эти звезды освещены Солнцем, поэтому они и светятся. Луна для нас то же, что и мы для нее. И она видит нас то серпом, то полукругом, то полностью, то вовсе не видит.

Сагредо. Итак, значит, нет различия между Луной и Землей?

Галилей. Очевидно, нет.

Сагредо. Еще не прошло и десяти лет с тех пор, как в Риме сожгли человека. Его звали Джордано Бруно. Он утверждал то же самое.

Галилей. Конечно. А мы видим это. Продолжай смотреть в трубу, Сагредо. То, что ты видишь, означает, что нет различий между небом и землей. Сегодня десятое января тысяча шестьсот десятого года. Сегодня человечество заносит в летописи: небо отменено.

Сагредо. Это ужасно!

Галилей. Я открыл еще кое-что. И, пожалуй, нечто еще более удивительное.

Госпожа Сарти *(входит)*. Господин куратор.

Куратор вбегает.

Куратор. Простите, что так поздно. Я был бы вам весьма обязан, если бы мог побеседовать с вами наедине.

Галилей. Господин Сагредо может слушать все, что слушаю я, господин Приули.

Куратор. Но, может быть, вам все же будет неприятно, если этот господин услышит, что именно произошло. К сожалению, это нечто совершенно, совершенно невероятное.

Галилей. Видите ли, господин Сагредо привык уже к тому, что там, где я, происходят невероятные вещи.

Куратор. А я боюсь, я боюсь. *(Показывая на телескоп.)* Вот она, диковинная штука. Можете ее выбросить. Все равно никакого толку от нее нет, абсолютно никакого.

Сагредо *(беспокойно расхаживая по комнате)*. Почему?

Куратор. Знаете ли вы, что это ваше изобретение, которое вы назвали плодом семнадцатилетних изысканий, можно купить на любом перекрестке в Италии за несколько скуди? И притом изготовленное в Голландии. Именно сейчас в гавани выгружают с голландского корабля пятьсот подзорных труб!

Галилей. Да неужели?

Куратор. Я не понимаю вашего спокойствия, сударь.

Сагредо. А что, собственно, вас беспокоит? Вы лучше послушайте, как господин Галилей с помощью этого прибора за последние дни совершил величайшие открытия в мире звезд.

Галилей *(смеясь)*. Можете поглядеть, Приули.

Куратор. Нет, с меня достаточно того открытия, которое сделал я, предоставив господину Галилею удвоенное жалованье за эту чепуху. А господа из Синьории так доверчиво полагали, что этот прибор обеспечит республике большие преимущества, потому что он якобы может быть изготовлен только здесь. Но, заглядывая в него, они лишь случайно не заметили семикратно увеличенного уличного торговца, который на ближайшем перекрестке по дешевке продает точь-в-точь такие же трубы.

Галилей громко смеется.

Сагредо. Дорогой господин Приули, может быть, я неправильно сужу о ценности этого прибора в торговле, но его ценность для философии так неизмерима, что...

Куратор. Для философии? Какое отношение имеет господин Галилей к философии? Ведь он же математик. Господин Галилей, в свое время вы изобрели для города очень приличный водяной насос. И ваше оросительное устройство все еще действует. Ткачи хвалят вашу машину. Как мог я ждать, что произойдет такое?

Галилей. Не спешите, Приули. Морские путешествия все еще очень продолжительны, опасны и дорого стоят. Нам не хватает своего рода точных часов на небе. Этакого путеводителя для навигации. Так вот у меня есть все основания считать, что с помощью этой подзорной трубы можно отчетливо наблюдать известные созвездия, которые совершают строго закономерные движения. Новые звездные карты могут сэкономить в мореплавании миллионы скуди, понимаете, Приули?

Куратор. Оставьте! Я уже достаточно вас слушал. В благодарность за мое дружелюбие вы сделали меня посмешищем всего города. Потомство будет помнить обо мне как о кураторе, который попался на ничего не стоящей подзорной трубе. У вас есть все основания смеяться. Вы получили свои пятьсот скуди. Но я могу вам сказать — и говорю это как честный человек,— мне опротивел этот мир. *(Уходит, громко хлопнув дверью.)*

Галилей. В гневе он даже симпатичен. Ты слышал: ему противен мир, в котором нет выгодных дел.

Сагредо. А ты знал об этих голландских приборах?

Галилей. Разумеется, хотя только по слухам. Но для этих простаков в Синьории я создал вдвое лучший прибор. Как мне работать, если судебный исполнитель торчит в доме? И для Вирджинии скоро понадобится приданое. Она ведь не очень умна. К тому же я охотно покупаю книги, и не только по физике, и люблю прилично поесть. Хорошая пища возбуждает самые удачные мысли. Поганое время! Мне платят меньше, чем возчику, который возит винные бочки. Четыре вязанки дров за две лекции по математике. Теперь я вырвал у них пятьсот скуди, но все еще не выплатил всех долгов; иные уже двадцатилетней давности. Мне бы выкроить пять лет, чтобы исследовать, и я бы доказал все! Постой, я покажу тебе еще кое-что.

Сагредо *(не решается подойти к телескопу)*. Послушай, Галилей, мне страшно.

Галилей. Я покажу тебе сейчас одну из молочно-белых блестящих туманностей Млечного Пути. Ты знаешь, из чего она состоит?

Сагредо. Это звезды, бесчисленные звезды.

Галилей. Только в одном созвездии Ориона пятьсот неподвижных звезд. Все это многочисленные миры, и нет числа иным,

еще более далеким созвездиям, о которых говорил тот, сожженный. Он их не видел, но он их угадывал!

Сагредо. Но если даже наша Земля действительно только звезда, это все еще не доказывает утверждения Коперника, будто она вращается вокруг Солнца. В небе нет ни одной звезды, которая вращалась бы вокруг другой, а вокруг Земли все же вращается Луна.

Галилей. А я не уверен, Сагредо. С позавчерашнего дня я не уверен. Вот Юпитер. *(Направляет телескоп.)* Дело в том, что возле него находятся четыре звезды, которые видны только в трубу. Я заметил их в понедельник, но не обратил особенного внимания на их положение. Вчера я поглядел опять. Я готов присягнуть, что их положение изменилось. Тогда я приметил их. Но что это? Ведь было четыре звезды. *(Очень взволнован.)* Посмотри.

Сагредо. Я вижу только три.

Галилей. Где же четвертая звезда? Вот таблицы. Необходимо вычислить, как именно они могли переместиться.

Оба взволнованы, садятся за работу. На сцене темнеет, однако на круглом экране видны Юпитер и его спутники. Когда становится светло, они все еще сидят, накинув зимние плащи.

Все доказано. Четвертая звезда могла скрыться, только зайдя за Юпитер, поэтому и не видна. Вот тебе та звезда, вокруг которой кружатся другие звезды.

Сагредо. Но ведь там кристаллическая сфера, к которой прикреплен Юпитер?

Галилей. Да где же она, эта сфера? И как может быть прикреплен Юпитер, если вокруг него движутся другие звезды? Нет опоры в небесах, нет опоры во вселенной! Там находится еще одно Солнце!

Сагредо. Успокойся. Ты слишком торопишься с выводами.

Галилей. Как это — торопишься? Да взволнуйся же ты, человече. Ведь то, что ты видишь, еще не видал никто. Они были правы!

Сагредо. Кто? Последователи Коперника?

Галилей. И тот, сожженный! Весь мир был против них, но они были правы. Это нужно показать Андреа. *(Вне себя бежит к двери и кричит.)* Сарти, Сарти!

Сагредо. Галилей, ты должен успокоиться.

Галилей. Сагредо, ты должен взволноваться!

Сагредо *(поворачивая телескоп)*. Ну чего ты орешь как сумасшедший?

Галилей. А ты? Чего ты стоишь как пень, когда открыта истина?

Сагредо. Я вовсе не стою как пень, я дрожу от страха, что это может оказаться истиной.

Галилей. Что ты говоришь?

Сагредо. Ты что же, совсем обезумел? Неужели ты не можешь понять, в какое дело ввязываешься, если все, что ты увидел, окажется правдой? И если ты будешь на всех рынках кричать о том, что наша Земля не центр вселенной, а простая звезда?

Галилей. Да-да, и что вся огромная вселенная со всеми ее созвездиями вовсе не вертится вокруг нашей крохотной Земли, как это воображали раньше.

Сагредо. Значит, есть только созвездия? А где же тогда бог?

Галилей. Что ты имеешь в виду?

Сагредо. Бога! Где бог?

Галилей *(гневно)*. Там его нет! Так же, как его нет и здесь, на Земле, если там имеются существа, которые хотели бы его разыскивать у нас.

Сагредо. Так где же все-таки бог?

Галилей. Разве я богослов? Я математик.

Сагредо. Прежде всего ты человек. И я спрашиваю тебя, где же бог в твоей системе мироздания?

Галилей. В нас самих либо нигде.

Сагредо *(кричит)*. Ведь так же говорил сожженный!

Галилей. Так же говорил сожженный.

Сагредо. За это он и был сожжен! Еще не прошло и десяти лет!

Галилей. Потому что он ничего не мог доказать. Потому что он только утверждал.

Сагредо. Галилей, я всегда считал тебя умным человеком. Семнадцать лет в Падуе и три года в Пизе ты терпеливо излагал сотням студентов систему Птолемея, которая соответствует Писанию и утверждена церковью, основанной на Писании. Ты считал ее неправильной, так же как Коперник, но ты излагал ее ученикам.

Галилей. Потому что я ничего не мог доказать.

Сагредо *(недоверчиво)*. И ты считаешь, что теперь что-то изменилось?

Галилей. Все изменилось! Послушай, Сагредо! Я верю в человека и, следовательно, верю в его разум! Без этой веры у меня не было бы сил утром встать с постели.

Сагредо. Ну, а теперь послушай, что я тебе скажу. Я не верю в это. Сорок лет, проведенные среди людей, научили меня; люди недоступны доводам разума. Покажи им красный хвост кометы, внуши им слепой ужас — и они побегут из домов, ломая себе ноги. Но сообщи им разумную истину, снова и снова докажи ее, и они попросту высмеют тебя.

Галилей. Это совершеннейшая неправда, это клевета. Не понимаю, как ты можешь любить науку, если думаешь так. Только мертвецов нельзя убедить доказательствами!

Сагредо. Как ты можешь смешивать их жалкую хитрость с разумом!

Галилей. Я не говорю о хитрости. Я знаю, что они называют осла конем, когда продают его, а коня — ослом, когда покупают. В этом их хитрость. Но старуха, которая, готовясь в путь, накануне жесткой рукой подкладывает мулу лишнюю вязанку сена, корабельщик, который, закупая припасы, думает о бурях и штилях, ребенок, который натягивает шапку, когда ему докажут, что возможен дождь,— на них на всех действуют доказательства. И на них на всех я надеюсь. Да, я верю в кроткую власть разума, управляющего людьми. Они не могут подолгу противостоять этой власти. Ни один человек не может долго наблюдать *(поднимает руку и роняет на пол камень)*, как я роняю камень и при этом говорю: он не падает. На это не способен ни один человек. Соблазн, который исходит от доказательства, слишком велик. Ему поддается большинство, а со временем поддаются все. Мыслить — это одно из величайших наслаждений человеческого рода.

Госпожа Сарти *(входя)*. Вы меня звали, господин Галилей?

Галилей *(опять подошел к телескопу, что-то записывает, очень приветливо)*. Да, мне нужен Андреа.

Госпожа Сарти. Андреа? Он в постели, он спит.

Галилей. Не могли бы вы его разбудить?

Госпожа Сарти. А зачем это он вам нужен?

Галилей. Я хочу показать ему кое-что, что его порадует. Он должен увидеть то, что, кроме нас, еще никто не видел с тех пор, как существует Земля.

Госпожа Сарти. Значит, опять глазеть в вашу трубу?

Галилей. Да, в мою трубу, Сарти.

Госпожа Сарти. И ради этого я должна его будить среди ночи? Да вы в своем уме? Ему нужно спать по ночам. И не подумаю его будить.

Галилей. Ни в коем случае?

Госпожа Сарти. Ни в коем случае.

Галилей. Тогда, Сарти, может быть, вы мне поможете? Видите ли, возник вопрос, о котором мы никак не можем договориться,— вероятно, потому, что прочитали слишком много книг. А речь идет о небе, о созвездиях. Спрашивается, как предполагать, что вокруг чего вращается: большое вокруг малого или малое вокруг большого?

Госпожа Сарти *(недоверчиво)*. Вас нелегко понять, господин Галилей. Вы серьезно спрашиваете или опять собираетесь дурачить меня?

Галилей. Это серьезный вопрос.

Госпожа Сарти. Тогда я могу вам быстро ответить. Кто подает обед: я вам или вы мне?

Галилей. Вы подаете мне. Вчера он был пригоревшим.

Госпожа Сарти. А почему он был пригоревшим? Потому что я должна была принести вам башмаки как раз тогда, когда все поспевало. Ведь я приносила вам башмаки?

Галилей. По-видимому.

Госпожа Сарти. А все потому, что вы ученый и вы мне платите.

Галилей. Понятно, понятно. Это нетрудно понять. Спокойной ночи, Сарти.

Госпожа Сарти уходит, смеясь.

И такие люди не поймут истины? Да они схватятся за нее.

Зазвонил колокол к утренней мессе. Входит Вирджиния в плаще, с фонарем.

Вирджиния. Доброе утро, отец!

Галилей. Почему ты так рано встала?

Вирджиния. Мы пойдем с госпожой Сарти к утренней мессе. Людовико тоже придет туда. Как прошла ночь, отец?

Галилей. Ночь была светлой.

Вирджиния. Можно, я погляжу?

Галилей. Зачем?

Вирджиния не знает, что ответить.

Это не игрушка.

Вирджиния. Нет, отец.

Галилей. А к тому же эта труба — сплошное разочарование, и ты вскоре услышишь об этом повсюду. Ее продают на улице за три скуди, и ее еще раньше изобрели в Голландии.

Вирджиния. А ты ничего не увидел нового в небе через эту трубу?

Галилей. Ничего такого, что б тебе понравилось. Только несколько маленьких тусклых пятнышек слева от большой звезды. Придется как-то обратить на них внимание. *(Обращаясь к Сагредо, а не к дочери.)* Пожалуй, назову их звездами Медичи в честь великого герцога Флоренции. *(Опять обращается к дочери.)* Вот что будет тебе занятно, Вирджиния: возможно, мы переедем во Флоренцию. Я написал туда, не захочет ли великий герцог использовать меня как придворного математика.

Вирджиния *(сияет)*. При дворе?

Сагредо. Галилей!

Галилей. Дорогой мой, мне необходимо время для исследований. Мне необходимы доказательства. И мне нужны горшки с мясом. А в такой должности мне уже не придется на частных уроках втолковывать систему Птолемея. Нет, у меня будет достаточно времени — время, время, время, чтобы разрабатывать мои доказательства, потому что всего, что у меня есть сейчас, еще мало. Это еще ничто, жалкие крохи! С этим я еще не могу выступать перед всем миром. Еще нет ни единого доказательства того, что хотя бы одно небесное тело вращается вокруг Солнца. Но я найду доказательства, убедительные для всех, начиная от Сарти и кончая самим папой. У меня теперь одна лишь забота — чтобы меня приняли ко двору.

Вирджиния. Конечно же, тебя примут, отец, с этими новыми звездами и со всем прочим.

Галилей. Ступай в церковь.

Вирджиния уходит.

Сагредо *(читает вслух конец письма, которое ему протянул Галилей)*. «Ни к чему я не стремлюсь так сильно, как к тому, чтобы быть ближе к Вам, восходящему Солнцу, которое озарит нашу эпоху». Великому герцогу Флоренции сейчас девять лет от роду.

Галилей. Правильно! Ты находишь мое письмо слишком раболепным? А я все сомневаюсь, достаточно ли оно раболепно, не слишком ли официально; не покажется ли, что я недостаточно унижаюсь? Сдержанное письмо мог бы написать тот, кто имеет заслуги в доказывании правоты Аристотеля, но не я. А такой человек, как я, может добраться до более или менее достойного положения только ползком, на брюхе. Ты ведь знаешь, я презираю людей, чьи мозги неспособны наполнить им желудки.

Госпожа Сарти и Вирджиния идут в церковь, проходят мимо Галилея и Сагредо.

Сагредо. Не надо уезжать во Флоренцию, Галилей.

Галилей. Почему не надо?

Сагредо. Потому что там хозяйничают монахи.

Галилей. При флорентийском дворце есть именитые ученые.

Сагредо. Лизоблюды!

Галилей. Я возьму их за загривки и поволоку к трубе. Ведь и монахи люди, Сагредо. И они подвластны соблазну доказательств. Не забывай, что Коперник требовал, чтобы они верили его вычислениям, а я требую только, чтобы они верили своим глазам. Если истина слишком слаба, чтобы обороняться, она должна переходить в наступление. Я возьму их за загривки и заставлю смотреть в эту трубу.

Сагредо. Галилей, ты вступаешь на ужасный путь. Злосчастен тот день, когда человек открывает истину, он ослеплен в тот миг, когда уверует в разум человеческого рода. О ком говорят, что он идет с открытыми глазами? О том, кто идет на гибель. Как могут власть имущие оставлять на свободе владеющего истиной, хотя бы это была только истина о самых отдаленных созвездиях? Неужели ты думаешь, что папа будет слушать тебя и признавать, что ты прав, когда ты скажешь ему, что он заблуждается и сам этого не знает. Неужели ты думаешь, что он просто запишет в свой дневник: десятого января тысяча шестьсот десятого года отменено небо? Неужели ты захочешь покинуть республику с истиной в кармане и с твоей трубой в руке, направляясь прямо в капканы князей и монахов? Ты так недоверчив в своей науке и так по-детски легковерен ко всему, что якобы может облегчить твои научные занятия. Ты не веришь Аристотелю, но веришь великому герцогу Флоренции. Только что я смотрел на тебя, ты стоял у своей трубы и наблюдал эти новые звезды, и мне почудилось, что я вижу тебя на костре, и, когда ты сказал, что веришь в силу дока-

зательства, я почувствовал запах горелого мяса. Я люблю иауку, ио еще больше люблю тебя, мой друг. Не уезжай во Флореицию, Галилей!

Галилей. Если они меня примут, я поеду.

На заиавесе появляется последняя страница письма:

«Нарицая иовые звезды, открытые мною, величавым именем рода Медичи, я сознаю, что если прежде возвышеиие в звездиый мир служило прославлеиию богов и героев, то в настоящем случае, иаоборот, величавое имя Медичи обеспечит бессмертиую память об этих звездах. Я же осмеливаюсь иапомнить Вам о себе как об одиом из числа Вашнх самых верных и преданных слуг, который считает для себя величайшей честью то, что ои родился Вашим поддаиным. Ни к чему я ие стремлюсь так сильно, как к тому, чтобы быть блнже к Вам, восходящему Солицу, которое озарит иашу эпоху.

Галилео Галилей»

IV

Галилей сменил Венецианскую республику на флорентийский дворец. Открытия, сделанные с помощью телескопа, наталкиваются на недоверие придворных ученых.

Старье говорит: я есмь и буду,
Каким было веков испокон.
Новь говорит: но если ты худо,
Изволь убираться вон.

Дом Галилея во Флоренции. Госпожа Сарти в кабииете Галилея готовится к приему гостей. Тут же сидит ее сыи Андреа, разбирая и складывая астрономические карты.

Госпожа Сарти. С тех пор как мы благополучио оказались в этой хваленой Флоренции, только и дела что спииу гиуть в поклонах. Весь город проходит у этой трубы, а мне потом пол вытирать. И все равно ничего ие поможет. Если бы там что-иибудь было, в этих открытиях, так уж духовные господа зиали бы это раиьше. Четыре года я прослужила у моисеиьора Филиппо и иикогда не могла стереть всей пыли в его библиотеке. Кожаные киижищи до самого потолка, и ие стишки какие-иибудь! А у бедияги моисеньора у самого было фунта два мозолей иа заду от постояиного сидения иад иауками. И чтоб уж такой человек ие знал что к чему. А сегодняшний большой осмотр, конечно, будет коифузом, так что я завтра опять не посмею гляиуть в глаза молочиику. Я-то уж знала, что говорю, когда советовала ему сперва покормить господ хорошим ужином, дать им по доброму куску тушеной бараниины, прежде чем они подойдут к его трубе. Так иет же. *(Передразнивая Галилея.)* «У меня для иих приготовлеио кое-что другое».

Внизу стучат.

(Смотрит в зеркальце за окном, так называемое «шпион».) Боже мой, ведь это уже великий герцог. А Галилей еще в уииверситете.

Бежит вииз и впускает великого герцога Флоренции Козимо Медичи, маршала двора и двух придворных дам.

Козимо. Я хочу увидеть трубу.

Маршал двора. Может быть, ваше высочество соблаговолят подождать, пока придут господин Галилей и другие господа из университета. *(Оборачиваясь к госпоже Сарти.)* Господин Галилей хотел, чтобы астрономы проверили открытые им звезды, названные им звездами Медичи.

Козимо. Но они ведь вовсе не верят в трубу. Где она?

Госпожа Сарти. Там, наверху, в рабочей комнате.

Мальчик кивает, показывая на лестницу, и после ответного кивка госпожи Сарти взбегает наверх.

Маршал двора *(дряхлый старик)*. Ваше высочество! *(Госпоже Сарти.)* Нужно обязательно туда подыматься? Я ведь пришел только потому, что заболел воспитатель.

Госпожа Сарти. С молодым господином ничего не приключится. Там наверху мой сын.

Козимо *(наверху, входя)*. Добрый вечер.

Мальчики церемонно раскланиваются. Пауза. Затем Андреа вновь возвращается к своей работе.

Андреа *(тоном своего учителя)*. Здесь у нас прямо как в проходном дворе.

Козимо. Много посетителей?

Андреа. Ходят, толкутся, глазеют и не понимают ни шиша.

Козимо. Понятно. Это она? *(Показывает на трубу.)*

Андреа. Да, это она. Но только здесь руки прочь!

Козимо. А это что такое? *(Показывает на деревянную модель системы Птолемея.)*

Андреа. Это птолемеевская.

Козимо. Тут показано, как вертится Солнце?

Андреа. Да, так говорят.

Козимо *(садится, кладет модель на колени)*. Мой учитель простудился, поэтому я мог уйти пораньше. Здесь хорошо.

Андреа *(беспокоен, ходит взад-вперед, волоча ноги, недоверчиво оглядывая чужака, наконец, не в силах удержаться от соблазна, достает из-за карт вторую деревянную модель — модель системы Коперника)*. Но в действительности-то, конечно, все выглядит так.

Козимо. Что значит — так?

Андреа *(показывая на модель, которую держит Козимо)*. Думают, что устроено все так, а по-настоящему *(показывая на свою модель)* оно так. Земля вертится вокруг Солнца. Понимаете?

Козимо. Ты вправду так думаешь?

Андреа. Еще бы! Это доказано.

Козимо. Правда?.. Хотел бы я знать, почему они меня вообще не пускают к старику. Вчера он еще был за ужином.

Андреа. Вы, кажется, не верите, а?

Козимо. Напротив, конечно, верю.

Андреа (*внезапно показывая на модель, которую держит Козимо*). Отдай-ка. Ты ведь даже этого не понимаешь.

Козимо. Зачем тебе сразу две?

Андреа. Отдавай! Это не игрушка для мальчишек.

Козимо. Я готов тебе отдать, но ты должен быть повежливее, вот что.

Андреа. Ты дурак! «Повежливее»! Еще чего, ишь ты! Давай живо, не то влетит.

Козимо. Руки прочь, слышишь!

Они начинают драться, схватываются, катаются по полу.

Андреа. Я тебе покажу, как обращаться с моделью. Сдавайся!

Козимо. Вот теперь она сломалась. Ты вывернешь мне руку.

Андреа. А вот мы увидим, кто прав, кто не прав. Говори, что она вертится, а не то нащелкаю по лбу.

Козимо. Никогда! Ах ты, рыжий! Вот я тебя научу вежливости.

Андреа. Кто рыжий? Я рыжий?

Они молча продолжают драться. Внизу входят Галилей и несколько профессоров университета; за ними Федерцони.

Маршал двора. Господа! Легкое недомогание воспрепятствовало воспитателю его высочества господину Сури сопровождать его высочество.

Теолог. Надеюсь, ничего опасного?

Маршал двора. Нисколько.

Галилей (*разочарованно*). Значит, его высочество не будет?

Маршал двора. Его высочество наверху. Прошу господ не медлить. Двор так жаждет поскорее узнать мнение просвещенного университета о необычном приборе господина Галилея и чудесных новых созвездиях.

Они подымаются наверх. Мальчики, лежа на полу, притихли. Они услыхали движение внизу.

Козимо. Они уже здесь. Пусти меня.

Профессора (*поднимаясь по лестнице*). Не-нет, все в полном порядке.

— Медицинский факультет считает, что эти заболевания в старом городе нельзя считать чумой. Это исключено. Миазмы должны замерзать при такой температуре, как сейчас.

— Самое худшее в таких случаях паника.

— Не что иное, как обычные для этого времени года простуды.

— Всякое подозрение исключено.

— Все в полном порядке. (*Приветствуют герцога.*)

Галилей. Ваше высочество, я счастлив, что мне позволено в вашем присутствии познакомить этих господ с некоторыми новинками.

Козимо церемонно раскланивается со всеми, в том числе и с Андреа.

Т е о л о г *(увидев на полу сломанную модель системы Птолемея)*. Здесь, кажется, что-то сломалось.

Козимо быстро наклоняется и вежливо передает модель Андреа. Тем временем Галилей незаметно убирает вторую модель.

Г а л и л е й *(стоя у телескопа)*. Как вашему высочеству несомненно известно, мы, астрономы, за последнее время столкнулись с большими трудностями в наших расчетах. Мы используем для них очень старую систему, которая хотя и соответствует философским воззрениям, но, к сожалению, видимо, не соответствует фактам. Согласно этой старой системе — системе Птолемея — предполагается, что движения звезд очень сложны. Так, например, планета Венера движется якобы так. *(Рисует на доске эпициклический[1] путь Венеры в соответствии с гипотезой Птолемея.)* Однако, принимая за действительность такие затруднительные движения, мы оказываемся не в состоянии рассчитать заранее положение небесных тел. Мы не находим их там, где им следовало бы быть по нашим вычислениям. Кроме того, наблюдаются и такие движения звезд и планет, которые вообще невозможно объяснить по системе Птолемея. Именно такие движения осуществляют вокруг планеты Юпитер те новые маленькие звезды, которые я обнаружил. Угодно ли будет господам начать с наблюдений над спутниками Юпитера — звездами Медичи?

А н д р е а *(указывая на табурет перед телескопом)*. Пожалуйста, садитесь вот сюда.

Ф и л о с о ф. Благодарю, дитя мое! Я опасаюсь, однако, что все это не так просто. Господин Галилей, прежде чем мы используем вашу знаменитую трубу, мы просили бы вас доставить нам удовольствие провести диспут. Тема: могут ли существовать такие планеты?

М а т е м а т и к. Вот именно, диспут по всей форме.

Г а л и л е й. Я полагаю, вы просто поглядите в трубу и убедитесь.

А н д р е а. Садитесь, пожалуйста, сюда.

М а т е м а т и к. Разумеется, разумеется. Вам, конечно, известно, что, согласно воззрениям древних, невозможно существование таких звезд, кои кружились бы вокруг какого-либо иного центра, кроме Земли, и так же невозможны звезды, кои не имели бы на небе твердой опоры?

Г а л и л е й. Да.

Ф и л о с о ф. Независимо от вопроса о возможности существования таких звезд, которую господин математик *(кланяется математику)*, видимо, полагает сомнительной, я хотел бы со всею скромностью задать другой вопрос в качестве философа: нужны ли такие звезды? Aristotelis divini universum...[2]

---

[1] *Эпицикл* — окружность, центр которой движется равномерно по другой окружности в геоцентрической системе мира у Птолемея.

[2] Вселенная божественного Аристотеля *(лат.)*.

Галилей. Не лучше ли нам продолжать на обиходном языке? Мой коллега, господин Федерцони, не знает латыни.

Философ. Так ли это важно, чтобы он понимал нас?

Галилей. Да.

Философ. Простите, но я полагал — он у вас шлифует линзы.

Андреа. Господин Федерцони шлифовальщик линз и ученый.

Философ. Благодарю, дитя мое. Если господин Федерцони настаивает на этом...

Галилей. Я настаиваю на этом.

Философ. Что ж, аргументация утратит блеск, но мы у вас в доме... Итак, картина вселенной, начертанная божественным Аристотелем, с ее мистически-музыкальными сферами и кристаллическими сводами, с круговращениями небесных тел и косоугольным склонением солнечного пути, с тайнами таблиц спутников и богатством звездного каталога южного полушария, с ее пронизанным светом строением небесного шара — является зданием, наделенным такой стройностью и красотой, что мы не должны были бы дерзать нарушить эту гармонию.

Галилей. А что, если ваше высочество увидели бы через эту трубу все эти столь же невозможные, сколь ненужные звезды?

Математик. Тогда возник бы соблазн возразить, что ваша труба, ежели она показывает то, чего не может быть, является не очень надежной трубой.

Галилей. Что вы хотите сказать?

Математик. Было бы более целесообразно, господин Галилей, если бы вы привели нам те основания, которые побуждают вас допустить, что в наивысшей сфере неизменного неба могут обретаться созвездия, движущиеся в свободном взвешенном состоянии.

Философ. Основания, господин Галилей, основания!

Галилей. Основания? Но ведь один взгляд на сами звезды и на заметки о моих наблюдениях показывает, что это именно так. Сударь, диспут становится беспредметным.

Математик. Если бы не опасаться, что вы еще больше взволнуетесь, можно было бы сказать, что не все, что видно в вашей трубе, действительно существует в небесах. Это могут быть и совершенно различные явления.

Философ. Более вежливо выразить это невозможно.

Федерцони. Вы думаете, что мы нарисовали звезды Медичи на линзе?

Галилей. Вы обвиняете меня в обмане?

Философ. Что вы! Да как же мы дерзнули бы? В присутствии его высочества!

Математик. Ваш прибор, как бы его ни назвать — вашим детищем или вашим питомцем,— этот прибор сделан, конечно, очень ловко.

Философ. Мы совершенно убеждены, господин Галилей, что ни вы и никто иной не осмелился бы назвать светлейшим

именем властительного дома такие звезды, чье существование не было бы выше всяких сомнений.

Все низко кланяются великому герцогу.

Козимо *(оглядываясь на придворных дам)*. Что-нибудь не в порядке с моими звездами?

Пожилая придворная дама *(великому герцогу)*. Со звездами вашего высочества все в порядке. Господа только сомневаются в том, действительно ли они существуют.

Пауза.

Молодая придворная дама. А говорят, что через этот прибор можно увидеть даже, какая шерсть у Большой Медведицы.

Федерцони. Да, а также пенки на Млечном Пути.

Галилей. Что же, господа поглядят все-таки или нет?

Философ. Конечно, конечно.

Математик. Конечно.

Пауза. Внезапно Андреа поворачивается и, напряженно выпрямившись, идет через всю комнату. Его мать перехватывает его.

Госпожа Сарти. Что с тобой?

Андреа. Они дураки! *(Вырывается и убегает.)*

Философ. Дитя, достойное сожаления.

Маршал двора. Ваше высочество, господа, осмелюсь напомнить, что через три четверти часа начинается придворный бал.

Математик. К чему нам разыгрывать комедию? Рано или поздно, но господину Галилею придется примириться с фактами. Его спутники Юпитера должны были бы пробить твердь сферы. Ведь это же очень просто.

Федерцони. Вам покажется это удивительным, но никаких сфер не существует.

Философ. В любом учебнике вы можете прочесть, милейший, что они существуют.

Федерцони. Значит, нужны новые учебники.

Философ. Ваше высочество, мой уважаемый коллега и я опираемся на авторитет не кого-либо, а самого божественного Аристотеля.

Галилей *(почти заискивающе)*. Господа, вера в авторитет Аристотеля — это одно дело, а факты, которые можно осязать собственными руками,— это другое дело. Вы говорите, что, согласно Аристотелю, там, наверху, имеются кристаллические сферы и что движения такого рода невозможны, потому что они могли бы их пробить. Но что, если вы сами убедитесь, что это движение происходит? Может быть, это докажет вам, что вообще нет кристаллических сфер. Господа, со всем смирением прошу вас: доверьтесь собственным глазам.

Математик. Любезный Галилей, время от времени я читаю Аристотеля, хоть вам это, вероятно, кажется старомодным, и можете не сомневаться, что при этом я доверяю своим глазам.

Галилей. Я привык уже к тому, что господа всех факультетов перед лицом фактов закрывают глаза и делают вид, что ничего не случилось. Я показываю свои заметки, а вы ухмыляетесь, я предоставляю в ваше распоряжение подзорную трубу, чтобы вы сами убедились, а мне приводят цитаты из Аристотеля! Ведь у него же не было подзорной трубы!

Математик. Да, уж, конечно, не было.

Философ *(величественно)*. Если здесь будут втаптывать в грязь Аристотеля, чей авторитет признавала не только вся наука древности, но и великие отцы церкви, то я, во всяком случае, полагаю излишним продолжать диспут. Бесцельный спор я отвергаю. Довольно.

Галилей. Истина — дитя времени, а не авторитета. Наше невежество бесконечно. Уменьшим его хоть на крошку! К чему еще теперь стараться быть умниками, когда мы наконец можем стать немного менее глупыми? Мне досталось несказанное счастье заполучить в руки новый прибор, с помощью которого можно немного ближе, очень немного, но все же ближе увидеть кусочек вселенной. Используйте же его.

Философ. Ваше высочество, дамы и господа, я могу только вопрошать себя, к чему все это поведет?

Галилей. Полагал бы, что мы, ученые, не должны спрашивать, куда может повести истина.

Философ *(яростно)*. Господин Галилей, истина может завести куда угодно!

Галилей. Ваше высочество! В эти ночи по всей Италии подзорные трубы направляются на небо. Спутники Юпитера не понижают цены на молоко. Но их никто никогда не видел, и все же они существуют. Из этого простые люди делают свои выводы: значит, еще многое можно обнаружить, если только пошире открыть глаза! Они ждут от вас подтверждения истины! Вся Италия сейчас насторожилась. Но ее тревожат не пути далеких звезд, а весть о том, что начали колебаться учения, которые считались незыблемыми,— ведь каждый знает, что их существует слишком уж много. Право же, господа, не будем защищать поколебленные учения!

Федерцони. Вы, как учителя, должны были бы сами их потрясать.

Философ. Я желал бы, чтобы ваш мастер не вторгался со своими советами в научный диспут.

Галилей. Ваше высочество! Работая в большом арсенале Венеции, я ежедневно сталкивался с чертежниками, строителями, инструментальщиками. Эти люди указали мне немало новых путей. Не обладая книжными знаниями, эти люди доверяют свидетельствам своих пяти чувств. Чаще всего не страшась того, куда они их поведут.

Философ. Ого!

Галилей. Это очень похоже на мореплавателей, которые

сто лет тому назад покинули наши берега, не зная, к каким новым берегам доплывут, и доплывут ли вообще. Видимо, сегодня ту высокую любознательность, которая создала подлинную славу Древней Греции, можно обнаружить на корабельных верфях.

Философ. После всего, что мы здесь услышали, я более не сомневаюсь, что господин Галилей найдет поклонников на корабельных верфях.

Маршал двора. Ваше высочество, к величайшему огорчению, я вынужден заметить, что это чрезвычайно поучительное собеседование несколько затянулось. Его высочество еще должен немного отдохнуть перед придворным балом.

По его знаку великий герцог кланяется Галилею. Придворные торопятся уйти.

Госпожа Сарти *(становится перед великим герцогом, заграждая ему путь, и предлагает блюдо с печеньем)*. Пожалуйста, крендельк, ваше высочество!

Пожилая придворная дама уводит великого герцога.

Галилей *(бежит следом)*. Но, право же, вам достаточно было только поглядеть в прибор!

Маршал двора. Его высочество не преминет запросить по поводу ваших утверждений мнение величайшего из ныне живущих астрономов господина патера Кристофера Клавиуса — главного астронома папской коллегии в Риме.

V

Не устрашенный даже чумой, Галилей продолжает свои исследования.

А

Раннее утро. Галилей у телескопа просматривает записи. Входит Вирджиния с дорожной сумкой.

Галилей. Вирджиния! Что-нибудь случилось?

Вирджиния. Монастырь закрыли, нам пришлось немедленно уехать. В Арчетри пять случаев чумы.

Галилей *(кричит)*. Сарти!

Вирджиния. Рыночную улицу здесь перегородили уже с ночи. В старом городе, говорят, двое умерли, а трое умирают в больнице.

Галилей. Опять они все скрывали до самой последней минуты.

Госпожа Сарти *(входит)*. Что ты здесь делаешь?

Вирджиния. Чума.

Госпожа Сарти. Боже мой! Я сейчас же уложу вещи. *(Садится.)*

Галилей. Не укладывайте ничего. Возьмите Вирджинию и

Андреа. Я только захвачу мои записи. *(Поспешно бежит к своему столу и торопливо собирает в кучу бумаги.)*

Вбегает Андреа. Госпожа Сартн накидывает на него плащ, собирает немного постельного белья и еды. Входит лакей великого герцога.

Лакей. Его высочество ввиду свирепствующей болезни покинул город, отправившись в Болонью. Однако он настоял на том, чтобы господину Галилею также была предложена возможность отбыть в безопасное место. Карета будет через две минуты у ваших дверей.

Госпожа Сарти *(Вирджинии и Андреа)*. Выходите и садитесь в карету. Вот возьмите это с собой.

Андреа. Но почему же? Если ты не скажешь почему, я не пойду.

Госпожа Сарти. Чума пришла, мой мальчик.

Вирджиния. Мы подождем отца.

Госпожа Сарти. Господин Галилей, вы готовы?

Галилей *(заворачивая телескоп в скатерть)*. Усадите Вирджинию и Андреа в карету. Я сейчас приду.

Вирджиния. Нет, мы не пойдем без тебя. Ты никогда не кончишь, если начнешь еще укладывать свои книги.

Госпожа Сарти. Карета подъехала.

Галилей. Будь благоразумна, Вирджиния. Если вы не сядете в карету, кучер уедет. А с чумой шутки плохи.

Вирджиния *(вырываясь от госпожи Сарти, которая уводит ее и Андреа)*. Помогите ему с книгами, а то он не придет.

Госпожа Сарти *(кричит снизу)*. Господин Галилей! Карета уезжает. Кучер не хочет ждать.

Галилей *(на лестнице)*. Сарти, я думаю, что мне уезжать не следует. Тут все в таком беспорядке. Видите ли, трехмесячные записи можно просто выбросить, если я не продолжу их еще одну-две ночи. А чума теперь везде.

Госпожа Сарти. Господин Галилей! Немедленно спускайся. Ты с ума сошел!

Галилей. Увезите Вирджинию и Андреа. Я догоню вас.

Госпожа Сарти. Но уже через час никого отсюда не выпустят. Ты обязан ехать! *(Прислушивается.)* Карета уезжает. Я должна ее задержать. *(Уходит.)*

Галилей ходит по комнате взад и вперед. Госпожа Сарти возврщается очень бледная, без узла.

Галилей. Ну чего вы стоите? Ведь карета может уехать! Там дети!

Госпожа Сарти. Они уже уехали. Вирджинию пришлось удержать силой. О детях позаботятся в Болонье. А кто вам будет подавать обед?

Галилей. Ты сумасшедшая. Оставаться в городе ради стряпни. *(Берет свои записи.)* Не думайте, что я безумец, Сарти.

Я не могу оставить на произвол судьбы эти наблюдения. У меня сильные враги, и я должен собрать доказательства для некоторых утверждений.

Госпожа Сарти. Вам незачем оправдываться. Но это все-таки неразумно.

Б

Перед домом Галилея во Флоренции. Выходит Галилей, глядит вдоль улицы. Проходят две монахини.

Галилей. Не скажете ли вы мне, сестры, где можно купить молока? Сегодня утром молочница не приходила, а моя экономка ушла.

Первая монахиня. Лавки открыты еще только в нижней части города.

Вторая монахиня. Вы вышли из этого дома?

Галилей кивает.

Это та самая улица.

Монахини крестятся, бормочут молитву и убегают. Проходит мужчина.

Галилей (*обращаясь к нему*). Не вы ли пекарь, который приносит нам хлеб?

Мужчина кивает.

Не видали ли вы моей экономки? Она ушла, должно быть, вчера вечером. Сегодня утром ее уже не было дома.

Мужчина качает головой. В доме напротив раскрывается окно, выглядывает женщина.

Женщина (*кричит*). Бегите! У них там чума!

Мужчина испуганно убегает.

Галилей. Вы знаете что-нибудь о моей экономке?

Женщина. Ваше экономка свалилась на улице. Она, наверно, знала уже, что больна. Потому и ушла. Такая бессовестность! *(Захлопывает окно.)*

На улице появляются дети; увидев Галилея, с криком убегают. Галилей поворачивается. Вбегают два солдата в железных панцирях.

Первый солдат. Сейчас же войди в дом!

Своими длинными копьями они вталкивают Галилея в дом. Запирают снаружи ворота.

Галилей (*у окна*). Можете вы сказать мне, что случилось с этой женщиной?

Солдаты. Таких стаскивают на свалку.

Женщина (*снова появляется в окне*). Там вся улица теперь зачумлена. Почему вы ее не заграждаете?

Солдаты протягивают веревку поперек улицы.

Но зачем же здесь! Так и к нам в дом никто не войдет! У нас же все здоровы. Стойте, стойте! Да послушайте же! Ведь мой муж в городе, он теперь не сможет попасть к нам. Звери вы! Звери!

Слышны ее рыдания и крики. Солдаты уходят. У другого окна появляется старуха.

Галилей. Вон там, кажется, пожар.

Старуха. А теперь не тушат, если есть подозрение, что в доме чума. Каждый думает только о чуме.

Галилей. Как это похоже на них! В этом вся их система управления. Они отрубают нас, как больную ветку смоковницы, которая больше не может плодоносить.

Старуха. Напрасно вы так говорите. Они просто беспомощны.

Галилей. Вы одна в доме?

Старуха. Да. Мой сын прислал мне записку. Он, слава богу, еще вчера вечером узнал о том, что рядом с нами кто-то умер, и потому уже не вернулся домой. За эту ночь в нашем квартале заболело одиннадцать человек.

Галилей. Я не могу себе простить, что вовремя не отправил мою экономку. У меня-то срочная работа, но ей незачем было оставаться.

Старуха. Но ведь мы и не можем уйти отсюда. Кто нас примет? Вам нечего винить себя. Я видела ее. Она ушла сегодня утром, около семи часов. Она была больна, потому что, увидев меня, когда я выходила из двери забрать хлеб, далеко обошла меня. Она, должно быть, не хотела, чтобы ваш дом отгородили. Но они все равно все узнают.

Слышен шум и треск.

Галилей. Что это такое?

Старуха. Это они шумят, чтобы прогнать тучи, в которых сидят зародыши чумы.

Галилей громко смеется.

Вы еще можете смеяться!

Мужчина спускается по улице, видит, что она перегорожена веревкой.

Галилей. Эй! Здесь перегородили и заперли, а в доме нечего есть.

Мужчина убегает.

Но не дадите же вы людям умереть с голоду... Эй! Эй!

Старуха. Может быть, они принесут что-нибудь. Если нет, то я вам поставлю кувшин молока у дверей, если вы не боитесь, но только ночью.

Галилей. Эй! Эй! Должны же нас услышать!

Внезапно у веревки появляется Андреа. У него заплаканное лицо.

Андреа! Как ты попал сюда?

Андреа. Я был здесь уже утром, стучал, но вы не открыли. Люди мне сказали, что...

Галилей. Разве ты не уехал?

Андреа. Да, уехал, но по дороге мне удалось выскочить. Вирджинию повезли дальше. Можно мне войти?

Старуха. Нет нельзя. Ты должен пойти в монастырь урсулинок[1]. Может быть, твоя мать там.

Андреа. Я был там. Но меня к ней не пустили. Она очень больна.

Галилей. Ты шел издалека? Ведь уже три дня, как ты уехал...

Андреа. Да, пришлось так долго идти. Не сердитесь. Они меня поймали один раз.

Галилей *(беспомощно)*. Ну теперь не плачь. Видишь ли, я за это время кое-что опять нашел. Хочешь, я тебе расскажу?

Андреа кивает, всхлипывая.

Только слушай внимательно, а то не поймешь. Помнишь, я показывал тебе планету Венера? Не слушай ты этот шум, это ничего не значит. Итак, ты помнишь? А знаешь, что я увидел? Она совсем такая же, как Луна. Я наблюдал ее в виде половины диска и в виде серпа. Что скажешь на это? Я могу показать это с помощью шара и свечи. Значит, что и у этой планеты нет собственного свечения. И она вертится вокруг Солнца просто по кругу. Разве это не удивительно?

Андреа *(плача)*. Конечно, и это факт!

Галилей *(тихо)*. Я не удерживал ее.

Андреа молчит.

Но, конечно, если бы я не остался, этого не произошло бы.

Андреа. А теперь они должны вам поверить?

Галилей. Теперь я собрал все доказательства. Знаешь, когда здесь все кончится, я поеду в Рим и покажу им.

По улице спускаются двое мужчин, их лица закутаны. Они несут длинные шесты и бадейки. С помощью шеста они передают хлеб в окна старухи и Галилея.

Старуха. Там, в доме напротив, женщина с тремя детьми. Положите и ей.

Галилей. Но мне пить нечего. В доме нет воды.

Мужчины пожимают плечами.

Вы завтра опять придете?

Первый *(приглушенным голосом, так как нижняя часть лица повязана платком)*. А кто знает сегодня, что будет завтра?

Галилей. Не смогли бы вы, когда придете, передать мне таким же образом одну книжку, которая нужна мне для работы?

---

[1] *Урсулинки* — монахини католического женского монашеского ордена, названного в честь святой Урсулы.

В т о р о й *(глухо смеется)*. Нашел время для книжек. Радуйся, что хлеб получаешь.

Г а л и л е й. Но вот этот мальчик, мой ученик, передаст вам ее для меня. Это книга с картами и расчетами времени, за которое проходит свою орбиту Меркурий. Андреа, я свою куда-то засунул. Не достанешь ли ты мне такую же в школе?

М у ж ч и н ы уходят.

А н д р е а. Непременно. Я принесу ее, господин Галилей. *(Уходит.)*

Галилей отходит от окна. Из дома напротив выходит старуха и ставит кувшин у дверей Галилея.

VI

1616 год. «Коллегиум Романум» — исследовательский институт Ватикана — подтверждает открытие Галилея.

Не часто услышишь о диве таком,
Чтоб учитель назвался учеником.
Великий Клавиус — божий раб —
Признал, что Галилей был прав.

Зал «Коллегиума» в Риме. Группами расположились высокие духовные с а н о в н и к и, м о н а х и, у ч е н ы е. В стороне одинокий Г а л и л е й. Царит величайшая непринужденность. Еще до начала действия слышен мощный хохот.

Т о л с т ы й п р е л а т *(держась за живот от смеха)*. О глупость! О глупость! Хотел бы я, чтобы мне назвали хоть одно утверждение, которому бы не поверили!

У ч е н ы й. Например, что вы, монсеньор, испытываете непреодолимое отвращение к еде.

П р е л а т. Поверят! Поверят! Не верят только разумному. Сомневаются в том, что существует дьявол. Но вот в то, что Земля вертится, как щепка в сточной канаве, в это верят. Святая простота!

М о н а х *(кривляясь)*. У меня кружится голова. Земля вертится слишком быстро. Позвольте мне опереться на вас, профессор. *(Делает вид, что шатается, и хватается за одного из ученых.)*

П е р в ы й у ч е н ы й *(подражая ему)*. Да, она сегодня опять совершенно пьяна, старуха Земля. *(Хватается за другого ученого.)*

М о н а х. Держитесь, держитесь! Мы скатываемся. Держитесь же!

В т о р о й у ч е н ы й. Венера совсем скособочилась. Я вижу только половину ее задницы. Караул!

Все сбиваются в кучу, хохоча; ведут себя так, словно они на палубе корабля и пытаются удержаться, чтоб их не стряхнуло.

Второй монах. Только бы нас не бросило на Луну! Братья, ведь там горы с отвратительно острыми вершинами!

Первый ученый. А ты отталкивайся от них ногой.

Первый монах. Не смотрите вниз! Я страдаю головокружением. Меня мутит.

Прелат *(нарочно громко, в сторону Галилея)*. Мутит? Не может быть! Кто осмелится мутить воду в «Коллегиуме Романум»?!

Взрыв хохота. Из двери в глубине сцены выходят два астронома «Коллегиума». Наступает тишина.

Первый монах. Неужели вы все еще исследуете? Ведь это же скандал!

Первый астроном *(гневно)*. Мы-то ничего не исследуем.

Второй астроном. К чему все это приведет? Не понимаю Клавиуса! Что было бы, если бы стали принимать за чистую монету все, что утверждалось в течение последних пятидесяти лет! В тысяча пятьсот семьдесят втором году в наивысшей восьмой сфере — сфере неподвижных звезд — загорелась новая звезда, более яркая и крупная, чем все соседние с ней звезды. Но не прошло и полутора лет, как она вновь исчезла, канула в небытие. Так что ж, теперь нам следует спрашивать, как обстоит дело с вечностью и неизменностью неба?

Философ. Если им позволить, они разрушат все наше звездное небо.

Первый астроном. До чего мы дойдем? Пять лет спустя датчанин Тихо Браге определил путь кометы. Этот путь начинался над Луной и пробивал одну за другой все сферические опоры — материальные носители подвижных небесных тел! Комета не встречала никакого сопротивления, не испытывала никаких отклонений света. Что ж, значит, мы должны были бы спросить: где сферы?

Философ. Это исключено! И как только может сам Кристофер Клавиус, величайший астроном Италии и церкви, вообще даже рассматривать нечто подобное?

Прелат. Позор!

Первый астроном. И тем не менее он исследует! Он сидит там и глазеет в эту дьявольскую трубу.

Второй астроном. Principiis obsta![1] Все началось с того что мы уже давно стали вычислять долготу солнечного года, дни солнечных и лунных затмений и положение небесных тел по таблицам этого Коперника, а он — еретик.

Первый монах. А я спрашиваю, что лучше? Увидеть лунное затмение на три дня позже, чем предсказано в календаре, или навеки погубить душу?

Очень тощий монах *(выходит на авансцену, держа в руках раскрытую Библию, фанатически тычет пальцем в страницу)*. Что сказано здесь, в Писании? «Стой, Солнце, над Гавао-

[1] Нарушены принципы! *(лат.)*.

ном и Луна — над долиною Ахалонскою»[1]. Как же может Солнце остановиться, если вообще не движется, как утверждают эти еретики? Разве Писание лжет?

Второй астроном. Есть явления, которые нам, астрономам, трудно объяснить, но разве человек должен все понимать?

Оба астронома уходят.

Очень тощий монах. Родину человечества они приравнивают к блуждающей звезде. Людей, животных, растения, целые страны они погружают на тачку, которую гоняют по кругу в пустых небесах. Для них больше нет ни Земли, ни неба. Нет Земли потому, что она только небесное тело, и нет неба потому, что оно состоит из многих земель. И, значит, нет уже различия между верхом и низом, между вечным и бренным. Что мы бренны, мы это знаем. Но они говорят нам теперь, что и небо тоже бренно. Сказано было и написано было: есть Солнце, есть Луна, есть звезды, а мы живем на Земле. А теперь, по-ихнему, и Земля — это звезда. Нет ничего, кроме звезд! Мы еще доживем до того, что они скажут: нет различия между человеком и животным, человек тоже только животное; нет ничего, кроме животных!

Первый ученый *(Галилею)*. Вы что-то бросили на пол, господин Галилей.

Галилей *(все это время играл камнем, который достал из кармана, и наконец уронил его на пол. Наклоняется, чтобы поднять его)*. На потолок, монсеньор, я бросил его на потолок.

Толстый прелат *(оборачиваясь)*. Какое бесстыдство!

Входит очень старый кардинал, опираясь на монаха. Перед ним почтительно расступаются.

Кардинал. Они все еще там? Неужели они действительно не могут побыстрее управиться с такой мелочью? Клавиус-то должен ведь разбираться в своей астрономии! Я слышал, что этот господин Галилей перемещает человечество из центра вселенной куда-то на край. Следовательно, он, совершенно очевидно, враг человеческого рода. И как с таковым с ним и следует поступать. Человек — венец творения; это известно каждому ребенку. Человек — самое совершенное и самое любимое творение господа. Разве стал бы господь помещать такое дивное творение, плод своих чудотворных усилий, на какую-то мелкую, побочную и все время куда-то убегающую звездочку? Стал бы он посылать своего сына куда попало! И как могут быть люди настолько развращены, чтобы верить этим жалким рабам своих расчетных таблиц? Какое божье творение допустит это?

Прелат *(вполголоса)*. Этот господин здесь присутствует.

Кардинал *(Галилею)*. Вот как, значит, это вы? Я уже не слишком хорошо вижу, но все же я замечаю, что вы очень похожи

[1] Согласно библейской легенде, этими словами Иисус Навин остановил Солнце в небе («Книга Иисуса Навина», 10, 12).

на того человека — как там его звали? — которого мы в свое время сожгли.

Монах. Вашему преосвященству не следует волноваться. Врач...

Кардинал *(отталкивая его, Галилею)*. Вы пытаетесь унизить Землю, хотя вы на ней живете и все от нее получаете. Вы гадите в свое гнездо. Но уж я ни в коем случае не допущу этого. *(Отталкивает монаха и начинает гордо расхаживать взад и вперед.)* Я не какое-то существо на какой-то звездочке, которая короткое время где-то там вертится. Я ступаю по твердой земле, я шагаю уверенно. Земля неподвижна, она — средоточие вселенной, я нахожусь в этом средоточии, и взор творца почиет на мне, и только на мне. Вокруг меня вращаются закрепленные на кристаллических сферах неподвижные звезды и могучее Солнце, созданное для того, чтобы господь меня видел. И так явственно и неопровержимо все сосредоточено вокруг меня, вокруг человека, ибо человек — это плод господнего усилия, творение, обретающееся в центре мироздания, образ и подобие божье, непреходящее и... *(Шатается, теряет сознание.)*

В это мгновение растворяется дверь в глубине сцены; во главе группы астрономов выходит великий Клавиус. Он проходит через зал быстро и молча, не оглядываясь по сторонам, и уже у выхода говорит, обращаясь к одному из монахов.

Клавиус. Все правильно. *(Уходит, сопровождаемый астрономами.)*

Дверь в глубине сцены остается открытой. Мертвая тишина. Старик кардинал приходит в себя.

Кардинал. Что такое? Решение уже вынесено?

Никто не осмеливается сказать ему.

Монах. Вашему преосвященству нужно проследовать домой.

Старику помогают выйти. Все в смятении покидают зал. Маленький монах из комиссии Клавиуса останавливается возле Галилея.

Маленький монах *(шепотом)*. Господин Галилей, патер Клавиус, перед тем как уйти, сказал: пусть теперь теологи позаботятся о том, чтобы снова вправить небесные круги. Итак, победа ваша. *(Идет к выходу.)*

Галилей *(пытаясь задержать его)*. Моя? Нет! Это победа разума!

Маленький монах уходит. Галилей тоже направляется к выходу. Из дверей навстречу ему выходит высокий монах — кардинал-инквизитор. Его сопровождает один из астрономов. Галилей кланяется и, прежде чем выйти, шепотом спрашивает что-то у одного из привратников.

Привратник *(отвечает шепотом)*. Его преосвященство кардинал-инквизитор.

Астроном провожает кардинала-инквизитора к телескопу.

VII

Но инквизиция налагает запрет на учение Коперника (5марта 1616 года).

Когда Галилей приехал в Рим,
Кардинальский дворец распахнулся пред ним,
Ему сласти несли, подливали вино
И просили исполнить желанье одно.

Дом кардиала Беллармиииа в Риме. Бал в разгаре. В вестибюле два монаха-писца сидят за шахматами и ведут записи о гостях. Входят Галилей, его дочь Вирджииия, ее жених Людовико Марсили; их встречает рукоплесканиями иебольшая группа мужчии и дам в масках.

Вирджиния. Я буду танцевать только с тобой, Людовико.

Людовико. У тебя пряжка иа плече расстегиулась.

Галилей. Сместившийся слегка платок иагрудный
Не поправляй так тщательио, Таис!
Ииой беспорядок случайный позволит
Скрытые прелести вдруг подглядеть.
Так в людном, огиями сияющем зале
Можио мечтать о таинствеином парке,
Где темная тень ожиданий полна.

Вирджииия. Послушай мое сердце.

Галилей *(кладет ей руку на сердце)*. Бьется.

Вирджииия. Я хочу быть красивой.

Галилей. Да-да, будь красива. Не то они опять усомиятся, что она вертится.

Людовико. Да оиа же вовсе не вертится.

Галилей смеется.

Весь Рим говорит только о вас. Но с сегодияшиего вечера, сударь, будут говорить о вашей дочери.

Галилей. Говорят, что нетрудио быть красивым в Риме весиой. Тут даже и я могу уподобиться Адоиису[1]. *(Писцам.)* Я должеи здесь подождать господииа кардинала. *(Дочери и Людовико.)* Идите веселитесь.

Вирджиния *(не успев еще войти в бальный зал, возвращается, подбегает к отцу)*. Отец, парикмахер на Виа дель Триоифо приият меия вие очереди, заставил четырех дам ожидать. Ему известио твое имя. *(Уходит.)*

Галилей *(писцам)*. А почему вы играете в шахматы еще по-старому? Тесио! Тесио! Теперь везде играют так, что большие фигуры могут проходить по всей доске. Ладья так *(показывает)*, слои так, а ферзь и так и эдак. Теперь есть простор и можио строить плаиы.

---

[1] *Адонис* — в античиой мифологии прекрасиый юноша, возлюблеииый богиии любви Афродиты.

Первый писец. Это, знаете ли, не соответствует нашему малому жалованью. Мы можем ходнть только так! *(Делает короткий ход.)*

Галнлей. Напротнв, милейшнй, напротнв. Кто живет на шнрокую ногу, тому и обувь дают пошире. Нельзя отставать от времени. Не все же плавать только вдоль берегов. Когда-нибудь надо и в открытое море выйтн.

По сцене проходит очень старый кардииал в сопровожденнн монаха. Он замечает Галилея, но проходит мнмо него, потом нерешительио поворачнвается н кланяется. Галилей саднтся. Из бального зала слышен хор мальчиков, поющнх начало известного стнхотворения Лоренцо Медичи о бренности жнзии.

Зрел я увядающне розы иа кустах,
Лепесткн завядшне опадалн в прах,
Созерцая это, понял я с тех пор,
Сколь бесплодно тщетен юности задор.

Да, Рим... Большое нынче празднество, не правда ли?

Первый пнсец. Первый карнавал после чумы. Здесь представлены сегодня все лучшие семьн Италнн: Орсинн, Виллани, Нукколн, Сольданьерн, Кане, Лекки, Эстензн, Коломбинн...

Второй пнсец *(прерывает)*. Их преосвященства кардиналы Беллармнн н Барберинн.

Входят кардннал Беллармин в маске ягненка н кардинал Барбериии в маске голубя. Маски онн держат на палочках перед собой.

Барберннн *(вытянув указательный палец к лицу Галилея)*. «Восходит солнце, н заходнт солнце и спешит к месту своему». Так говорит Соломон, а что говорит Галилей?

Галнлей. Когда я был вот таким *(показывает рукой)* малышом, ваше преосвященство, я однажды стоял на палубе корабля н крнчал: берег уходнт! Теперь я знаю: берег был неподвнжен, а уходил корабль.

Барберннн. Хнтро, хнтро. Тому, что ты вндишь, Беллармнн, а нменно тому, что вращается звездное небо, не нужно вернть,— вспомннм о корабле н береге. А вернть нужно тому, чего нельзя вндеть, что вертнтся Земля. Хитро. Однако его луны Юпитера — это твердые орешкн для наших астрономов. Да, Беллармин, к сожаленню, и я тоже когда-то заннмался немного астрономней. Это прилнпчнво, как чесотка.

Беллармин. Будем идти в ногу со временем, Барбернни. Еслн звездные карты, основанные на некой новой гнпотезе, облегчают нашим мореплавателям их странствия, пусть онн пользуются этнмн картамн. Нам только не нравятся те учення, которые опровергают Священное пнсание. *(Приветливо машет кому-то в бальном зале.)*

Галилей. Писанне гласнт: «Кто удержнвает у себя хлеб, того клянет народ». Притчи Соломоновы.

Барберини. «Мудрый тант свое знанне». Притчи Соломоновы.

Галилей. «Где есть волы, там и стойла грязны. Но много прибыли — от силы вола».

Барберини. «Кто держит в узде свой разум, лучше того, кто завоевал город».

Галилей. «У кого сломлен дух, у того иссохнет плоть».

Пауза.

«Разве не громко вопиет истина»?

Барберини. «Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Добро пожаловать в Рим, друг Галилей. А вы знаете, как возник Рим? Предание гласит, что двух крошек-мальчиков приютила волчица и вскормила их своим молоком. С той поры все дети должны за свое молоко платить волчице. Но зато волчица заботится о всяческих утехах — земных и небесных, начиная от бесед с моим ученым другом Беллармином и кончая тремя или четырьмя дамами, которые имеют международную известность. Позвольте, я покажу их вам.

Барберини ведет Галилея к бальному залу, тот упирается.

Не хотите? Он упрям и хочет вести серьезную беседу. Ладно! А не кажется ли вам, друг мой Галилей, что вы, астрономы, просто хотите сделать свою науку более удобной? *(Ведет Галилея опять на авансцену.)* Вы мыслите кругами или эллипсами, мыслите в понятиях равномерных скоростей и простых движений, которые под силу вашим мозгам. А что, если бы господь повелел своим небесным телам двигаться так? *(Описывает пальцем в воздухе сложную кривую с переменной скоростью.)* Что было бы тогда со всеми вашими вычислениями?

Галилей. Ваше преосвященство, если бы господь так сконструировал мир *(повторяет движение Барберини)*, то он сконструировал бы и наши мозги тоже так *(повторяет то же движение)*, чтобы именно эти пути познавались как простейшие. Я верю в разум.

Барберини. А я считаю разум несостоятельным. *(Указывая на Галилея.)* Он молчит. Он слишком вежлив, чтобы сказать, что считает несостоятельным мой разум. *(Смеется, возвращается к балюстраде.)*

Беллармин. Друг мой, разум ограничен: мы видим вокруг только ложь, преступления и слабость. Где же истина?

Галилей *(гневно)*. Я верю в разум.

Барберини *(писцам)*. Не записывайте ничего, это научное собеседование друзей.

Беллармин. Подумайте на мгновение о том, сколько труда и напряжения мысли употребили отцы церкви и многие после них, чтобы внести хоть немного смысла в этот мир; а разве он не отвратителен? Подумайте о жестокости тех помещиков Кампаньи, в чьих имениях хлещут бичами полуголых крестьян, подумайте и о глупости этих несчастных, целующих ноги своим насильникам.

Галилей. Это позор! На пути сюда я видел...

Беллармин. Ответственность за все явления, которые мы не можем понять,— ведь жизнь состоит из них,— мы переложили на некое высшее существо. Мы говорим, что все это имеет определенную цель, что все это происходит согласно великому плану. Нельзя сказать, что так обеспечивается полное умиротворение, но вот теперь вы обвиняете верховное существо в том, что оно даже не понимает толком, как движутся небесные тела, и только вы это поняли. Разве это разумно?

Галилей *(готовится дать объяснение)*. Я верующий сын церкви...

Барберини. Нет, это просто ужасно! Он хочет нам с самым простодушным видом доказать, что бог наделал грубейших ошибок в астрономии. Что ж, по-вашему, господь недостаточно внимательно изучал астрономию перед тем, как создал Священное писание? Дорогой друг...

Беллармин. А вам не кажется более вероятным, что создатель все же лучше разбирается в созданном, чем одно из его созданий?

Галилей. Однако, господа, в конце концов, человек может ошибиться не только в суждениях о движении звезд, но и в толковании Библии.

Беллармин. О том, как понимать Библию, предоставим уж судить теологам святой церкви, не правда ли?

Галилей молчит.

Вот видите, теперь вы молчите. *(Делает знак писцам.)* Господин Галилей, святейший совет постановил сегодня ночью, что учение Коперника о том, что Солнце неподвижно и служит центром вселенной, а Земля не центр вселенной и движется, является безумным, нелепым и еретическим. Мне поручено призвать вас отказаться от этих взглядов. *(Первому писцу.)* Повторите.

Писец. Его преосвященство, кардинал Беллармин, обращается к упомянутому Галилео Галилею: святейший совет постановил сегодня ночью, что учение Коперника о том, что Солнце неподвижно и служит центром вселенной, а Земля не центр вселенной и движется, является безумным, нелепым и еретическим. Мне поручено призвать вас отказаться от этих взглядов.

Галилей. Что это значит?

Из зала доносится новая строфа песни, исполняемой хором мальчиков.

Пока не кончилась весна,
Сорвите розу, вот она!

Барберини жестом просит Галилея молчать, пока звучит пение.
Они прислушиваются.

Но как же тогда факты? Я понял так, что астрономы римской коллегии признали правильными те записи, которые я представил...

Беллармин. Да, и с выражением глубочайшего удовлетворения, в самой почетной для вас форме...

Галилей. Но спутники Юпитера, но фазы Венеры...

Беллармин. Святая конгрегация приняла свое решение, не учитывая эти подробности.

Галилей. Значит, всякие дальнейшие научные исследования...

Беллармин. ...полностью обеспечены, господин Галилей. В соответствии с учением церкви, которое гласит, что мы не можем познать, но вправе исследовать. *(Опять приветствует кого-то в зале.)* Вам предоставляется право использовать и это учение как математическую гипотезу. Наука является законной и весьма любимой дочерью церкви, господин Галилей. Никто из нас не считает всерьез, что вы намерены подорвать доверие к церкви.

Галилей *(гневно)*. Доверие иссякает, когда им слишком злоупотребляют.

Барберини. Вот как? *(Громко смеясь, хлопает Галилея по плечу, потом пристально смотрит на него и говорит почти дружелюбно.)* Не выплескивайте вместе с водой из ванны младенца, друг мой Галилей. Ведь и мы этого не делаем. Вы нужны нам больше, чем мы вам.

Беллармин *(берет под руку Галилея)*. Мне не терпится представить величайшего математика Италии комиссару святейшего совета, он чрезвычайно высоко ценит вас.

Барберини *(подхватывая вторую руку Галилея)*. После чего он снова превратится в агнца. И вам было бы лучше прийти сюда ряженым, переодетым в почтенного доктора схоластики, дорогой друг. Мне, например, моя сегодняшняя маска позволяет некоторую свободу. В таком виде я могу даже бормотать: если бы не было бога, то следовало бы его выдумать. Итак, наденем опять наши маски. А вот у бедного Галилея вовсе нет маски.

Кардинал Беллармин и кардинал Барберини уводят Галилея, взяв его под руки.

Первый писец. Ты записал последнюю фразу?

Второй писец. Еще пишу.

Оба усердно пишут.

У тебя записано, как он сказал, что верит в разум?

Входит кардинал-инквизитор.

Кардинал-инквизитор. Беседа состоялась.

Первый писец *(автоматически)*. Сперва пришел господин Галилей со своей дочерью. Она сегодня обручилась с господином...

Кардинал-инквизитор жестом прерывает его.

Господин Галилей потом объяснял нам новый вид шахматной игры, по которому, вопреки всем правилам, можно передвигать фигуры через всю доску.

Кардинал-инквизитор *(опять прерывает его жестом)*. Протокол!

Первый писец передает ему листы. Кардинал-инквизитор садится и просматривает их. Через сцену проходят две молодые дамы в масках, они приседают перед кардиналом-инквизитором.

П е р в а я   д а м а. Кто это?
В т о р а я   д а м а. Кардинал-инквизитор.

Обе, хихикая, уходят. Входит В и р д ж и н и я, оглядывается, разыскивает кого-то.

К а р д и н а л - и н к в и з и т о р *(из своего угла)*. Итак, дочь моя?

В и р д ж и н и я *(вздрагивает, так как не сразу увидела его)*. О, ваше преосвященство!

Кардинал-инквизитор, не вставая, протягивает ей правую руку; она подходит, становится на колени и целует его перстень.

К а р д и н а л - и н к в и з и т о р. Великолепнейший вечер. Позвольте мне поздравить вас с обручением. Ваш жених из знатной семьи. Вы останетесь у нас в Риме?

В и р д ж и н и я. Пока еще нет, ваше преосвященство. Нужно так много приготовить к свадьбе.

К а р д и н а л - и н к в и з и т о р. Значит, вы последуете за отцом во Флоренцию. Рад этому. Могу себе представить, как вы нужны отцу. Жить в доме с одной лишь математикой неуютно, не правда ли? А существо из плоти и крови в таком доме значит очень много. Ведь так легко затеряться великому человеку в столь обширных звездных мирах.

В и р д ж и н и я *(взволнованно)*. Вы так добры, ваше преосвященство. Право же, я почти ничего не понимаю во всем этом.

К а р д и н а л - и н к в и з и т о р. Неужто? *(Смеется.)* В доме рыбака не едят рыбы, не так ли? Это, вероятно, очень позабавит вашего батюшку, дитя мое, когда он узнает, что все, что вам известно о звездных мирах, вы услыхали от меня. *(Перелистывает протокол.)* Я прочел здесь, что наши обновители, главой которых, как признано всеми, является ваш отец— великий человек, один из величайших,— считают современные понятия о значении нашей милой Земли несколько преувеличенными. Со времен Птолемея, великого мудреца древности, и до сегодняшнего дня считалось, что вся вселенная, весь кристаллический шар, в середине которого покоится Земля, имеет поперечник примерно в двадцать тысяч раз больше поперечника Земли. Это очень большая величина, но, оказывается, она слишком мала, совсем-совсем мала для обновителей. Если им поверить, то все это пространство невообразимо расширяется, и расстояние от Земли до Солнца, которое всегда казалось нам очень значительным, теперь окажется столь ничтожно малым в сравнении с тем расстоянием, которое отделяет нашу бедную Землю от неподвижных звезд, закрепленных на самой внешней кристаллической сфере, что его даже не стоит принимать в расчет при вычислениях. Ну кто после этого еще осмелится говорить, что наши обновители не живут на широкую ногу?

Вирджиния смеется; кардинал-инквизитор смеется тоже.

Действительно, некоторых господ из святейшего совета недавно чуть не оскорбила такая картина вселенной, по сравнению с которой та, что существует сейчас, оказывается очень маленькой картиной. Настолько маленькой, что ее можно было бы повесить на очаровательную шейку некой юной девицы. Эти господа опасаются, что в столь чудовищно огромных пространствах может легко затеряться любой прелат и даже кардинал. Всемогущий бог мог бы не заметить даже самого папу. Да, это забавно, но я рад, что вы, милое дитя, и в дальнейшем будете находиться при вашем великом отце, которого мы все так бесконечно ценим. Я пытаюсь вспомнить, не знаю ли я вашего исповедника...

Вирджиния. Отец Христофор из монастыря святой Урсулы.

Кардинал-инквизитор. Да-да, я рад, что вы будете сопровождать вашего отца. Вы будете нужны ему. Вы, наверно, даже не можете себе представить, насколько нужны. Но это именно так. Вы молоды, вы полны жизни, вся из плоти и крови. А величие не всегда легко вынести тем, кого господь наделил величием, не всегда. Никто из смертных не велик настолько, чтобы его нельзя было помянуть в молитве. Однако я вас задерживаю, милое дитя, и могу возбудить ревность вашего жениха, а может быть, и вашего отца тем, что рассказал вам кое-что о звездах, что к тому же, быть может, устарело. Идите скорее танцевать и не забудьте передать отцу Христофору привет от меня.

Вирджиния низко кланяется и быстро уходит.

VIII

Разговор.

Запретил науку святейший престол,
Но монах молодой к Галилею пришел,
Хоть был он крестьянина бедного сын,
Хотел всю науку познать до глубин,
Хотел познать, хотел познать.

Дворец флорентийского посла в Риме. Галилей беседует с маленьким монахом, тем самым, который после заседания «Коллегнума» шепотом сообщил ему мнение папского астронома.

Галилей. Говорите, говорите! Одежда, которую вы носите, дает вам право говорить все, что хотите.

Маленький монах. Я изучал математику, господин Галилей.

Галилей. Это имело бы смысл, если бы побудило вас признать, что время от времени дважды два бывает равно четырем.

Маленький монах. Господин Галилей, уже три ночи я не могу заснуть. Я не знал, как примирить этот декрет, который я прочел, со спутниками Юпитера, которые я наблюдал. Но сегодня я решил отслужить утреннюю мессу и пойти к вам.

Галилей. Чтобы сообщить мне, что спутников Юпитера не существует.

Маленький монах. Нет. Мне удалось постичь мудрость декрета. Он открыл мне опасности, которые таятся для человечества в слишком безудержном исследовании, и я решил отказаться от занятий астрономией. И, кроме того, я считаю очень важным изложить вам те соображения, которые могут побудить и астронома отказаться от дальнейшей разработки известного учения.

Галилей. Смею сказать, что мне эти соображения известны.

Маленький монах. Я понимаю горечь ваших слов. Вы думаете о тех чрезвычайных средствах поддержания власти, которыми располагает церковь.

Галилей. Скажите прямо — орудия пытки.

Маленький монах. Но я хочу говорить о другом. Позвольте мне рассказать о себе. Я из крестьянской семьи, вырос в Кампанье. Мои родные — простые люди. Они знают все о масличном дереве, но, кроме этого, почти ничего не знают. Наблюдая фазы Венеры, я думал о своих родителях. Вместе с моей сестрой они сидят у очага, едят створоженное молоко. Над ними перекладины потолка, почерневшие от дыма нескольких столетий, в их старых натруженных руках маленькие ложки. Им живется плохо, но даже в несчастьях для них скрыт определенный порядок. Это порядок неизменных круговоротов во всем: и в том, когда подметают пол в доме, и в смене времен года в масличных садах, и в уплате налогов. Все беды, которые обрушиваются на них, тоже как-то закономерны. Спина моего отца все больше сгибается, но не сразу, а постепенно, с каждой новой весной, после новой работы в поле. И так же чередовались роды, которые сделали мою мать почти бесполым существом,— они следовали с определенными промежутками. Все свои силы — силы, необходимые для того, чтобы, обливаясь потом, таскать корзины по каменистым тропам, рожать детей и даже просто есть,— они черпали из ощущения постоянства и необходимости. Из того ощущения, которое возбуждали в них уже сама земля, и деревья, ежегодно зеленеющие вновь, и маленькая церковка, и воскресные чтения Библии. Их уверили в том, что на них обращен взор божества — пытливый и заботливый взор,— что весь мир вокруг создан как театр для того, чтобы они — действующие лица — могли достойно сыграть свои большие и малые роли. Что сказали бы они, если б узнали от меня, что живут на крохотном каменном комочке, который непрерывно вращается в пустом пространстве и движется вокруг другой земли, и что сам по себе этот комочек лишь одна из многих звезд, и к тому же довольно незначительная. К чему после этого терпение, покорность в нужде? На что пригодно Священное писание, которое все объясняло и обосновало необходимость пота, терпения, голода, покорности, а теперь вдруг оказалось полным ошибок? И вот я вижу, как в их взглядах мелькает испуг, они опускают ложки на плиту оча-

га; я вижу, что они чувствуют себя преданными, обманутыми. Значит, ничей взор не обращен на нас, говорят они. Значит, мы сами должны заботиться о себе, мы, невежественные, старые, истощенные. Значит, никто не придумал для нас иной роли, кроме этой — земной, жалкой, на этой вот ничтожной звездочке, к тому же совершенно несамостоятельной, вокруг которой ничто не вращается? Нет никакого смысла в нашей нужде; голодать — это значит просто не есть, это не испытание сил; трудиться — это значит просто гнуть спину и таскать тяжести, в этом нет подвига. Понимаете ли вы теперь, почему я в декрете святой конгрегации[1] обнаружил благородное материнское сострадание, великую душевную доброту?

Галилей. Душевную доброту! Вероятно, вы рассуждаете так: ничего нет, вино выпито, их губы пересохли, пусть же они целуют сутану! А почему нет ничего? Почему порядок в нашей стране — это порядок пустых закромов? Почему необходимость у нас — это необходимость работать до изнеможения? Среди цветущих виноградников, у полей колосящейся пшеницы! Ваши крестьяне оплачивают войны, которые ведет наместник милосердного Христа в Испании и в Германии. Зачем он помещает Землю в центре мироздания? Да затем, чтобы престол святого Петра[2] мог стоять в центре Земли! В этом-то и все дело! Вы правы, речь идет не о планетах, а о крестьянах Кампаньи. И не говорите мне о красоте явлений, позлащенных древностью. Знаете ли вы, как создается жемчуг в раковине Margaritifera? Эта устрица смертельно заболевает, когда в нее проникает какое-нибудь чужеродное тело, например песчинка. Она замыкает эту песчинку в шарик из слизи. Она сама едва не погибает при этом. К черту жемчуг, я предпочитаю здоровых устриц. Добродетели вовсе не сопряжены с нищетой, мой милый. Если бы ваши родные были состоятельны и счастливы, они могли бы развить в себе добродетели, возникающие в благосостоянии и от счастья. А теперь эти добродетели истощенных бедняков вырастают на истощенных нивах, и я отвергаю их. Сударь, мои новые водяные насосы могут творить больше чудес, чем вся ваша сверхчеловеческая болтовня. «Плодитесь и размножайтесь», ибо ваши поля бесплодны и войны сокращают вашу численность. Неужели я должен лгать вашим родным?

Маленький монах *(очень взволнован)*. Наивысшие соображения должны побудить нас молчать, ведь речь идет о душевном покое несчастных!

Галилей. Показать вам часы работы Бенвенуто Челлини[3], которые сегодня утром привез сюда кучер кардинала Беллармина

---

[1] *Конгрегация* — собрание, братство; в Ватикане — отдел папской курии, т. е. совокупности центральных учреждений папской власти.

[2] Престол папы римского.

[3] *Бенвенуто Челлини* (1500—1571) — флорентийский золотых дел мастер и скульптор, автор «Жизнеописания» — выдающегося литературного памятника итальянского Возрождения.

на? Дорогой мой, в награду за то, что я не потревожу душевного покоя, скажем, ваших близких, власти дарят мне то самое вино, которое изготавливают ваши родные в поте лица своего, созданного, как известно, по образу и подобию божьему. Если бы я согласился молчать, то поступил бы так, уж, конечно, не из высших, а из очень низменных побуждений, чтобы жить в довольстве, не знать преследований и прочего.

Маленький монах. Господин Галилей, я священник.

Галилей. Но и физик тоже. И вы видели, что у Венеры есть фазы. Погляди-ка туда! *(Показывая в окно.)* Видишь там маленького Приапа[1] над ручьем у лаврового дерева? Бог садов, птиц и воров, двухтысячелетний похабный идол! Он меньше лгал. Впрочем, ладно, оставим это, я тоже сын церкви. Но знаете ли вы восьмую сатиру Горация?[2] В эти дни я опять перечитываю его: он иногда помогает сохранить душевное равновесие. *(Берет небольшую книжку.)* Вот что у него говорит именно Приап, маленькая статуя в Эсквилинских садах. Начинается так:

Некогда был я чурбан, смоковницы пень бесполезный;
Долго думал мужик, скамью ли тесать иль Приапа.
«Сделаю бога!» — сказал. Вот и бог я![3]

Как вы полагаете, позволил бы Гораций запретить упоминание о скамье и заменить ее в стихах словом «стол»? Сударь, мое чувство прекрасного не допускает, чтобы фазы Венеры отсутствовали в моей картине мироздания. Мы не можем изобретать механизмы для выкачивания воды из рек, если нельзя изучать величайший механизм, который у нас перед глазами,— механизм звездного неба. Сумма углов треугольника не может быть изменена согласно потребностям церковных властей. Пути летящих тел я не могу вычислять так, чтобы эти расчеты заодно объясняли и полеты ведьм верхом на метле.

Маленький монах. А не думаете ли вы, что истина — если это истина — выйдет наружу и без нас?

Галилей. Нет, нет и нет! Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим. Победа разума может быть только победой разумных. Вот вы уже описываете крестьян из Кампаньи так, словно они мох на своих лачугах! Кто станет предполагать, что сумма углов треугольника может противоречить потребностям этих крестьян? Но если они не придут в движение и не научатся думать, то им не помогут и самые лучшие оросительные устройства. К чертям! Я насмотрелся на божественное терпение ваших родных, но где ж их божественный гнев?

Маленький монах. Они устали.

Галилей *(бросает ему связку рукописей)*. Ты физик, сын

[1] *Приап* — античное божество плодородия, покровитель садов и полей.
[2] *Квинт Гораций Флакк* (65—8 гг. до н. э.) — великий поэт Древнего Рима.
[3] Перевод *М. Дмитриева.*

мой? Здесь рассмотрены причины приливов и отливов, движущих океан. Но ты не должен читать этого. Слышишь? Ах, ты уже читаешь? Значит, ты физик?

Маленький монах погружается в бумаги.

Яблоко с древа познания! Он уже вгрызается в него. Он проклят навеки и все же должен сглодать его, злосчастный обжора! Иногда я думаю, что согласился бы, чтобы меня заперли в подземной тюрьме, на десять сажен под землей, куда не проникал бы и луч света, если бы только взамен я мог узнать, что же такое свет. И самое страшное: все, что я знаю, поведать другим. Как влюбленный, как пьяный, как предатель. Это, конечно порок, и он грозит бедой. Как долго еще я смогу кричать обо всем, что знаю, только в печную трубу,— вот в чем вопрос.

Маленький монах *(указывает на страницу)*. Не могу понять этого места.

Галилей. Я объясню тебе, я объясню тебе.

IX

После восьмилетнего молчания Галилей узнает, что новым папой стал ученый; ободренный этим известием, Галилей начинает новые исследования в запретной области. Солнечные пятна.

Он правду хранил за семью замками
И язык держал за зубами.
Молчал он восемь постылых лет,
Но после выпустил правду на свет.

Дом Галилея во Флоренции. Ученики Галилея — Федерцони, маленький монах и Андреа Сарти, который стал уже юношей,— собрались на экспериментальные занятия. Галилей стоя читает книгу. Внизу Вирджиния и госпожа Сарти шьют белье для приданого.

Вирджиния. Шитье приданого — это веселое шитье. Вот это скатерть для стола больших приемов. Людовико любит гостей. Но шить нужно очень хорошо. Его мать видит каждый стежок. Она не согласна с книгами отца. Так же как отец Христофор.

Госпожа Сарти. Вот уже много лет, как он не написал ни одной книги.

Вирджиния. Я думаю, он понял, что заблуждался. В Риме одно высокое духовное лицо многое объяснило мне по астрономии. Расстояния слишком велики.

Андреа *(пишет на доске)*. «Четверг, после полудня. Плавающие тела». Опять лед, лохань с водой, весы, железная игла, Аристотель. *(Приносит перечисленные предметы.)*

Остальные читают книги.
Входит Филиппо Муциус, ученый средних лет. Он чем-то расстроен.

Муциус. Не можете ли вы сказать господину Галилею, что он должен меня принять? Он осуждает меня, не выслушав.

Госпожа Сарти. Но ведь он не хочет вас принимать.

Муциус. Господь наградит вас, если вы его упросите. Я должен с ним поговорить.

Вирджиния (*идет к лестнице*). Отец!

Галилей. Что такое?

Вирджиния. Господин Муциус!

Галилей (*резко повернулся, идет к лестнице, за ним ученики*). Что вам угодно?

Муциус. Господин Галилей, я прошу вас разрешить мне объяснить вам те места в моей книге, в которых, как может показаться, я осудил учение Коперника о вращении Земли. У меня...

Галилей. Что вы собираетесь объяснять? У вас все в полном соответствии с декретом святой конгрегации от тысяча шестьсот шестнадцатого года. Следовательно, вы вполне правы. И хотя вы изучали здесь математику, но это не позволяет нам требовать от вас, чтобы вы утверждали, будто дважды два равно четырем. Вы имеете полное право утверждать, что этот камень (*вынимает из кармана камешек и бросает его с лестницы на пол*) только что взлетел вверх, на крышу.

Муциус. Господин Галилей, я...

Галилей. Не вздумайте говорить о трудностях! Я не позволил даже чуме помешать моим наблюдениям.

Муциус. Господин Галилей, чума еще не самое худшее.

Галилей. Я говорю вам: тот, кто не знает истины, только глуп. Но кто ее знает и называет ложью, тот преступник. Уходите из моего дома.

Муциус (*беззвучно*). Вы правы. (*Уходит.*)

Галилей возвращается в кабинет.

Федерцони. К сожалению, это так. Он мелкий человек и вообще ничего бы не значил, если бы не был вашим учеником. Но теперь они там, конечно, говорят: вот он слыхал все то, чему учит Галилей, и сам признает, что все это ложь.

Госпожа Сарти. Мне жаль этого господина.

Вирджиния. Отец его так любил...

Госпожа Сарти. Я хочу поговорить с тобой о свадьбе, Вирджиния. Ты еще так молода, и матери у тебя нет, а твой отец кладет в воду кусочки льда. Во всяком случае, не советую тебе спрашивать его ни о чем относящемся к свадьбе. Он стал бы целую неделю говорить самые ужасные вещи, к тому же за столом, в присутствии молодых людей. Ведь у него нет и никогда не было стыда ни на грош. Но и я не думаю о таких вещах, а просто о том, как получится в будущем. Знать я ничего не могу, я необразованная женщина. Но в такое серьезное дело нельзя пускаться вслепую. Я думаю, ты должна пойти к настоящему астроному в университет, чтобы он составил тебе гороскоп[1], и тогда ты будешь знать что к чему. Почему ты смеешься?

---

[1] *Гороскоп* — мистическая таблица расположения небесных светил при рождении человека, по которой астрологи в средние века предсказывали судьбу человека.

Вирджиния. Да потому, что я уже была там.

Госпожа Сарти *(с жадным любопытством)*. И что он сказал?

Вирджиния. В течение трех месяцев я должна остерегаться, так как Солнце находится под знаком Козерога, но потом расположение звезд будет благоприятным для меня, и тогда тучи разойдутся. Если я не буду упускать из виду Юпитер, я могу предпринимать любое путешествие, так как я сама Козерог.

Госпожа Сарти. А Людовико?

Вирджиния. А он — лев. *(Немного помолчав.)* Говорят, это значит, что он чувственный.

Пауза.

Знакомые шаги. Это ректор, господин Гаффоне.

Входит Гаффоне — ректор университета.

Гаффоне. Я только принес книгу, которая, может быть, заинтересует вашего батюшку, пожалуйста, ради бога, не тревожьте господина Галилея. Право же, мне всегда кажется, что каждая минута, которую крадут у этого великого человека, украдена у Италии. Я осторожненько вложу книгу в ваши ручки и ухожу. На цыпочках. *(Уходит.)*

Вирджиния передает книгу Федерцони.

Галилей. О чем это?

Федерцони. Не знаю. *(Читает по складам.)* «De maculis in sole...»

Андреа. О солнечных пятнах. Еще одна!

Федерцони с досадой передает ему книгу.

Слушайте, какое посвящение! «Величайшему из ныне живущих авторитетов физики Галилео Галилею».

Галилей опять углубился в книгу.

Я прочел трактат о солнечных пятнах голландца Фабрициуса. Он предполагает, что это скопление звезд, которые движутся между Землей и Солнцем.

Маленький монах. Разве это не сомнительно, господин Галилей?

Галилей молчит.

Андреа. В Париже и в Праге полагают, что это испарения Солнца.

Федерцони. Гм...

Андреа. Федерцони сомневается в этом.

Федерцони. Уж будьте любезны, оставьте меня в покое. Я сказал «гм», только и всего. Я шлифовальщик линз, я шлифую линзы, а вы смотрите через них на небо, и то, что вы там видите, это вовсе не пятна, а «макулис». Как я могу сомневаться в чем-либо? Сколько раз вам повторять, что я не могу читать книги: они на латыни. *(Сердито размахивает весами.)*

Одна из чашек падает на пол. Галилей подходит и молча поднимает ее.

Маленький монах. А в сомнении заключено счастье, хоть я и не знаю, почему это так.

Андреа. За последние две недели я каждый солнечный день забирался на чердак, под крышу. Через узкие трещины в дранке падает очень тонкий луч. И тогда можно поймать на лист бумаги перевернутое изображение Солнца. Я видел одно пятно величиной с муху, расплывчатое, как облачко. Оно перемещалось. Почему мы не исследуем пятен, господин Галилей?

Галилей. Потому что мы исследуем плавающие тела.

Андреа. Даже бельевые корзины моей матери уже полны писем. Вся Европа спрашивает о вашем мнении. Ваш авторитет так возрос, что вы не можете молчать.

Галилей. Рим позволил вырасти моему авторитету именно потому, что я молчал.

Федерцони. Но теперь вы уже не можете позволить себе молчать.

Галилей. Но я не могу себе позволить, чтобы меня поджарили на костре, как окорок.

Андреа. Вы думаете, что пятна как-то связаны с этим делом?

Галилей не отвечает.

Ну что ж, останемся при наших ледышках. Это нам не повредит.

Галилей. Правильно. Итак — наш тезис, Андреа!

Андреа. Что касается плавания тел, то мы полагаем, что при этом форма тела не имеет значения, а важно лишь то, тяжелее ли это тело, чем вода, или легче.

Галилей. Что говорит Аристотель?

Маленький монах. «Discus latus platique...»

Галилей. Переводи, переводи.

Маленький монах. «Широкая и плоская пластина льда может плавать на воде, тогда как железная игла тонет».

Галилей. Почему, согласно Аристотелю, не тонет лед?

Маленький монах. Потому что он широк и плоског и, следовательно, не может разделить воду.

Галилей. Хорошо. *(Берет кусок льда и кладет его в лохань.)* А теперь я нажимаю на лед, силой опускаю его на дно сосуда. Вот я убираю руки, нажима больше нет. Что происходит?

Маленький монах. Он снова всплывает.

Галилей. Правильно. Видимо, подымаясь, он все же может разделять воду. Не так ли, Фульганцио?

Маленький монах. Но почему же он вообще плавает? Ведь лед тяжелее воды, поскольку он сгущенная вода.

Галилей. А что, если он разжиженная вода?

Андреа. Он должен быть легче воды, иначе бы он не плавал.

Галилей. Вот-вот.

Андреа. Так же как не может плавать железная игла. Все,

что легче воды, плавает, все, что тяжелее, тонет. Что и требовалось доказать.

Галилей. Андреа, ты должен научиться осторожно мыслить. Дай-ка мне железную иглу и лист бумаги. Ведь железо тяжелее воды, не так ли?

Андреа. Да.

Галилей кладет иглу на лист бумаги и опускает ее на воду. Пауза.

Галилей. Что происходит?

Федерцони. Игла плавает! Святой Аристотель, ведь его же никогда не проверяли!

Все смеются.

Галилей. Главная причина нищеты наук — почти всегда — их мнимое богатство. Наша задача теперь не в том, чтобы открывать двери бесконечному знанию, а в том, чтобы положить предел бесконечным заблуждениям. Записывайте!

Вирджиния. Что у них там?

Госпожа Сарти. Каждый раз, когда они смеются, я пугаюсь. Думаю — над чем это они смеются?

Вирджиния. Отец говорит: у богословов колокольный звон, а у физиков — смех.

Госпожа Сарти. Но я рада, что он, по крайней мере, теперь не так часто смотрит в свою трубу. Это было еще хуже.

Вирджиния. Теперь он все время лишь кладет куски льда на воду; от этого, пожалуй, не может быть большого вреда.

Госпожа Сарти. Не знаю.

Входит Людовико Марсили в дорожной одежде, сопровождаемый слугой, несущим поклажу. Вирджиния бежит к нему, обнимает.

Вирджиния. Почему ты не писал, что приедешь?

Людовико. Я был здесь поблизости, осматривал наши виноградники у Бучоле и вот не мог удержаться.

Галилей *(близоруко щурясь)*. Кто это там?

Вирджиния. Людовико!

Маленький монах. Разве вы его не видите!

Галилей. Ах да, Людовико. *(Идет к нему навстречу.)* Ну как лошади?

Людовико. Отлично, сударь.

Галилей. Сарти, празднуем встречу! Тащи кувшин сицилийского вина, того, старого!

Госпожа Сарти и Андреа уходят.

Людовико *(Вирджинии)*. Ты что-то побледнела. Сельская жизнь пойдет тебе на пользу. Моя мать ждет тебя к сентябрю.

Вирджиния. Погоди, я покажу тебе подвенечное платье! *(Убегает.)*

Галилей. Садись.

Людовико. Я слыхал, сударь, что ваши лекции в университете слушают теперь больше тысячи студентов. Над чем вы работаете в настоящее время?

Галилей. Обычная повседневная суета. Ты ехал через Рим?

Людовико. Да. Позвольте, пока не забыл,— мать просила выразить вам свое восхищение по поводу вашей достохвальной сдержанности перед лицом этих оргий с солнечными пятнами, которые затеяли голландцы.

Галилей *(сухо)*. Благодарю.

Госпожа Сарти и Андреа приносят вино и стаканы. Все собираются вокруг стола.

Людовико. В Риме это стало уже притчей во языцех. Кристофер Клавиус высказал опасение, что из-за солнечных пятен сейчас может опять начаться балаган с вращением Земли вокруг Солнца.

Андреа. Нечего беспокоиться.

Галилей. Какие еще новости в святом городе, если не считать надежд на мои новые прегрешения?

Людовико. Вы, конечно, знаете, что святейший отец умирает?

Маленький монах. О!

Галилей. Известно, кто будет преемником?

Людовико. Большинство называет Барберини.

Галилей. Барберини.

Андреа. Господин Галилей знаком с Барберини.

Маленький монах. Кардинал Барберини математик.

Федерцони. Ученый на папском престоле!

Пауза.

Галилей. Итак, теперь им нужны такие люди, как Барберини, которые смыслят в математике. Мир приходит в движение. Федерцони, мы еще доживем до времени, когда не придется оглядываться, как преступнику, говоря, что дважды два — четыре. *(К Людовико.)* Мне это вино по вкусу, что ты скажешь о нем?

Людовико. Хорошее вино.

Галилей. Я знаю этот виноградник. Он на крутом каменистом откосе, и ягоды почти синие. Люблю это вино.

Людовико. Да, сударь.

Галилей. В нем есть легкие оттенки. И оно почти сладкое, но именно только «почти». Андреа, убери все это — лед, лохань и иглу. Я ценю утехи плоти. Я не терплю трусливых душонок, которые называют их слабостями. Я говорю: наслаждаться нужно уметь.

Маленький монах. Что вы хотите делать?

Федерцони. Мы снова начнем балаган с вращением Земли вокруг Солнца.

Андреа *(напевает)*.

Писание гласит: не движется она.
Профессор нам твердит: недвижной быть должна.
Святейший папа сердится, Земле стоять веля,
Но движется, но вертится, но движется Земля.

Андреа, Федерцони и маленький монах спешат к рабочему столу и убирают с него лишнее.

Мы можем обнаружить, что Солнце тоже вращается. Как это понравится тебе, Марсили?

Людовико. Почему такое волнение?

Госпожа Сарти. Ведь вы же не начнете опять возиться с этой чертовщиной, господин Галилей?

Галилей. Теперь я понимаю, почему твоя мать послала тебя ко мне. Барберини — папа! Наука станет страстью и исследования — наслаждением. Клавиус прав, эти солнечные пятна меня очень занимают. Нравится тебе мое вино, Людовико?

Людовико. Я уже сказал вам, сударь.

Галилей. Действительно нравится?

Людовико *(сухо, напряженно)*. Да, нравится.

Галилей. И ты пойдешь настолько далеко, что примешь мое вино и мою дочь, не требуя, чтобы я отказывался от своего призвания? Что общего между моей астрономией и моей дочерью? Фазы Венеры не меняют форм ее ягодиц.

Госпожа Сарти. Не говорите таких гадостей. Я сейчас позову Вирджинию.

Людовико *(удерживает ее)*. Бракосочетания в таких семьях, как моя, заключаются не только на основе плотского влечения.

Галилей. Значит, тебе в течение восьми лет не позволяли жениться на моей дочери, пока я не пройду испытательный срок?

Людовико. Моя супруга должна и в нашей сельской церкви появляться как вполне достойная особа.

Галилей. Ты полагаешь, что твои крестьяне будут решать, платить ли им за аренду или нет, в зависимости от святости их помещицы?

Людовико. В известной мере.

Галилей. Андреа, Федерцони, тащите латунное зеркало и экран! Мы на нем получим отражение Солнца, чтобы пощадить наши глаза. Это твой метод, Андреа.

Андреа и маленький монах принесли зеркало и экран.

Людовико. В свое время в Риме вы дали подписку, сударь, что не будете вмешиваться в споры о вращении Земли вокруг Солнца.

Галилей. Ах вот что! Но тогда у нас был папа-реакционер!

Госпожа Сарти. Был! Ведь его святейшество еще даже не умер!

Галилей. Почти, почти умер. Нанесите на экран сетку меридианов и параллелей. Будем действовать систематически. И тогда уж мы сможем отвечать на их письма. Не так ли, Андреа?

Госпожа Сарти. «Почти»! По пятьдесят раз он взвешивает свои кусочки льда, но слепо верит во все, что ему нравится!

Ученики устанавливают экран.

Людовико. Если его святейшество умрет, господин Галилей, то следующий папа — кто бы он ни был н как бы велика ни была его любовь к наукам — должен будет считаться и с тем, как велика любовь к нему со стороны знатнейших семейств Италии.

Маленький монах. Бог создал физический мир, Людовико; бог создал человеческий мозг; бог разрешит физику.

Госпожа Сартн. Галилео, а теперь послушай меня. Я вндела, как мой сын погряз в грехах со всеми этими «экспериментами», «теориями», «наблюдениями», и я ничего не могла поделать. Ты восстал против властей, и они уже однажды тебя предостерегли. Самые высокие кардиналы увещевали тебя, заговарнвали, как больного коня. На какое-то время это помогло, но вот два месяца назад, сразу после благовещенья, я тебя поймала на том, как ты украдкой опять начал свои «наблюдения». На чердаке. Я ничего не сказала, но я все поняла. Я побежала в церковь, поставила свечку святому Иосифу. Но это уже выше моих сил. Когда мы бываем с тобой вдвоем, ты рассуждаешь довольно здраво, говоришь, что не должен так себя вести, потому что это опасно. Но стоит тебе дня два повозиться с твоими «экспериментами», н все опять как было. Если уж я лишаю себя вечного блаженства, потому что не расстаюсь с тобой, еретиком,— это мое дело, но ты не имеешь права растаптывать своими ножищами счастье твоей дочери.

Галилей *(ворчливо)*. Принесите телескоп!

Людовико. Джузеппе, отнеси вещи обратно в карету.

Слуга уходнт.

Госпожа Сарти. Она этого не вынесет. Можете сами сказать ей! *(Убегает, не выпуская из рук кувшина.)*

Людовико. Как я вижу, вы уже все приготовили. Господин Галилей... Мы с матерью большую часть года живем в имении в Кампанье и можем засвидетельствовать вам, что наших крестьян никак не беспокоят вашн трактаты о спутниках Юпитера. У них слишком тяжелая работа в поле. Однако их могло бы встревожить, если бы они узнали, что остаются безнаказанными легкомысленные посягательства на священные устои церкви. Не забывайте, что эти жалкие существа в своем полуживотном состоянии все путают. Они ведь почти животные, вы вряд ли даже можете себе это представить. Услышав, будто где-то на яблоне выросла груша, они удирают с работы, чтобы почесать языки.

Галилей *(заинтересован)*. Вот как?

Людовико. Онн — животные. Когда они приходят в имение жаловаться на какой-либо вздор, мать вынуждена приказывать, чтобы на нх глазах отхлестали бичом одну из собак, чтобы напомнить им о послушании, порядке и вежливости. Господин Галилей, выглядывая из дорожной кареты, вы, может быть, иногда

замечали поля цветущей кукурузы. Вы, ни о чем не думая, едите наши оливки и наш сыр и даже не представляете себе, сколько труда нужно, чтобы их получить, какой бдительный надзор требуется.

Галилей. Молодой человек, когда я ем оливки, я вовсе не перестаю при этом думать. *(Грубо.)* Ты меня задерживаешь. *(Кричит ученикам.)* Ну что, установили экран?

Андреа. Да, вы идете?

Галилей. Ведь вы хлещете не только собак, добиваясь послушания? Не так ли, Марсили?

Людовико. Господин Галилей, у вас великолепный мозг. Жаль его!

Маленький монах *(изумленно)*. Он угрожает вам!

Галилей. Да. Ведь я мог бы смутить его крестьян, возбудить новые мысли у них, у его слуг, у его управителей.

Федерцони. Но как? Ведь никто из них не знает латыни.

Галилей. Я ведь мог бы писать на языке народа, понятном для многих, а не по-латыни для немногих. Для новых мыслей нужны люди, работающие руками. Кто еще захочет понять причины вещей? Те, кто видит хлеб только на столе, не желают знать о том, как его выпекают. Эта сволочь предпочитает благодарить бога, а не пекаря. Но те, кто делает хлеб, поймут, что ничто в мире не движется, если его не двигать. Твоя сестра, Фульганцио, которая работает у пресса, выжимающего оливки, не станет удивляться и, вероятно, даже посмеется, когда услышит, что Солнце — это не позлащенный герб, а рычаг, и что Земля движется потому, что ее двигает Солнце.

Людовико. Вы навсегда останетесь рабом своих страстей. Извинитесь за меня перед Вирджинией — я полагаю, будет лучше, если я ее не увижу.

Галилей. Приданое в вашем распоряжении в любое время.

Людовико. Всего хорошего. *(Уходит.)*

Андреа. Кланяйтесь от нас всем Марсили!

Федерцони. Которые приказывают Земле стоять неподвижно, чтобы их замки не свалились!

Андреа. И всем Ченчи и Виллани!

Федерцони. И Червилли!

Андреа. И Лекки!

Федерцони. И Пирлеони!

Андреа. Всем, кто целует папе ноги, только если он ими топчет народ!

Маленький монах *(у приборов)*. Новым папой будет просвещенный человек.

Галилей. Итак, мы приступаем к наблюдениям над солнечными пятнами, которые нас интересуют, приступаем на собственный риск и страх, не слишком рассчитывая на покровительство нового папы.

Андреа *(прерывает)*. Но с полной уверенностью в том, что рассеем звездные тени господина Фабрициуса и солнечные испа-

рения, которые придумали в Париже и в Праге, и докажем вращение Солнца.

Галилей. Нет, лишь с некоторой уверенностью, что докажем вращение Солнца. Я вовсе не намерен доказывать, что был прав до сих пор; я хочу проверить, был ли я прав. Я говорю вам: «Оставь надежду всяк сюда входящий»[1] — сюда, где исследуют. Может быть, это испарения, а может быть, и пятна. Но прежде чем мы сочтем их пятнами, как нам больше всего хотелось бы, мы лучше предположим, что это рыбьи хвосты. Да, мы будем все снова и снова подвергать сомнению. И мы не помчимся семимильными шагами в сапогах-скороходах, нет, мы станем продвигаться со скоростью улитки. И то, что мы обнаружим сегодня, мы завтра зачеркнем и только тогда запишем снова, когда обнаружим то же самое еще раз. И особенно недоверчивы мы будем, обнаруживая именно то, чего нам бы хотелось. Итак, мы приступим к наблюдениям над Солнцем с беспощадной решимостью доказать неподвижность Земли! И только если это нам не удастся и мы окажемся полностью и безнадежно разбитыми, то, зализывая раны, в самом печальном состоянии начнем мы спрашивать: а не были ли мы все-таки правы, а не вращается ли все-таки Земля? *(Подмигивая.)* И если у нас будут расползаться под руками все иные гипотезы, кроме этой, тогда уж никакой пощады тем, кто не исследует, но все же спорит. Снимайте покрывало с трубы и направьте ее на Солнце! *(Устанавливает латунное зеркало.)*

Маленький монах. Я догадался, что вы уже начали работать. Я понял это, когда вы не узнали господина Марсили.

Молча начинают работать. Когда на экране появляется пылающее отражение солнца, вбегает Вирджиния в подвенечном платье.

Вирджиния. Отец, ты прогнал его? *(Падает без чувств.)*

Андреа и маленький монах бегут к ней.

Галилей. Я должен, должен узнать!

X

В течение последующего десятилетия учение Галилея широко распространилось в народе. Памфлетисты и уличные певцы подхватывают новые идеи. В карнавальную ночь 1632 года во многих городах в оформлении карнавальных шествий многих гильдий использовались астрономические темы.

Полуголодная чета бродячих певцов с пятилетней девочкой и грудным ребенком выходит на рыночную площадь, где толпа ожидает карнавальное шествие. Часть людей в масках. Певцы несут с собой узлы, барабан и другие приспособления.

[1] В «Божественной комедии» *Данте Алигьери* (1265—1321), величайшем литературном памятнике итальянского Возрождения, эта надпись начертана над входом в ад («Ад», III, 9).

Уличный певец *(бьет в барабан)*. Почтенные жители дамы и господа! Перед тем как начнется карнавальное шествие гильдий, мы исполним новейшую флорентийскую песню, которую мы добыли ценой значительных затрат. Эта песня озаглавлена: «Ужасающие учения и мнения господина придворного физика Галилео Галилея, или Предвосхищение грядущего». *(Поет.)*

«Да будет свет!» — провозгласил всевышний
И приказал, чтоб Солнце с этих пор
Вокруг Земли, без проволочки лишней,
Вращалось впредь — и кончен разговор!
Хотел господь, чтоб каждый индивид
Вертелся вкруг того, кто выше чуточку стоит!
И холуи вращаться стали вкруг людей, имевших вес,
И на земле, сырой и грешной, и в синих заводях небес!
Вокруг папы зациркулировало кардинальство,
А вокруг кардинальства — епископат,
А вокруг епископата — светское начальство,
А вокруг светского начальства — секретарский штат,
Городские гласные вокруг секретарского штата,
Вокруг гласных — мещане, ремесленный люд.
А вокруг ремесленников — слуги, куры, и цыплята,
И оборванцы, и псы, которых нищие бьют! [1]

Вот это, добрые люди, и есть великий порядок мира, ordo ordinum, как говорят господа ученые богословы, regula aeternis, закон законов, правило правил. Но что же произошло с ним, представьте себе, добрые люди! *(Поет.)*

Вскочил ученый Галилей,
Отбросил святое Писание,
Схватил трубу, закусил губу,
Осмотрел сразу все мироздание.

И Солнцу сказал: шагу сделать не смей!
Пусть вся вселенная, дрожа,
Найдет иные круги;
Отныне станет госпожа
Летать вокруг прислуги!

Нет, братцы, с Библией я вовсе не шучу!
И так уже от рук прислуга вся отбилась!
Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу
Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость?

Почтенные жители, ведь такие учения совершенно недопустимы! *(Поет.)*

[1] Перевод *А. Голембы.*

Холоп хозяину дерзит,
Собаки разжирели,
А певчий встретить норовит
Заутреню в постели.

Уж это вон из рук! Нет-нет, я не шучу!
И так уже петля душить нас утомилась!
Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу
Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость?

Добрые люди, заглянем в грядущее, каким его предсказывает ученый Галилео Галилей. *(Поет.)*

Две дамы заохают в рыбном ряду:
— Так можно сойти с ума!
Рыбачка, забыв про простую еду,
Умяла всю рыбу сама!

А каменщик после работы дневной
Подрядчику объявил:
— Я тоже решил поселиться в одной
Из этих прелестных вилл!

Все изменилось вокруг! Нет-нет, я не шучу!
И так уже петля душить нас утомилась!
Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу
Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость?

Нога мужичья угостила
Барона в зад пинком;
Детей крестьянка напоила
Поповским молоком!

Нет, братцы, с Библией я вовсе не шучу!
И так уже петля душить нас утомилась!
Руку на сердце положу и так скажу: я сам теперь хочу
Начальством быть себе! Не так ли, ваша милость?

Жена уличного певца.

А я на днях у муженька
Спросила не таясь:
Нельзя ли мне вступить пока
С другим светилом в связь?

Уличный певец.

Нет! Нет! Нет-нет! Нет-нет! Пусть замолчит мудрец!
Взбесившемуся псу намордник крепкий нужен!
Но шутки в сторону, признайтесь наконец,
Что с господами мы порой не слишком дружим!

Вместе.

Свой век влача в юдоли бедствий и скорбей,
Воспряньте! Мужество еще не испарилось!
Пусть добрый доктор Галилей
Обучит счастью вас по азбуке своей:
Мы свой свинцовый крест влачили много дней.
Мы сбросим этот крест! Не так ли, ваша милость?

Уличный певец. Люди, глядите на необыкновенное открытие Галилео Галилея! Земля кружится вокруг Солнца! *(Неистово бьет в барабан.)*

Жена уличного певца и девочка выступают вперед. Женщина держит грубое изображение Солнца, а девочка, подымая над головой тыкву, изображающую Землю, кружится вокруг женщины. Певец возбужденно указывает на девочку, так, словно она производит смертельно опасные упражнения каждый раз, когда она передвигается рывками шаг за шагом в такт ударам барабана. Затем слышен барабанный бой из глубины сцены.

Низкий голос *(кричит)*. Шествие идет!

Входят два оборванца, они тянут повозку — на ней установлен карикатурный трон, на котором сидит в картонной короне закутанный в дерюгу «Великий герцог Флоренции» и смотрит в телескоп. Над троном на щите надпись: «Высматривает неприятности». За ним идут четверо мужчин в масках, несущих большой растянутый холст. Они останавливаются и подбрасывают на холсте куклу, изображающую кардинала. В стороне карлик с транспарантом, на котором написано: «Новое время». Из толпы выбирается нищий на костылях, подтягивается на них, пляшет, стуча по земле, и с грохотом падает. Входит на ходулях чучело, изображающее Галилея, раскланивается перед публикой, а перед ним ребенок держит огромную Библию, страницы которой перечеркнуты крест-накрест.

Уличный певец. Галилео Галилей — разрушитель Библии.

Оглушительный хохот толпы.

XI

1633 год. Инквизиция вызывает всемирно известного исследователя в Рим.

Глубина горяча; высота холодна.
В предместьях шум; во дворце тишина.

Прихожая и лестница во дворце Медичи во Флоренции. Галилей и его дочь ожидают приема у великого герцога.

Вирджиния. Как долго это тянется.

Галилей. Да.

Вирджиния. Вот опять этот человек, который шел сюда за нами. *(Указывает на субъекта, который проходит мимо, не обращая на них внимания.)*

Галилей *(он плохо видит)*. Я не знаю его.

Вирджиния. Но я его часто вижу в последние дни. Он пугает меня.

Галилей. Чепуха! Мы во Флоренции, а не среди корсиканских разбойников.

Вирджиния. Идет ректор Гаффоне.

Галилей. Вот его я боюсь. Этот дурак сейчас опять затеет со мной разговор на несколько часов.

По лестнице спускается господин Гаффоне. Увидев Галилея, он явно пугается и, отвернувшись, проходит мимо, едва кивнув головой.

Что это с ним? Сегодня я опять плохо вижу. Он, кажется, не поздоровался?

Вирджиния. Едва кивнул. Что там написано в твоей книге? Может быть, ее сочли еретической?

Галилей. Ты слишком много слоняешься по церквам. Эти ранние вставания и беганье к утренней мессе совсем испортят цвет лица. Ты что, за меня молишься?

Вирджиния. Вот господин Ванни — владелец литейной, для которого ты делал чертежи плавильной печи, не забудь поблагодарить его за перепелок.

Вниз по лестнице спускается Ванни.

Ванни. Пришлись вам по вкусу перепела, которых я вам послал, господин Галилей?

Галилей. Перепелки были великолепные, еще раз весьма благодарю.

Ванни. А там, наверху, говорили о вас. Считают, что вы ответственны за те памфлеты против Библии, которые недавно продавались повсюду.

Галилей. О памфлетах ничего не знаю. Библия и Гомер — мое любимое чтение.

Ванни. Но если бы даже и так, хочу воспользоваться случаем и заверить вас, что мы, люди промышленные, на вашей стороне. Я не из тех, кто много смыслит в движениях звезд, но для меня вы человек, который борется за свободу обучения новому. Вот, например, механический культиватор, изобретенный в Германии, который вы мне описали. Только за один последний год в Лондоне выпустили пять книг по сельскому хозяйству, а мы здесь были бы благодарны хотя бы за одну книжку о голландских каналах. Те же самые господа, что чинят затруднения вам, не разрешают врачам в Болонье вскрывать трупы для исследования.

Галилей. Ваш голос будет услышан, Ванни.

Ванни. Надеюсь. Знаете ли вы, что и в Амстердаме и в Лондоне есть уже особые рынки, на которых продают деньги. Там существуют ремесленные школы. Там постоянно издают печатные новости, так называемые газеты. А здесь у нас нет даже свободы наживать деньги. Здесь возражают против устройства литейных, потому что считают, будто скопление слишком большого числа рабочих в одном месте содействует безнравственности. Я целиком и полностью на стороне таких людей, как вы, господин Галилей. Если против вас попытаются что-нибудь затеять,

то вспомните, пожалуйста, что у вас есть друзья среди всех деловых людей. За вас города Северной Италии, господин Галилей.

Галилей. Насколько мне известно, никто не собирается предпринимать что-либо против меня.

Ванни. Никто?

Галилей. Никто.

Ванни. А по-моему, в Венеции вы были бы в большей безопасности. Там меньше черных сутан[1]. И оттуда вы могли бы вести борьбу. У меня здесь дорожная карета и лошади, господин Галилей.

Галилей. Я не могу стать беглецом. Я слишком ценю удобную жизнь.

Ванни. Разумеется. Но судя по тому, что я слышал наверху, вам нужно спешить. У меня создалось впечатление, что именно сейчас было бы лучше, если бы вы оказались вне Флоренции.

Галилей. Чепуха! Великий герцог — мой ученик. И к тому же сам папа решительно отвергает любую попытку сплести для меня петлю, какой бы там повод ни придумали.

Ванни. Кажется, вы не слишком хорошо отличаете друзей от врагов, господин Галилей.

Галилей. Я хорошо отличаю силу от бессилия. *(Резко поворачивается и отходит.)*

Ванни. Пусть будет так. Желаю вам счастья. *(Уходит.)*

Галилей *(возвращается к Вирджинии)*. В этой стране каждый обиженный хочет, чтоб я был его ходатаем, и как раз там, где это мне вовсе не на пользу.Я написал книгу о механике вселенной. Вот и все. А что из этого делают или не делают другие, меня не касается.

Вирджиния *(громко)*. Если бы только люди знали, как ты осуждаешь все, что происходило в последнюю карнавальную ночь.

Галилей. Да, протянув медведю мед, потеряешь и руку, если он голоден.

Вирджиния *(тихо)*. Великий герцог сам пригласил тебя на сегодня?

Галилей. Нет, но я просил известить его, что приду. Он хотел получить книгу. Он заплатил за нее. Найди кого-нибудь из чиновников и пожалуйся, что нас заставляют ждать.

Вирджиния *(сопровождаемая субъектом, подходит к одному из чиновников дворца)*. Господин Минчо, его высочество извещен, что мой отец просит его о приеме?

Чиновник. Откуда мне знать?

Вирджиния. Это не ответ.

Чиновник. Вот как?

Вирджиния. Вы обязаны быть вежливым.

---

[1] *Сутана* — одежда католического священника, пошитая в виде длинного плаща-рясы.

Чиновник отворачивается от нее и зевает, покосившись на субъекта.

(Возвращаясь.) Он говорит, что великий герцог еще занят.

Галилей. Я слышал, ты сказала что-то о вежливости. В чем дело?

Вирджиния. Я только поблагодарила его за любезное сообщение. Не мог бы ты просто оставить здесь книгу? Ведь ты зря теряешь время.

Галилей. Я начинаю спрашивать себя, какую цену имеет это время. Может быть, я все же последую приглашению Сагредо и поеду недели на две в Падую. Со здоровьем у меня неважно.

Вирджиния. Ты ведь не можешь жить без твоих книг.

Галилей. Немного сицилийского вина можно будет в одном-двух ящиках погрузить в карету.

Вирджиния. Ты же всегда говорил, что оно не выносит перевозок. А двор еще должен тебе жалованье за три месяца. Тебе не пошлют этих денег вслед.

Галилей. Да, это правда.

Кардинал-инквизитор спускается по лестнице.

Вирджиния. Кардинал-инквизитор.

Кардинал, проходя, низко кланяется Галилею.

Зачем это кардинал-инквизитор приехал во Флоренцию, отец?

Галилей. Не знаю. Он вежливо поздоровался. Да, я правильно поступил, что уехал тогда во Флоренцию и восемь лет молчал. Они меня так расхвалили, что теперь уж должны принимать меня таким, как есть.

Чиновник *(громко)*. Его высочество великий герцог!

Козимо Медичи спускается по лестнице. Галилей идет ему навстречу. Козимо останавливается, он несколько смущен.

Галилей. Ваше высочество, позвольте мне вручить вам написанные мною диалоги об обеих величайших системах мироздания...

Козимо. Ах да. Как ваши глаза?

Галилей. Неважно, ваше высочество. Если ваше высочество соблаговолит, то моя книга...

Козимо. Состояние ваших глаз меня очень беспокоит, очень беспокоит. Оно свидетельствует о том, что вы, пожалуй, слишком ревностно пользуетесь своей замечательной трубой, не правда ли? *(Проходит, не беря книги.)*

Галилей. Он не взял книги, да?

Вирджиния *(очень взволнованно)*. Отец, я боюсь.

Галилей *(тихо и решительно)*. Не подавай виду. Отсюда мы пойдем не домой, а к стеклорезу Вольпи. Я условился с ним, чтобы во дворе соседнего трактира постоянно стояла телега с пустыми винными бочками, которая смогла бы увезти меня из города.

Вирджиния. Значит, ты знал...

Галилей. Не оглядывайся.

Идут к выходу.

Важный чиновник *(спускается по лестнице)*. Господин Галилей, мне поручено известить вас о том, что флорентийский двор не в состоянии долее отклонять требование святой инквизиции, которая вызывает вас для допроса в Рим. Карета святой инквизиции ожидает вас, господин Галилей.

XII

Папа

Покой в Ватикане. Папа Урбан VIII (бывший кардинал Барберини) принимает кардинала-инквизитора. Во время аудиенции его облачают. Снаружи слышно шарканье многих ног.

Папа *(очень громко)*. Нет, нет и нет!

Кардинал-инквизитор. Итак, ваше святейшество, вы хотите сказать это всем собравшимся здесь — профессорам всех факультетов, представителям всех святых орденов и всего духовенства, которые пришли сюда, исполненные детской веры в слово божие, изложенное в Писании? Они пришли, чтобы получить от вашего святейшества подтверждение своей веры,— и вы хотите им сказать, что Писание больше нельзя считать истинным?

Папа. Я не позволю разбить аспидную доску. Нет!

Кардинал-инквизитор. Есть люди, уверяющие, будто речь идет об аспидной доске, а не о духе мятежа и сомнения. Но дело обстоит иначе. Ужасное беспокойство проникло в мир. И это беспокойство, царящее в их собственных умах, люди переносят на неподвижную Землю. Они кричат, что их вынуждают числа. Но откуда эти числа? Любому известно, что они порождены сомнением. Эти люди сомневаются во всем. Но разве можно строить человеческое общество на сомнении, а не на вере: «Ты мой господин, но я сомневаюсь, хорошо ли это. Это твой дом и твоя жена, но я сомневаюсь, не должны ли они стать моими». А тут еще и общеизвестная любовь вашего святейшества к искусству. Этой любви мы обязаны столькими прекрасными коллекциями, но она встречает совершенно издевательское толкование. На стенах домов здесь в Риме появляются надписи: «То, что варвары оставили Риму, грабят теперь Барберини». А за границей? Господу угодно подвергнуть святой престол тяжелым испытаниям. Испанская политика вашего святейшества непонятна для людей недостаточно проницательных, они сожалеют о ваших раздорах с императором. Вот уже полтора десятка лет, как вся Германия превращена в бойню, люди убивают друг друга, возглашая цитаты из Библии. И вот теперь, когда вследствие чумы, войн и Реформации число истинных христиан сократилось до нескольких маленьких кучек, в Европе распространяются слухи, что вы заключаете тайный союз с лютеранами-шведами, чтобы ослабить

императора-католика. В то же самое время эти математики, эти жалкие черви, направляют свои трубы на небо и сообщают миру, что, оказывается, и здесь, в последнем пространстве, которого у вас еще никто не оспаривал, вы тоже не слишком сильны. Спрашивается, откуда этот внезапный интерес к такой отвлеченной науке, как астрономия? Не все ли равно, как именно вращаются планеты? Но тем не менее вся Италия вплоть до последнего конюха заражена дурным примером этого флорентийца и болтает о фазах Венеры. Пока еще никто из них не задумывается о других вещах. Ведь многое в жизни им в тягость. Много такого, что освящено церковью. Но что же произошло бы, если бы все они, необузданные, грешные, стали верить только своему разуму? А ведь этот безумец объявляет единственным верховным судьей именно разум. Усомнившись однажды в том, что Солнце остановилось по велению Иисуса Навина, они обратили бы свои грязные сомнения и на церковные сборы. С тех пор как они стали ездить по морям — впрочем, я ничего не имею против этого,— они уже полагаются не на господа бога, а на медную коробку, которую называют компасом. Этот Галилей, еще будучи юношей, писал о машинах. С помощью машин они хотят творить чудеса. Какие чудеса? Бог, во всяком случае, им уже не нужен, но какие же это должны быть чудеса? Например, не будет больше различия между верхом и низом. Они в этом больше не нуждаются. Аристотель, с которым они, кстати говоря, обращаются как с дохлой собакой, сказал — и это они цитируют,— что если бы ткацкий челнок сам ткал и цитра[1] сама играла, то мастеру не нужны были бы подмастерья и господам не нужны были бы слуги. И вот сейчас им кажется, что они уже достигли этого. Этот негодный человек знает, что делает, когда пишет свои астрономические труды не на латыни, а на языке торговок рыбой и торговцев шерстью.

Папа. Это свидетельствует об очень плохом вкусе. Я скажу ему.

Кардинал-инквизитор. Он подстрекает одних и подкупает других. В портовых городах Северной Италии мореплаватели все настойчивее требуют звездные карты господина Галилея. Им придется уступить; это деловые интересы.

Папа. Но ведь эти карты основаны на его еретических утверждениях. Речь идет именно о движении некоторых созвездий, о движении, которое оказывается невозможным, если отрицать его учение. Нельзя же предать проклятию его учение и принять его звездные карты.

Кардинал-инквизитор. Почему же нет? Иначе поступить мы и не можем.

Папа. Это шарканье действует мне на нервы. Простите, что я все прислушиваюсь.

[1] *Цитра* — старинный щипковый музыкальный инструмент, состоящий из плоского ящика, на который натянуты металлические струны.

Кардинал-инквизитор. Может быть, это скажет вам больше, чем могу сказать я, ваше святейшество. Неужели все они должны уйти отсюда, унося в сердцах сомнение?

Папа. Но, в конце концов, ведь этот человек — величайший физик нашего времени, светоч Италии, а не какой-нибудь путаник. У него есть друзья: версальский двор, венский двор. Они скажут, что святая церковь стала выгребной ямой для гнилых предрассудков. Нет, руки прочь от него!

Кардинал-инквизитор. Практически нам не придется заходить далеко. Он человек плоти. Он немедленно уступит.

Папа. Да, он склонен к земным наслаждениям больше, чем кто-либо другой из известных мне людей. Он и мыслит сластолюбиво. Он не может отвергнуть ни старое вино, ни новую мысль. Однако я не хочу осуждения научных данных. Я не хочу, чтобы раздавались враждебные боевые кличи: «За церковь!» и «За разум!». Я разрешил ему издать книгу, поставив одно условие, чтобы в конце было указано, что последнее слово принадлежит все же не науке, а вере. Он выполнил это условие.

Кардинал-инквизитор. Но как? В его книге спорят глупец, который, конечно, защищает воззрения Аристотеля, и умный человек, конечно, представляющий господина Галилея. И кто же, ваше святейшество, как вы думаете, произносит это заключительное суждение?

Папа. Что еще за новости! Кто же выражает наше мнение?

Кардинал-инквизитор. Уж, конечно, не умный человек.

Папа. Какова наглость! Однако этот топот невыносим. Что там, весь свет собрался?

Кардинал-инквизитор. Не весь, но его лучшая часть.

Пауза.

Папа *(уже в полном облачении)*. В самом крайнем случае пусть ему только покажут орудия.

Кардинал-инквизитор. Этого будет достаточно, ваше святейшество. Господин Галилей ведь разбирается в орудиях.

XIII

Галилео Галилей по требованию инквизиции 22 июня 1633 года отказывается от своего учения о вращении Земли.

День июньский скоро угас,
А был он важен для вас и для нас.
Разум вышел из мрака вперед
И стоял у дверей весь день напролет.

Дворец флорентийского посла в Риме. Ученики Галилея ожидают известий. Маленький монах и Федерцони играют в шахматы по-новому, делая ходы через всю доску. В углу Вирджиния на коленях читает молитву.

Маленький монах. Папа его не принял. Теперь с учеными диспутами покончено.

Федерцони. В этом была его последняя надежда. Да, правдой оказалось то, что он ему сказал много лет тому назад в Риме, когда еще был кардиналом Барберини: ты нам нужен. Теперь они его заполучили.

Андреа. Они убьют его. «Беседы» останутся недописанными.

Федерцони *(смотрит на него искоса)*. Ты думаешь?

Андреа. Да, потому что он никогда не отречется.

Пауза.

Маленький монах. Когда по ночам не спится, в голову лезут всегда какие-то посторонние мысли. Сегодня ночью, например, я все время думал о том, что ему не нужно было покидать Венецианскую республику.

Андреа. Там он не мог бы написать свою книгу.

Федерцони. А во Флоренции он не мог бы ее издать.

Пауза.

Маленький монах. И еще я думал — оставят ли они ему камешек, который он все время носит в кармане. Его камень для доказательств.

Федерцони. Там, куда они его уведут, носят одежду без карманов.

Андреа *(кричит)*. Они не осмелятся! Но даже если так, он не отречется. «Кто не знает истины, тот просто глуп, но кто знает истину и называет ее ложью, тот преступник».

Федерцони. Я тоже не верю этому, и я не хотел бы жить, если он поступит так. Но ведь у них сила.

Андреа. Не все можно сделать силой.

Федерцони. Может быть.

Маленький монах *(шепотом)*. Он просидел в тюрьме двадцать три дня. Вчера его вызывали для большого допроса, а сегодня заседание. *(Заметив, что Андреа прислушивается, говорит громче.)* Когда я пришел к нему сюда в тот раз, через два дня после декрета, мы сидели вон там, и он показал мне на маленькую статую Приапа в саду, у солнечных часов,— вон она видна отсюда,— и он сравнивал свой труд со стихотворением Горация, в котором тоже ничего нельзя изменить. Он говорил о своем чувстве красоты, которое побуждает его искать истину. И он вспомнил девиз: «Hieme et aestate, et prope et procul, usque dum vivam et ultra» [1]. И он подразумевал искания истины.

Андреа *(обращаясь к маленькому монаху)*. Ты рассказывал ему, как он стоял перед римской коллегией, когда они испытывали его трубу? Расскажи ему!

Маленький монах качает головой.

[1] «Зимой и летом, вблизи и вдали, пока я живу и после смерти» *(лат.)*.

Он был таким же, как всегда. Уперся руками в свои окорока, выпятил брюхо и заявил: «Я прошу вас быть разумными, господа». *(Смеясь, копирует Галилея.)*

Пауза.

(Показывает на Вирджинию.) Она молится, чтобы он отрекся.

Федерцони. Оставь ее. Она совсем запуталась с тех пор, как они с ней поговорили. Они вызвали сюда из Флоренции ее исповедника.

Входит субъект, который следил за Галилеем во дворце герцога Флоренции.

Субъект. Господин Галилей скоро прибудет сюда; ему может понадобиться постель.

Федерцони. Его отпустили?

Субъект. Ожидается, что в пять часов господин Галилей выступит на заседании инквизиции с отречением. Тогда зазвонят в большой колокол собора святого Марка и текст отречения будет прочтен всенародно.

Андреа. Я не верю этому.

Субъект. Ввиду большого скопления людей на улицах господина Галилея проведут через садовую калитку позади дворца. *(Уходит.)*

Андреа *(внезапно повышая голос)*. Луна — это Земля, и она не имеет собственного света. И Венера тоже не имеет собственного света. И тоже подобна Земле и движется вокруг Солнца. А четыре луны вращаются вокруг Юпитера, который находится на высоте неподвижных звезд, но не прикреплен ни к какой сфере. И Солнце является центром вселенной, и оно неподвижно, а Земля — не центр и не неподвижна. И показал нам это он.

Маленький монах. И никакое насилие не может сделать невидимым то, что уже было увидено.

Молчание.

Федерцони *(глядит в окно на солнечные часы в саду)*. Пять часов.

Вирджиния молится громче.

Андреа. Я не могу больше ждать! Слышите, они обезглавливают истину.

Андреа и маленький монах зажимают уши. Но звона колокола не слышно. После короткой паузы, заполненной бормотаньем Вирджинии, Федерцони отрицательно качает головой. Андреа и маленький монах опускают руки.

Федерцони *(хрипло)*. Ничего. Уже три минуты шестого.

Андреа. Он устоял!

Маленький монах. Он не отрекся.

Федерцони. Нет. Какое счастье!

Они обнимаются. Они безмерно счастливы.

Андреа. Не все можно сделать насилием. Насилие не всевластно. Итак, глупость можно победить; она не так уж неуязвима! Итак, человек не боится смерти.

Федерцони. Вот теперь действительно начинается время науки. Это час ее рождения. Подумайте только, если бы он отрекся!

Маленький монах. Я не говорил об этом. Но я так боялся. О, я маловер!

Андреа. А я знал это.

Федерцони. Если бы он отрекся, это все равно как если бы после утра опять наступила ночь.

Андреа. Если бы скала назвала себя водой.

Маленький монах *(становится на колени и плачет)*. Господи, благодарю тебя!

Андреа. Но сегодня все изменилось! Человек поднимает голову. Измученный страданиями, он говорит: я могу жить. Какая победа достигнута тем, что один человек сказал — нет!

В это мгновение раздается звон большого колокола собора святого Марка. Все стоят оцепенев.

Вирджиния *(поднимается)*. Колокол святого Марка! Он спасен, он не проклят!

С улицы доносится голос герольда, читающего отречение Галилея.

Голос Герольда. «Я, Галилей, учитель математики и физики во Флоренции, отрекаюсь от того, что я утверждал: что Солнце является центром вселенной и неподвижно на своем месте и что Земля не является центром и не является неподвижной. Я отрекаюсь от этого, отвергаю и проклинаю с чистым сердцем и нелицемерной верою все эти заблуждения и ереси, равно как и все заблуждения и любое иное мнение, которое противоречит святой церкви».

Наступает тьма.

Когда снова становится светло, все еще слышен звон колокола, затем он прекращается. Вирджиния вышла. Ученики Галилея остались.

Федерцони. Он никогда не платил тебе за работу как следует. Ты не мог купить себе штанов, не мог сам ничего напечатать. Ты все терпел, потому что ведь это была «работа для науки».

Андреа *(громко)*. Несчастна та страна, у которой нет героев.

Входит Галилей. Он почти до неузнаваемости изменился за время процесса. Он слышал слова Андреа. Несколько мгновений, стоя в дверях, он ждет, что с ним поздороваются. Но ученики отступают от него, и он идет медленно, неуверенными шагами, так как плохо видит; подходит к стулу и садится.

Я не могу смотреть на него. Пусть он уйдет.

Федерцони. Успокойся.

Андреа *(кричит Галилею)*. Винный бурдюк! Обжора! Спас свою драгоценную шкуру? *(Садится.)* Мне худо.

Галилей *(спокойно)*. Дайте ему стакан воды.

Маленький монах приносит Андреа стакан воды. Никто не обращает внимания на Галилея, который, молча прислушиваясь, сидит на стуле. Издалека слышен опять голос герольда.

Андреа. Теперь я могу идти, если вы мне поможете.

Они ведут его к двери. Голос Галилея останавливает их.

Галилей. Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях.

Перед опущенным занавесом читают:

«Разве не ясно, что лошадь, упав с высоты в три или четыре локтя, может сломать себе ноги, тогда как для собаки это совершенно безвредно, а кошка без всякого ущерба падает с высоты в восемь или десять локтей, стрекоза — с верхушки башни, а муравей мог бы даже с Луны. И так как маленькие животные сравнительно сильнее и крепче, чем крупные, так же маленькие растения более живучи. И теперь, я полагаю, господа, вы понимаете, что дуб высотою в двести локтей не мог бы обладать ветвями в такой же пропорции, как дуб меньшего размера, и природа не могла бы создать лошадь, которая была бы величиной в двадцать лошадей, или великана в десять раз большего, чем обычный человек, без того, чтобы не изменить пропорции всех членов, особенно костей, которые должны быть утолщены во много раз по сравнению с нормальной пропорциональной величиной. Общепринятое мнение, что большие и малые машины одинаково прочны, очевидно, является заблуждением».

Галилей. «Discorsi» [1].

XIV

1633—1642 гг. Галилео Галилей живет в загородном доме вблизи Флоренции, вплоть до своей смерти оставаясь пленником инквизиции. «Discorsi».

С тысяча шестьсот тридцать третьего
По тысяча шестьсот сорок второй год
Галилео Галилей
Был пленником церкви до дня своей смерти.

Большая комната, в ней стол, кожаное кресло, глобус. Галилей, одряхлевший и полуслепой, очень тщательно производит опыт с деревянным шариком на изогнутом деревянном желобе. В передней сидит на страже монах. Стук в ворота. Монах отворяет, входит крестьянин, несущий двух ощипанных гусей. Из кухни выходит Вирджиния. Ей теперь примерно сорок лет.

Крестьянин. Велено их здесь отдать.
Вирджиния. От кого это? Я не заказывала гусей.
Крестьянин. Велено сказать — от проезжего. *(Уходит.)*

---

[1] Книга Галилея «Беседы», изданная в Голландии в 1638 г.

Вирджиния изумленно смотрит на гусей. Монах берет их, недоверчиво осматривает и ощупывает. Потом, успокоенный, возвращает. Вирджиния идет к Галилею, неся гусей за шеи.

Вирджиния. Какой-то проезжий передал тебе подарок.

Галилей. Что именно?

Вирджиния. Разве ты не видишь?

Галилей. Нет. *(Подходит.)* Гуси. Кто прислал, не сказано?

Вирджиния. Нет.

Галилей *(берет одного гуся в руки)*. Тяжелый. Я бы съел еще кусочек гуся.

Вирджиния. Ты не мог уже проголодаться. Ведь ты только что ужинал. И что это опять с твоими глазами! Неужели ты даже на таком расстоянии не видишь?

Галилей. Ты стоишь в тени.

Вирджиния. Вовсе я не стою в тени. *(Уходит в переднюю, унося гусей.)*

Галилей. Не забудь к нему тмину и яблок.

Вирджиния *(монаху)*. Необходимо послать за глазным врачом. Отец, стоя у стола, не мог увидеть гусей.

Монах. Пусть сначала монсеньор Карпула даст на это разрешение. Он опять сам писал?

Вирджиния. Нет. Он диктовал мне свою книгу, вы же знаете это. Вы уже получили страницы сто тридцать первую и сто тридцать вторую; это были последние.

Монах. Он старая лиса.

Вирджиния. Он не делает ничего, что противоречило бы предписаниям. Он раскаялся совершенно искренне. Я слежу за ним. *(Отдает ему гусей.)* Скажите там, на кухне, чтоб печенки поджарили, добавив одно яблоко и одну луковицу. *(Проходит в большую комнату.)* А теперь мы подумаем о наших глазах и быстренько перестанем возиться с этим шариком и продиктуем еще кусочек нашего еженедельного письма архиепископу.

Галилей. Я себя не совсем хорошо чувствую. Почитай мне немного из Горация.

Вирджиния. Только на прошлой неделе монсеньор Карпула, которому мы столь многим обязаны,— на днях он опять прислал овощи,— говорил мне, что архиепископ каждый раз его спрашивает, как тебе нравятся вопросы и цитаты, которые он тебе посылает. *(Села, приготовилась писать под диктовку.)*

Галилей. На чем я остановился?

Вирджиния. «Раздел четвертый: что касается отношения святой церкви к беспорядкам в арсенале Венеции, то я полностью согласен с мнением кардинала Сполетти относительно мятежных канатчиков...»

Галилей. Да. *(Диктует.)* «Согласен с мнением кардинала Сполетти относительно мятежных канатчиков, а именно, что куда лучше выдавать им во имя христианской любви к ближнему похлебку, чем платить им больше денег за канаты для колоколов.

Поелику представляется более мудрым вместо их корысти укреплять их веру. Апостол Павел говорит: «Благотвори с радушием». Ну как, тебе нравится?

Вирджиния. Это чудесно, отец.

Галилей. А тебе не кажется, что в этом можно усмотреть иронию?

Вирджиния. Нет, архиепископ будет очень рад. Он такой практичный.

Галилей. Я полагаюсь на твое суждение. Что там еще?

Вирджиния. Прекрасное изречение: «Когда я слаб — тогда я силен».

Галилей. Толкования не будет.

Вирджиния. Но почему же?

Галилей. Что там еще!

Вирджиния. «...И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову...» Послание апостола Павла к Ефесянам, глава третья, стих девятнадцатый.

Галилей. «Особенно благодарен я вашему преосвященству за дивную цитату из послания к Ефесянам. Побуждаемый ею, я нашел в несравненном творении святого Фомы[1] «Подражание Христу» такие слова *(цитирует наизусть):* «Он, кому глаголет вечное слово, свободен от многих расспросов». Смею ли я по сему поводу обратиться к вам по личному делу? Меня все еще попрекают за то, что некогда я написал книгу о небесных телах на языке простонародья. Но ведь это отнюдь не означало, что я тем самым хотел предложить, чтобы и книги на значительно более важные темы, такие, как, например, богословие, также писались на наречии продавцов макарон. Объясняя необходимость богослужения по-латыни, обычно говорят, что благодаря всеобщности этого языка все народности слушают одну и ту же святую мессу. Но такая аргументация представляется мне не совсем удачной, ибо дерзкие насмешники могли бы возразить, что, таким образом, ни одна из народностей не понимает смысла слов. Я, однако, считаю, что священные предметы вовсе и не должны быть общепонятны и всем доступны. Латынь, звучащая с амвона[2], оберегает вечные истины церкви от любопытства непосвященных, пробуждает к себе доверие, когда произносится священниками — выходцами из низших сословий,— с интонациями местного говора...» Нет, вычеркни это...

Вирджиния. Все вычеркнуть?

Галилей. Все после слов «продавцов макарон».

В ворота стучат. Вирджиния выходит в переднюю. Монах открывает. Входит Андреа Сарти. Теперь он уже мужчина средних лет.

---

[1] *Святой Фома (Томас) Аквинский* (1225—1274) — великий христианский философ и богослов, чьи идеи легли в основу официальной философии современного католицизма — неотомизма.

[2] *Амвон* — возвышение перед алтарем, с которого произносятся проповеди.

Андреа. Добрый вечер. Я уезжаю из Италии, чтобы вести научную работу в Голландии; меня просили посетить его, чтобы я мог сообщить о нем.

Вирджиния. Не знаю, захочет ли он тебя видеть. Ведь ты никогда не приходил.

Андреа. Спроси его.

Галилей узнал голос Андреа. Сидит неподвижно. Вирджиния входит к нему.

Галилей. Это Андреа?

Вирджиния. Да. Сказать ему, чтоб уходил?

Галилей (*после паузы*). Веди его сюда.

Вирджиния вводит Андреа.

Вирджиния (*монаху*). Он не опасен. Он был его учеником. А теперь он его враг.

Галилей. Оставь нас вдвоем, Вирджиния.

Вирджиния. Я тоже хочу послушать, что он расскажет. (*Садится.*)

Андреа (*холодно*). Как вы поживаете?

Галилей. Подойди ближе. Чем ты занимаешься? Расскажи о своей работе. Я слышал, ты занимаешься гидравликой.

Андреа. Фабрициус из Амстердама поручил мне узнать, как вы себя чувствуете.

Пауза.

Галилей. Я чувствую себя хорошо. Мне уделяют много внимания.

Андреа. Меня радует, что я могу сообщить о том, что вы чувствуете себя хорошо.

Галилей. Фабрициус будет рад услышать это. Можешь сказать ему, что я живу с достаточными удобствами. Глубиной моего раскаяния я заслужил благорасположение моих руководителей настолько, что мне разрешено в известной мере вести научные работы под духовным надзором.

Андреа. Да, мы тоже слышали, что церковь довольна вами. Ваше полное подчинение подействовало. Уверяют, что церковные власти с удовлетворением отметили, что, с тех пор как вы покорились, в Италии не было опубликовано ни одной работы с новыми утверждениями.

Галилей (*прислушиваясь*). К сожалению, существуют и такие страны, которые уклоняются от покровительства церкви. Я опасаюсь, что эти осужденные учения продолжают развиваться там.

Андреа. И там ваше отречение также вызвало такие последствия, которые весьма радуют церковь.

Галилей. Вот как?

Пауза.

Ничего нового у Декарта? В Париже?

Андреа. Есть новое. Узнав о вашем отречении, Декарт спрятал в ящик свой трактат о природе света.

Продолжнтельная пауза.

Галилей. Я все беспокоюсь о тех моих ученых друзьях, которых я некогда увлек на неверный путь. Надеюсь, что их вразумило мое отречение?

Андреа. Чтобы иметь возможность вести научную работу, я намерен уехать в Голландию. То, чего себе не позволяет Юпитер, того, уж, наверно, нельзя позволить быку.

Галилей. Понимаю.

Андреа. Федерцони опять шлифует линзы в какой-то миланской лавке.

Галилей *(смеется)*. Он не знает латыни.

Пауза.

Андреа. Фульганцио, наш маленький монах, отказался от науки и вернулся в лоно церкви.

Галилей. Да.

Пауза.

Мои руководители предвидят, что скоро у меня наступит полное душевное оздоровление. Я делаю более значительные успехи, чем предполагалось.

Андреа. Так.

Вирджиния. Слава и благодарение господу!

Галилей *(грубо)*. Погляди, как там гуси, Вирджиния.

Внрджиния, рассерженная, выходит. Монах заговаривает с ней, когда она проходит мнмо него.

Монах. Этот человек мне не нравится.

Вирджиния. Он не опасен. Вы же слышите сами. Мы получили свежий козий сыр. *(Уходит.)*

Монах идет за ней.

Андреа. Мне предстоит ехать всю ночь, чтобы завтра на рассвете пересечь границу. Могу я уйти?

Галилей. Я не знаю, зачем ты пришел, Сарти. Чтобы растревожить меня? Я живу осторожно и думаю осторожно с тех пор, как очутился здесь. Но все же бывает, что вдруг примусь за старое.

Андреа. Я не хотел бы вас волновать, господин Галилей.

Галилей. Барберини сказал, что это прилипчиво, как чесотка; он и сам не избежал этого. Я опять писал.

Андреа. Да?

Галилей. Я закончил книгу «Беседы».

Андреа. Ту самую? «Беседы о двух новых отраслях науки: механика и падение тел»! Здесь?

Галилей. Мне дают бумагу и перья. Мои руководители не глупцы. Они знают, что укоренившиеся пороки нельзя истребить

за один день. Они оберегают меня от вредных последствий, забирая и пряча каждую новую страницу.

Андреа. О господи!

Галилей. Что ты сказал?

Андреа. Значит, вам позволяют пахать воду! Вам предоставляют бумагу и перья, чтобы вы были спокойны! И как вы только могли писать, зная, куда это идет?

Галилей. О, я ведь раб моих привычек.

Андреа. «Беседы» в руках монахов! А в Амстердаме, в Лондоне, в Праге — так жаждут их иметь!

Галилей. Да, мне кажется, что я слышу, как там скулит Фабрициус, требуя свою долю; сам-то он в Амстердаме в безопасности.

Андреа. Две новые отрасли науки все равно что утрачены!

Галилей. Однако и Фабрициуса и других, несомненно, ободрит, если они узнают, что я рискнул последними жалкими остатками своих удобств и снял копию, так сказать, тайком от самого себя, использовав малые толики света, в лунные ночи последних шести месяцев.

Андреа. У вас есть копия?

Галилей. Мое тщеславие до сих пор удерживало меня от того, чтобы ее уничтожить.

Андреа. Где она?

Галилей. «Если твое око соблазняет тебя, вырви его». Кто бы ни написал это, он понимал жизнь лучше, чем я. Мне кажется, что было бы верхом глупости отдать эту рукопись. Но раз я уж так и не сумел удержаться от научной работы, то вы могли бы ее получить. Рукопись лежит в глобусе. Если ты решишься увезти ее в Голландию, ты, разумеется, примешь на себя всю ответственность. В случае чего ты скажешь, что купил ее у кого-то, кто имел доступ к оригиналу, хранящемуся в святейшей коллегии.

Андреа *(подошел к глобусу. Достает рукопись)*. «Беседы»! *(Перелистывает рукопись. Читает.)* «Мое намерение заключается в том, чтобы создать новую науку, занимающуюся очень старым предметом — движением. С помощью опытов я открыл некоторые свойства, которые заслуживают того, чтобы о них знали».

Галилей. Мне же нужно как-то использовать свое время.

Андреа. Это станет основанием новой физики.

Галилей. Спрячь за пазуху.

Андреа. А мы думали, что вы переметнулись. И я громче всех обвинял вас!

Галилей. Так и следовало. Я учил тебя науке, и я же отверг истину.

Андреа. Это меняет все. Все.

Галилей. Да?

Андреа. Вы спрятали истину. Спрятали от врага. Да, и в нравственности вы на столетия опередили нас.

Галилей. Объясни это, Андреа.

Андреа. Мы рассуждали так же, как люди толпы: «Он умрет, но не отречется». Но вместо этого вы вышли из тюрьмы: «Я отрекся, но буду жить». Мы сказали: «Ваши руки замараны». Вы ответили: «Лучше замараны, чем пусты».

Галилей. «Лучше замараны, чем пусты»! Звучит реалистически. Звучит по-моему. Новой науке — новая нравственность.

Андреа. Я первым должен был бы понять это! Мне было одиннадцать лет, когда вы продали венецианскому сенату подзорную трубу, изобретенную другим. И я видел, как вы нашли для этого же прибора бессмертное применение. Ваши друзья качали головой, когда вы склонялись перед мальчишкой во Флоренции, а наука приобрела аудиторию. Ведь вы всегда смеялись над героями. Вы говорили: «Страдальцы нагоняют на меня скуку». Вы говорили: «Несчастье проистекает из неправильных расчетов» и «Когда имеешь дело с препятствиями, то кратчайшим расстоянием между двумя точками может оказаться кривая».

Галилей. Да, я припоминаю.

Андреа. И когда, в тридцать третьем году, вы сочли нужным отречься от одного популярного тезиса вашего учения, я должен был понять, что вы просто отстранялись от безнадежной политической драки, чтобы продолжать ваше настоящее дело — науку.

Галилей. Которая заключается...

Андреа. ...в изучении свойств движения, являющегося матерью машин; именно они сделают землю такой благоустроенной, что можно будет отказаться от неба.

Галилей. Вот именно!

Андреа. Вы обрели время, чтобы создать научный труд, который могли создать только вы. Если бы вы погибли в огненной славе костра, то победителями были бы они.

Галилей. Они и есть победители. И нет таких научных трудов, которые мог бы создать только один человек.

Андреа. А почему же вы тогда отреклись?

Галилей. Я отрекся потому, что боялся пыток.

Андреа. Нет!

Галилей. Они показали мне орудия.

Андреа. Значит, не было обдуманного расчета?

Галилей. Не было.

Пауза.

Андреа *(громко)*. Наука знает только одно мерило — вклад в науку.

Галилей. И я внес этот вклад. Добро пожаловать в сточную канаву, мой брат по науке и кум по измене! Ты ешь рыбу? Есть у меня и рыба. Но воняет здесь не от рыбы, это я сам провонял. Я продаю, ты покупаешь. Вон он, священный товар, перед которым нельзя устоять,— книга! При виде ее текут слюни, в них

тонут проклятия. Великая вавилонская блудница, мерзостная смертоубийственная тварь разверзает чресла, и все становится иным. Да будет свято наше мошенническое, всеобеляющее, одержимое страхом смерти содружество!

Андреа. Страх смерти свойствен человеку! Человеческие слабости не имеют отношения к науке.

Галилей. Нет?! Дорогой мой Сарти, даже в моем нынешнем состоянии я все же чувствую себя способным дать вам несколько указаний о том, что имеет отношение к науке, которой вы себя посвятили.

Короткая пауза.

(Сложив руки на животе, говорит поучающим академическим тоном.) В свободные часы — у меня их теперь много — я размышлял над тем, что со мной произошло, и думал о том, как должен будет оценить это мир науки, к которому я сам себя уже не причисляю. Даже торговец шерстью должен заботиться не только о том, чтобы самому подешевле купить и подороже продать, но еще и о том, чтобы торговля шерстью вообще могла вестись беспрепятственно. Поэтому научная деятельность, как представляется мне, требует особого мужества. Наука распространяет знания, добытые с помощью сомнений. Добывая знания обо всем и для всех, она стремится всех сделать сомневающимися. Но князья, помещики и духовенство погружают большинство населения в искрящийся туман — туман суеверий и старых слов,— туман, который скрывает темные делишки власть имущих. Нищета, в которой прозябает большинство, стара, как горы, и с высоты амвонов и кафедр ее объявляют такой же неразрушимой, как горы. Наше новое искусство сомнения восхитило множество людей. Они вырвали из наших рук телескоп и направили его на своих угнетателей. И эти корыстные насильники, жадно присваивавшие плоды научных трудов, внезапно ощутили холодный, испытующий взгляд науки, направленный на тысячелетнюю, но искусственную нищету. Оказалось, что ее можно устранить, если устранить угнетателей. Они осыпали нас угрозами и взятками, перед которыми не могут устоять слабые души. Но можем ли мы отступиться от большинства народа и все же оставаться учеными? Движения небесных тел теперь более легко обозримы; но все еще непостижимы движения тех, кто властвует над народами. Благодаря сомнению выиграна борьба за право измерять небо. Но благодаря слепой вере римская домохозяйка все время проигрывает борьбу за молоко. Однако, Сарти, и та и другая борьба связаны с наукой. Человечество, бредущее в тысячелетнем искристом тумане, слишком невежественное, чтобы полностью использовать собственные силы, не может использовать и тех сил природы, которые раскрываете перед ним вы. Ради чего же вы трудитесь? Я полагаю, что единственная цель науки — облегчить трудное человеческое существование. И если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, что на-

копляют знания ради самих знаний, то наука может стать калекой и ваши новые машины принесут только новые тяготы. Со временем вам, вероятно, удастся открыть все, что может быть открыто, но ваше продвижение в науке будет лишь удалением от человечества. И пропасть между вами и человечеством может оказаться настолько огромной, что в один прекрасный день ваш торжествующий клич о новом открытии будет встречен всеобщим воплем ужаса. Я был ученым, который имел беспримерные и неповторимые возможности. Ведь именно в мое время астрономия вышла на рыночные площади. При этих совершенно исключительных обстоятельствах стойкость одного человека могла бы вызвать большие потрясения. Если б я устоял, то ученые-естествоиспытатели могли бы выработать нечто вроде Гиппократовой присяги врачей [1] — торжественную клятву применять свои знания только на благо человечества! А в тех условиях, какие создались теперь, можно рассчитывать — в наилучшем случае — на породу изобретательных карликов, которых будут нанимать, чтобы они служили любым целям. И к тому же я убедился, Сарти, что мне никогда не грозила настоящая опасность. В течение нескольких лет я был так же силен, как и власти. Но я отдал свои знания власть имущим, чтобы те их употребили, или не употребили, или злоупотребили ими — как им заблагорассудится — в их собственных интересах.

Вирджиния вошла с миской и остановилась в дверях.

Я предал свое призвание. И человека, который совершил то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей науки.

Вирджиния. Зато теперь ты принят в ряды верующих. *(Проходит в комнату, ставит миску на стол.)*

Галилей. Правильно. А теперь мне пора есть.

Андреа протягивает ему руку. Галилей видит ее, но не пожимает.

Ты сам уже стал учителем. Как же ты можешь себе позволить пожать такую руку, как моя! *(Идет к столу.)* Какой-то проезжий прислал мне двух гусей. Я все еще люблю поесть.

Андреа. И вы теперь уже не думаете, что наступило новое время?

Галилей. Все-таки оно наступило. Будь осторожен, когда поедешь через Германию с истиной за пазухой.

Андреа *(не в силах уйти)*. Что касается вашей оценки автора, о котором мы сейчас говорили, не знаю, что вам ответить. Но я не могу поверить, что ваш убийственный анализ останется последним словом.

Галилей. Благодарю, сударь. *(Начинает есть.)*

Вирджиния *(провожая Андреа)*. Нам не очень приятны посещения старых знакомых. Они волнуют его.

---

[1] *Гиппократова присяга* — приписываемая древнегреческому врачу Гиппократу (460—377 гг. до н. э.) врачебная клятва, формулирующая моральные нормы поведения врача.

Андреа уходит. Вирджиния возвращается.

Галилей. Как ты думаешь, кто прислал этих гусей?

Вирджиния. Не Андреа.

Галилей. Может быть, и не он. Какая ночь сегодня?

Вирджиния (*у окна*). Светлая.

XV

1637 год. Книга Галилея «Discorsi» переправлена через итальянскую границу.

Поймите, люди, так должно было случиться.
Наука нас покинула, удрала за границу.
А все мы, кто жадно стремился к знаниям,
Оставшись одни, поневоле отстанем.
Теперь уж вам науки чистый свет оберегать,
Употреблять на благо, не злоупотреблять.
Чтоб против вас он не восстал,
Чтобы огня внезапный шквал
И вас и нас бы не пожрал.

Небольшой итальянский пограничный городок на рассвете. У пограничного шлагбаума играют дети. Андреа и кучер ожидают, пока пограничная стража проверит документы. Андреа сидит на сундучке и читает рукопись Галилея. По ту сторону шлагбаума видна дорожная карета.

Дети (*поют*).

Мария на камне сидела,
Сорочку цветную надела.
Сорочка от грязи замшелая.
Когда же зима наступила,
Мария все ту же сорочку носила —
Сорочка грязна, зато целая.

Пограничник. Почему вы уезжаете из Италии?

Андреа. Я ученый.

Пограничник (*писцу*). Запиши: «Причина выезда: ученый». Ваш багаж я должен проверить. (*Роется в вещах.*)

Первый мальчик (*к Андреа*). Вам не стоило бы здесь сидеть. (*Показывает на хижину, перед которой сел Андреа.*) Там живет ведьма.

Второй мальчик. Старая Марина вовсе не ведьма.

Первый мальчик. Хочешь, чтобы я тебе руку вывернул?

Третий мальчик. Конечно же, она ведьма. Ночью она летает по воздуху.

Первый мальчик. А если она не ведьма, то почему ей никто в городе не даст и капли молока?

Второй мальчик. Как она может летать по воздуху? Этого никто не может. (*К Андреа.*) Разве можно летать?

П е р в ы й м а л ь ч и к *(показывая на второго)*. Это Джузеппе. Он совершенно ничего не знает, потому что не ходит в школу, у него нет целых штанов.

П о г р а н и ч н и к. Что это за книга?

А н д р е а *(не поднимая головы)*. Это книга великого философа Аристотеля.

П о г р а н и ч н и к *(недоверчиво)*. Это еще кто такой?

А н д р е а. Он давно умер.

Мальчики, поддразнивая Андреа, ходят, уставившись в свои ладони, как в книги, словно читая на ходу.

П о г р а н и ч н и к *(писцу)*. Погляди, нет ли там чего-нибудь о религии.

П и с е ц *(перелистывая рукопись)*. Не могу ничего найти.

П о г р а н и ч н и к. Да и нечего искать. Разве кто станет открыто выкладывать то, что хотел бы спрятать. *(К Андреа.)* Вы должны расписаться, что мы у вас все проверили.

Андреа нерешительно встает и, продолжая читать, уходит с пограничником в дом.

Т р е т и й м а л ь ч и к *(показывая писцу на сундучок)*. Тут еще что-то есть, видите?

П и с е ц. Разве этого раньше не было?

Т р е т и й м а л ь ч и к. Это черт принес. Это чертов сундук.

В т о р о й м а л ь ч и к. Да нет, это сундук проезжающего.

Т р е т и й м а л ь ч и к. Я бы туда не пошел. Она заколдовала лошадей у возчика Пасси. После метели я сам смотрел сквозь дырку в крыше и слышал, как они кашляли.

П и с е ц *(уже подошел к сундучку, но колеблется и возвращается)*. Чертовы штуки! Да мы ведь и не можем все проверять. До чего бы мы тогда дошли?

Возвращается А н д р е а с кувшином молока. Он садится опять на сундучок и продолжает читать.

П о г р а н и ч н и к *(выходит вслед за ним с бумагами)*. Закрывай ящики. Итак, все проверено?

П и с е ц. Все.

В т о р о й м а л ь ч и к *(к Андреа)*. Вы ведь ученый? Скажите, разве можно летать по воздуху?

А н д р е а. Погоди немножко.

П о г р а н и ч н и к. Можете проезжать.

Кучер взял вещи; Андреа поднимает сундучок и хочет идти.

Стой, а это еще что за сундук?

А н д р е а *(снова погружается в рукопись)*. Это книги.

П е р в ы й м а л ь ч и к. Это сундук ведьмы.

Пограничник. Чепуха. Как бы это она могла наколдовать сундук?

Третий мальчик. Так ведь ей же черт помогает!

Пограничник (*смеется*). Ну здесь это не действует. (*Писцу.*) Открой!

Сундук открывают.

(*Невесело.*) Сколько их там?

Андреа. Тридцать четыре.

Пограничник (*писцу*). Сколько тебе времени потребуется?

Писец (*начал небрежно рыться в сундуке*). Да они все уже напечатаны. Так вы позавтракать не успеете. И если я стану перелистывать каждую книгу, кто тогда сбегает к кучеру Пасси, чтобы получить долг по дорожному сбору, когда его дом продадут с молотка?

Пограничник. Да, деньги нужно обязательно получить. (*Толкает ногой книги.*) Э, да что там может быть такого! (*Кучеру.*) Езжай!

Андреа уходит с кучером, тот несет сундучок. Они переходят границу. Оказавшись на той стороне, он засовывает рукопись Галилея в дорожный мешок.

Третий мальчик (*показывая на кувшин, который оставил Андреа*). Смотрите!

Первый мальчик. А сундук исчез! Вот видите, это все черт!

Андреа (*оборачиваясь*). Нет, это я. Учись смотреть открытыми глазами. За молоко заплачено и за кувшин тоже. Пусть все достанется старухе. Да, я еще не ответил на твой вопрос, Джузеппе. На палке нельзя летать по воздуху. Для этого к ней нужно было бы по меньшей мере приделать машину. Но такой машины пока не существует. Может быть, ее никогда и не будет, ведь человек слишком тяжел. Но, разумеется, этого знать нельзя. И мы вообще еще очень мало знаем, Джузеппе. У нас все впереди!

ХЕМИНГУЭЙ

Вокруг американского писателя Эрнеста Хемингуэя (Ernest Hemingway, 1899—1961) еще при жизни складывались легенды. Сделав ведущей темой своих книг мужество, стойкость и упорство человека в борьбе с обстоятельствами, заранее обрекающими его на почти верное поражение, Хемингуэй и в жизни стремился воплотить тип своего героя. Охотник, рыболов, путешественник, военный корреспондент, а когда возникала необходимость, то и солдат, он выбирал во всем путь наибольшего сопротивления, самого себя испытывал «на прочность», порой рисковал жизнью — не ради острых ощущений, но потому, что осмысленный риск, как он считал, подобает настоящему мужчине. В последовательности, с какой он лепил в глазах мира «образ Хемингуэя», был, конечно, некоторый элемент писательской позы, но главной все же была твердая жизненная позиция, которой Хемингуэй неуклонно следовал до конца — до самоубийства: узнав, что неизлечимо болен, он предпочел скорый и решительный расчет с жизнью бессильному умиранию, в последний раз сам распорядившись своей судьбой.

Книги Хемингуэя давно пользуются в Советском Союзе всеобщей любовью. «Внимательного и дружественного читателя привлекает к Хемингуэю умение глядеть прямо в лицо жизни с ничем не замутненной зоркостью смелого и ясного взгляда...— писал в 1959 г. советский переводчик и литературовед Иван Кашкин, положивший немало усилий, чтобы дать советскому читателю «русского Хемингуэя».— Мужественность, стойкость, выдержка и по-

стоянная мобилизованность человека, готового к борьбе с природой, с опасностью, с самой смертью».

Мировая слава пришла к Хемингуэю в 20-х годах, когда его рассказы из сборников «В наше время» (1925) и «Мужчины без женщин» (1927) и романы «Фиеста» («И восходит солнце», 1926) и «Прощай, оружие!» (1929) сделали его ведущим писателем «потерянного поколения».

«Потерянное поколение» — поколение западной интеллигенции, которое зелеными юнцами ушло на первую мировую войну, ушло во всеоружии прекрасных иллюзий защищать «цивилизацию», «культуру», «демократию», а вернулось с империалистической бойни не только без иллюзий, но утратившим веру в справедливость буржуазного миропорядка, в духовные ценности западной цивилизации. Отказавшись от этих ценностей, вчерашние солдаты смогли, однако, противопоставить им лишь некие заповеди общечеловеческой морали, такие, как честь, достоинство, любовь, вера в созидательный труд и доброе товарищество. Этого было и много, и мало. Их соотечественникам, пересидевшим войну и занятым, в основном, тем, как бы половчей урвать свою долю от послевоенного процветания, не было дела до этих прекрасных заповедей, как, впрочем, и до разочарования, горечи и ненависти к порядкам, порождающим бессмысленное человекоубийство. Те настроения, что принесла с фронта до времени повзрослевшая молодежь, никого, кроме нее самой, не интересовали. Разуверившаяся в разумности и человечности буржуазного прогресса, эта молодежь оказалась лишней в послевоенном мире. Чувство неприкаянности, весь комплекс идей и оценок, с какими она подходила к послевоенной действительности, нашли отражение в литературе. Кроме Хемингуэя, об этих своих сверстниках писали немец Ремарк («На западном фронте без перемен», 1929; «Возвращение», 1931), англичанин Олдингтон («Смерть героя», 1929), американцы Дос-Пассос («Три солдата», 1921) и Фолкнер («Солдатская награда», 1926) и многие другие авторы. Американская писательница Гертруда Стайн как-то сказала о Хемингуэе и близких ему по духу литераторах: «Все вы — потерянное поколение». Хемингуэй обнародовал это высказывание, поставив его эпиграфом к роману «Фиеста», и с тех пор этот термин прочно вошел в литературный обиход.

Герой романа «Прощай, оружие!» лейтенант Фредерик Генри, прошедший в войну путь от восторженного добровольца до сознательного дезертира, выразил жизненную установку «потерянного поколения», когда заключил свой «сепаратный мир»: отныне общество может жить по своим законам, а он, лейтенант Генри, будет жить по своим. Жизнь Хемингуэя в 20-е — первую половину 30-х годов давала основания считать, что и он заключил по образцу своего героя нечто вроде «сепаратного мира». В эти годы писатель обращается к исследованию таких общечеловеческих категорий, как смысл жизни, смерть, любовь, достоинство, мужество; много путешествует, живет в Испании, увлекается африканской охотой — сафари. Его самые крупные книги того времени после 1929 г.— о бое быков «Смерть после полудня» (1932) и о сафари «Зеленые холмы Африки» (1935). Но время заставляет писателя нарушать условия «сепаратного мира».

Хемингуэй пишет гневный антибуржуазный памфлет «Кто убил ветеранов войны во Флориде?» (1935), антифашистский фельетон об итальянской агрессии в Эфиопии «Крылья всегда над Африкой» (1936), дает убийственную характеристику верхушке буржуазного общества в повести о крахе бунтаря-одиночки «Иметь и не иметь» (1937). Наконец франкистский мятеж в Испании заставляет его пересмотреть свое отношение к войне.

В Испании Хемингуэй был военным корреспондентом с 1937 по 1940 г. Его репортажи и рассказы тех лет, пьеса «Пятая колонна» (1938) и роман «По ком звонит колокол» (1940), самая значительная книга Хемингуэя, проникнуты утверждением справедливости революционного насилия, раскрывают героический характер революционно-освободительной войны испанского народа против фашистских мятежников. В «испанских» произведениях меняется сам тип хемингуэевского героя — им становится человек, сознательно вступающий в битву с реакцией на стороне сил прогресса, ощущающий свою личную ответственность за все, что происходит в мире.

После второй мировой войны, в которой Хемингуэй участвовал в качестве военного корреспондента, он снова возвращается к темам и образам «доиспанского» периода. Видимо, он сам понимал, что во многом начинает повторять им же сказанное: тот факт, что наиболее крупные по объему его послевоенные книги — роман «Острова в океане» и мемуары о жизни литературного Парижа после первой мировой войны «Праздник, который всегда с тобой» — увидели свет уже после смерти автора, поскольку при жизни он не хотел их печатать, говорит сам за себя. Попытка Хемингуэя создать роман на материале второй мировой войны («За рекой, в тени деревьев», 1950), по единодушному мнению читателей и критики, в целом, окончилась неудачей. Вершиной послевоенного творчества Хемингуэя и, как теперь очевидно, своеобразным завещанием художника явилась повесть «Старик и море» (1952), через два года после появления которой Хемингуэю была присуждена Нобелевская премия по литературе. Повесть, как и ряд других произведений Хемингуэя, была написана на Кубе, где он жил с 1939 по 1960 г. в местечке Сан-Франциско-де-Паула под Гаваной в доме, превращенном после его смерти в мемориальный музей.

В этой небольшой повести предельно отчетливо раскрыты философия и миропонимание автора: вера в человека и силу его духа («Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения»), утверждение необходимости братства людей и в то же время трагический взгляд на удел человека, чьи усилия перебороть судьбу в конечном счете ни к чему не приводят («Победитель не получает ничего» — заглавие сборника рассказов Хемингуэя 1933 г.). Столь же последовательно воплощен в повести и характерный стиль Хемингуэя, получивший в критике название «метод айсберга». Подобно тому как видимая часть айсберга, возвышающаяся над водой, намного меньше основной его массы, скрытой под поверхностью океана, так и скупое, лаконичное, объективное повествование Хемингуэя фиксирует лишь те «внешние» данные, отталкиваясь от которых, читатель проникает в глубины авторской мысли и открывает для себя художественную вселенную, несоизмеримую по своим масштабам с тем малым, о чем непосредственно говорится в произведении. Так, действие повести «Старик и море» ограничено несколькими днями и одним частным случаем: старому рыбаку удается изловить в море огромную рыбу, но по пути к берегу его добычу пожирают акулы, и он остается ни с чем. Однако в строгие рамки сюжета «втиснута» богатейшая философская проблематика, и перед читателем не только открывается история долгой, достойной и нелегкой человеческой жизни, но ставятся вопросы космического порядка: о смысле и ценности жизни, о преемственности поколений человеческого рода, о солидарности семьи людей, о единстве человека и природы и многие другие.

Отвечая на назойливые требования репортеров во что бы то ни стало растолковать им смысл повести, Хемингуэй не без издевки ответил: «Я пытался дать настоящего старика и настоящего мальчика, настоящее море и настоящую рыбу и настоящих акул. И, если мне это удалось сделать достаточно хорошо и правдиво, они, конечно, могут быть истолкованы по-разному». Каковы бы ни были, однако, толкования тех или иных мотивов и эпизодов повести, ее общий философский итог вполне недвусмыслен: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

Текст повести дается в переводе *Е. Голышевой* и *Б. Изакова.*

Произведения Хемингуэя можно прочитать в изданиях:

Хемингуэй, Эрнест. Собрание сочинений в 4 т. М., Художественная литература, 1968.

Хемингуэй, Эрнест. Острова в океане. М., Прогресс, 1971.

О жизни и творчестве Хемингуэя см.:

Маянц, Зильма. Человек один не может... М., Просвещение, 1966.

Кашкин, Иван. Эрнест Хемингуэй. М., Художественная литература, 1966.

Грибанов Б. Хемингуэй. М., Молодая гвардия, 1971.

СТАРИК И МОРЕ

Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно salao, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка.

Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря.

Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бечевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины в давно уже безводной пустыне.

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается.

— Сантьяго,— сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка,— теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег.

Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил.

— Нет,— сказал старик,— ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней.

— А помнишь, один раз ты ходил в море целых восемьдесят дней и ничего не поймал, а потом мы три недели кряду каждый день привозили по большой рыбе.

— Помню,— сказал старик.— Я знаю, ты ушел от меня не потому, что не верил.

— Меня заставил отец, а я еще мальчик и должен слушаться.

— Знаю,— сказал старик.— Как же иначе.

— Он-то не очень верит.
— Да,— сказал старик.— А вот мы верим. Правда?
— Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на Террасе? А потом мы отнесем домой снасти.
— Ну что ж,— сказал старик.— Ежели рыбак подносит рыбаку...
Они уселись на Террасе, и многие рыбаки подсмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть, однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении, и о том, на какую глубину они забрасывали леску, и как держится погода, и что они видели в море. Те, кому в этот день повезло, уже вернулись с лова, выпотрошили своих марлинов и, взвалив их поперек двух досок, взявшись по двое за каждый конец доски, перетащили рыбу на рыбный склад, откуда ее должны были отвезти в рефрижераторе на рынок в Гавану.
Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты, там туши подвесили на блоках, вынули из них печенку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо тонкими пластинками для засола.
Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акульей фабрики; но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменился на северный, а потом стих, и на Террасе было солнечно и приятно.
— Сантьяго,— сказал мальчик.
— Да? — откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом и вспоминал давно минувшие дни.
— Можно, я наловлю тебе на завтра сардин?
— Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. Я еще сам могу грести, а Роджелио забросит сети.
— Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу помочь тебе хоть чем-нибудь.
— Да ведь ты угостил меня пивом,— сказал старик.— Ты уже взрослый мужчина.
— Сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?
— Пять, и ты чуть было не погиб, когда я втащил в лодку совсем еще живую рыбу и она чуть не разнесла все в щепки, помнишь?
— Помню, как она била хвостом и сломала банку и как ты громко колотил ее дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял приторный запах крови.
— Ты правда все это помнишь или я тебе потом рассказывал?
— Я помню все с самого первого дня, когда ты взял меня в море.

Старик поглядел на него воспаленными от солнца, доверчивыми и любящими глазами:

— Если бы ты был моим сыном, я бы сейчас рискнул взять тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать и ты попал на счастливую лодку.

— Давай я все-таки схожу за сардинами. И я знаю, где можно достать четырех живцов.

— У меня еще целы сегодняшние. Я положил их в ящик с солью.

— Я достану тебе четырех свежих.

— Одного,— возразил старик.

Он и так никогда не терял ни надежды, ни веры в будущее, но теперь они креплли в его сердце, словно с моря подул свежий ветер.

— Двух,— сказал мальчик.

— Ладно, двух,— сдался старик.— А ты их, часом, не стащил?

— Стащил бы, если бы понадобились. Но я их купил.

— Спасибо,— сказал старик.

Он был слишком простодушен, чтобы задуматься о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства.

— Если течение не переменится, завтра будет хороший день,— сказал старик.

— Ты где будешь ловить?

— Подальше от берега, а вернусь, когда переменится ветер. Выйду до рассвета.

— Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе попадется очень большая рыба, мы тебе поможем.

— Твой не любит уходить слишком далеко от берега.

— Да,— сказал мальчик.— Но я уж высмотрю что-нибудь такое, чего он не сможет разглядеть,— ну хотя бы чаек. Тогда его можно уговорить отойти подальше за золотой макрелью.

— Неужели у него так плохо с глазами?

— Почти совсем ослеп.

— Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них-то всего больше и слепнешь.

— Но ты столько лет ходил за черепахами к Москитному берегу, а глаза у тебя в порядке.

— Я — необыкновенный старик.

— А сил у тебя хватит, если попадется очень большая рыба?

— Думаю, что хватит. Тут главное — сноровка.

— Давай отнесем домой снасти. А потом я возьму сеть и схожу за сардинами.

Они вытащили из лодки снасти. Старик нес на плече мачту, а мальчик — деревянный ящик с мотками туго сплетенной коричневой лесы, багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме вместе с дубинкой, которой глушат крупную рыбу, когда ее вытаскивают на поверхность. Вряд ли кто вздумал бы

обокрасть старика, но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, он все-таки предпочитал убирать от греха багор, да и гарпун тоже.

Они поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворенную настежь. Старик прислонил мачту с обернутым вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом снасти. Мачта была почти такой же длины, как хижина, выстроенная из листьев королевской пальмы, которую здесь зовут guano. В хижине были кровать, стол и стул и в глинобитном полу — выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены, сложенные из спрессованных волокнистых листьев, были украшены цветными олеографиями[1] Сердца господня и Santa Maria del Cobre[2]. Они достались ему от покойной жены. Когда-то на стене висела и раскрашенная фотография самой жены, но потом старик ее спрятал, потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо. Теперь фотография лежала на полке в углу, под чистой рубахой.

— Что у тебя на ужин? — спросил мальчик.

— Миска желтого риса с рыбой. Хочешь?

— Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?

— Не надо. Я сам разведу попозже. А может, буду есть рис так, холодный.

— Можно взять сеть?

— Конечно.

Никакой сети давно не было — мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть. Не было и миски с желтым рисом и рыбой, и это мальчик знал тоже.

— Восемьдесят пять — счастливое число,— сказал старик.— А ну как завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов?

— Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди покуда на пороге, тут солнышко.

— Ладно. У меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол.

Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета или это тоже выдумка. Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати.

— Мне ее дал Перико в винной лавке,— объяснил старик.

— Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои и твои вместе на лед, утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про бейсбол.

— «Янки» не могут проиграть.

— Как бы их не побили кливлендские «Индейцы»!

— Не бойся, сынок. Вспомни о великом Ди Маджио.

— Я боюсь не только «Индейцев», но и «Тигров» из Детройта.

---

[1] *Олеография* — печатная многокрасочная картинка.
[2] Святая Мария дель Кобре *(исп.)*.

— Ты, чего доброго, скоро будешь бояться и «Краснокожих» из Цинциннати, и чикагских «Белых чулок».

— Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь.

— А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой восемьдесят пять? Завтра ведь восемьдесят пятый день.

— Почему не купить? — сказал мальчик.— А может, лучше с цифрой восемьдесят семь? Ведь в прошлый раз было восемьдесят семь дней.

— Два раза ничего не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой восемьдесят пять?

— Закажу.

— Одинарный. За два доллара пятьдесят. Где бы нам их занять?

— Пустяки! Я всегда могу занять два доллара пятьдесят.

— Я, наверно, тоже мог бы. Только я стараюсь не брать в долг. Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню.

— Смотри не простудись, старик. Не забудь, что на дворе сентябрь.

— В сентябре идет крупная рыба. Каждый умеет рыбачить в мае.

— Ну, я пошел за сардинами,— сказал мальчик.

Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи — могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная, и теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латаная-перелатаная, как парус, а заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорали на солнце. Однако лицо у старика было все же очень старое, и теперь, во сне, с закрытыми глазами, оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы.

Мальчик не стал его будить и ушел, а когда он вернулся снова, старик все еще спал.

— Проснись! — позвал его мальчик и положил ему руку на колено.

Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то издалека. Потом он улыбнулся.

— Что ты принес?

— Ужин. Сейчас мы будем есть.

— Да я не так уж голоден.

— Давай есть. Нельзя ловить рыбу не евши.

— Мне случалось,— сказал старик, поднимаясь и складывая газету; потом он стал складывать одеяло.

— Не снимай одеяла,— сказал мальчик.— Покуда я жив, я не дам тебе ловить рыбу не евши.

— Тогда береги себя и живи как можно дольше,— сказал старик.— А что мы будем есть?

— Черные бобы с рисом, жареные бананы и тушеную говядину.

Мальчик принес еду в металлических судках из ресторанчика на Террасе. Вилки, ножи и ложки он положил в карман; каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку.

— Кто тебе все это дал?

— Мартин, хозяин ресторана.

— Надо его поблагодарить.

— Я его поблагодарил,— сказал мальчик,— уж ты не беспокойся.

— Дам ему самую мясистую часть большой рыбы,— сказал старик.— Ведь он помогает нам не первый раз?

— Нет, не первый.

— Тогда одной мясистой части будет мало. Он нам сделал много добра.

— А вот сегодня дал еще и пива.

— Я-то больше всего люблю консервированное пиво.

— Знаю. Но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам обратно.

— Ну, спасибо тебе,— сказал старик.— Давай есть?

— Я тебе давно предлагаю поесть,— ласково упрекнул его мальчик.— Все жду, когда ты сядешь за стол, и не открываю судков, чтобы еда не остыла.

— Давай. Мне ведь надо было помыться.

«Где ты мог помыться?» — подумал мальчик. До колонки было два квартала. «Надо припасти ему воды, мыла и хорошее полотенце. Как я раньше об этом не подумал? Ему нужна новая рубашка, зимняя куртка, какая-нибудь обувь и еще одно одеяло».

— Вкусное мясо,— похвалил старик.

— Расскажи мне про бейсбол,— попросил его мальчик.

— В Американской лиге выигрывают «Янки», как я и говорил,— с довольным видом начал старик.

— Да, но сегодня их побили.

— Это ничего. Зато великий Ди Маджио опять в форме.

— Он не один в команде.

— Верно! Но он решает исход игры. Во второй лиге — бруклинцев и филадельфийцев — шансы есть только у бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары, когда он играл там, в Старом парке!

— Высокий класс! Он бьет дальше всех.

— Помнишь, он приходил на Террасу? Мне хотелось пригласить его с собой порыбачить, но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся.

— Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился? Было бы о чем вспоминать до самой смерти!

— Вот бы взять с собой в море великого Ди Маджио,— сказал старик.— Говорят, отец у него был рыбаком. Кто его знает, может, он и сам когда-то был беден, как мы, и не погнушался бы.

— Отец великого Сайзлера никогда не был бедняком. Он играл в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне.

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел, как на отмели выходят львы.

— Ты мне рассказывал.

— О чем мы будем разговаривать: об Африке или о бейсболе?

— Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона Мак-Гроу.

— Он тоже в прежние времена захаживал к нам на Террасу. Но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только бейсбол, но и лошади. Вечно таскал в карманах программы бегов и называл имена лошадей по телефону.

— Он был великий тренер,— сказал мальчик.— Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете.

— Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюроше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете.

— А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонсалес?

— По-моему, они стоят друг друга.

— А самый лучший рыбак на свете — это ты.

— Нет. Я знавал рыбаков и получше.

— Qué va! [1]— сказал мальчик.— На свете немало хороших рыбаков, есть и просто замечательные. Но таких, как ты, нету нигде.

— Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется чересчур большая рыба, а то ты еще во мне разочаруешься.

— Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила.

— Может, ее у меня и меньше, чем я думаю. Но сноровка у меня есть и выдержки хватит.

— Ты теперь ложись спать, чтобы к утру набраться сил. А я отнесу посуду.

— Ладно. Спокойной ночи. Утром я тебя разбужу.

— Ты для меня все равно что будильник,— сказал мальчик.

— А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?

— Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко.

— Это я помню,— сказал старик.— Я разбужу тебя вовремя.

— Я почему-то не люблю, когда меня будит тот, другой. Как будто я хуже его.

— Понимаю.

— Спокойной ночи, старик.

Мальчик ушел. Они ели, не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить

---

[1] Что ты! *(исп.).*

себе под голову вместо подушки, а в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были прикрыты голые пружины кровати.

Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности, длинные золотистые ее берега и белые отмели — такие белые, что глазам больно,— высокие утесы и громадные бурые горы.

Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром.

Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано, он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов.

Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился.

Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он помочился и пошел вверх по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней свежести. Но он знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет на весла и совсем согреется.

Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему; мальчик взял штаны со стула подле кровати и, сидя, натянул их.

Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться, и старик, обняв его за плечи, сказал:

— Прости меня.

— Qué va! — ответил мальчик.— Такова уж наша мужская доля. Что поделаешь.

Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок.

Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом.

— Хочешь кофе? — спросил мальчик.

— Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе.

Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась рано.

— Ты хорошо спал, старик? — спросил мальчик; он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном.

— Очень хорошо, Манолин. Сегодня я верю в удачу.

— И я,— сказал мальчик.— Теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие.

— А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть не с пяти лет.

— Знаю,— сказал мальчик.— Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг.

Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранились живцы.

Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой — вот и все, что понадобится до вечера.

Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету живцов.

Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду.

— Желаю тебе удачи, старик.

— И тебе тоже.

Старик надел веревочные петли весел на колышки уключин и, наклонившись вперед, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают воду весла.

Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большей части лодок царило молчание, и доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направлялся туда, где он надеялся найти рыбу.

Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега; он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых семьсот морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых глубинах порою толпится множество каракатиц; ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб.

В темноте старик чувствовал приближение утра; загребая веслами, он слышал дрожащий звук — это летучая рыба выходила

из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам — они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят, и он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми, печальными голосами,— они слишком хрупки для него».

Мысленно он всегда звал море la mar, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море el mar, то есть в мужском роде. Они говорят о нем, как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки,— что поделаешь, такова уже ее природа. «Луна волнует море, как женщину»,— думал старик.

Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и, когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.

«Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал,— подумал старик.— Сегодня я попытаю счастья там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает и большая рыба?»

Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из живцов находился на глубине сорока морских саженей, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий и четвертый погрузились в голубую воду на сто и сто двадцать пять саженей. Живцы висели головою вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был накрепко завязан и зашит, сам же крючок — его изгиб и острие — были унизаны свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на стальном полукружье крючка. Приблизившись к крючку, большая рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек.

Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз, однако они все еще были в хорошем

состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий прут так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде, и была подвязана к двум запасным моткам лесы по сорок саженей в каждом, которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было отпустить больше чем на триста саженей.

Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы леса уходила в воду прямо и на должную глубину. Стало уже совсем светло, вот-вот должно было взойти солнце.

Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки: они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче и вода отразила его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладкая поверхность моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старик греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубь моря, куда уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою они оказывались на глубине в шестьдесят саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на сто.

«Я же,— подумал старик,— всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако кто знает? Может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов».

Солнце поднималось уже часа два, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только три лодки: отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега.

«Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света,— думал старик.— Но видят они еще хорошо. Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее. Но по утрам оно причиняет мне боль».

В это самое время он заметил птицу-фрегата, которая кружила впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами.

— Почуяла добычу,— сказал старик вслух.— Не просто кружит.

Старик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь он следил за тем, чтобы его лесы под прямым углом уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла те-

чение, и хотя старик удил все так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы.

Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью.

— Макрель, — громко произнес старик. — Крупная золотая макрель.

Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила леску. На конце ее был прикручен проволокой небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под настилом. Взяв в руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой. Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно, погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода слегка вздымалась,— это золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду.

«Там, видно, большая стая макрели,— подумал старик.— Они плывут поодаль друг от друга, и у рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупна для фрегата и движется слишком быстро».

Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня,— подумал старик.— Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба? Ведь должна же она где-нибудь плыть».

Облака над землей возвышались теперь, как горная гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу.

Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргассовых водорослей и лиловатого, переливчатого студенистого пузыря — португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по

воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца.

— Ах ты сука! — сказал старик.

Легко загребая веслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде щупальца; они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям: когда такие вот щупальца цеплялись за леску и приставали к ней, склизкие и лиловатые, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острой болью, как удар бича.

Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря, и старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалий, черепахи приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком, вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий; он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва.

Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым биссам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалий.

Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых луты, длиною в целую лодку и весом в тонну.

Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня,— думал старик,— такое же сердце, а мои руки и ноги так похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба.

Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульей печенки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен для глаз.

Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем.

— Нашел рыбу,— сказал он вслух.

Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь, не было

заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море.

Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой.

«Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю»,— подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду добела, а фрегат ныряет, хватая рыбешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность.

— Птица — верный помощник рыбаку,— сказал старик.

В этот миг короткая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток; старик бросил весла и, крепко ухватив конец бечевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт.

Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно литая пуля, и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного, подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и, еще трепещущего, отшвырнул ногой в тень под кормовой настил.

— Альбакоре,— сказал он вслух.— Из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем фунтов десять, не меньше.

Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собою вслух. Прежде, оставшись один, он пел; он пел иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверно, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбача с мальчиком, они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он по многу раз повторял свои мысли вслух — ведь они никому не могли быть в тягость.

— Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил,— сказал старик.— Но раз я не спятил, кому какое дело? Хорошо богатым: у них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол.

«Теперь не время думать про бейсбол,— сказал себе старик.— Теперь время думать только об одном. О том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывет моя большая рыба. Я ведь поймал только одного альбакоре, да и то отбившегося от стаи. А они охотятся далеко от

берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодия в море, движется очеиь быстро и на северо-восток. Может быть, так всегда бывает в это время дня? А может, это к перемеие погоды, и я просто ие зиаю такой приметы?»

Старик уже больше ие видел зелеиой береговой полосы; вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда казались белыми, словно были одеты сиегом. Облака иад ними были похожи иа высокие снежиые горы. Море стало очень темиым, и солиечиые лучи преломлялись в воде. Бесчислеииые искры плаиктоиа теперь были погашеиы солнцем, стоящим в зеиите, и в темио-сиией воде старик видел большие радужиые пятна от преломлявшихся в ией солнечных лучей да бечевки, прямо уходящие в глубину, которая достигала здесь целой мили.

Туицы — рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами и различали их иастоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать иа рыиок или сбывали как иаживку,— сиова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оио жжет ему затылок. Пот струйками стекал по спине, когда он греб.

«Я мог бы пойти по течению,— подумал старик,— и поспать, привязав леску к большому пальцу иоги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодия восемьдесят пятый день, и надо быть иачеку».

И как раз в этот миг ои заметил, как одио из зелеиых удилищ дрогиуло и пригиулось к воде.

— Ну вот,— сказал ои.— Вот! — И вытащил из воды весла, стараясь не потревожить лодку.

Старик потяиулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательиым пальцами правой руки. Ои ие чувствовал ни напряжения, ии тяги и держал леску легко, ие сжимая. Но вот оиа дрогиула снова. На этот раз рывок был осторожный и ие сильный, и старик в точиости зиал, что это зиачит. На глубиие в сто морских сажеией марлии пожирал сардины, которыми были унизаиы острие и полукружие крючка, там, где этот выкоааиный вручиую крючок вылезал из головы иебольшого тунца.

Старик, легонько придерживая бечеву, левой рукой осторожно отвязал ее от удилища. Теперь оиа могла иезаметио для рыбы скользить у иего между пальцами.

«Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, иаверио, огромиая. Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожалуйста. Сардииы такие свежеиькие, а тебе так холодио в воде, иа глубине в шестьсот футов, холодио и темио. Поворотись еще разок в темноте, ступай иазад и поешь!» Ои почувствовал легкий, осторожный рывок, а затем и более сильиый,— видно, одиу из сардин оказалось трудиее сорвать с крючка. Потом все стихло.

— Ну же,— сказал старик вслух,— поворотись еще разок. Поиюхай. Разве оии не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, иастаиет черед попробовать туица! Ои ведь твердый, прохладиый, прямо объедеиие. Не стесияйся, рыба. Ешь, прошу тебя.

Он ждал, держа бечеву между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла переплыть с места на место. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески.

— Клюет,— сказал старик вслух.— Клюет, дай ей бог здоровья!

Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна.

— Она не могла уйти,— сказал старик.— Видит бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается и делает заплыв. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом.

Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца.

— Я же говорил, что она только поворачивается,— сказал старик.— Теперь-то уж она клюет!

Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы и, выпустив бечеву, дал ей скользить вниз, вниз, вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами, но хотя он едва придерживал ее, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой.

— Что за рыба! — сказал он вслух.— Зацепила крючок губой и хочет удрать вместе с ним подальше.

«Она все равно повернется и проглотит крючок»,— подумал старик. Однако он не произнес своей мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бечеву. На секунду он придержал ее пальцами; напряжение увеличилось, и бечеву потянуло прямо вниз.

— Клюнула,— сказал старик.— Пусть теперь поест как следует.

Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка лесы по сорок сажени в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу.

— Поешь еще немножко,— сказал он.— Ешь, не стесняйся.

«Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть,— подумал он.— Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась вволю?»

— Пора! — сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и тела.

Усилия его были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него

была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что по ней запрыгали водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув назад туловище. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад.

Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать.

— Эх, если бы со мной был мальчик! — сказал он.— Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битенг [1]. Можно бы привязать бечевку к лодке. Но тогда рыба, чего доброго, сорвется. Я должен крепко держать ее и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно... А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю. Там будет видно. Мало ли что я могу сделать!

Он упирался в бечеву спиной и следил за тем, как косо она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад.

«Скоро она умрет,— думал старик.— Не может она плыть вечно».

Однако прошло четыре часа, рыба все так же неутомимо уходила в море, таща за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку, с натянутой за спиной лесой.

— Когда я поймал ее, был полдень,— сказал старик.— А я до сих пор ее не видел.

Перед тем как поймать рыбу, он плотно натянул соломенную шляпу на лоб, и теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось пить, и, осторожно став на колени, так, чтобы не дернуть бечеву, он подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив ее, он отпил несколько глотков. Потом отдохнул, привалившись к носу. Он отдыхал, сидя на мачте со скатанным парусом, стараясь не думать, а только беречь силы.

Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно. «Невелика беда,— подумал он.— Я всегда смогу вернуться, правя на огни Гаваны. До захода солнца осталось два часа, может быть, она еще выплывет за это время. Если нет, то она, может быть, выплывет при свете луны. А то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводит, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это за рыба, если она так тянет! Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком, тогда бы я знал, с кем имею дело».

Насколько старик мог судить по звездам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. После захода солнца похолодало, пот высох у него на спине, на плечах и на старых ногах, и ему стало холодно. Днем он вытащил мешок, покрывавший ящик с наживкой, и расстелил его на солнце сушить. Когда солнце заш-

[1] *Битенг* — металлическая тумба, служащая для крепления буксирного троса (каната).

ло, он обвязал мешок вокруг шеи и спустил его себе на спину, осторожно просунув под бечеву. Бечева резала теперь куда меньше, и, прислонившись к носу, он согнулся так, что ему было почти удобно. По правде говоря, в этом положении ему было только чуточку легче, но он уверял себя, что теперь ему почти совсем удобно.

«Я ничего не могу с ней поделать, но и она ничего не может поделать со мной,— сказал себе старик.— Во всяком случае, до тех пор, пока не придумает какой-нибудь новый фокус».

Разок он встал, чтобы помочиться через борт лодки, поглядеть на звезды и определить, куда идет лодка. Бечева казалась тоненьким лучиком, уходящим от его плеча прямо в воду. Теперь они двигались медленнее, и огни Гаваны потускнели,— по-видимому, течение уносило их на восток. «Раз огни Гаваны исчезают — значит, мы идем все больше на восток,— подумал старик.— Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы еще много часов. Интересно, чем окончились сегодня матчи? Хорошо бы иметь на лодке радио!» Но он прервал свои мысли: «Не отвлекайся! Думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость».

Вслух он сказал:

— Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и увидел бы все это сам.

«Нельзя, чтобы в старости человек оставался один,— думал он.— Однако это неизбежно. Не забыть бы мне съесть тунца, покуда он не протух, ведь мне нельзя терять силы. Не забыть бы мне съесть его утром, даже если я совсем не буду голоден. Только бы не забыть»,— повторял он себе.

Ночью к лодке подплывали две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка.

— Они хорошие,— сказал старик.— Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну не чудо ли эта рыба, и один бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда еще мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет! Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна. Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванула изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, что против нее всего один человек, да и тот старик. Но какая большая эта рыба и сколько она принесет денег, если у нее вкусное мясо! Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывет очертя голову, как и я?»

Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись

на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее изнурила, а самец, ни на шаг не отставая от нее, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как серп, и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть с шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы, которой покрывают оборотную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца.

«Ни разу в море я не видел ничего печальнее,— подумал старик.— Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделали ее тушу».

— Жаль, что со мной нет мальчика,— сказал он вслух и поудобнее примостился к округлым доскам носа, все время ощущая через бечеву, которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели.

— Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить свое решение!

«Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом с самого полудня. И некому помочь ни ей, ни мне».

«Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком,— думал он.— Но ведь для этого я родился. Только бы не забыть съесть тунца, когда рассветет».

Незадолго до восхода солнца клюнуло на одну из наживок за спиной. Он услышал, как сломалось удилище и бечева заскользила через планшир лодки. В темноте он выпростал из футляра свой нож и, перенеся всю тяжесть рыбы на левое плечо, откинулся назад и перерезал лесу на планшире. Потом он перерезал лесу, находившуюся рядом с ним, и в темноте крепко связал друг с другом концы запасных мотков. Он ловко работал одной рукой, придерживая ногой мотки, чтобы покрепче затянуть узел. Теперь у него было целых шесть запасных мотков лесы: по два от каждой перерезанной им бечевы и два от лесы, на которую попалась рыба; все мотки были связаны друг с другом.

«Когда рассветет,— думал он,— я постараюсь достать ту лесу, которую я опустил на сорок саженей, и тоже ее перережу,

соединив запасные мотки. Правда, я потеряю двести саженей крепкой каталонской веревки, не говоря уже о крючках и грузилах. Ничего, это добро можно достать снова. Но кто достанет мне новую рыбу, если на крючок попадется какая-нибудь другая рыба и сорвет мне эту? Не знаю, что там сейчас клюнуло. Может быть, марлин, а может быть, и меч-рыба или акула. Я даже не успел ее почувствовать. Надо было побыстрее от нее отвязаться».

Вслух он сказал:

— Эх, был бы со мной мальчик!

«Но мальчика с тобой нет,— думал он.— Ты можешь рассчитывать только на себя, и хоть сейчас и темно, лучше бы ты попытался достать ту, последнюю лесу, перерезать ее и связать два запасных мотка».

Он так и сделал. В темноте ему было трудно работать, и один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек щеку под глазом. Кровь потекла по скуле, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка, а он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. Старик поправил мешок, осторожно передвинул бечеву на новое, еще не натруженное место и, передав весь упор на плечи, попытался определить, сильно ли тянет рыба, а потом опустил руку в воду, чтобы выяснить, с какой скоростью движется лодка.

«Интересно, почему она рванулась,— подумал он.— Проволока, верно, соскользнула с большого холма ее спины. Конечно, ее спине не так больно, как моей. Но не может же она тащить лодку без конца, как бы велика ни была! Теперь я избавился от всего, что могло причинить мне вред, и у меня большой запас бечевы,— чего же еще человеку нужно?»

— Рыба,— позвал он тихонько,— я с тобой не расстанусь, пока не умру.

«Да и она со мной, верно, не расстанется»,— подумал старик и стал дожидаться утра. В этот предрассветный час было холодно, и он прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. «Если она терпит, значит, и я стерплю».

И заря осветила натянутую лесу, уходящую в глубину моря. Лодка двигалась вперед неустанно, и когда над горизонтом появился краешек солнца, свет его упал на правое плечо старика.

— Она плывет к северу,— сказал старик.— А течение, наверно, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала.

Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. Одно лишь было отрадно: уклон, под которым леса уходила в воду, показывал, что рыба плыла теперь на меньшей глубине. Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность. Однако вынырнуть она все же могла.

— Господи, заставь ее вынырнуть! — сказал старик.— У меня хватит бечевы, чтобы с ней справиться.

«Может быть, если мне удастся немножко усилить тягу, ей будет больно и она выпрыгнет,— подумал старик.— Теперь, когда стало светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у нее идут вдоль хребта, наполнятся воздухом и она не сможет больше уйти в глубину, чтобы там умереть».

Он попытался натянуть бечеву потуже, но с тех пор, как он поймал рыбу, леса и так была натянута до отказа, и когда он откинулся назад, чтобы натянуть ее еще крепче, она больно врезалась в спину, и он понял, что у него ничего не выйдет. «А дергать нельзя,— подумал он.— Каждый рывок расширяет рану, которую нанес ей крючок, и, если рыба вынырнет, крючок может вырваться совсем. Во всяком случае, я чувствую себя лучше теперь, когда светит солнце, и на этот раз мне не надо на него смотреть».

Лесу опутали желтые водоросли, но старик был рад им, потому что они задерживали ход лодки. Это были те самые желтые водоросли, которые так светились ночью.

— Рыба,— сказал он,— я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер.

«Будем надеяться, что это мне удастся»,— подумал он.

С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала.

Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика над головой и уселась на бечеву, где ей было удобнее.

— Сколько тебе лет? — спросил ее старик.— Наверно, это твое первое путешествие?

Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, достаточно ли прочна бечева, и лишь покачивалась, обхватив ее своими нежными лапками.

— Не бойся, веревка натянута крепко,— заверил ее старик.— Даже слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную ночь. Ах, не те нынче пошли птицы!

«А вот ястребы,— подумал он,— выходят в море вам навстречу». Но он не сказал этого птице, да она все равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро все узнает про ястребов.

— Отдохни хорошенько, маленькая птичка,— сказал он.— А потом лети к берегу и борись, как борется каждый человек, птица или рыба.

Разговор с птицей его подбодрил, а то спина у него совсем одеревенела за ночь, и теперь ему было по-настоящему больно.

— Побудь со мной, если хочешь, птица,— сказал он.— Жаль, что я не могу поставить парус и привезти тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается легкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть.

В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика на нос; она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу.

Когда бечева дернулась, птица взлетела, и старик даже не

заметил, как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь.

— Верно, рыбе тоже стало больно,— сказал он вслух и потянул бечеву, проверяя, не сможет ли он повернуть рыбу в другую сторону. Натянув лесу до отказа, он снова замер в прежнем положении.

— Худо тебе, рыба? — спросил он.— Видит бог, мне и самому не легче.

Он поискал глазами птицу, потому что ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Но птицы нигде не было.

«Недолго же ты побыла со мной,— подумал старик.— Но там, куда ты полетела, ветер много крепче, и он будет дуть до самой суши. Как же это я позволил рыбе поранить меня одним быстрым рывком? Верно, я совсем поглупел. А может быть, просто загляделся на птичку и думал только о ней? Теперь я буду думать о деле и съем тунца, чтобы набраться сил».

— Жаль, что мальчик не со мной и что у меня нет соли,— сказал он вслух.

Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл руку, подержав ее с минуту в воде и наблюдая за тем, как расплывается кровавый след, как мерно обтекает руку встречная струя.

— Теперь рыба плывет куда медленнее,— сказал он вслух.

Старику хотелось подольше подержать руку в соленой воде, но он боялся, что рыба снова дернет; поэтому он поднялся на ноги, натянул спиною лесу и подержал руку на солнце. На ней была всего одна ссадина от бечевы, рассекшей мякоть, но как раз на той части руки, которая нужна была ему для работы. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчался, что поранил их в самом начале.

— Теперь,— сказал он, когда рука обсохла,— я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует.

Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой, отыскал там тунца. Он подтащил его к себе, стараясь не потревожить мотки лесы. Снова переместив всю тяжесть рыбы на левое плечо и упираясь о борт левой рукой, он снял тунца с крючка и положил багор на место. Он прижал тунца коленом и стал вырезать со спины и от затылка до хвоста продольные куски темно-красного мяса. Нарезав шесть клинообразных кусков, он разложил их на досках носа, вытер нож о штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул его в море.

— Пожалуй, целого куска мне не съесть,— сказал он и перерезал один из кусков пополам.

Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба, а левую руку у него совсем свело. Она судорожно сжимала тяжелую веревку, и старик поглядел на нее с отвращением.

— Ну что это за рука, ей-богу! — сказал он.— Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу, тебе это все равно не поможет.

«Поешь,— подумал он, поглядев в темную воду и на косую линию уходящей в нее бечевы,— и твоя рука станет сильнее. Чем она виновата? Ведь ты уж сколько часов подряд держишь рыбу. Но ты не расстанешься с ней до конца. А пока что поешь».

Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать. Вкус был не такой уж противный.

«Жуй хорошенько,— думал он,— чтобы не потерять ни капли соков. Неплохо было бы приправить ее лимоном или хотя бы солью».

— Ну, как ты себя чувствуешь, рука? — спросил он затекшую руку, которая одеревенела, почти как у покойника.— Ради тебя я съем еще кусочек.

Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу.

— Ну как, рука, полегчало? Или ты еще ничего не почувствовала?

Он взял еще один кусок и тоже съел его.

«Это здоровая, полнокровная рыба,— подумал он.— Хорошо, что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая. А в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность. Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями,— подумал он.— Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли. И я не знаю, провялится остаток рыбы на солнце или протухнет, поэтому давай-ка лучше я ее съем, хоть я и не голоден. Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я доем тунца и тогда буду готов».

— Потерпи, рука,— сказал он.— Видишь, как я ради тебя стараюсь.

«Следовало бы мне покормить и большую рыбу,— подумал он.— Ведь она моя родня. Но я должен убить ее, а для этого мне нужны силы».

Медленно и добросовестно старик съел все клинообразные куски тунца. Обтирая руку о штаны, он выпрямился.

— Ну вот,— сказал он.— Теперь, рука, ты можешь отпустить лесу; я совладаю с ней одной правой, покуда ты не перестанешь валять дурака.

Левой ногой он прижал толстую бечеву, которую раньше держала его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину.

— Дай бог, чтобы у меня прошла судорога! — сказал он.— Кто знает, что еще придет в голову этой рыбе.

«По виду она спокойна,— подумал он,— и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать я? Мой план я должен тут же приспособить к ее плану, ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине? Тогда и я останусь с нею».

Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы. Но рука не разгибалась. «Может быть, она ра-

зожмется от солнца,— подумал он.— Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разожмется сама и оживет по своей воле. Как-никак, ночью ей от меня досталось, когда нужно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы».

Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел разноцветные солнечные лучи, преломляющиеся в темной глубине, натянутую, уходящую вниз бечеву и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая пассат, и, глядя вперед, он заметил над водою стаю диких уток, резко очерченных в небе; вот стая расплылась, потом опять обрисовалась еще четче, и старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок.

Он подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году.

Если ураган близится, в море всегда можно увидеть его признаки на небе за много дней вперед. На суше их не видят, думал старик, потому что не знают, на что смотреть. Да на суше и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего.

Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие на его любимое мороженое, а над ними, в высоком сентябрьском небе, прозрачные клочья перистых облаков.

— Скоро поднимется легкий бриз,— сказал старик.— А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба.

Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить.

«Ненавижу, когда у меня сводит руку,— подумал он.— Собственное тело — и такой подвох! Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления рыбой. Но судорога (он мысленно называл ее calambre) особенно унижает тебя, когда ты один».

«Если бы со мной был мальчик,— подумал он,— он растер бы мне руку от локтя до низу. Но ничего, она оживет и так».

И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился уклон, под которым леса уходит в воду, его правая рука почувствовала, что тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по бедру и тут увидел, что леса медленно пошла кверху.

— Поднимается,— сказал он.— Ну-ка, рука, оживай! Пожалуйста!

Леса вытягивалась в длину все больше и больше, и наконец поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды.

Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная клюшка, и острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась бесшумно, как пловец, и едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как леса начала стремительно разматываться.

— Она на два фута длиннее моей лодки,— сказал старик.

Леса уходила в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал, что если ему не удастся замедлить ход рыбы таким же равномерным сопротивлением, она заберет все запасы его бечевы и сорвется.

«Она громадина, эта рыба, и я не дам ей почувствовать свою силу,— думал он.— Нельзя, чтобы она поняла, что может сделать со мной, если пустится наутек. На ее месте я бы сейчас поставил все на карту и шел бы вперед до тех пор, покуда что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают; хотя в них гораздо больше и ловкости и благородства».

Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более тысячи фунтов, и сам поймал в свое время две такие рыбы, но никогда еще ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один, в открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, о какой даже никогда не слышал, и его левая рука по-прежнему была сведена судорогой, как сжатые когти орла.

«Ну, рука у меня разойдется,— подумал он.— Конечно, разойдется, хотя бы для того, чтобы помочь правой руке. Жили-были три брата: рыба и мои две руки... Непременно разойдется. Просто стыд, что ее свело».

Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью.

«Интересно, почему она вдруг вынырнула,— размышлял старик.— Можно подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой и чтобы у меня было все, что есть у нее, а не только воля и сообразительность».

Он покойно уселся, прислонившись к дощатой обшивке, безропотно перенося мучившую его боль, а рыба все так же упорно плыла вперед, и лодка медленно двигалась по темной воде. Восточный ветер поднял небольшую волну.

К полудню левая рука у старика совсем ожила.

— Туго тебе теперь придется, рыба,— сказал он и передвинул бечеву на спине.

Ему было хорошо, хотя боль и донимала его по-прежнему; только он не признавался себе в том, как ему больно.

— В бога я не верую,— сказал он.— Но я прочту десять раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово.

Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова, и тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу» повторять легче, чем «Отче наш»,— думал он.

— Богородица дева, радуйся, благодатная Мария, господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси души наших. Аминь.— Потом он добавил: — Пресвятая богородица, помолись, чтобы рыба умерла. Хотя она и очень замечательная.

Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль нисколько не уменьшилась, а может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа и начал машинально упражнять пальцы левой руки. Солнце жгло, ветерок потихоньку усиливался.

— Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку,— сказал старик.— Если рыба не всплывет и в эту ночь, мне нужно будет снова поесть, да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, что здесь можно поймать что-нибудь, кроме макрели. Но если ее съесть сразу, она не так уж противна. Хорошо бы ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда, и потрошить ее не надо. А мне теперь надо беречь силы. Ведь не знал же я, господи, что она такая большая!.. Но я ее все равно одолею,— сказал он.— При всей ее величине и при всем ее великолепии.

«Хоть это и несправедливо,— прибавил он мысленно,— но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести».

— Я ведь говорил мальчику, что я не обыкновенный старик,— сказал он.— Теперь пришла пора это доказать.

Он доказывал это уже тысячу раз. Ну так что ж? Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается сызнова; поэтому когда он что-нибудь делал, то никогда не вспоминал о прошлом.

«Хотел бы я, чтобы она заснула, тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов,— подумал он.— Почему львы — это самое лучшее, что у меня осталось?»

— Не надо думать, старик,— сказал он себе.— Отдохни тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше.

Солнце клонилось к закату, а лодка все плыла и плыла, медленно и неуклонно. Восточный ветерок подгонял ее, и старик тихонько покачивался на невысоких волнах, легко и незаметно перенося боль от веревки, врезавшейся ему в спину.

Как-то раз после полудня леса снова стала подниматься. Однако рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине. Солнце припекало старику спину, левое плечо и руку. Из этого он понял, что рыба свернула на северо-восток.

Теперь, когда он уже однажды взглянул на рыбу, он мог себе представить, как она плывет под водой, широко, словно крылья, раскинув фиолетовые грудные плавники и прорезая тьму могучим хвостом. «Интересно, много ли она видит на такой глубине? — подумал старик.— У нее огромные глаза, а лошадь, у которой глаз куда меньше, видит в темноте. Когда-то и я хорошо видел в темноте. Конечно, не в полной тьме, но зрение у меня было почти как у кошки».

Солнце и беспрестанное упражнение пальцев совершенно расправили сведенную судорогой левую руку, и старик стал постепенно перемещать на нее тяжесть рыбы, двигая мускулами спины, чтобы хоть немного ослабить боль от бечевы.

— Если ты еще не устала,— сказал он вслух,— ты и в самом деле — необыкновенная рыба.

Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь, и поэтому старался думать о чем-нибудь постороннем. Он думал о знаменитых бейсбольных лигах, которые для него были Gran Ligas [1], и о том, что сегодня нью-йоркские «Янки» должны были играть с «Тиграми» из Детройта.

«Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах juegos [2],— подумал он.— Но я должен верить в свои силы и быть достойным великого Ди Маджио, который все делает великолепно, что бы ни делал, даже тогда, когда страдает от костной мозоли в пятке. Что такое костная мозоль? Un espuelo de hueso. У нас, рыбаков, их не бывает. Неужели это так же больно, как удар в пятку шпорой бойцового петуха? Я, кажется, не вытерпел бы ни такого удара, ни потери глаза или обоих глаз и не смог бы продолжать драться, как это делают бойцовые петухи. Человек — это не бог весть что рядом с замечательными зверями и птицами. Мне бы хотелось быть тем зверем, что плывет сейчас там, в морской глубине».

— Да, если только не нападут акулы,— сказал он вслух.— Если нападут акулы — помилуй господи и ее и меня!

«Неужели ты думаешь, что великий Ди Маджио держался бы за рыбу так же упорно, как ты? — спросил он себя.— Да, я уверен, что он поступил бы так же, а может быть, и лучше, по-

[1] Великие лиги *(исп.)*.
[2] Спортивные игры *(исп.)*.

тому что он моложе и сильнее меня. К тому же отец его был рыбаком... А ему очень больно от костной мозоли?»

— Не знаю,— сказал он вслух.— У меня никогда не было костной мозоли.

Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать, как однажды в таверне Касабланки он состязался в силе с могучим негром из Сьенфуэгос, самым сильным человеком в порту. Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти в черту, прочерченную мелом на столе, не сгибая рук и крепко сцепив ладони. Каждый из них пытался пригнуть руку другого к столу. Кругом держали пари, люди входили и выходили из комнаты, тускло освещенной керосиновыми лампами, а он не сводил глаз с руки и локтя негра и с его лица. После того как прошли первые восемь часов, судьи стали меняться через каждые четыре часа, чтобы поспать. Из-под ногтей обоих противников сочилась кровь, а они все глядели друг другу в глаза, и на руку, и на локоть. Люди, державшие пари, входили и выходили из комнаты; они рассаживались на высокие стулья у стен и ждали, чем это кончится. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет, и лампы отбрасывали на них тени. Тень негра была огромной и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы.

Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролет; негра поили ромом и зажигали ему сигарету. Выпив рому, негр делал отчаянное усилие, и один раз ему удалось пригнуть руку старика — который тогда не был стариком, а звался Сантьяго El Campeón[1] — почти на три дюйма. Но старик снова выпрямил руку. После этого он уже больше не сомневался, что победит негра, который был хорошим парнем и большим силачом. И на рассвете, когда люди стали требовать, чтобы судья объявил ничью, а тот только пожал плечами, старик внезапно напряг свои силы и стал пригибать руку негра все ниже и ниже, покуда она не легла на стол.

Поединок начался в воскресенье и окончился утром в понедельник. Многие из державших пари требовали признать ничью, потому что им пора было выходить на работу в порт, где они грузили уголь для Гаванской угольной компании или мешки с сахаром. Если бы не это, все бы хотели довести состязание до конца. Но старик победил, и победил до того, как грузчикам надо было выйти на работу.

Долго еще потом его звали Чемпионом, а весною он дал негру отыграться. Однако ставки уже были не такими высокими, и он легко победил во второй раз, потому что вера в свою силу у негра из Сьенфуэгос была сломлена еще в первом матче. Потом Сантьяго участвовал еще в нескольких состязаниях, но скоро бросил это дело. Он понял, что если очень захочет, то побе-

---

[1] Чемпион *(исп.)*.

дит любого противника, и решил, что такие поединки вредны для его правой руки, которая ему нужна для рыбной ловли. Несколько раз он пробовал посостязаться левой рукой. Но его левая рука всегда подводила его, не желала ему подчиняться, и он ей не доверял.

«Солнце ее теперь пропечет хорошенько,— подумал он.— Она не посмеет больше затекать мне назло, разве что ночью будет очень холодно. Хотел бы я знать, что мне сулит эта ночь».

Над головой у него прошел самолет, летевший в Майами, и старик видел, как тень самолета спугнула и подняла в воздух стаю летучих рыб.

— Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна быть и макрель,— сказал он и посильнее уперся спиною в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но он скоро понял, что это невозможно, потому что бечева снова задрожала, как струна, угрожая лопнуть, и по ней запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед, и он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся.

«Наверно, с самолета все выглядит очень странно,— подумал он.— Интересно, какой вид с такой высоты имеет море? Они оттуда могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко. Хотел бы я медленно-медленно лететь на высоте в двести саженей, чтобы сверху посмотреть на мою рыбу. Когда я плавал за черепахами, я, бывало, взбирался на верхушку мачты и даже оттуда мог разглядеть довольно много. Макрель оттуда выглядит более зеленой, и можно различить на ней фиолетовые полосы и пятна и увидеть, как плывет вся стая. Почему у всех быстроходных рыб, которые плавают в темной глубине, фиолетовые спины, а зачастую и фиолетовые полосы или пятна? Макрель только выглядит зеленой, на самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна и охотится за пищей, на боках у нее проступают фиолетовые полосы, как у марлина. Неужели это от злости? А может быть, потому, что она движется быстрее, чем обычно?»

Незадолго до темноты, когда они проплывали мимо большого островка саргассовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на легкой волне, словно океан обнимался с кем-то под желтым одеялом, на маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел ее, когда она подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах солнца, сгибаясь от ужаса пополам и бешено хлопая по воздуху плавниками. Она подпрыгивала снова и снова, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, придерживая большую бечеву правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой левой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была у самой лодки и отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону, старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото, рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судо-

рожно сжималась, прикусывая крючок, а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул ее по горящей золотом голове, и она, задрожав, затихла.

Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардиной и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер ее о штаны, переместил тяжелую бечеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан и под каким уклоном тянется в воду его большая леса.

— Все идет по-прежнему,— сказал он.

Но, опустив руку в воду, он почувствовал, что движение лодки сильно замедлилось.

— Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперек кормы, чтобы они ночью тормозили лодку,— сказал он.— У этой рыбы хватит сил на всю ночь. Ну, и у меня тоже.

«Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже,— подумал он,— чтобы из нее не вытекла вся кровь. Я сделаю это немного погодя и тогда же свяжу весла, чтобы притормозить лодку. Лучше мне покуда не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Заход солнца дурно влияет на всякую рыбу».

Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею бечеву, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким образом упор со своего тела на лодку.

«Кое-чему я научился,— подумал он.— Пока что я с нею справляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку, а она ведь большая и ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца. Завтра я поем макрели.— Старик называл макрель dorado.— Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца. Но ничто на свете не дается легко».

— Как ты себя чувствуешь, рыба? — спросил он громко.— Я себя чувствую прекрасно. Левая рука болит меньше, и пищи хватит на целую ночь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба.

Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже,— утешал он себя.— Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке. Да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе».

Было темно; в сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к изъеденным солью доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные и тогда эти далекие друзья будут снова с ним.

— Рыба — она тоже мне друг,— сказал он.— Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!

«Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло»,— подумал он.

Потом ему стало жалко рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней нисколько не мешала его решимости ее убить. Сколько людей он насытит! Но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться: поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством.

«Я многого не понимаю,— подумал он.— Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев.

Теперь мне следует подумать о тормозе из весел. У него есть и хорошие и дурные стороны. Я могу потерять столько бечевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться, а тормоз из весел лишит лодку подвижности. Легкость лодки продлевает наши страдания — и мои и рыбы, но в ней и залог моего спасения. Ведь эта рыба, если захочет, может плыть быстрее. Как бы там ни было, надо выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поесть немножко, чтобы набраться сил.

Теперь я отдохну еще часок, а потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму, сделаю там что нужно и приму решение насчет весел. А тем временем я присмотрюсь, как она будет себя вести. Штука с веслами — удачная выдумка, однако сейчас надо действовать наверняка. Рыба еще в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у нее в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики, ее гораздо больше мучит голод и ощущение опасности, которой она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед».

Он отдыхал, как ему казалось, не меньше двух часов. Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить время. Правда, отдыхал он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить все больший и больший вес на самую лодку.

«Как все было бы просто, если бы я мог привязать бечеву к лодке! — подумал он.— Но стоит ей рвануться хотя бы легонько, и бечева лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готов в любую минуту опустить бечеву обеими руками».

— Но ты ведь еще не спал, старик,— сказал он вслух.— Прошло полдня и ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она

спокойна и не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя помутится.

«Сейчас голова у меня ясная,—подумал он.— Даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои, звезды. Но все равно мне надо поспать. И звезды спят, и луна спит, и солнце спит, и даже океан иногда спит в те дни, когда нет течения и стоит полная тишь.

Не забудь поспать,— напомнил он себе.— Заставь себя поспать; придумай какой-нибудь простой и верный способ, как оставить бечеву. Теперь ступай на корму и выпотроши макрель. А тормоз из весел — вещь опасная, если ты заснешь.

Но я могу обойтись и без сна,— сказал он себе.— Да, можешь, но и это слишком опасно».

Он стал на четвереньках перебираться на корму, стараясь не потревожить рыбу. «Она, может быть, тоже дремлет,— подумал он.— Но я не хочу, чтобы она отдыхала. Она должна тащить лодку, покуда не умрет».

Добравшись до кормы, он повернулся и переместил всю тяжесть рыбы на левую руку, а правой вытащил из футляра нож. Звезды светили ярко, и макрель хорошо было видно. Воткнув нож ей в голову, старик вытащил ее из-под настила кормы. Он придерживал рыбу ногой и быстро вспорол ей живот от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож, правой рукой выпотрошил макрель и вырвал жабры. Желудок был тяжелый и скользкий; разрезав его, она нашел там две летучие рыбы. Они были свежие и твердые, и он положил их рядышком на дно лодки, а внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звезд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо от головы до хвоста.

Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде кругов, но там был только светящийся след медленно уходящего вглубь остова рыбы. Тогда он повернулся, положил двух летучих рыб между кусками макрельего филе и, спрятав нож в футляр, снова осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы, рыбу он нес в правой руке.

Вернувшись на нос, он разложил рыбное филе на досках и рядом с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на еще не наболевшую часть спины и снова переместил тяжесть на левую руку, опиравшуюся о планшир. Перегнувшись через борт, он обмыл летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода у него под рукой. Рука его светилась оттого, что он сдирал ею с макрели кожу, и он смотрел, как ее обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потерев ребро руки о край лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора.

— Она либо устала, либо отдыхает,— сказал старик.— Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать.

Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, которую предварительно выпотрошил при свете звезд, чувствуя, как ночь становится все холоднее.

— Что может быть вкуснее макрели, если есть ее в вареном виде! — сказал он.— Но до чего же она противна сырая! Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона.

«Будь у меня голова на плечах,— думал он,— я бы целый день поливал водой нос лодки и давал ей высохнуть — к вечеру у меня была бы соль. Да, но ведь я поймал макрель перед самым заходом солнца. И все-таки я многого не предусмотрел. Однако я сжевал весь кусок, и меня не тошнит».

Небо на востоке затуманивалось облаками, и знакомые звезды гасли одна за другой. Казалось, что он вступает в огромное ущелье из облаков. Ветер стих.

— Через три или четыре дня наступит непогода,— сказал он.— Но еще не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведет себя смирно.

Он схватил лесу правой рукой и припал к руке бедром, налегая всем телом на борт лодки. Потом сдвинул бечеву на спине чуть пониже и ухватился за нее левой рукой.

«Правая рука будет держать лесу, пока не разожмется. А если во сне она разожмется, меня разбудит левая рука, почувствовав, как леса убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко. Но она привыкла терпеть лишения. Если я посплю хотя бы минут двадцать или полчаса, и то хорошо».

Он привалился к борту, перенес тяжесть рыбы на правую руку и заснул.

Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая морских свиней, растянувшаяся на восемь или на десять миль, а так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись.

Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука его затекла, потому что он положил ее под голову вместо подушки.

И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие; он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре, его обвевает вечерним ветром с суши, он ждет, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастлив.

Луна уже давно взошла, но он все спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков.

Он проснулся от рывка; кулак правой руки ударил его в лицо, а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бечеву пра-

вой рукой, но бечева продолжала бешено уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бечеву, он оперся о нее спиной, и теперь леса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные мотки лесы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять, а лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт и старик натягивал ее до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрельего мяса, но он не мог пошевелиться.

«Вот этого-то мы и ждали,— подумал он. —Теперь держись... Я ей отплачу за лесу! Я ей отплачу!»

Он не мог видеть прыжков рыбы, он только слышал, как с шумом разверзается океан, и тяжелый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающая за борт бечева жестоко резала руки, но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы.

«Будь со мной мальчик,— подумал старик,— он смочил бы лесу водой. Да, если бы мальчик был здесь! Если бы он был здесь!»

Леса все неслась, неслась и неслась, но теперь она шла уже труднее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрельего мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бечевы, он убедился, что запас у него еще большой. А в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться.

«Ну вот,— подумал он. — Теперь она прыгнула уже больше десяти раз и наполнила свои пузыри воздухом; теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать, и умереть там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? Голод довел ее до отчаяния или что-нибудь испугало во тьме? Может, она вдруг почувствовала страх? Но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой смелой и такой уверенной в себе. Странно!»

— Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы,— сказал он. — Хоть ты ее и держишь, ты не можешь вытянуть ни дюйма лесы. Но скоро она начнет делать круги.

Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами; нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывет почти прямо на восток,— подумал он. — Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами. Тогда-то и начнется настоящая работа».

Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее.

— Не так страшно,— сказал он. — А боль мужчине нипочем.

Старик осторожно взял бечеву, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы и левую руку тоже опустить в воду через другой борт лодки.

— Для такого ничтожества, как ты, ты вела себя неплохо,— сказал он левой руке. — Но была минута, когда ты меня чуть не подвела.

«Почему я не родился с двумя хорошими руками? — думал он. — Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует. Но, видит бог, она сама могла научиться! Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью; и судорогой ее свело всего один раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть ее совсем отрежет бечевой!»

Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. Надо бы пожевать еще кусочек макрели. «Не могу,— сказал он себе. — Пусть лучше у меня будет голова не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу проглотить мясо после того, как на нем лежало мое лицо. Я сохраню мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться. Глупый старик! — выругал он себя. — Ты ведь можешь съесть вторую летучую рыбу».

Вот она лежит, выпотрошенная, чистенькая,— и, взяв ее левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости, съел всю целиком без остатка.

«Она сытнее любой другой рыбы,—подумал он.—Во всяком случае, в ней есть то, что мне нужно... Ну вот, теперь я сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить — мы с ней сразимся».

Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море, и тут-то рыба начала делать круги.

Он еще не мог определить по уклону, под которым леса уходила в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тяга чуточку ослабла, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, высвободил плечи из давившей на них бечевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно.

Он работал, взмахивая обеими руками поочередно. Его старые ноги и плечи помогали движению рук.

— Она делает очень большой круг,— сказал он,— но она его все-таки делает.

Внезапно движение лесы затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать ее понемножку назад, в темную воду.

— Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга,— сказал он.

«Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бечева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею».

Однако прошло два часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче, и по тому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность.

Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану — на лбу. Черные пятна его пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость, и это встревожило его не на шутку.

«Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы? — спрашивал он себя. — И главное — теперь, когда все идет так хорошо. Господи, помоги мне выдержать! Я прочту сто раз «Отче наш» и сто раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу».

«Считай, что я их прочел,— подумал он. — Я прочту их после».

В этот миг он почувствовал удары по бечеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный.

«Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок,— подумал старик. — Ну, конечно. Так ей и полагалось поступить. Однако это может заставить ее выпрыгнуть, а я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были ей нужны, чтобы набрать воздуху, но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться».

— Не прыгай, рыба,— просил он. — Пожалуйста, не прыгай!

Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу.

«Я не должен причинять ей лишнюю боль,— думал он. — Моя боль — она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли».

Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и начала снова делать круги. Старик равномерно выбирал лесу. Но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил ее себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок.

— Зато у меня нет больше судороги,— сказал он. — Рыба скоро выплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик. И не смей даже думать, что ты можешь не выдержать.

Он опустился на колени и на время снова закинул лесу себе за спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом встану и, когда она подойдет поближе, снова начну выбирать лесу».

Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить рыбе сделать лишний круг, не выбирая лесы. Но когда тяга показала, что рыба повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бечеву, взмахивая поочередно руками и поворачивая из стороны в сторону туловище, для того чтобы выбрать как можно больше лесы.

«Я устал так, как не уставал ни разу в жизни,— подумал старик,— а между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой. Мне он очень пригодится, этот ветер».

— Я отдохну, когда она пойдет в новый круг,— сказал он.— Тем более что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще какихнибудь два-три круга, и рыба будет моя.

Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он в изнеможении повалился на нос.

«Поработай теперь ты, рыба,— подумал он.— Я снова возьмусь за тебя, как только ты повернешь назад».

По морю пошла крупная волна. Но воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтобы добраться до дому.

— Буду править на юг и на запад,— сказал он.— И все. Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный.

Рыбу он увидел во время ее третьего круга.

Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не поверил.

— Нет,— сказал он.— Не может быть, чтобы она была такая большая.

Но рыба была такая большая, и к концу третьего круга она всплыла на поверхность всего в тридцати ярдах от лодки, и старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше самого большого серпа и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова, но уже неглубоко, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в стороны.

Пока она делала свой круг, старик разглядел глаз рыбы и плывших подле нее двух серых рыб-прилипал. Время от времени прилипалы присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порою же они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждая из прилипал была длиною более трех футов, и когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри.

По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше лесы и теперь был уверен, что через два круга ему удастся всадить в рыбу гарпун.

«Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе,— подумал он. — И не надо целиться в голову. Надо бить в сердце».

«Будь спокойным и сильным, старик»,— сказал он себе.

Во время следующего круга спина рыбы показалась над водой, но плыла она все еще слишком далеко от лодки. Рыба сделала еще один круг, но была по-прежнему слишком далеко от лодки, хотя и возвышалась над водой куда больше. Старик знал, что, выбери он еще немного лесы, он мог бы подтащить рыбу к самому борту.

Он уже давно приготовил гарпун; связка тонкого троса лежала в круглой корзине, а конец он привязал к битенгу на носу.

Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая, чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу что было силы, стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый круг.

— Я сдвинул ее с места,— сказал старик.— Я все-таки заставил ее перевернуться.

У него снова закружилась голова, но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее на бок,— думал он.— Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину. Тяните! — приказывал он своим рукам.— Держите меня, ноги! Послужи мне еще, голова! Послужи мне. Ты ведь никогда меня не подводила. На этот раз я переверну ее на спину».

Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг все свои силы и стал тянуть что было мочи. Но рыба лишь слегка повернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль.

— Послушай, рыба! — сказал ей старик.— Ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?

«Этак мне ничего не добиться»,— подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке,— подумал он.— Надолго меня не хватит».— «Нет, хватит,— возразил он себе.— Тебя, старик, хватит навеки».

Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь.

«Ты губишь меня, рыба,— думал старик.— Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что же, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет».

«Опять у тебя путается в голове, старик! А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания, как человек... Или как рыба»,— мысленно добавил он.

— А ну-ка, голова, работай,— сказал он так тихо, что едва услышал свой голос. — Работай, говорят тебе.

Еще два круга все оставалось по-прежнему.

«Что делать? — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. — Что делать? Попробую еще раз».

Он сделал еще попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом.

«Попробую еще раз»,— пообещал старик, хотя руки у него совсем ослабли и перед глазами стоял туман.

Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах, так? — подумал он и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает. — Я попробую еще раз». Он собрал всю свою боль, и весь остаток своих сил, и всю свою давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые терпела рыба, и тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки; она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца.

Старик бросил леску, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела.

И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть,— она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю лодку.

Старика одолела слабость и дурнота; он почти ничего не видел. Но, опустив бечеву гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках, а когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине, серебряным брюхом кверху. Рукоятка гарпуна торчала наискось из ее спины, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно голубую воду на целую милю вглубь заполнила стая рыб. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах.

Старик не сводил с нее глаз, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды обмотал веревку гарпуна о битенг и опустил голову на руки.

«Что же это с моей головой? — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа. — Я старый человек, и я очень устал. Но я все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать черную работу.

Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в петли,

чтобы принайтовить рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в нее рыбу, а потом вычерпали воду,— все равно лодка не выдержала бы такой тяжести.

Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать ее накрепко к лодке, поставить парус и отправиться восвояси».

Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу.

«Мне хочется посмотреть на нее, — подумал он,— потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба. Ведь она — мое богатство. Но я не поэтому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца,— думал он,— тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост, а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить ее к лодке».

— Ну, старик, за работу,— сказал он себе и отпил маленький глоток воды. — Теперь, когда битва окончена, осталась еще уйма черной работы.

Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. «Сейчас едва перевалило за полдень. А пассат крепчает. Лесы чинить теперь бесполезно. Мы с мальчиком срастим их дома».

— Подойди-ка сюда, рыба!

Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку.

Когда он подошел к ней вплотную и голова рыбы пришлась вровень с носом лодки, старик снова поразился ее величиной. Но он отвязал гарпунную веревку от битенга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, потом снова пропустил веревку через жабры, опять накрутил на меч и, связав двойным узлом, привязал к битенгу. Перерезав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост рыбы. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода.

— Я не мог ее убить по-другому,— сказал старик.

Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознания, и в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше полутонны,— подумал он. — А может быть, и значительно больше». Сколько же он получит, если мяса выйдет две трети этого веса по тридцати центов за фунт?

— Без карандаша не сочтешь,— сказал старик. — Для этого нужна ясная голова. Но я думаю, что великий Ди Маджио мог бы сегодня мною гордиться. Правда, у меня не было костной мозоли. Но руки и спина у меня здорово болели. Интересно, что

такое костная мозоль? Может, и у нас есть, да только мы этого не подозреваем?

Старик привязал рыбу к носу, к корме и к сиденью. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого корабля. Отрезав кусок бечевы, он подвязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался и было легче плыть. Потом он поставил мачту, приспособил палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад.

Старику не нужен был компас, чтобы определить, где юго-запад. Ему достаточно было чувствовать, куда дует пассат и как надувается парус. «Пожалуй, стоило бы забросить удочку — не поймаю ли я на блесну какую-нибудь рыбешку, а то ведь мне нечего есть». Но он не нашел блесны, а сардины протухли. Тогда он подцепил багром пук желтых водорослей, мимо которого они проплывали, и потряс его; оттуда высыпались в лодку маленькие креветки. Их было больше дюжины, и они прыгали и перебирали ножками, словно земляные блохи. Старик двумя пальцами оторвал им головки и съел целиком, разжевывая скорлупу и хвост. Креветки были крошечные, но старик знал, что они очень питательные, и к тому же очень вкусные.

В бутылке еще оставалось немного воды, и, поев креветок, старик отпил от нее четвертую часть.

Лодка шла хорошо, несмотря на сопротивление, которое ей приходилось преодолевать, и старик правил, придерживая румпель локтем. Ему все время была видна рыба, а стоило ему взглянуть на свои руки или дотронуться до лодки спиной — и он чувствовал, что все это не было сном и случилось с ним на самом деле. Одно время, уже к самому концу, когда ему стало дурно, старику вдруг показалось, что все это только сон. Да и потом, когда он видел, как рыба вышла из воды и, прежде чем упасть в нее снова, неподвижно повисла в небе, ему почудилась во всем этом какая-то удивительная странность, и он не поверил своим глазам. Правда, тогда он и видел-то совсем плохо, а теперь глаза у него опять были в порядке.

Теперь он знал, что рыба существует на самом деле и что боль в руках и в спине — это тоже не сон. «Руки заживают быстро,— подумал он. — Я пустил достаточно крови, чтобы не загрязнить раны, а соленая вода их залечит. Темная вода залива — лучший в мире целитель. Только бы не путались мысли! Руки свое дело сделали, и лодка идет хорошо. Рот у рыбы закрыт, хвост она держит прямо, мы плывем с ней рядом, как братья». В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал: «А кто же кого везет домой — я ее или она меня? Если бы я тащил ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она лежала в лодке, потеряв все свое достоинство, все тоже было бы ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг с другом. Ну и пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так нравится. Я ведь взял над нею верх толь-

ко хитростью; она не замышляла против меня никакого зла».

Они плыли и плыли, и старик полоскал руки в соленой воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко, над ними плыли перистые; старик знал, что ветер будет дуть всю ночь. Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, в самом ли деле она ему не приснилась. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула.

Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины океана, когда темное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде глубиной в целую милю. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрезала голубую гладь моря и вышла на солнце. Потом она снова ушла в воду, снова почуяла запах крови и поплыла по следу, который оставляли за собой лодка и рыба.

Порою она теряла след. Но она либо попадала на него снова, либо чуяла едва слышный его запах и преследовала его неотступно. Это была очень большая акула породы мако, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавает самая быстрая рыба в море, и все в ней было красиво, кроме пасти. Спина у нее была такая же голубая, как у меч-рыбы, брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая, и вся она была похожа на меч-рыбу, если не считать огромных челюстей, которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в восемь рядов шли косо посаженные зубы. Они были не похожи на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звериные когти. Длиною они не уступали пальцам старика, а по бокам были остры, как лезвия бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооруженными, что никакой другой враг им не был страшен. Сейчас она спешила, чуя, что добыча уже близко, и ее синий спинной плавник так и резал воду.

Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу.

В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой.

«Дело шло уж больно хорошо, так не могло продолжаться»,— думал он.

Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. «Лучше бы, пожалуй, все это оказалось сном. Я не могу помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу ее убить? Dentuso [1],— подумал он. — Чума на твою мать!»

---

[1] Вид акулы *(исп.)*.

Акула подплыла к самой корме, и, когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой, вслед за головой показалась и спина, и старик, слыша, как акульи челюсти с шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову в том месте, где линия, соединяющая ее глаза, перекрещивается с линией, уходящей вверх от ее носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжелая, заостренная голубая голова, большие глаза и лязгающая, выпяченная всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находится мозг, и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в него гарпуном, зажатым в иссеченных до крови руках. Он ударил в него, ни на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой.

Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз, а потом она перевернулась снова, дважды обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела мириться с этим. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Море, там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Туловище акулы поднялось на три четверти над водой, веревка натянулась, задрожала и наконец лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, и старик все глядел на нее. Потом очень медленно она погрузилась в воду.

— Она унесла с собой около сорока фунтов рыбы,— вслух сказал старик.

«Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки,— прибавил он мысленно,— а из рыбы снова течет кровь, и вслед за этой акулой придут другие».

Ему больше не хотелось смотреть на рыбу теперь, когда ее так изуродовали. Когда акула кинулась на рыбу, ему показалось, что она кинулась на него самого.

«Но я все-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу,— подумал он.— И это была самая большая dentuso, какую я когда-либо видел. А мне, ей-богу, пришлось повстречать на своем веку немало больших акул.

Дела мои шли слишком хорошо. Дальше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном: я не поймал никакой рыбы, а сплю себе один на кровати, застеленной газетами».

— Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения,— сказал он.— Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.

«Жаль все-таки, что я убил рыбу,— подумал он.— Мне придется очень тяжко, а я лишился даже гарпуна. Dentuso — животное ловкое и жестокое, умное и сильное. Но я оказался умнее его. А может быть, и не умнее. Может быть, я был просто лучше вооружен».

— Не нужно думать, старик,— сказал он вслух.— Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет.

«Нет, я должен думать,— мысленно возразил он себе.— Ведь это все, что мне осталось. Это и бейсбол. Интересно, понравилось бы великому Ди Маджио, как я ударил акулу прямо в мозг? В общем, ничего в этом не было особенного — любой мог сделать не хуже. Но как ты думаешь, старик: твои руки мешали тебе больше, чем костная мозоль? Почем я знаю! У меня никогда ничего не случалось с пятками, только один раз меня ужалил в пятку электрический скат, когда я наступил на него во время купанья; у меня тогда парализовало ногу до колена, и боль была нестерпимая».

— Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик,— сказал он вслух.— С каждой минутой ты теперь все ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял сорок фунтов рыбы.

Он отлично знал, чтó его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего.

— Неправда, у тебя есть выход,— сказал он.— Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел.

Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на веревку от паруса ногой.

— Ну вот,— сказал он.— Я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен.

Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды.

«Глупо терять надежду,— думал он.— К тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю.

Не понимаю, и, наверно, в них не верю. Может быть, грешно было убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей. В таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать, да к тому же пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Святой Петр [1] тоже был рыбаком, так же как и отец великого Ди Маджио».

Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало, и так как ему нечего было читать и у него не было радио, он много думал, в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь, — думал

[1] *Святой Петр* — один из двенадцати евангельских апостолов, сопровождавших Христа; по преданию, является основателем римской католической церкви.

он.— Ты убил ее из гордости и потому, что ты — рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно?»

— Ты слишком много думаешь, старик,— сказал он вслух.

«Но ты с удовольствием убивал dentuso,— подумал старик.— А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она — красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх».

— Я убил ее, защищая свою жизнь,— сказал старик вслух.— И я убил ее мастерски.

«К тому же,— подумал он,— все так или иначе убивают когонибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик — вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик».

Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где ее разгрызла акула. Он пожевал мясо, оцепивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко.

Ветер не ослабевал; он слегка отклонился дальше на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки да желтели островки водорослей. Не было даже птиц.

Он плыл уже два часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из двух акул.

— Ай! — произнес старик слово, не имеющее смысла, скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево.

— Galanos [1] — сказал он вслух.

Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но они с каждой минутой приближались.

Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватил-

[1] Вид акулы *(исп.)*.

ся за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые, широконосые головы и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул — вонючие убийцы, пожирающие и падаль; когда их мучит голод, они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью.

— Ай!— сказал старик.— Ну что ж, плывите сюда, galanos.

И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла мако. Одна из них, сверкнув, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазками, затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где ее обглодала мако. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место; потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила.

Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, отпустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу.

— Ах, ты так?— сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвонками.

Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он повертел веслом и, когда акула соскользнула с рыбы, сказал:

— Ступай вниз, galano. Ступай вниз на целую милю. Повидайся там со своим дружком. А может быть, это была твоя мать?

Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом поставил парус и, когда его надуло ветром, повернул лодку на прежний курс.

— Они, наверно, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и притом самое лучшее мясо,— сказал он вслух.— Хотел бы я, чтобы все было сном и я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что так нехорошо получилось.

Старик замолчал, ему не хотелось теперь глядеть на рыбу. Обескровленная и вымоченная в воде, она по цвету напоминала амальгаму, которой покрывают зеркало, но полосы все еще были заметны.

— Мне не следовало уходить так далеко в море,— сказал он.— Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось. И для тебя и для меня.

«Ну-ка, не зевай!— сказал он себе.— Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож. И приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена».

— Жаль, что у меня нет точила для ножа,— сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла.— Надо было мне захватить с собой точило.

«Тебе много чего надо было захватить с собой, старик,— подумал он.— Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай, как бы обойтись с тем, что есть».

— Ух, и надоел же ты мне со своими советами! — сказал он вслух.

Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду.

Лодка плыла вперед.

— Один бог знает, сколько сожрала та последняя акула,— сказал он.— Но рыба стала легче.

Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы об лодку означал кусок оторванного мяса и что рыба теперь оставляет в море след, широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете.

«Такая рыба могла прокормить человека всю зиму... Не думай об этом, старик! Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да из рук кровь почти и не течет. На них нет глубоких порезов. А небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги.

О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы это в самом деле было сном. Впрочем, как знать? Все еще может обернуться к лучшему».

Следующая акула явилась в одиночку и была тоже из породы широконосых.

Она подошла, словно свинья к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову.

Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось.

Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом совсем крошеч-

ной. Зрелище это всегда захватывало. Но теперь он не захотел смотреть.

— У меня остался багор,— сказал он.— Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка.

«Вот теперь они меня одолели,— подумал он.— Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель».

Он снова окунул руку в соленую воду.

Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю.

— Ты устал, старик,— сказал он.— Душа у тебя устала.

Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца.

Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку.

Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около двух с половиной футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две, и обе они были galanos.

«Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за рыбу,— подумал он,— тогда я ударю ее по кончику носа или прямо по черепу».

Обе акулы подплыли вместе, и, когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду.

Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова, но удар опять пришелся по твердой упругой поверхности ее головы.

— Ну-ка, подойди поближе, galano,— сказал старик.— Подойди еще разок!

Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновенье, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду.

Старик ждал, не появятся ли акулы снова, но их больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе.

«Я и не рассчитывал, что могу их убить,— подумал старик.— Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы».

Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.

— Скоро стемнеет,— сказал он.— Тогда я, наверно, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов.

«Я не могу быть очень далеко от берега,— подумал старик.— Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Но он-то во мне не сомневается! Рыбаки постарше — те, наверно, тревожатся. Да и молодые тоже,— думал он.— Я ведь живу среди хороших людей».

Он не мог больше разговаривать с рыбой: уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль.

— Полрыбы! — позвал он ее.—Бывшая рыба! Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба? Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч.

Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю.

«Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами»,— думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не было и ножа.

«Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла — замечательное было оружие! Вот тогда бы мы с ней и в самом деле сражались бок о бок! А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты можешь сделать?»

— Драться,— сказал он,— драться, пока не умру.

Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева,— были только ветер да надутый им парус, и ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит, и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.

«Мне надо прочесть все те молитвы, которые я обещался прочесть, если поймаю рыбу,— подумал он.— Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи».

Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, когда покажется в небе зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от нее половина,— думал он.— Может быть, мне посчастливится, и я довезу до дому хоть ее переднюю часть. Должно же мне наконец повез-

ти!.. Нет,— сказал он себе.— Ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море».

«Не болтай глупостей, старик! — прервал он себя.— Не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить счастье».

— Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают,— сказал старик.

«А на что ты его купишь? — спросил он себя.— Разве его купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки?

Почем знать! Ты ведь хотел купить счастье за восемьдесят четыре дня, которые ты провел в море. И, между прочим, тебе его чуть было не продали...

Не нужно думать о всякой ерунде. Счастье приходит к человеку во всяком виде, разве его узнаешь? Я бы, положим, взял немножко счастья в каком угодно виде и заплатил за него все, что спросят. Хотел бы я увидеть зарево Гаваны,— подумал он.— Ты слишком много хочешь сразу, старик. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны — и ничего больше».

Он попробовал примоститься у руля поудобнее и по тому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер.

Он увидел зарево городских огней около десяти часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана, по которому крепчавший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти огни и думал, что скоро, теперь уже совсем скоро войдет в Гольфстрим.

«Ну, вот и все, — подумал он.— Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?»

Все его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться,— подумал он.— Только бы мне больше не сражаться!»

Но в полночь он сражался с акулами снова и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой по чему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как дубинки не стало.

Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море; акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу.

Одна из акул подплыла наконец к самой голове рыбы, и тогда

старик понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли в крепких костях рыбьей головы. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как затрещал и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал, как дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть.

Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью, и на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал:

— Ешьте, galanos, давитесь! И пусть вам приснится, что вы убили человека.

Старик знал, что теперь уже он побежден окончательно и непоправимо, и, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие и что им, на худой конец, тоже можно править.

Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Теперь ему было все равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку к родному берегу.

Ночью акулы накинулись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватающие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы.

«Хорошая лодка,— подумал он.— Она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый».

Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где он находится, и добраться до дому теперь не составляло никакого труда.

«Ветер — он-то уж наверняка нам друг,— подумал он, а потом добавил: — Впрочем, не всегда. И огромное море — оно тоже полно и наших друзей, и наших врагов. А постель...— думал он,— постель — мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — это великое дело. А как легко становится, когда ты побежден! — подумал он.— Я и не знал, что это так легко... Кто же тебя победил, старик? — спросил он себя.— Никто,— ответил он.— Просто я слишком далеко ушел в море».

Когда он входил в маленькую бухту, огни на Террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале.

Сняв мачту, он скатал на нее парус и завязал его. Потом взвалил мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На мгновение он остановился и,

оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом.

Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко, и он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам, и старик долго смотрел ей вслед; потом стал глядеть на пустую дорогу.

Наконец он сбросил мачту наземь и встал. Подняв мачту, он снова взвалил ее на плечо и пошел вверх по дороге. По пути к своей хижине ему пять раз пришлось отдыхать.

Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх.

Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что люди не вышли в море, и мальчик проспал, а потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал.

Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано; один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой.

Мальчик не стал к ним спускаться; он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой.

— Как он себя чувствует? — крикнул мальчику один из рыбаков.

— Спит,— отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет.— Не надо его тревожить.

— От носа до хвоста в ней было восемнадцать футов! — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу.

— Не меньше,— сказал мальчик.

Он вошел на Террасу и попросил банку кофе:

— Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару.

— Возьми что-нибудь еще.

— Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть.

— Ох, и рыба! — сказал хозяин.— Прямо-таки небывалая рыба. Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы.

— Ну ее совсем, мою рыбу! — сказал мальчик и снова заплакал.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросил его хозяин.

— Не надо,— ответил мальчик.— Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго. Я еще приду.

— Передай ему, что я очень сожалею.

— Спасибо,— сказал мальчик.

Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, покуда тот не проснулся. Один раз мальчику показалось, что он просыпается, но старик забылся в тяжелом сне, и мальчик пошел к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров и разогреть кофе.

Наконец старик проснулся.

— Лежи, не вставай,— сказал ему мальчик.— Вот выпей!— Он налил ему кофе в стакан.

Старик взял у него стакан и выпил кофе.

— Они одолели меня, Манолин,— сказал он.— Они меня победили.

— Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть! Рыба ведь тебя не победила!

— Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось.

— Педрико обещал присмотреть за лодкой и за снастью. Что ты собираешься делать с головой?

— Пусть Педрико разрубит ее на приманку для сетей.

— А меч?

— Возьми его себе на память, если хочешь.

— Хочу,— сказал мальчик.— Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше.

— Меня искали?

— Конечно. И береговая охрана, и самолеты.

— Океан велик, а лодка совсем маленькая, ее и не заметишь,— сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря.— Я скучал по тебе,— сказал он.— Ты что-нибудь поймал?

— Одну рыбу в первый день. Одну во второй и две в третий.

— Прекрасно!

— Теперь мы опять будем рыбачить вместе.

— Нет. Я — несчастливый. Мне больше не везет.

— Да наплевать на это везенье! — сказал мальчик.— Я тебе принесу счастье.

— А что скажут твои родные?

— Не важно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне еще многому надо научиться.

— Придется достать хорошую острогу и всегда брать ее с собой. Лезвие можно сделать из рессоры старого форда. Заточим его в Гуанабакоа. Оно должно быть острое, но без закалки, чтобы не сломалось. Мой нож, он весь сломался.

— Я достану тебе новый нож и заточу рессору. Сколько дней еще будет дуть сильный brisa?[1]

— Может быть, три. А может быть, и больше.

— К тому времени все будет в порядке,— сказал мальчик.— А ты пока что подлечи свои руки.

---

[1] Береговой ветер *(исп.)*.

— Я знаю, что с ними делать. Ночью я выплюнул какую-то странную жидкость, и мне показалось, будто в груди у меня что-то разорвалось.

— Подлечи и это тоже,— сказал мальчик.— Ложись, старик, я принесу тебе чистую рубаху. И чего-нибудь поесть.

— Захвати какую-нибудь газету за те дни, что меня не было,— попросил старик.

— Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно?

— Очень,— сказал старик.

— Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук.

— Не забудь сказать Педрико, чтобы он взял себе голову рыбы.

— Не забуду.

Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал.

В этот день на Террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых медуз длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя.

— Что это такое? — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы, сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом.

— Tiburon,— сказал официант.— Акулы.— Он хотел объяснить ей все, что произошло.

— Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты!

— Да, и я не знал,— согласился ее спутник.

Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Человеческая и литературная судьба Антуана де Сент-Экзюпери (Antoine de Saint-Exupéry, 1900—1944) с самого начала была отмечена соединением на первый взгляд взаимоисключающих моментов, тем совмещением несовместимостей, на какие так щедр XX век. Его отец был графом, но служил страховым инспектором и этим зарабатывал на жизнь. Сам Антуан де Сент-Экзюпери был одним из лучших летчиков-испытателей своего времени, человеком, беззаветно влюбленным в мотор, машину, или, говоря языком современности, «технарем» до мозга костей. Но он же был и одним из наиболее самобытных, тонких, тревожащих душу французских писателей нашего века, художником-философом, художником-мыслителем, влюбленным в красоту мира и человека и наделенным особым даром улавливать и выражать в слове бесконечно разнообразные формы, которые может принимать эта красота.

Цепкий глазомер пилота, уважение к законам физики и точному математическому расчету не помешали ему создать философскую сказку «Маленький принц» (1943), воплотившую формулу поэтического и нравственного отношения автора к жизни: «...зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Сент-Экзюпери с недоверием относился ко всяким политическим и идеологическим конфронтациям, считая, что они еще больше разделяют и без того разобщенное человечество; он не хотел солидаризироваться с какими-либо общественными силами. Однако побывав в СССР в 1935 г., он опубликовал серию репортажей, проникнутых большой симпатией к но-

вому обществу и его строителям, а через два года, став корреспондентом французских газет в республиканской Испании, твердо и решительно отверг фашизм как звериную идеологию, враждебную всему человеческому. И будучи убежденным пацифистом и врагом любого насилия, Сент-Экзюпери добился того, чтобы его, ветерана авиации, жестоко пострадавшего в нескольких авариях, признали годным к военной службе. В 1943 г. он сел за штурвал военного самолета и сражался с фашистскими оккупантами Франции до 31 июля 1944 г., т. е. до того дня, когда он пропал без вести, не вернувшись с выполнения боевого задания.

Самое же парадоксальное в творческой и гражданской биографии Сент-Экзюпери заключается в том, что вся ее непоследовательность — следствие редкой последовательности и верности выбранному жизненному пути, служению людям. «Величие всякого ремесла,— писал он в «Планете людей» (1939),— быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком».

Все «ремесло» Сент-Экзюпери, пилота, писателя и мыслителя, было подчинено тому, чтобы укреплять такие узы.

Литературное наследие Сент-Экзюпери невелико: два повествования с четко выраженным связным сюжетом, которые можно назвать романами,— «Южный почтовый» (1929) и «Ночной полет» (1931); сказка про Маленького принца; очерки, репортажи, письма, «Письмо к заложнику» (1943) — образец гражданской антифашистской публицистики периода французского Сопротивления; книги «Планета людей», «Военный летчик» (1942) и незаконченная, оставшаяся во фрагментах «Цитадель» (опубл. в 1948 г.).

Три последних произведения нельзя назвать ни романами, ни повестями, ни даже книгами очерков и размышлений. Это — раскованное, свободно льющееся и доверительное собеседование автора с читателем. В ходе такого собеседования автор рассказывает о том, что случалось на самом деле, о жизненных ситуациях и человеческих типах.

Он делится своими мыслями, наблюдениями, раздумьями, открывает сокровенные чувства, надежды и тревоги. Наставляет читателя, учит его «зоркости сердца», умению увидеть поэзию там, где равнодушный взгляд различит всего лишь однообразный пейзаж, рутину ремесла, привычную «прозу жизни».

Неподготовленному читателю не всегда легко «включиться» в это собеседование: для этого с его стороны требуется такая же искренность, доброжелательность и готовность понять собеседника, какие предлагает ему автор. Но если это удается читателю, он попадает в новый, ни на что не похожий художественный мир Сент-Экзюпери, где таким важным для человека понятиям, как земля, небо, звезды, пустыня, хлеб, товарищество, любовь, ответственность и труд, возвращены их изначальное величие, поэтическое значение и красота.

В наше время с его скоростями и перегрузками во всем, от ракет до ежедневно изливаемой на нас порции новостей, именуемых по-научному «информацией», людям часто просто не хватает лишней минуты, чтобы остановиться, помедлить, подумать о сокровенном.

Возведенный в культ рационализм, если позволить ему «забить» в человеке духовное начало, сразу же объявляет прекрасное и способность человека к переживанию прекрасного ненужными и пустыми «сентиментами». Для этого сухого, холодного, самовлюбленного рационализма в книгах Сент-Экзюпери и вправду слишком много «сентиментов» и пафоса. Но в том-то и заключен урок, преподанный нам судьбою и творчеством писателя, что можно и нужно быть влюбленным в скорость, быть рациональным — и в то же время быть человеком, открытым для всего высокого и прекрасного.

Проза Сент-Экзюпери звучит в наше время так современно еще и потому, что она говорит свое веское слово в идущих сейчас спорах о путях научно-технического прогресса и его воздействии на человека. Вопроса о том, что лучше — машинная цивилизация или возвращение к дотехническому образу жизни,— для Сент-Экзюпери не существовало. Он понимал, что машины не-

обходимы человечеству, и сам был человеком эпохи машин даже в манере письма: о моторе он писал поэтически, как о прекрасном и изысканном творении человеческого гения, а в чувствах не боялся обнажать их «механику», анализируя систему психологических «приводов» и «сцеплений». Но в его понимании машина никогда не вытесняла человека, напротив, выполняла по отношению к нему подчиненную функцию: была орудием познания, открытия мира, а тем самым — и совершенствования человека. Отмечая, что человечество еще недостаточно подготовлено к вступлению в эпоху научно-технической революции, что ему еще предстоит «обживать» эту эпоху как свой новый «дом», писатель уже в конце 30-х годов утверждал, что смысл и ценность технического прогресса — в том, чтобы идти рука об руку с прогрессом нравственным, ибо — не уставал повторять Сент-Экзюпери каждой своей строкой — «один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека».

Отрывки из книги «Планета людей» даются в переводе *Норы Галь*.

Произведения Сент-Экзюпери можно прочитать в изданиях:

Антуан де Сент-Экзюпери. Сочинения. М., Художественная литература, 1964. (То же, под заглавием «Планета людей». Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1973; 1974.)

Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. М., Молодая гвардия, 1970.

О жизни и творчестве Сент-Экзюпери см.:

Мижо, Марсель. Сент-Экзюпери. М., Молодая гвардия, 1965.

Моруа, Андре. Антуан де Сент-Экзюпери.— В кн.: Моруа, Андре. Литературные портреты. М., Прогресс, 1970.

Григорьев В. П. Антуан де Сент-Экзюпери. М., Просвещение, 1973.

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
(отрывки)

Анри Гийоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу.

Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути,— приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет — это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным — тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей...

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, — быть может, иные и отзовутся.

ТОВАРИЩИ

Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка — Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны, Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров; они не решились его убить, две недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами.

Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой; Мермоз и тут был впереди, ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер кое-где достигают семи тысяч. И Мермоз пустился на поиски про-

светов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски; и воздушные потоки, рвущиеся иавстречу между двух отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку иа иожах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и ие знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других.

И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен.

Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте четырех тысяч метров, края площадки обрывались отвесно, и два дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки. Но безуспешно. Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку: самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал наконец скорость и вновь стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, ио все-таки зацепил верхнюю кромку; проведя в воздухе каких-нибудь семь минут, он вновь попал в аварию: из трубок радиатора, лопнувших иочью на морозе, текла вода; и тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина.

Назавтра он начал все сначала.

Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи.

В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и, когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали три жалких бензиновых факела.

Он справился и с этим и проложил путь другим.

Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту и экипаж.

Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его. Но он возвращался — и снова отправлялся в путь.

Так проработал он двенадцать лет, и вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый мотор. И иаступило молчание.

Казалось бы, волноваться не из-за чего, но молчание затянулось, прошло десять минут — и все радисты авиалинии, от Парижа до Буэнос-Айреса, стали иа тревожную вахту. Ибо если в обыденной жизни десять минут опоздания — пустяк, то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале

скрыто неведомое событие. Маловажное ли, трагическое ли, оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный: быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен.

Кому из нас не знакома эта надежда, угасающая с каждой минутой, это молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг? Сперва мы надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя — товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над которыми столько раз бороздили небо. Сомнений нет, долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой — так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп.

Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет,— таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного.

Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им, точно часовым на посту, не перемолвиться словом. И только случай порою то здесь, то там вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна и богата. Богата потаенными оазисами дружбы — они скрыты от глаз, и до них нелегко добраться, но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей и не дает нам много о них думать, а все равно где-то, бог весть где, они существуют — молчаливые, забытые, но всегда верные! И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат! А ждать — ждать мы привыкли...

Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда, мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур — не надрывающее душу отчаяние, скорее горечь.

Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени.

Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время

обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь.

Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком.

Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить.

Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого,— да, конечно, всего замечательней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас пережитые испытания.

Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты — всесилен.

Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета: деревья, цветы, женщины, улыбки — все расцветила яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой...

САМОЛЕТ

Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь следить за приборами, выравниваться по гироскопам, вслушиваться в дыхание моторов, опираться на пятнадцать тонн металла; задачи, встающие перед тобою, в конечном счете — задачи общечеловеческие, и вот ты уже равен благородством жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, возник над черной землей первый слабый проблеск, первый сноп света. Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник — и возвращал тебе жизнь.

Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель. Самолет — не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как и плуг.

Нам кажется, будто машина губит человека,— но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По срав-

нению с историей человечества, а ей двести тысяч лет, сто лет истории машины — это так мало! Мы едва начинаем осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось: взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова — разлука, отсутствие, даль, возвращение,— но их смысл стал иным. Пытаясь схватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе,— но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку.

Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы — скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну.

Все мы — молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших авиационных рекордов? Вот он, победитель, он летит всех выше, всех быстрее. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтоб на захваченных землях поселился колонист! Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу — прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пору завоеваний мы рассуждали, как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев.

Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать.

Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромнее и незаметнее. Кажется, будто все труды человека — создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели наконец первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным — уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже

нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития — это уже почти не машина.

Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же примечательна и машина — пользуясь ею, постепенно о ней забываешь.

Вначале мы приступили к ней, как к сложному заводу. Но сегодня мы уже не помним, что там в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем все ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты.

В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы, когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается, точно гонг, на удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость, и вместе с этим нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила, точно дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся послушными исполнителями его воли.

Наконец мощь его вполне созрела — и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.

САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА

Да, конечно, самолет — машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее.

Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные земли, скалы и пески; верой и правдой служа человеку, они бегут от родника до родника. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями. А если какая-нибудь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису.

И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью, на пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша — влажная и мягкая.

А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели.

Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь.

И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций — они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате.

Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во вселенной. Мы заново перечитываем свою историю...

Мы живем на планете-страннице. Порой, благодаря самолету, мы узнаем что-то новое о ее прошлом: связь лужи с луной изобличает скрытое родство,— но я встречал и другие приметы.

Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Снснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до тридцати километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — триста метров. Одинаковы их уровень, их окраска (они состоят из тех же пород), одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье.

В те годы воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только начиналось, наши машины были еще хрупки и ненадежны — и, когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив: понадеешься на его плотность — и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается — и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий — здесь-то не скрывалось никакой западни.

Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок — громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоско-

горий они сохранились в целости, а дальше вглубь — это видно по срезу — все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже образовался чистейший известняк.

И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена и Серра, захваченных непокорными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и, прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну круто ниспадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо.

Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но мне радостно было ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный, с начала времен не тронутый песок. Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленные в пыль ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни.

В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взорам светил.

Незапятнанно чистая скатерть, разостланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия: на этой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, чернел камень.

Под ногами лежала трехсотметровая толщаспрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод: здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни — плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты,— каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал свою находку — плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза.

На скатерть, разостланную под яблоней, может упасть только яблоко, на скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль,— никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом.

И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали,— ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку.

Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды, как черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетия огненный ливень...

ЛЮДИ

Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал — вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Мне кажется, эту душевную ясность знал вечный скиталец Боннафу. Узнал ее и затерянный в снегах Гийоме. И мне тоже не забыть, как я лежал, засыпанный песком, и меня медленно душила жажда, и вдруг в этом звездном шатре что-то согрело мне душу.

Как она достигается, эта внутренняя свобода? Да, конечно, человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, чтобы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон; завоеватель, одержав победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и когда появляется один бедняк Паскаль[1], это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств.

Мы не умеем предвидеть самое главное. Кого из нас не обжигала жарче всего нежданная радость среди несчастий? Ее не забыть, о ней тоскуешь так, что готов пожалеть и о несчастьях, если только с ними пришла та жаркая нечаянная радость. Всем нам случалось, встретив товарищей, с упоением вспоминать о самых тяжких испытаниях, которые мы пережили вместе.

Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека?

Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная, дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей,

---

[1] *Паскаль Блез* (1623—1662) — французский ученый, философ и писатель-моралист, автор знаменитого сборника размышлений и афоризмов «Мысли» (опубл. в 1669 г.).

эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно.

В этой книге я говорил о людях, которые словно бы следовали неодолимому призванию, которые шли в пустыню или в авиацию, как другие идут в монастырь; но задача моя отнюдь не в том, чтобы заставить вас восхищаться прежде всего этими людьми. Восхищения достойна прежде всего почва, их взрастившая.

Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит взаперти в своей лавчонке. Другой неуклонно идет к своей цели,— и даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определят его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже совершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара вдруг проявили нежданное величие духа. И они не обманываются, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу: тот пожар так и останется лучшим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы, они не обладали той верой, теми убеждениями, что требуют подвига,— и они вновь погрузились в сон, так и не поверив в собственное величие. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека,— но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию.

Ночи в воздухе, ночи в пустыне... это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления...

Человек отходит с миром, когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна.

Однажды мне случилось стоять с тремя крестьянами у смертного ложа их матери. Это было горько, что говорить. Вторично рвалась пуповина. Вторично развязывался узел, соединявший поколение с поколением. Сыновьям вдруг стало одиноко, они себе показались неумелыми, беспомощными, больше не было того стола, за которым в праздник сходилась вся семья, того магнита, который их всех притягивал. А я видел, что здесь не только рвутся связующие нити, но и вторично дается жизнь. Ибо каждый из сыновей в свой черед станет главою рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья, а когда настанет срок, и он в свой черед передаст бразды правления детишкам, что играют сейчас во дворе.

Я смотрел на мать, на старую крестьянку с лицом спокойным и суровым, на ее плотно сжатые губы — не лицо, а маска, высе-

ченная из камня. И в нем я узнавал черты сыновей. Их лица — слепок с этой маски. Это тело формировало их тела — отлично вылепленные, крепкие, мужественные. И вот оно лежит, лишенное жизни, но это — безжизненность распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыновья и дочери из плоти своей слепят новых людей. В крестьянском роду не умирают. Мать умерла, да здравствует мать!

Да, это горько, но так просто и естественно — мерная поступь рода: оставляя на пути одну за другой бренные оболочки поседелых тружеников, постоянно обновляясь, движется он к неведомой истине.

Вот почему в тот вечер в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаенная кроткая радость.

Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны и крестины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей.

Так от поколения к поколению передается жизнь — медленно, как растет дерево,— а с нею передается и сознание. Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звезды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы — люди — и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия.

Старая крестьянка передала детям не только жизнь, она их научила родному языку, доверила им богатство, копившееся медленно, веками: духовное наследство, что досталось ей на сохранение — скромный запас преданий, понятий и верований, все, что отличает Ньютона и Шекспира от первобытного дикаря...

Несколько лет назад, во время долгой поездки по железной дороге, мне захотелось осмотреть это государство на колесах, в котором я очутился на трое суток; трое суток некуда было деться от неумолчного перестука и грохота, словно морской прибой перекатывал гальку, и мне не спалось. Около часу ночи я прошел весь поезд из конца в конец. Спальные вагоны пустовали. Пустовали и вагоны первого класса.

А в вагонах третьего класса ютились сотни рабочих-поляков, их выслали из Франции, и они возвращались на родину. В коридорах мне приходилось переступать через спящих. Я остановился и при свете ночников стал присматриваться; вагон был без перегородок, точно казарма, и пахло здесь казармой или полицейским участком, и ходом поезда мотало и подбрасывало сваленные усталостью тела.

Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете. Большие, наголо обритые головы перекатывались на деревянных скамьях. Мужчины, женщины, дети ворочались с боку на бок, словно пытаясь укрыться от непрерывного грохота

18 Заказ 137

и тряски, что преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом.

Экономические приливы и отливы швыряли их из конца в конец Европы, они лишились домика в департаменте Нор, крохотного садика, трех горшков герани, какие я видел когда-то в окнах польских шахтеров,— и мне казалось, они наполовину потеряли и человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь, одеяла да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как стянутых узлах. Пришлось бросить все, что было им дорого, все, к чему они привязались, всех, кого приручили за четыре-пять лет во Франции,— кошку, собаку, герань,— они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки.

Мать кормила грудью младенца; смертельно усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый и голый, как булыжник. Скованное сном в неловкой позе, стиснутое рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не человек, а ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь, уродство — не в этом дело. Но ведь вот этот человек и эта женщина когда-то встретились впервые, и, наверно, он ей улыбнулся и, наверно, после работы принес ей цветы. Быть может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним посмеются. А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он, превратившийся ныне в машину, только и способную ковать или копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под какой страшный пресс они попали? Что их так исковеркало? Животное и в старости сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек?

Я шел дальше среди своих попутчиков, спавших тяжелым беспокойным сном. Храп, стоны, невнятное бормотанье, скрежет грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться поудобнее на жесткой лавке, переворачивается с боку на бок,— все сливалось в глухой, непрестанный шум. А за всем этим — неумолчный рокот, будто перекатывается галька под ударами прибоя.

Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и матерью кое-как примостился малыш. Но вот он поворачивается во сне, и при свете ночника я вижу его лицо. Какое лицо! От этих двоих родился на свет чудесный золотой плод. Эти бесформенные тяжелые кули породили чудо изящества и обаяния. Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из какой-нибудь сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды. Когда в саду, после долгих поисков, выведут

накоиец иовую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпио заботятся, холят ее и лелеют. Но люди растут без садовиика.

Маленький Моцарт, как и все, попадет под тот же чудовищный пресс. И стаиет иаслаждаться гнусной музыкой иизкопробиых кабаков. Моцарт обречеи.

Я вериулся в свой вагои. Я говорил себе: эти люди ие страдают от своей судьбы. И ие сострадание меня мучит. Не в том дело, чтобы проливать слезы иад вечио ие заживающей язвой. Те, кто ею поражеи, ее ие чувствуют. Язва поразила ие отдельиого человека, оиа разъедает человечество. И ие верю я в жалость. Меня мучит забота садовиика. Меия мучит не вид нищеты,— в конце коицов люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с бездельем. На Востоке миогие поколеиия живут в грязи и отнюдь ие чувствуют себя несчастными. Того, что меия мучит, не излечить бесплатиым супом для бедняков. Мучительио ие уродство этой бесформеиной, измятой человеческой глииы. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт.

Одии лишь Дух, коснувшись глииы, творит из иее Человека.

ФУЧИК

Писатель и журналист Юлиус Фучик (Julius Fučík), национальный герой Чехословакии, был, по воспоминаниям знавших его, человеком удивительного обаяния, жизнелюбия и душевной щедрости. Он был талантлив, о чем свидетельствуют его репортажи, сохранившиеся записи, фрагменты и отрывки из оставшихся незавершенными произведений. Он был сыном своего века, коммунистом и антифашистом. Время требовало от него прямого участия в решающей битве эпохи. Борьбе за торжество идеалов будущего, борьбе с «коричневой чумой» фашизма он отдавал все свои силы, отдал и саму жизнь. Поэтому многое из того, что он мог и хотел сделать в литературе, так и не было сделано. Но в историю литературы и просто в историю Фучик, как Муса Джалиль, вошел символом мужества, стойкости и великой силы духа.

Последнее произведение Фучика — «Репортаж с петлей на шее», написанный в пражской тюрьме Панкрац, где его автор готовился к верной смерти,— обошло весь мир, и каждое новое поколение читателей обращается к этой книге как к бессмертному человеческому документу, ставшему одним из самых впечатляющих образцов документальной прозы XX века. Это произведение было опубликовано в 1945 г.

Рискуя жизнью и расставаясь с ней, Фучик отнюдь не рассматривал свой жизненный путь как жертвенническое подвижничество. Напротив, он ставил себя под удар вполне осознанно, прекрасно понимая, во имя чего идет бой, подпольным солдатом которого он был. Обращаясь к новому поколению еще не рожденных,— по-

колению, призванному наследовать землю и мирную жизнь после окончания великой войны,— он писал от себя и от лица своих товарищей, тех, чьи усилия приближали победу над фашистским варварством:

«Зашелестят поднявшиеся колосья, зарастут следы у могил — и о нас забудут. Заглохнет всё — тревога и печаль — и только урожай скажет твоему поколению за нас, живых и мертвых: берите и ешьте, это их плоды, их тело.

И это мы знаем и этим живем».

Он был неправ только в одном: их не забыли и никогда не забудут, потому что и тогда, когда не будет больше живых свидетелей тех страшных и героических лет, останутся свидетели-книги, написанные павшими или о павших. «Репортаж с петлей на шее» — одна из первых в ряду таких книг.

Биографический очерк о Фучике принадлежит вдове писателя — Густе Фучиковой.

Отрывки из «Репортажа с петлей на шее» даются в переводе *Т. Аксель* и *В. Чешихиной*. Заглавия отрывков, заключенные в квадратные скобки, принадлежат составителю.

Произведения Фучика можно прочитать в изданиях:

Фучик, Юлиус. Избранное. М., Правда, 1956.

Фучик, Юлиус. Репортаж с петлей на шее. М., Молодая гвардия, 1966.

Фучик, Юлиус. Избранное. М., Молодая гвардия, 1973.

О жизни и творчестве Фучика см.:

Вановская Т. В. Юлиус Фучик. Л., Сов. пис., 1960.

Григар М. Жизнь для радости. М., Госполитиздат, 1962.

Радволина, Ида. Рассказ о Юлиусе Фучике. М., Советский писатель, 1967.

Фучикова, Густа. Воспоминания о Фучике. М., Прогресс, 1974.

Густа Фучикова

ЮЛИУС ФУЧИК

Родился 23 февраля 1903 года в рабочем райоие Праги — Смихове. Его отец, Карел Фучик, работал токарем на заводе барона Рингхофера, очень увлекался пением и пел на сценах смиховских театров. Мать Юлиуса Фучика, Мария Фучикова, была портнихой.

В 1913 году мать переехала с детьми в Пльзеиь, где отец уже год был артистом городского театра. Здесь Юлек поступил в реальное училище. С 1914 года его отец был мобилизован иа Пльзеньский завод Шкода, в артиллерийский цех.

Юлек в 15 лет принял уже участие в рабочей демонстрации, участвовал в создании и работе Рабоче-студенческого комитета в Пльзене.

В 1921 году, когда в Чехословакии возиикла коммунистическая партия, Юлиус Фучик вступил в нее.

Осенью 1921 года он уезжает в Прагу и поступает иа философский факультет Карлова университета.

С 18 лет Фучик становится журналистом-революционером. В 1929 году он — корреспондеит и один из редакторов газет «Руде право» и «Руде вечерник».

Осенью 1929 года в северной Чехии вспыхнула забастовка шахтеров. Фучик поехал туда в качестве корреспондента газеты «Руде право» и пробыл там почти все время, пока длилась забастовка. Он принимал участие в собраниях стачечиого комитета, вместе с шахтерами вел борьбу против шахтовладельцев, которых поддержали власти буржуазной республики. Он был участником стачечного пикета горняков, не пропускавшего штрейкбрехеров к шахтам. Власти преследовали его вместе с шахтерами, а посылаемые им в печать корреспонденции конфисковывались. Фучик издавал нелегальный журнал «Ставка», который печатался иа гектографе в подвалах разных городов и деревень севера. Жандармы тщетно искали редактора этого журнала — шахтеры ие выдавали его.

В 1930 году Фучик вместе с четырьмя членами рабочей делегации был послаи в СССР, но чехословацкое правительство не выдало паспортов ни одному из них. Поэтому делегаты тайно перешли границу, и после долгого путешествия по Германии они, накоиец, попали иа пароход, идущий в Ленинград. В СССР он пробыл четыре месяца. За это время ои проехал тысячи километ-

ров — от Северного моря до Средней Азии. Он был в восторге от страны. «Никогда я не чувствовал себя более свободным... То, что я вижу здесь, в СССР, лучше, чем я осмеливался предполагать. Передай всем привет и скажи им, что есть смысл бороться, за то, что есть здесь»,— писал он мне 9 августа 1930 года.

В 1930 же году его призвали на военную службу, но через месяц предоставили долгосрочный отпуск — армии был не нужен коммунистический журналист. Как только он вернулся, он стал выступать на собраниях и писать об СССР.

В 1931 году он нелегально провел через границу рабочую делегацию, направляющуюся в СССР, а сам остался в Берлине. Но на обратном пути из Берлина был арестован в Дечине и перевезен в тюрьму Панкрац. Через несколько дней он был освобожден из предварительного заключения, но следствие затянулось. Его приговорили к 8,5 месяца тюремного заключения за то, что он говорил правду о Советском Союзе и разоблачал политику чехословацкого правительства.

Но еще осенью 1932 года его снова призвали и направили в Тренчин, а на другой же день — в Ружемборк, в отделение для легочных больных, так как хотели изолировать его от солдат, но через четыре дня его пришлось вернуть в Тренчин. Как коммуниста, его не приняли в офицерскую школу и за все время службы переводили из гарнизона в гарнизон.

18 декабря 1932 года он писал: «Мне запрещено встречаться одновременно с несколькими солдатами, запрещено говорить с кем бы то ни было из невоенных товарищей, запрещено входить в помещение, куда ходят товарищи, мне запрещено говорить, что я редактор «Руде право», и упоминать о чем-либо имеющем отношение к моей профессии».

Но Фучик продолжал писать.

18 сентября 1933 года, в день демобилизации, Фучика прямо у казармы арестовали, так как ордер на арест в течение всего этого времени не терял силы. Его доставили в полицейское управление, где сфотографировали как преступника, а затем передали уголовному суду в Панкраце. Однако Фучик, используя бюрократическое ведение судопроизводства в буржуазной республике, снова сумел уклониться от отбывания наказания.

После освобождения из тюрьмы он стал главным редактором новой культурно-политической ежедневной газеты «Гало-новины», которая начала издаваться компартией после того, как «Руде право» и «Руде вечерник» стали все чаще подвергаться строгой цензуре и конфискации. Полиция все время преследовала Фучика, и поэтому он был вынужден уйти в подполье. Свои статьи он печатал под разными псевдонимами.

В подполье Фучик пробыл до августа 1934 года, когда компартия откомандировала его в СССР как корреспондента «Руде право».

Он вернулся летом 1936 года и стал работать в редакции «Ру-

де право». Так как распоряжение о его аресте было все время в силе, ему приходилось жить на полулегальном положении.

После заключения мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года «Руде право», все периодические коммунистические издания были немедленно закрыты, а компартия распущена.

Мюнхенское соглашение завершилось оккупацией — 15 марта 1939 года гитлеровские войска заняли страну.

Фучику пришлось покинуть Прагу. Его разыскивало гестапо. Сначала он жил в небольшой деревне Хотимерж, потом в Пльзени у родителей. В этот период он написал интереснейший очерк о Божене Немцовой, разрабатывал план издания Национальной библиотекой произведений чешских классиков и т. п.

С июня 1940 года Фучик скрывается в Праге, иногда уезжает, его скрывают на своих квартирах рабочие, учителя. Вскоре ему удается установить связь с подпольным Центральным Комитетом.

В 1941 году после ареста первого подпольного состава ЦК Фучик принял участие в организации второго Центрального Комитета. Ему было поручено руководство политической работой и ведение пропаганды и печати. Фучик издавал нелегально «Руде право» и ряд журналов.

Гестапо усиленно разыскивало людей, ведущих подпольную борьбу. Тысячи коммунистов, тысячи чешских патриотов были арестованы, замучены, казнены.

24 апреля 1942 года был арестован и Фучик.

Но и в фашистских застенках Фучик продолжал борьбу. В тюрьме он написал свой последний репортаж — «Репортаж с петлей на шее».

25 августа 1943 года в Берлине нацистский суд приговорил Фучика к смерти.

На этом суде Фучик сказал:

«Я стал в Чехословацкой республике коммунистом, так как не мог и не хотел примириться с капиталистическим строем. Я уверен, что после этой войны настанет иное время. Я начал подпольную работу для того, чтобы помочь своему народу изгнать оккупантов, а вместе с ними и правительство протектората. Но я имел в виду не только это. Вся наша борьба потеряла бы смысл, если бы после освобождения снова взяли власть в свои руки те, кто довел мой народ до катастрофы, кто присягал ему в верности, а между тем уже задолго до 1938 года подготовлял предательство. Было бы бессмысленно, если бы те же политические банкроты снова стали во главе моей страны. Иначе говоря, моя подпольная революционная деятельность была направлена на завоевание для народа настоящей свободы, на подготовку победы будущего социалистического чехословацкого государства».

8 сентября 1943 года в половине пятого утра, на четырнадцатый день после объявления приговора, Юлиус Фучик был казнен в берлинской тюрьме Плётцензее.

РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ

(отрывки)

[ПОСЛЕ ДОПРОСА]

Раннее утро Первого мая. Рассвет. Часы на тюремной башне бьют три. Впервые я ясно слышу бой часов. Впервые после ареста я в полном сознании. Я чувствую, как через открытое окно проникает свежий воздух, он обдувает мой тюфяк на полу, стебли соломы колют мне грудь и живот. Каждая частица моего тела болит на тысячу разных ладов. Мне трудно дышать. Внезапно, как будто распахнулось окно, меня озаряет мысль: это конец, я умираю.

Долгонько же ты не приходила, смерть! А я, признаться, надеялся, что мы встретимся с тобой еще позже, через много лет, я еще поживу свободной жизнью, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету. Ведь я только сейчас достиг зрелости, у меня было так много сил. Их больше нет. Я дышу в последний раз.

Я любил жизнь и вступил в бой за нее. Я любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне тем же, и страдал, когда вы меня не понимали. Кого я обидел — простите, кого порадовал — не печальтесь. Пусть мое имя ни в ком не вызовет печали. Это мой завет вам, отец, мать и сестры, тебе, моя Густа, вам, товарищи, всем, кого я любил. Если слезы помогут вам смыть с глаз пелену тоски, поплачьте немного. Но не жалейте. Я жил ради радостной жизни, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби.

Первое мая! В этот час мы уже строились в ряды на окраинах городов и развертывали свои знамена. В этот час на улицах Москвы уже шагают на майский парад первые шеренги войск. И сейчас миллионы людей ведут последний бой за свободу человечества. Тысячи падут в этом бою. Я — один из них. Быть одним из воинов последней битвы — это прекрасно.

[ТОВАРИЩЕСТВО]

Узник и одиночество — эти понятия принято отождествлять. Но это великое заблуждение. Узник не одинок, тюрьма — это большой коллектив, и даже самая строгая изоляция не может никого изолировать, если человек не изолирует себя сам.

В тюрьме братство угнетенных становится жертвой особенного гнета, но этот гнет сплачивает и закаляет людей, обостряет их восприимчивость. Для них стены не преграда: ведь и стены живут и говорят условными стуками. Тюремное братство объединяет камеры всего этажа, связанного общими страданиями, общей стражей, общими коридорами и общими получасовыми прогулками, во время которых бывает достаточно одного слова или жеста, чтобы передать важное сообщение и спасти чью-то жизнь. Поездки на допрос, сидение в «кино» [1] и возвращение в Панкрац объединяют все тюремное братство. Это братство не многих слов, но дел. Простое рукопожатие или тайком переданная папироса раздвигают прутья клетки, выводят человека из одиночества, которым его хотели сломить. У камер есть руки: ты чувствуешь, как они тебя поддерживают, когда ты, изувеченный, возвращаешься с допроса. Из этих рук ты получаешь пищу, когда враги стараются уморить тебя голодом. У камер есть глаза: они смотрят на тебя, когда ты идешь на казнь, и ты знаешь, что должен шагать выпрямившись, ибо твои братья видят тебя и ты не смеешь неверным шагом заронить сомнение в их сердце. Это братство, истекающее кровью, но неодолимое. Если бы не его помощь, не снести бы тебе и одной десятой своего бремени. Ни тебе, ни кому другому.

ЛЮДИ И ЛЮДИШКИ

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня. Тот же, кто из праха прошлого хотел соорудить плотину и остановить половодье революции, тот лишь фигура из гнилого дерева, пусть даже на плечах у него сейчас золотые галуны! Но и этих людишек надо разглядеть во всем их ничтожестве и подлости, во всей их жестокости и смехотворности, ибо и они — материал для будущих суждений.

[1] Так заключенные прозвали помещение во дворце Печека, где располагалось гестапо; в этом помещении заключенные ожидали своей очереди быть уведенным в застенок на допрос.

То, что я сейчас расскажу,— сырой материал, свидетельские показания, не больше. Фрагменты, которые мне удалось подметить на малом участке без перспективы. Но в них есть черты подлинной правды, образы больших и малых людей и людишек.

19 МАЯ 1943 ГОДА

Сегодня ночью мою Густу увозят в Польшу «на работу». На немецкую каторгу, на смерть от тифа. Ей остается жить несколько недель, в лучшем случае два-три месяца. Мое дело уже передано в суд. Может быть, я пробуду еще месяц в предварительном заключении в Панкраце, а потом — недалеко и до конца. Репортажа мне уже не дописать. Но в эти несколько дней попытаюсь продолжить его, если будет возможность. Сегодня не могу. Сегодня голова и сердце полны Густиной. Она всегда была благородна и глубоко искренна, всегда преданна — верный друг моей неспокойной жизни.

Каждый вечер я пою ее любимую песню: о синем степном ковыле, что шумит, о славных партизанских боях, о казáчке, которая вместе с мужчинами билась за свободу, о ее храбрости, о том, как в одном из боев «ей подняться с земли не пришлось».

Вот она, мой дружок боевой![1] Как много силы в этой маленькой женщине с четкими чертами лица и большими детскими глазами, в которых столько нежности! Партийная работа и частые разлуки сохраняли в нас чувства первых дней: не однажды, а сотни раз мы переживали пылкие минуты первых объятий. И всегда одним биением бились наши сердца и одним дыханием дышали мы в часы радости и тревоги, волнения и печали.

Все годы мы работали, помогая друг другу, как товарищи. Все годы она была моим первым читателем и критиком, и мне было трудно писать, если я не чувствовал на себе ее ласкового взгляда. Все годы мы вели борьбу плечом к плечу — а борьбы было много,— и все годы рука об руку мы бродили по любимым местам. Много мы испытали лишений, познали и много больших радостей, мы были богаты богатством бедняков — тем, что внутри нас.

Густина? Вот какова Густина.

Это было в июне прошлого года, в дни осадного положения[2]. Она увидела меня через шесть недель после нашего ареста, после мучительных дней в одиночке, полных дум о моей смерти. Ее вызвали, чтобы она «повлияла» на меня.

— Уговорите его,— говорил ей на очной ставке начальник отдела.— Уговорите его, пусть образумится. Не хочет думать о себе, пусть подумает о вас. Даю вам час на размышление. Если он будет упорствовать, расстреляем вас обоих сегодня вечером.

[1] Эта фраза, как и строка из песни, были написаны Фучиком по-русски.
[2] 27 мая 1942 г. в связи с покушением на протектора Чехии и Моравии Гейдриха в стране было введено осадное положение.

Густина приласкала меня взглядом и сказала просто:

— Господин следователь, это для меня не угроза, об этом я и прошу: если убьете его, убейте и меня.

Такова Густина — любовь и твердость.

Жизнь у нас могут отнять, Густина, но нашу честь и любовь у нас не отнимет никто.

Эх, друзья, можете ли вы представить, как бы мы жили, если бы нам довелось снова встретиться после всех этих страданий? Снова встретиться в вольной жизни, озаренной свободой и творчеством! Жить, когда будет все, о чем мы мечтали, к чему стремились, за что сейчас идем умирать!

Но и мертвые мы будем жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него нашу жизнь. В этом наша радость, а расставаться все же грустно.

Не позволили нам ни проститься, ни обняться, ни обменяться рукопожатием. Но тюремный коллектив, который связывает Панкрац даже с Карловой площадью, передает каждому из нас вести о наших судьбах.

Ты знаешь, и я знаю, Густина, что мы никогда уже не увидимся. Но я слышу издалека твой голос: «До свидания, мой милый!»

До свидания, моя Густина!

СУПРУГИ ВЫСУШИЛЫ

...Иозеф был мелким служащим.

В первую мировую войну его, долговязого семнадцатилетнего парня, взяли в солдаты. Через несколько недель он вернулся с фронта с раздробленным коленом и навсегда остался калекой.

Он познакомился с Марией в лазарете, в Брно, где она была сиделкой. Мария была старше его на восемь лет. С первым мужем жизнь у нее сложилась несчастливо, она разошлась с ним и после войны вышла замуж за Пепика[1]. В ее отношении к нему навсегда осталось что-то покровительственное, материнское. Оба они были не из пролетарских семей, и их семья тоже не была пролетарской. Их путь к партии был несколько сложнее, труднее, но они прошли этот путь. Как во многих подобных случаях, он лежал через Советский Союз. Еще давно, до оккупации, они знали, к чему стремятся, и укрывали в своей квартире немецких антифашистов.

В самое тяжелое время, после нападения Германии на Советский Союз и в период первого осадного положения в 1941 году, у них собирались члены Центрального Комитета. У них ночевали Гонза Зика и Гонза Черный, а чаще всего я. Здесь писались статьи для «Руде право», здесь было принято много решений, здесь я впервые встретился с «Карлом» — Черным.

Иозеф и Мария были точны до щепетильности, внимательны и никогда не терялись при неожиданностях, которых в нелегаль-

[1] *Пепик* — уменьшительное от Иозеф.

ной работе всегда уйма. Они умели соблюдать конспирацию. Да и кому могло прийти в голову, что долговязый Высушил, мелкий служащий с железной дороги, и его «пани» могли быть замешаны в чем-то запретном?

И все-таки его арестовали вскоре после меня. Я сильно встревожился, когда увидел его в тюрьме. Очень многое оказалось бы под угрозой, если бы он заговорил. Но он молчал. Его арестовали за несколько листовок, которые он дал прочесть товарищу, и, кроме как о листовках, от него гестаповцы ничего не узнали.

Через несколько месяцев, когда открылось, что Гонза Черный жил у свояченицы Высушила, гестаповцы два дня «допрашивали» Пепика, пытаясь найти следы последнего из могикан нашего ЦК. На третий день Пепик появился в «Четырехсотке» и осторожно примостился на скамейке — на живом мясе чертовски трудно сидеть! Я посмотрел на него — вопросительно и ободряюще. Он откликнулся с лаконичностью жителей пражской окраины:

— Коль башка прикажет, ни язык, ни задница не скажет.

Я хорошо знал эту пару, знал, как они любили друг друга, как они скучали, когда приходилось расставаться на день-другой. Теперь проходили месяцы... Как тяжело должно быть было одинокой женщине в уютной квартирке, женщине в том возрасте, когда одиночество хуже смерти! Сколько бессонных ночей провела она наедине, размышляя, как бы помочь мужу, как бы вернуть свою крохотную идиллию, вернуть того, кого она называла «папочкой». И она нашла единственно правильный путь: продолжать его дело, работать за себя и за него.

В новогоднюю ночь 1943 года она поставила на стол два прибора. На том месте, где обычно сидел он, стояла его фотография. Пробила полночь, и Мария чокнулась с его рюмкой, выпила за его здоровье, за то, чтобы он вернулся, за то, чтобы он дожил до свободы.

Через месяц арестовали и ее. Многие заключенные в «Четырехсотке» встревожились, узнав об этом, так как на воле Мария была одной из связных.

Но она не сказала на допросах ни слова.

Ее не били. Она была слишком немощна и умерла бы у них под палкой. Для нее изобрели пытку похуже — терзали ее воображение.

За несколько дней до ее ареста Пепика угнали в Польшу на принудительные работы. И на допросах ей говорили:

— Жизнь там, знаете ли, тяжелая. Даже для здоровых. А ваш муж калека. Он не выдержит. Помрет где-нибудь, так и не увидите его. А разве сможете вы в ваши-то годы найти другого? Будьте же благоразумны, расскажите, что знаете, и мы сейчас же вернем вам вашего мужа.

«Помрет где-нибудь... Бедный Пепик! И бог весть какой смертью. Сестру мою убили, мужа убивают, останусь одна, совсем одна. Да, в мои-то годы! Одна-одинешенька до самой смер-

ти... А ведь могла бы его спасти, вернули бы мне его... Но такой ценой? Нет, это уже была бы не я, это был бы уже не мой «папочка».

Не выдала ничего, исчезла где-то в одной из безвестных пересыльных партий. Скоро пришла весть, что и Пепик умер в Польше.

СТРАНИЦА ИСТОРИИ

9 июня 1943 года. За дверью перед моей камерой висит пояс. Мой пояс. Значит, меня отправляют[1]. Ночью меня повезут в «империю» судить и... и так далее. От ломтя моей жизни время жадно откусывает последние кусочки. Четыреста одиннадцать дней в Панкраце промелькнули непостижимо быстро. Сколько еще дней осталось? Где я их проведу? И как?

Едва ли у меня еще будет возможность писать. Пишу мое последнее показание. Страницу истории, последним живым свидетелем которой я, по-видимому, являюсь.

В феврале 1941 года весь состав Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии вместе с заместителями, намеченными на случай провала, был арестован. Как могло случиться, что на партию обрушился такой страшный удар, пока еще точно не установлено. Об этом, должно быть, в свое время расскажут пражские гестаповцы, когда предстанут перед судом. Я напрасно пытался, как и «хаусарбайтер»[2] из дворца Печека, добраться до сути дела. Не обошлось, конечно, без провокации, но сыграла свою роль также и неосторожность. Два года успешной работы в подполье несколько усыпили бдительность. Подпольная организация росла вширь, в работу все время вовлекались новые люди, в том числе и те, которых партия должна была бы использовать по другому назначению. Аппарат разрастался и становился таким громоздким, что трудно было его контролировать. Удар по партийному центру был, видимо, давно подготовлен и обрушился незадолго до нападения немцев на Советский Союз.

Я не представлял себе сначала масштабов провала. Я ждал обычного появления нашего связного и не дождался. Через месяц стало ясно, что случилось нечто очень серьезное и я не имею права ждать дольше. Я начал сам нащупывать связь; другие делали то же.

Первым я отыскал Гонзу Выскочила, который руководил работой в Средней Чехии. Он был человек с инициативой и подготовил кое-какой материал для издания «Руде право» — нельзя было, чтобы партия оставалась без центрального органа. Я на-

[1] Перед помещением в камеру у заключенных отбирали пояса, подтяжки и галстуки; при отправке из тюрьмы эти вещи им возвращались.

[2] *«Хаусарбайтер»* — тюремный служитель из числа заключенных.

писал передовицу, но мы решили, что весь материал, который был мне известен, выйдет как первомайская листовка, а не как номер «Руде право», так как другая группа товарищей уже выпустила газету, хотя и очень примитивного вида.

Наступили месяцы партизанских методов работы. Хотя партию и постиг сокрушительный удар, но уничтожить ее он не мог. Сотни новых товарищей принимались за выполнение неоконченных заданий, на место погибших руководителей самоотверженно становились другие и не допускали, чтобы организация распалась или стала пассивной. Но центрального руководства все еще не было, а в партизанских методах была та опасность, что в самый важный момент — в момент ожидаемого нападения на Советский Союз — у нас могло не оказаться единства действий.

В доходивших до меня номерах «Руде право», издававшегося тоже на партизанский лад, я чувствовал опытную политическую руку. Из нашей первомайской листовки, оказавшейся, к сожалению, не слишком удачной, другие товарищи, в свою очередь, увидели, что существует еще кто-то, на кого можно рассчитывать. И мы стали искать друг друга.

Это были поиски в дремучем лесу. Мы шли на голос, а он отзывался уже с другой стороны. Тяжелая потеря научила партию быть осторожной и бдительной, и если два человека из центрального аппарата хотели установить между собой связь, они должны были пробираться сквозь чащу многочисленных проверочных и опознавательных преград, которые ставили и они сами, и те, кто должен был их связать. Это было тем сложнее, что я не знал, кто находится на «той стороне», а он не знал, кто я.

Наконец мы нашли общего знакомого. Это был чудесный товарищ доктор Милош Недвед, который и стал нашим первым связным. Но и это произошло случайно. В середине июня 1941 года я заболел и послал за ним Лиду. Он немедленно явился на квартирку к Баксам — и тут-то мы и договорились. Ему как раз было поручено искать этого «другого», и он не подозревал, что «другой» — это я. Как и все товарищи «с той стороны», он был уверен, что я арестован и, скорее всего, меня уже нет в живых.

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В тот же вечер мы с Гонзой Выскочилом выпустили листовку, разъяснявшую значение этой войны для нас, чехов. 30 июня произошла моя первая встреча с тем, кого я так долго искал. Он пришел в назначенное мною место, уже зная, с кем он увидится. А я все еще не знал. Стояла летняя ночь, в открытое окно вливался аромат цветущих акаций — самая подходящая пора для любовных свиданий. Мы завесили окно, зажгли свет и обнялись. Это был Гонза Зика.

Оказалось, что в феврале арестовали не весь Центральный Комитет. Один из членов комитета, Зика, уцелел. Я давно был знаком с ним и давно его любил. Но по-настоящему я узнал его только теперь, когда мы стали работать вместе. Круглолицый,

всегда улыбающийся, с виду похожий на доброго дядюшку, но в то же время твердый, самоотверженный, решительный, не признающий компромиссов в партийной работе. Он не знал и не хотел знать для себя ничего, кроме партийных обязанностей. Он отрекся от всего, чтобы выполнять их. Он любил людей и, в свою очередь, пользовался их любовью, но никогда не приобретал ее ценой беспринципной снисходительности.

Мы договорились в две минуты. А через несколько дней я узнал, кто третий член нового руководства, который связался с Зикой еще в мае. Это был Гонза Черный, рослый, красивый парень, на редкость хороший товарищ; он сражался в Испании и вернулся оттуда с простреленным легким — вернулся уже во время войны, через нацистскую Германию; в нем осталось кое-что от солдата, кроме того, он обладал богатым опытом подпольной работы и был талантливым, инициативным человеком.

Месяцы напряженной борьбы крепко спаяли нас. Мы дополняли друг друга как характерами, так и своими способностями. Зика — организатор, деловитый и педантически точный, которому нельзя было пустить пыль в глаза; он тщательно проверял всякое сообщение, добираясь до первоисточников, всесторонне рассматривал каждое предложение и деликатно, но настойчиво следил за выполнением любого нашего решения. Черный, руководивший саботажем и подготовкой к вооруженной борьбе, мыслил, как военный человек; он был чужд всякой мелочности, отличался большим размахом, неутомимостью и находчивостью; ему всегда везло при поисках новых форм работы и новых людей. И наконец, я, агитпропщик, журналист, полагающийся на свой нюх, немного фантазер и — для равновесия — скептик.

Разделение функций было, впрочем, скорее разделением ответственности, чем работы. Каждому из нас приходилось вмешиваться во все и действовать самостоятельно всюду, где это могло понадобиться. Работать было нелегко. Рана, нанесенная партии в феврале, была еще свежа и так и не зажила до конца. Все связи оборвались, некоторые организации провалились полностью, а к тем, что сохранились, не было путей. Целые организации, целые заводы, а иногда и целые районы месяцами были оторваны от центра. Пока налаживалась связь, нам оставалось только надеяться, что хоть «Руде право», проникая к ним, заменит руководство. Не было явок — пользоваться старыми мы не могли, опасаясь, что за ними еще наблюдают; денег на первых порах не было, трудно было добывать продовольствие, многое нужно было начинать с самого начала... И все это в те дни, когда партия уже не могла ограничиваться одной подготовительной работой, в дни нападения на Советский Союз, когда она должна была прямо вступить в бой, организовать внутренний фронт против оккупантов, вести «малую войну» в их тылу не только своими силами, но и силами всего народа. В подготовительные 1939—1941 годы партия ушла в глубокое подполье, она была законспириро-

вана не только от немецкой полиции, но и от масс. Теперь, истекающая кровью, она должна была довести до совершенства конспирацию от оккупантов и покончить с конспирацией от народа, наладить связь с беспартийными, обратиться ко всему народу, вступать в союз с каждым, кто готов воевать за свободу, и решительным примером вести на борьбу тех, кто еще колеблется.

В начале сентября 1941 года мы еще не могли сказать, что восстановили разгромленную организацию. До этого было далеко, но, во всяком случае, опять существовало прочно организованное ядро, которое могло, хотя бы частично, выполнять серьезные задания. Возрождение партийной деятельности сразу сказалось. Рос саботаж, росло число забастовок на заводах. В конце сентября Берлин выпустил на нас Гейдриха.

Первое осадное положение не сломило возрастающего активного сопротивления, но ослабило его и нанесло партии новые удары. Именно тогда были целиком разгромлены пражская партийная организация и организация молодежи, погибли некоторые товарищи, очень ценные для партии: Ян Крейчи, Штанцль, Милош Красный и многие другие.

Но после каждого из таких ударов было видно воочию, как несокрушима партия. Падал боец, и, если его не мог заменить один, на его место становились двое, трое. В новый 1942 год мы вступали уже с крепко построенной организацией; правда, она еще не охватывала всех участков работы и далеко не достигла масштабов февраля 1941 года, но была уже способна выполнить задачи партии в решающих битвах. Главная заслуга в том, что работали все, принадлежала Гонзе Зике.

О том, как действовала наша печать, могут, наверное, рассказать материалы, сохраненные товарищами в тайных архивах на чердаках и в подвалах, и мне нет надобности об этом говорить.

Наши газеты получили широкое распространение, их жадно читали не только члены партии, но и беспартийные; они выходили большими тиражами и печатались в ряде самостоятельных, тщательно обособленных друг от друга нелегальных типографиях — на гектографах и стеклографах и на настоящих типографских станках. Выпускались они регулярно и быстро, как и требовали обстоятельства. Например, с приказом по армии Сталина от 23 февраля 1942 года первые читатели могли познакомиться уже вечером 24 февраля. Отлично работали наши печатники, группа врачей и особенно группа «Фукс-Лоренц», которая выпускала, кроме того, свой собственный информационный бюллетень под названием «Мир против Гитлера». Все остальное я делал сам, стараясь беречь людей. На случай моего провала был подготовлен заместитель. Он продолжал мою работу, когда я был арестован, и работает до сих пор.

Мы создали самый несложный аппарат, заботясь о том, чтобы всякое задание требовало как можно меньше людей. Мы отказались от длинной цепи связных, которая, как это показал февраль

1941 года, не только не предохраняла партийный аппарат, но, наоборот, ставила его под угрозу. Было, правда, больше риска для каждого из нас в отдельности, но для партии в целом это было намного безопаснее. Такой провал, как в феврале, больше не мог повториться.

И поэтому, когда я был арестован, Центральный Комитет, пополненный одним новым членом, мог спокойно продолжать свою работу. Ибо даже мой ближайший сотрудник не имел ни малейшего представления о составе ЦК.

Гонзу Зику арестовали 27 мая 1942 года ночью. Это опять-таки был несчастный случай. После покушения на Гейдриха весь аппарат оккупантов был поставлен на ноги и производил облавы по всей Праге. Гестаповцы явились в квартиру в Стршешовицах, где как раз скрывался тогда Зика. Документы у него были в порядке, и он, очевидно, не привлек бы к себе внимания. Но он не хотел подвергать опасности приютившую его семью и попытался выпрыгнуть из окна третьего этажа. Он упал, и в тюремную больницу его привезли со смертельным повреждением позвоночника. Гестаповцы не знали, кто попал в их руки. Только через восемнадцать дней его опознали по фотографии и, умирающего, привезли во дворец Печека на допрос. Так мы встретились с ним в последний раз. Меня привели на очную ставку. Мы подали друг другу руки, он улыбнулся мне своей широкой доброй улыбкой и сказал:

— Здравствуй, Юлий!

Это все, что от него услышали. После этого он не сказал ни слова. После нескольких ударов в лицо он потерял сознание. А через несколько часов скончался.

Я знал о его аресте уже 29 мая. Наша разведка работала исправно. С ее помощью я частично согласовал с ним свои дальнейшие шаги. А затем наш план был одобрен также и Гонзой Черным. Это было последнее постановление нашего ЦК.

Гонзу Черного арестовали летом 1942 года. Тут уже не было никакой случайности: провал произошел из-за преступного малодушия Яна Покорного, поддерживавшего связь с Черным. Покорный вел себя не так, как следовало руководящему партийному работнику. Через несколько часов допроса, конечно достаточно жестокого,— но чего иного он мог ождать? — через несколько часов допроса он струсил и выдал квартиру, где встречался с Гонзой Черным. Отсюда след повел к самому Гонзе, через несколько дней он попал в лапы гестапо.

Нам устроили очную ставку немедленно, как только его привезли.

— Ты знаешь его?

— Нет, не знаю.

Оба мы отвечали одинаково. Затем он отказался вообще отвечать. Старое ранение избавило его от долгих страданий. Он скоро потерял сознание. Прежде чем дело дошло до второго до-

проса, он был уже обо всем точно осведомлен и действовал дальше в соответствии с нашим решением.

От него ничего не узнали. Его долго держали в тюрьме, долго ждали, что чьи-нибудь новые показания заставят его говорить. Не дождались.

Тюрьма не изменила его. Веселый, мужественный, он открывал отдаленные перспективы жизни другим, зная, что у него только одна перспектива — смерть.

Из Панкраца его внезапно увезли в конце апреля 1943 года. Куда — неизвестно. Такая внезапная отправка имеет в себе что-то зловещее. Можно, конечно, ошибаться. Но я не думаю, чтобы нам суждено было снова встретиться.

Мы всегда считались с угрозой смерти. Мы знали: если мы попадем в руки гестапо, живыми нам не уйти. В соответствии с этим мы действовали и здесь.

И моя пьеса подходит к концу. Конец я не дописал. Его я не знаю. Это уже не пьеса. Это жизнь.

А в жизни нет зрителей.

Занавес поднимается.

Люди, я любил вас! Будьте бдительны!

ПАБЛО НЕРУДА

Стихи самобытнейшего поэта Латинской Америки Пабло Неруды, как и стихи патриарха поэзии Америки Северной, Уолта Уитмена, русский читатель может принять за прозу: до того они не соответствуют традиционным поэтическим нормам, сложившимся в русской литературе. Из всех средств организации стиха Неруда признавал один ритм, а достойными поэтического воплощения, в его глазах, были не только возвышенные темы и явления прекрасного, но самые заурядные, простые, примелькавшиеся предметы; три сборника его стихотворений так и названы — «Оды простым вещам» (1954, 1955, 1957). Однако в простых вещах он умел разглядеть и показать другим красоту так, как это мало кому удавалось во всей поэзии XX века.

Настоящее имя Пабло Неруды (Pablo Neruda, 1904—1973) — Нафтали Рикардо Рейес Басуальто. Он родился в Чили, начал печататься с 17 лет (тогда-то он и взял себе псевдоним), а в 23 поступил на дипломатическую службу. Жизнь в различных странах Азии, Европы и Америки показала ему бесконечное разнообразие социальных уродств и способов притеснения, угнетения человека человеком. Об этом он написал стихотворения, составившие сборник «Местожительство — Земля» (1925—1935). Участие в борьбе испанского народа против мятежных войск Франко сделало Неруду политическим антифашистским поэтом, сообщило его поэзии гражданский размах (сборник «Испания в сердце», 1937). В годы второй мировой войны он посвятил прекрасные и проникновенные стихи советскому на-

роду, проявлявшему чудеса героизма в смертельной схватке с фашизмом. Вступление в Коммунистическую партию Чили (1945) было закономерным шагом в жизни и творчестве Неруды.

Реакция неоднократно пыталась свести с ним счеты. Например, крупнейшее свое произведение, грандиозную эпическую поэму «Всеобщая песнь» (1950), воссоздающую облик Латинской Америки во времени (история континента) и пространстве (его география, флора и фауна), Неруда завершил в подполье, где был вынужден укрываться от преследований чилийского диктатора Виделы, который лишил его права на неприкосновенность личности: этим правом Неруда пользовался, как сенатор. Однако и в подполье Неруда оставался коммунистом, борцом и общественным деятелем.

Особенно много сил он отдавал делу борьбы за мир; в 1953 г. ему была присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Неруда несколько раз посещал Советский Союз. В то же время он не переставал писать стихи, одну за другой выпуская поэтические книги, и каждый новый сборник поражал и приводил в восторг читателей и критиков тем, что обнаруживал неожиданные новые грани таланта Неруды. Признанием этого таланта явилось и присуждение Неруде Нобелевской премии по литературе за 1971 г.

«Неруда воплотил в себе все лучшие качества, которыми обязан обладать не только любой большой поэт, но и любой настоящий гражданин человечества. Он был духовно аристократичен и одновременно был демократом до мозга костей. Он был патриотом Чили и патриотом борьбы за справедливость, где бы она ни происходила,— у стен Мадрида или у стен Сталинграда. Поэзия Неруды говорит о том, что невозможно быть гражданином и не быть интернационалистом. Если говорить о мастерстве художника, то даже если бы Неруда написал только две строки:

...и по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей...

это уже было бы доказательством его гениальности»,— сказал о Неруде, поэте и гражданине, Евгений Евтушенко.

Поэт горячо поддерживал программу президента Чили Сальвадоре Альенде и сформированного им в 1970 г. правительства Народного Единства. Неруда стал послом Чили во Франции, воспел победу своего народа в стихах сборника «Гимны Чилийской революции» (1973). Однако в поэзии Неруды последних месяцев жизни уже звучат тревожные ноты: он опасается контрреволюционного переворота. Его опасения подтвердились, когда 11 сентября 1973 г. власть в Чили захватила генеральская хунта. От этого удара Неруда не смог оправиться и умер через несколько дней после переворота. А позже стало известно, что новоявленные фашисты осквернили и разграбили дом поэта в Сантьяго и знаменитый домик Неруды в Исла-Негра, у моря.

Произведения Пабло Неруды можно прочитать в изданиях:
Неруда, Пабло. Всеобщая песнь. М., Изд-во иностранной литературы, 1954.
Неруда, Пабло. Избранные произведения в 2 т. М., Гослитиздат, 1958.
Неруда, Пабло. Плаванья и возвращения. М., «Прогресс», 1964.
Неруда, Пабло. Четыре времени сердца. М., «Художественная литература», 1968.
Неруда, Пабло. Я буду жить. М., «Детская литература», 1976.
О жизни и творчестве Пабло Неруды см.:
Михайлов Р. Наш друг из далекой страны. Л., Детгиз, 1954.
Осповат Л. Пабло Неруда. М., «Советский писатель», 1960.
Эренбург И. Пабло Неруда.— В кн.: Эренбург И. Собрание сочинений в 9 т., т. 6. М., «Художественная литература», 1965.
Венок Неруде. М., «Художественная литература», 1974.

ОБЪЯСНЕНИЕ

(из книги «Испания в сердце»)

Вы спро́сите: где же сирень,
где метафизика, усыпанная маками,
где дождь, что выстукивает слова,
полные пауз и птиц?
Я вам расскажу, что со мною случилось.

Я жил в Мадриде, в квартале, где много колоколен,
много башенных часов и деревьев.
Оттуда я видел
сухое лицо Кастилии:
океан из кожи.

Мой дом называли «домом цветов».
Повсюду цвела герань.
Это был веселый дом
с собаками и детьми.

Помнишь, Рауль?
Помнишь, Рафаэль?
Федерико, ты под землей, ты помнишь балкон? [1]
Июнь метал цветы в твой рот.

Все окрест было громким:
горы взволнованных хлебов,
базар Аргуэльес и памятник,
как чернильница, среди рыбин.

Оливковое масло текло в жбаны.
Сердцебиение ног заполняло улицы.

---

[1] *Рауль* — аргентинский поэт-коммунист Рауль Гонсалес Туньон (1905—1974), сражавшийся в Испании; *Рафаэль* — испанский поэт-коммунист Рафаэль Альберти (р. 1902); *Федерико* — классик испанской поэзии Федерико Гарсиа Лорка (1898—1936), расстрелянный испанскими фашистами. Неруда отсылает читателя к стихотворению Лорки «Прощанье»: «Если умру я — не закрывайте балкона».

Метры, литры. Острый настой жизни.
Горы судаков. Крыши
и усталая стрелка на холодном солнце.
Слоновая кость картошки,
а помидоры — до самого моря.

В одно утро все загорелось.
Из-под копыт вышел огонь,
он пожирал живых.
С тех пор — огонь,
с тех пор — порох,
с тех пор — кровь.

Разбойники с марокканцами и самолетами,
разбойники с перстнями и герцогинями,
разбойники с монахами, благословлявшими убийц,
пришли,
и по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Шакалы, от которых отступятся шакалы,
гадюки — их возненавидят гадюки,
камни — их выплюнет репейник.

Я видел, как в ответ поднялась кровь Испании,
чтобы потопить вас
в одной волне
гордости и ножей.

Перевод *Ильи Эренбурга*

ПРОШУ ТИШИНЫ

А теперь оставьте меня в покое.
А теперь обойдитесь-ка без меня.

Я закрою глаза.

И только хочу я пяти корней,
Пяти корней, чтоб расти.

Во-первых, любовь без конца.

Потом — глядеть на осень.
Не могу я жить без того, чтобы листья
не летали и не возвращались на землю.

Еще мне нужна зима,
дождь, который любил я,
ласка огня в холоде леса.

А затем мне необходимо лето,
круглое, как арбуз.

И наконец — твои глаза.

Моя Матильда, возлюбленная,
не хочу засыпать я без глаз твоих,
жить не хочу, если ты не глядишь на меня;
я меняю весну
на то, чтобы ты всегда на меня глядела.

Друзья, вот все, чего я хочу.
Это почти ничего и почти все.

А теперь, пожалуйста, уходите.

Я столько жил, что однажды
вам неизбежно придется забыть меня,
стерев меня с грифельных досок:
на них писало сердце мое без конца.

Но еслн я прошу тишины,
это не значит, что я умру.
Со мной происходнт как раз обратное:
дело в том, что я буду жить.

Дело в том, что живу я и буду жить.

Буду жить, но только так, что сквозь меня
прорастут злаки;
сначала зерна, которые пробивают
землю, чтоб свет увидать;
но мать-земля темна,
и я — внутри — темен;
я как колодец, в чьих водах
ночь оставляет свои звезды
и одна полем идет.

Речь идет о том, что я столько прожнл,
что хочу прожить еще столько же.

Никогда я не чувствовал себя таким звонким,
никогда у меня в запасе не было столько любви.

Теперь, как всегда, рано.
Летит свет со своими пчелами.

Оставьте меня с днем наедине.
Прошу разрешенья родпться.

Перевод *О. Савича*

ИЗ СОНЕТОВ О ЛЮБВИ

XLVI

Среди тех звезд, что радовали взор,
средь множества — на небе, в реках, в росах —
я выбрал ту, которую любил,
и с той поры я сплю ее ночами.

Среди тех волн, которые я знал,
зеленых волн деревьев, моря, стужи,
из множества я выбрал лишь одну —
твое неотступающее тело.

Все капли влаги, корни и ростки,
все нити света — все пришли ко мне,
меня увидеть поздно или рано.

Я пожелал лишь волосы твои,
и только сердце дикое твое
из всех сокровищ родины я выбрал.

Перевод *Маргариты Алигер*

LXXXI

Отныне ты моя. Усни во сне моем.
И пусть уснут с тобой любовь, печаль, работа.
Пусть крутит ночь незримые колеса —
ты рядом спишь, прозрачна, как янтарь.

Во снах моих уже другая не уснет.
Теченьем времени пойдем со мною вместе.
Сквозь мрак со мной другая не пройдет.
Лишь ты, живая ты, всегда луна и солнце.

Во сне так нежно разжимаешь ты,
как знаменья неясные, ладони,
глаза закрыла серыми крылами,

и я тону в воде, что нас с тобой несет.
Ночь, ветер, мир наматывают судьбы,
нет без тебя меня, я только снюсь тебе.

Перевод *Маргариты Алигер*

XCIV

А если я умру, переживи меня
с такой неистовой и чистой силой,
неизгладимый взгляд от Юга к Югу брось,
от солнца к солнцу пусть твой рот звучит гитарой.

Я не хочу, чтобы слабел твой смех.
Будь радостью, она — мое наследство.
Не призывай меня. Меня на свете нет.
Живи в моем отсутствии, как в доме.

Огромен этот дом — отсутствие мое,
в него сквозь стены можешь ты войти
и в воздухе развешивать картины.

Прозрачен этот дом — отсутствие мое,
мне будет видно, как ты в нем живешь,
и если в горе, то умру я снова.

Перевод *Маргариты Алигер*

МОРЕ

Мне море нужно, потому что учит
то ль музыке, то ль совести — не знаю.
Не знаю, только ли волна оно, иль жизнь
глубокая, иль хриплый голос, или
слепящее чередованье рыб
и кораблей. Но и во сне я даже
кружусь, как бы притянутый магнитом,
в морских валах, взволнованных, всемирных.

Нет, не в разбитых раковинах дело,
не в том, что через них планета
о постепенной смерти сообщает;
нет, море из осколков возродило день,
из шквала соли — сталактит
и, зачерпнув воды,— большого бога.

Храню все то, чему оно учило:
песок и воду, воздух, ветер беспрерывный.

Для юноши как будто это мало,
ведь он сюда пришел с пожарами своими.
Но пульс, встававший и спадавший
над пропастью морской,
и холод синевы, и легкий треск,
и то, как звезды в волнах осыпались,
и нежный, грозный разворот волны,

растрачивающей и снег, и пену,
спокойная решительная мощь,
как будто в глубине есть трон из камня,—
из сердца угол вытеснили, где
забвенье и печаль росли упрямо;
переменилось вдруг существованье:
я сердцем выбрал чистое движенье.

Перевод *О. Савича*

БЕССОННИЦА

Себя я спрашиваю среди ночи:
что будет с Чили,
что будет с бедной родиной моей?
Я так люблю корабль изящный этот,
и эти камни, эту почву,
неумирающую розу берегов —
она живет под пеной,—
что я с моей землею заодно
и всех детей ее узнал,
ее история через меня прошла,
за годом год, и плача, и цветя.

Но чувствую сегодня,—
едва минул сомнений мертвый год,
и обескровившая нас ошибка
ушла, и начали копить мы снова
все лучшее, всю справедливость жизни,—
что вновь угроза возникает,
и злоба снова над стеной встает.

Перевод *О. Савича*

СВЕТ СОЧИ

Здесь разливается так много света,
что бьет он через край и ниспадает.
Сдержать лучи свои не может море,
и, как часы, подвешен к небу мир;
волна, как крылья стрекозы морской,
дрожит, и бьется, и летит вперед
средь целомудрия воды и камня;
и соль и солнце вечны и друг друга,
как боги обнаженные, ласкают.

Перевод *О. Савича*

ИДИ ЗА МНОЙ

(из книги «Гимны Чилийской революции»)

Отныне здесь я остаюсь с тобой
во имя Чили — воли голубой,

и моря, рыбой полнящего сети,
и хлеба, что клюют щеглята-дети,

во имя меди, и борьбы в конторах,
и нив, где поутру пшеничный шорох,

друзей, которые всегда с тобою,
колосьев, роз и мерного прибоя,

во имя всех забытых земляков,
студентов, и солдат, и моряков,

во имя всех народов, всех племен,
колоколов, корней и шумных крон,

во имя всех дорог и узких троп,
мир выводящих к свету из чащоб,

во имя красных флагов на восходе,
их страсти, их движения к свободе,

во имя счастья понимать, что ты —
частица этой общей полноты.

Иди со мной, борись. Отныне твой —
мой стихотворный склад пороховой.

Перевод *Павла Грушко*

ПОДОЖДЕМ

Есть дни, которые еще в пути,
которые покуда не готовы,
как хлеб, как стулья, как любой продукт,
производимый в мастерской, в аптеке,—
есть фабрики грядущих дней, и в них
есть мастера на каждый вкус и душу,
они отмеривают, ладят, строят
и ясные, и пасмурные дни,
которые однажды постучатся,
чтоб наградить нас спелым апельсином
или в упор, с порога, расстрелять.

Перевод *Павла Грушко*

* * *

Всегда в крови была земля людей.
Дожди, постройки, годы и дороги
на время скрадывают звезды крови.
Планета, в сущности, невелика,
а сколько раз ее в крови топили:
война и месть, охота на людей,
и люди падали, их пожирали,
и вновь забвенье отмывало каждый
квадратный метр, уже вдали маячил
очередной пройдоха-монумент,
опять звучали бронзовые речи,
а там — конгрессы, памятные даты,
муниципалитет и вновь — забвенье...
Как мы искусны в деле истребленья,
с какой научностью корчуем память!
Опять на ранах выросли цветы.
Опять цветы? Ну что ж, ребятки, снова
готовьтесь убивать и умирать
и разбивать на крови цветники.

Перевод *Павла Грушко*

Запел перед рассветом дрозд-сорсаль,
чистейшая из птах в просторах Чили,
звал, ликовал,
писал по ветру звуки
в тиши рассветной,
здесь, зимой, у моря,
где голубые полосы
вдали,
как тонкие лоскутья флага, плыли,
пока не стало больше синевы
и все не стало синего синее,
поскольку каждый день — не что иное,
как синий хлеб на каждый сущий день.

Перевод *Павла Грушко*

ФИНАЛ[1]

Матильда, годы, дни,
во сне, в лихорадке,
здесь, там,
ломать
себе хребет,
кровоточить живою кровью,
то просыпаясь,

---

[1] Последнее стихотворение Неруды.

то забываясь сном,—
больничные койки, чужаки-окна,
белые одеянья сиделок,
тяжесть в ногах.

Позже все эти переезды,
и снова — море — море,
твои волосы в моем изголовье,

твои легкие руки
на свету, на моем свету,
на моей родине.

Так дивно было жить,
когда рядом жила ты.

А мир еще сильнее, вещественнее,
ночью, когда я сплю,
огромный, внутри твоих кратких рук.

Перевод *Павла Грушко*

СОДЕРЖАНИЕ

* Переводы © журнал «Иностранная литература».

Составитель

Владимир Андреевич Скороденко

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия для 8—10 классов средней школы

Редактор **М. С. Спектор**
Художник **Н. К. Урнова**
Художественный редактор **А. И. Овчинников**
Технический редактор **Л. М. Абрамова**
Корректоры **Т. В. Бойчук, Л. А. Ермолина**

ИБ № 5796

Сдано в набор 21.02.79. Подписано к печати 18.10.79. 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 36. Уч.-изд. л. 31,03. Тираж 500 000 экз. Заказ № 137. Цена 90 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

90 к.